АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Русская литература

№2 ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 1982

Год издания двадцать пятый

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Д. С. Лихачев. Слово о Киеве 3
А. И. Филатова. Киевская Русь в современном историческом романе 12
Н. Н. Скатов. Критика Николая Страхова и некоторые вопросы русской литературы XIX века 30
Я. С. Лурье. Конец золотоордынского ига («Угорщина») в истории и литературе 52

ОБСУЖДАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Г. М. Фридлендер. Ответственная задача современного литературоведения 70
К. И. Ровда. Вопросы изучения социалистических литератур 71
В. И. Каминский. К вопросу об истории положительного героя русской классической литературы 74
В. А. Туниманов. Правда историческая и правда художественная . . . , 79
Ю. К. Герасимов. Об изучении русского литературного модернизма 83
В. А. Ковалев. Литературное произведение и «внетекстовые факторы» . . . 84
Л. Ф. Ершов. О научной периодизации истории русской советской литературы 86
В. В. Бузник. Об изучении эстетических категорий советской литературы 90

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. Горький. Письма к Ф. Д. Крюкову (публикация Б. Н. Двинянинова) . . . 94
В. А. Ружина. Маяковский и Чернышевский (к постановке вопроса) . . . 98
Эрнест Кросби. Два дня с графом Толстым (публикация В. А. Александрова) 103
В. С. Приходько. Д. Н. Мамин-Сибиряк о старообрядцах и протопопе Аввакуме 111
Е. В. Проц. Судьба Спасского архива И. С. Тургенева 119
А. А. Шелаева. Лесков и Прудон 124
Ю. В. Лебедев. С. В. Максимов и Н. А. Некрасов 134
Я. Л. Левкович. Пушкин в работе над «Записками» 141
Н. Н. Петрунина. О наброске Пушкина «Москва была освобождена...» . . . 149
О. Б. Лебедева, А. С. Янушкевич. Неопубликованные стихотворные переложе-

(см. на обороте)

ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ния западноевропейской прозы в творчестве В. А. Жуковского 1830—1840-х годов 153
К. В. Малиновский. Записка Якоба Штелина о Прутском походе Петра I . . 163
З. И. Власова. К вопросу о традиции в фольклоре («Старина о большом быке» в свете историко-этнографических данных) 168

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

В. Г. Короткий. К биографии Мелетия Смотрицкого 182
В. П. Степанов. Об авторстве «Аввакумовского скитника» 184
С. Н. Травников. Еще раз о «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Дорожнике» И. Ф. Глушкова 187
М. М. Сафонов. «Генерал Кутузов» и убийство Павла I 189
Б. Л. Бессонов. Когда и где родился Некрасов? 191
А. М. Авдонин. Неосуществленное намерение Н. В. Гоголя, или История одной легенды 195

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. И Емельянов. Литературный факт и его контекст (о выпусках серии «Контекст») 197
И. Ф. Петровская. Труды по генеалогии как источник биографических сведений о русских писателях XIX — начала XX века и их окружении . . 204
Ю. К. Бегунов. Литература Петровской эпохи в современной историко-литературной науке 212
Марта Мезеш (*Венгрия*), **М. А. Турьян.** Мир Тургенева 229
Н. М. Келейникова. Хроника города Глупова по-английски 232
Г. А. Цветов. Хрестоматия по советской критике 234
В. А. Ковалев. О школьных программах по советской литературе 237
ХРОНИКА 242

Редакционная коллегия:

В. В. ТИМОФЕЕВА (главный редактор),
А. С. БУШМИН, П. С. ВЫХОДЦЕВ (зам. главного редактора),
А. А. ГОРЕЛОВ, Н. А. ГРОЗНОВА, Л. Ф. ЕРШОВ, А. Н. ИЕЗУИТОВ, В. А. КОВАЛЕВ, А. М. ПАНЧЕНКО, Ф. Я. ПРИЙМА, Г. М. ФРИДЛЕНДЕР

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199164, Ленинград, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

Журнал выходит 4 раза в год

Технический редактор *М. Н. Кондратьева*
Корректоры *Т. А. Румянцева, Г. И. Тимошенко* и *Т. Г. Эдельман*

Сдано в набор 02.02.82. Подписано к печати 26.04.82. М-32016. Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 15.5. Усл. печ. л. 21.70. Усл. кр.-отт. 21.96. Уч.-изд. л. 27.19. Тираж 12713. Тип. зак. 1143

Издательство «Наука», Ленинградское отделение, 199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, 1
Редакция журн. Русская литература, тел. 218-16-01

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

© Издательство «Наука», «Русская литература», 1982 г.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

СЛОВО О КИЕВЕ[1]

Когда князь Олег, прозванный Вещим, сел в Киеве на княжение, он сказал, как пишет летописец: «Се буди мати градом русьским». Этим он утвердил значение Киева как столицы всей Русской земли — от Ладоги и Новгорода на севере и Полоцка на северо-востоке до Тмутаракани на Черном море, от Карпат на западе до Волги на востоке.

«Мать городов» — это именно «столица», метрополия. Но «мать городов русьских» имеет и другое значение, специфически древнерусское:[2] Киев *породил* многие города, основанные киевскими князьями и частично названные в честь этих князей — Владимир на Клязьме, названный по имени Владимира Святославича, и Владимир Волынский — в его же честь, Ярославль на Волге — в честь Ярослава Мудрого. А затем — Изяславль, Всеволож, Глебль, Кснятин, Василев, два Юрьева (один на Чудском озере, другой во Владимирской земле) и пр. и пр. Одной из княжеских забот было основание городов — как укрепленных пунктов и административных центров. Укрепленную полосу городов строил против степи на юге от Киева уже Владимир I Святославич. И сам он, и его преемники строили также города на северо-востоке и на юго-западе Русской земли. Насколько быстро и интенсивно шло строительство городов, можно судить по следующим цифрам, приведенным в свое время акад. М. Н. Тихомировым: для IX—X веков летописи упоминают 24 русских города, в XI веке упомянуто уже 88 городов, в XII веке летописи называют еще 119 новых городов, а в XIII веке до Батыева нашествия, т. е. за одну только треть века, еще 32 новых города.

Несмотря на постоянно возникавшие с XI века попытки к политическому обособлению отдельных княжеств, несмотря ни на что, Русская земля на всем своем огромном пространстве никогда полностью не утрачивала своего единства вплоть до Батыева нашествия и установления Ордынского ига.

Единство *Русьской* земли крепилось разными путями. *Русьская* земля находилась в политической власти единого княжеского рода. И хотя князья враждовали, но не сидели только в одном княжеском столе — переходили из княжества в княжество, стремясь занять более высокое место, чтобы в конце концов попытаться достигнуть золотого киевского стола. Следовательно, *Русьская* земля была для них единой. Единой она была и для *русьской* церкви с Киевом во главе. Киево-Печерская обитель была такой же «матерью» *русьских* монастырей, как и сам Киев — *русьских* городов. Монахи Киево-Печерского монастыря становились еписко-

---

[1] Доклад, читанный в Киеве 3 декабря 1981 года на пленарном заседании конференции «Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современная идеологическая борьба» в связи с 1500-летием Киева.

[2] Под словом «древнерусский» здесь и в дальнейшем мы имеем в виду принадлежность Руси — общей восточнославянской народности в хронологических пределах примерно до середины XIII века. Слово «Русь» было самоназванием восточнославянской народности и земли, ею занимаемой.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

нами в древнерусских епископиях — в Новгороде и Владимире, Галиче и Переяславле, основывали монастыри и закладывали церкви.

Другой важной и действенной силой, сохранявшей единство *Русьской* земли на всем ее огромном пространстве, был язык и фольклор. Различия в разговорном языке в отдельных областях были сравнительно незначительными. Язык повсюду был в сущности единый, и то же следует сказать о фольклоре — особенно об эпосе. Не случайно, что былины о киевских богатырях в XVIII и XIX веках, т. е. спустя более полутысячелетия, сохранялись лучше всего на севере России: туда эти былины проникли уже в очень раннее время, там продолжали развиваться, там были памятью о далеких временах единства восточного славянства. И Киев при этом сохранял во всех них название и значение «стольного города» — столицы Руси. В народном, фольклорном сознании Киев был столицей всей Древней Руси — на всем ее пространстве, а не одной только Украины, в этом величие Киева, его огромнейшая культурно-историческая и политическая заслуга.

В образовании древнерусской (восточнославянской) народности языковое единство также имело совершенно исключительное значение. Разные факторы образуют народность, но среди этих разных факторов отдельные играют то большую, то меньшую роль. Для древнерусской народности язык играл первую роль; и не случайно в древнерусском языке одно из значений слова «язык» было именно «народ».

Сравнение с Византией может продемонстрировать мою мысль. Византия была многоязычным государством, и когда под ударами турок Византийское государство пало, оно уже не смогло возродиться. Иначе было с Древней Русью. Батыево нашествие не смогло разрушить народного единства и народного самосознания Древней Руси, Древняя Русь возродилась, но появившиеся языковые различия отметили собой образование двух наций, а впоследствии — трех (имею в виду Белоруссию). Но при этом сохранившаяся близость языков объединяла все три народа и продолжает объединять их до сих пор.

Еще одной силой, помогавшей культурному сплочению всех княжеств и областей *Русьской* земли, была литература. Даже в большей степени, чем разговорный язык, един был язык литературный. По происхождению своему это был язык староболгарский, постоянно впитывавший в себя элементы русского языка, не сильно от него отличавшегося. Литературный язык никак не различался по областям, ибо литературные произведения, в какой бы части *Русьской* земли ни были они созданы, постоянно перевозились из города в город, из монастыря в монастырь, из княжества в княжество. Литература была единой не только потому, что литературные произведения широко распространялись по всему пространству *Русьской* земли, но и потому, что они создавались очень часто не совсем обычным для нового времени путем. Так, например, из переписки двух монахов — одного, жившего в Киеве в Киево-Печерском монастыре, а другого — на северо-востоке — во Владимире на реке Клязьме, возник замечательный памятник литературы XII века — Киево-Печерский патерик. Обычный путь, который проходили при своем создании летописные своды, — это путь соединения в одном произведении записей, делавшихся в различных городах и монастырях *Русьской* земли, часто очень отдаленных друг от друга. Так, записи, сделанные в Новгороде на севере, присоединялись к записям, составленным в Киеве. Киевские записи и целые большие исторические произведения включались в летописи во Владимире на Клязьме. Уже в XI веке в киевские летописные своды входили записи о событиях в Тмутаракани на Черном море, несомненно сделанные именно там — с точным указанием дат событий. Мы могли бы привести множество примеров того, каким интенсивным литературным обменом жила *Русьская* земля и какое огромное значение

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

в Киевской Руси имел обмен посланиями, письмами, летописными сочинениями, произведениями проповеднической литературы между самыми отдаленными географическими точками. Словно и не было многодневных и многонедельных переездов, трудных путей сообщения, частой и продолжительной непогоды весной и осенью, прекращавшей полностью связи между отдельными княжествами и отрезавшей от Киева города, селения и монастыри. В этом литературном общении центром связей все время оставался Киев. Это была столица древнерусской литературы.

Но самой замечательной особенностью литературы было то сознание национального, политического и культурного единства, которое было свойственно всем произведениям Киевской Руси без исключения. Наиболее знаменитыми памятниками в этом отношении являются «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, Киево-Печерский патерик и «Слово о полку Игореве». Рядом с этими памятниками были десятки других, в которых сознание исторического единства и необходимости политического и оборонного единения было чрезвычайно выраженным, как, например, произведение того же XII века, что и «Слово о полку Игореве», — «Слово о князьях». Не было ни одного литературного произведения, которое проповедовало бы раздробленность, обособление княжеств. Если один князь выступал против другого, это оправдывалось борьбой за единство. Борьба за разъединение Руси не могла быть популярной.

И особенно, о чем следует сказать, подчеркивая единство самой большой страны в Европе XI—начала XIII века, — это единство ее искусства. Искусство было едва ли не самой важной составной частью древнерусской культуры. Киев, как и во всем, был в этой области столицей, центром, законодателем и огромным университетом. Его роль была не столь интенсивной, но все же очень сходной с ролью Константинополя в искусстве Византийской империи. Различие состояло в том, что к XII веку Киев перестал быть самым могучим на Руси военным центром. Во второй половине XII века военное могущество Киева пало очень низко, однако духовная, культурная власть его над страной оставалась по-прежнему необыкновенно сильной. Не случайно каждый из русских князей, где бы он ни княжил, мечтал со временем достигнуть золотого киевского стола. Сюда устремляли свои взоры и князья Чернигова, и князья Смоленска, и князья Владимира на Клязьме, и князья Галицко-Волынской земли. Многие приходили сюда и, как это ни парадоксально, подвергали иногда Киев страшному разорению, ревнуя к киевской славе и его духовному владычеству над *Русьской* землей, стремясь унести какую-то часть этой славы в свой княжóй город, забирая с собой святыни и произведения искусства. В 1200 году особенно сильному разорению подверг Киев Рюрик Ростиславич. Но Киев оставался Киевом до самого его захвата ордами Батыя. Он возникал вновь и вновь из всех разорений и никогда не терял своей славы центра *Русьской* земли.

Конечно, в искусстве местные особенности сказывались значительно больше, чем в литературе или в других областях культуры. Объяснялось это тем, что строители зависели от местных материалов и от местных мастеров. От местных материалов зависели и художники, для которых красками служили не только привозные материалы, но и местные — особенно, когда приходилось расписывать огромные стены храмов. Некоторые производства нельзя было организовать на месте. Поэтому мозаики существовали только в Киеве. Их не было ни в новгородских, ни в псковских, ни во владимирских храмах. Но тем не менее артели строителей, художников, различных ремесленников переезжали из княжества в княжество, и этот «кочевой» характер артелей мастеров, как и «кочевой» характер средневековой интеллигенции вообще, крепил единство культуры Киевской Руси.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Наконец, скажем несколько слов о том, что особенно могущественно идейно и эмоционально объединяло русскую культуру XI—XIII веков во всех ее различных областях и отраслях. Вся *русьская* культура XI—XIII веков была во власти единого стиля — стиля динамического монументализма. Мы можем называть это явление своеобразной *стилистической формацией*,[3] которой подчинялось все искусство, вся литература, вся политическая, богословская и философская мысль, весь «стиль жизни». Корни этой мощной стилистической формации были в Византии и Болгарии — двух странах, откуда Киевская Русь получила свою духовную культуру и успешно ее развила, придав ей своеобразные черты.

Главная черта эстетической формации динамического монументализма состояла в тяготении к мышлению широкими масштабами, в попытках разрешения основных проблем бытия, в стремлении к осмыслению исторического существования *Русьского* государства, в стремлении к преодолению больших пространств, к передвижению больших масс, в ощущении красоты тяжести и красоты преодоления этой тяжести, в значительности и «вечности» образов, в том, что можно назвать «ландшафтным зрением» в литературе и взглядом как бы «из вечности» в живописи, в том, что утверждало храмы как своеобразные маяки, освещающие огромные пространства и осваивающие эти пространства своими массивными формами.

Динамический монументализм сказался и в значительнейшем из «слов» XI века — в «Слове о Законе и Благодати», в котором делалась глубокая попытка осмыслить историческое существование Руси, и в грандиозном историческом произведении рубежа XI—XII веков — «Повести временных лет», где русская история была вставлена в оправу всемирной истории и выяснялся вопрос, как и откуда пошла Русская земля. В XII веке динамический монументализм проявляется в «Слове о полку Игореве», где действие разворачивается на всем пространстве Руси — от Новгорода и до Черного моря, от Галича и Полоцка и до Волги. Тот же динамический монументализм отчетливо виден в сочинениях киевского князя Владимира Мономаха, в проповедях Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, в многочисленных летописях и т. д. и т. п.

В искусстве динамический монументализм особенно ярко сказался, разумеется, в идейном центре Руси — Киеве. Монументальны образы его храмов, образы городов, основанных киевскими князьями, всегда поставленных на крутом берегу рек над заливными лугами противоположного берега, с вереницей храмов, видных издалека всем подъезжающим по реке. Монументальностью охватывается вся страна, где города строились как своеобразные «подворья» Киева, воспроизводили Киев в своем внешнем облике, в посвящениях своих храмов Успению (по главной святыне Киево-Печерского монастыря, откуда Успенские храмы распространились по многим городам Руси — во Владимире, Ростове, Суздале, Смоленске и т. д.), в названиях ворот (как, например, во Владимире, где так же, как и в Киеве, были выстроены Золотые ворота и Медные).

Важно отметить, что отдельные линии княжеского рода стремились иметь в Киеве «свои» храмы (так, например, Кирилловская церковь XII века на Киевском Подоле была родовой церковью ольговичей).

Широкое ви́дение, свойственное искусству XI—XIII веков, Киевской Руси в целом, объединяло древнюю Русь вокруг Киева и делало искусство и литературу важным фактором сохранения единства Руси.

Люди Киевской Руси мыслили широкими масштабами, глобальными проблемами *своего* существования и существования своей *страны*, ощущали себя частицами огромной Вселенной, ориентируя свои храмы и

[3] Термин «стилистическая формация» был предложен в свое время загребским ученым проф. Александром Флакером.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

жилища по странам света, вставая «до света», чтобы не пропустить восход солнца (как этого требовал Владимир Мономах в своем «Поучении»), воспроизводя в своих храмах, в их внутреннем устройстве всю Вселенную, всю мировую историю в ее тогдашнем понимании.

В одном из своих поучений знаменитый киевский проповедник Феодосий Печерский высказывает своеобразный взгляд на произведения искусства. Он утверждает, что они созданы не столько человеком — художником, зодчим, — сколько *для* человека, *во имя* человека, *во славу* человека.

Феодосий Печерский говорит: входя в храм и поклонившись трижды до земли, следует со страхом безмолвно стать «при стене», «гласы немолчны воспевающи к Всевышнему», ибо не имеющие себе подпоры стены и столпы храмов «*нам* суть на честь сотворены».

«На честь» человеку созданы, конечно, не только стены храмов, но и все изображенное на них и все украшающее их — иконы и паникадила, утварь храма и его роскошные мозаичные полы. Отсюда — высокое представление о человеке, о его достоинстве, несуетном уме, высокой мудрости и щедрой доброте. Эти представления воплощены в образах людей на мозаиках, фресках и иконах — в их лицах, как бы озаренных внутренним светом «горнего ума», «ликования», означавшего в Древней Руси не только изображение ликов, но и торжествование, радование, а также хоровое пение. Почему именно «хоровое»? Потому, очевидно, что самым важным в существе ликов была их соборность и «собранность» в единое сообщество, их причастность к единому, составляющему мир целому.

Лицо человека, согласно «Поучению» Владимира Мономаха, — это самое большое чудо во всей Вселенной, ибо в мире нет двух одинаковых лиц: «И этому чуду подивимся, — пишет киевский князь Владимир Мономах, — как из земли созданный человек, имеет столь разнообразные лица. Если и всех людей собрать, то не все они на одно лицо, но каждый имеет свое обличье, по божьей мудрости».

Удивление перед человеческим лицом — «ликом» пронизывает собой все искусство Киевской Руси. Человек — это микрокосм, а храм — это своего рода человек. Не случайно поэтому основные части храма названы по подобию человека: окна — это очи человека (корень «окна» — око), купол — глава, поставлена эта глава храма на шее, основание храма — его подошва. А выступы в городских стенах — перси. Защитные от дождя выступы над окнами-очами — бровки. Двери домов и крепостей — их уста.

Тот же ликоподобный и человекоподобный облик имеет и мир. Солнце на миниатюрах изображается с ликом—лицом. Звезды в целом составляют лик — единое лицо и целый хор: небо венчает «лик звездный». Лик и множествен и един одновременно: это и неповторимый облик человеческого лица и вся их совокупность — лик монашеский, лик святых, лик поющих в церкви, лик и отдельных изображений и всей совокупности изображенного на стенах церкви мозаикой и фресками, икон и самих предстоящих перед ними. «Ликом», своеобразным хором была и вся совокупность *русьских* городов с Киевом как их духовной столицей.

Вот почему искусство Киевской Руси одновременно и глубоко лично и соборно. Каждый художник ощущал себя как бы выполняющим некоторую чужую, высшую волю, и имена художников поэтому в основном затерялись, хотя имена заказчиков храмов, жертвователей, ктиторов и сохранились до нас. Но не чувствуя себя инициатором-творцом, каждый художник стремился тем не менее воплотить в своих творениях нечто неповторимое, индивидуальное, показать зрителям первое диво дивной и удивительной Вселенной — разнообразие и красоту человеческих лиц.

Мы сказали — «красоту», но в чем состояла эта красота? К какому бы сословию Древней Руси или предшествующих веков мировой истории ни принадлежал изображенный, основным идеалом Древней Руси был

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

идеал воинский. Это кажется удивительным, ибо изображения до нас дошли в основном церковные и изображенные на фресках, мозаиках и иконах принадлежат главным образом к членам церкви (монахи или церковные иерархи). Но с кем сравниваются церковные деятели в сочинениях своего времени? Прежде всего с воинами. Христианские подвижники — это «воины Христовы», а потому в лицах их ярче всего отражено мужество и чувство чести, воинской чести, воинской осторожности и мудрости. Каждый праведник — это воин, совершающий подвиги. Книги для него все равно, что оружие для воина: «Красота воину оружие и кораблю ветрила, тако и праведнику — почитание книжное».[4] Вот отчего и праведники на изображениях, если они не воины, имеющие в руках оружие, стоят по большей части с книгами или свитками, как с мечами и щитами, а лица их преисполнены мудрости и мужественного спокойствия.

Объясняя идеал праведника, древнерусский книжник писал: «Любит князь воина, стоящего и борющегося с врагами, иногда получающего раны, иногда же наносящего раны противнику, — больше, чем убегающего и оружие бросающего. Так и бог сочувствует тому, кто „страдает" (трудится, — *Д. Л.*) за правду, не слабеет и борется с врагами, не заботясь о себе».[5]

Хотя идеалом святого был в той или иной степени воин, это не значит, что лики изображаемых на иконах, фресках и мозаиках однообразны. «Разнообразие человеческих лиц», отмеченное Владимиром Мономахом в его «Поучении», остается самым примечательным феноменом окружающего мира для любого древнерусского художника. И хотя художники стремятся изобразить людей, как бы познавших тайну мира, а потому мудрых, их мудрость необычайно разнообразна. Среди ликов Древней Руси есть лики мудрые страданием, мудрые знанием и книжной мудростью, мудрые мужеством и мудрые силой, мудрые жизненным опытом и мудрые дерзостью юности, мудрые смирением и мудрые пониманием других людей, мудрые предвидением будущего, мудрые добротой и мудрые просто мудростью. Нет не только двух схожих лиц, но нет и схожих человеческих индивидуальностей. Представления историков, вообразивших себе Средние века временем подавления личности, — не более чем миф, развившийся на почве самоуверенности людей Нового времени.

В истории культуры каждая стилистическая формация не была просто эстетическим явлением, результатом сформировавшихся новых вкусов, просто эстетических представлений и настроений. Эстетическая формация отвечала *нуждам* общества, нуждам народа, нации, историческим потребностям.

Эстетическая формация, которая была характерна для эпохи Киевской земли, в высшей степени точно отвечала нуждам сохранения единства народа, рассеянного по колоссальной территории, она служила целям объединения, умению видеть в малом большое и в большом единое. Эта эстетическая формация динамического монументализма создала идеал людей и человеческой деятельности, который лучше всего соответствовал потребностям обширнейшей страны. Это одно из удивительнейших явлений в истории культуры вообще.

Эстетический монументализм создал идеал людей, ценивших и любивших быстрые и долгие походы, военные успехи в защите огромной территории, умение переноситься мыслью из одного пункта *Русьской* земли в другой, мечту о перелетах — как в «Слове о полку Игореве», людей, ощущавших свое языковое и культурное единство, чувствовавших себя частью европейской культуры, трансплантировавших к себе все лучшее, что было в других странах — Балканских, соседних на Западе и

[4] Изборник Святослава 1076 г. М., 1965, с. 154.
[5] Там же, с. 581—582.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

соседних на Востоке.[6] Стилистическая формация динамического монументализма способствовала не только консолидации общенародных сил и самосознания восточного славянства, но и осознанию восточным славянством своей общности со всем человечеством — росту основ будущего интернационализма восточных славян.

* * *

Киевская Русь, ее идеалы и ее стилистическая формация, позволившая осознавать всю Русскую землю как огромное и единое целое, сыграли выдающуюся роль во всей последующей истории Руси. В XIV веке в период перед Куликовской битвой, послужившей началом освобождения Руси от монголо-татарского ига, существенное значение имело обращение к традициям эпохи независимости, т. е. к традициям Киевской Руси, — в политике, в литературе, в живописи, в зодчестве, в фольклоре, в церковной жизни и т. д. В литературе это обращение ко временам независимости Киевской Руси заметно во многих произведениях — в московском летописании, в «Задонщине», в «Сказании о Мамаевом побоище», в «Слове инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу», в поздних редакциях «Повести о разорении Рязани Батыем», в «Слове великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому» и т. д. В искусстве обращение ко временам независимости Руси сказалось в реставрациях домонгольских храмов во Владимире, в Твери, в Новгороде, в поновлениях домонгольских фресок во Владимире, отчасти в самом стиле живописи Андрея Рублева, как бы продолжающем стиль живописи XI—XIII веков.

В политике обращение сказалось в притязаниях московских князей на наследие киевских князей, в сохранении московским митрополитом титула «киевского и всея Руси» и пр.[7]

Обращение к Киевской Руси в XIV и XV веках сыграло в Московской Руси действенную роль в культурном и политическом возрождении, а в XVII веке привело в конце концов к объединению трех братских народов — великорусского, украинского и белорусского в единое государство, а в культуре — к объединению культурному, в котором относительно позднее украинско-белорусское искусство, искусство барокко, заняло свое достойное место.

* * *

Разрубленная ударами ордынских сабель и хитрой политикой разъединения, Русь и после своего распада на Украину и Великороссию оставалась единой — как остаются едиными вращающиеся вокруг невидимого центра, вокруг друг друга небесные тела.

Культуру Северной Руси все время тянуло к культуре Южной Руси — не только древней, общей, но и новой. С юга в Северную Русь проникает украинское барокко — в зодчестве, поэзии, музыке. Приезжают деятели украинской культуры, занимают ответственные посты в Русском государстве и церкви украинцы.

На русский литературный язык оказывает постоянное влияние украинский язык, украинизмы в лексике и в произношении. Обратное влияние хорошо известно — особенно в XIX и XX веках.

Историки литературы и искусства очень часто не учитывают творческого участия, творческого соседства в историко-литературном процессе

---

[6] Литература о культурных связях Руси с Востоком и, в частности, с половцами чрезвычайно обширна. Об этом писали Б. Мелиоранский, П. Зайончковский, В. Пархоменко, М. Приселков, а в последние годы В. Гордлевский и А. Робинсон.

[7] См. подробнее: Лихачев Д. С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.—Л., 1962.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

двух великих культур. Мы не просто шли вместе, — мы шли в ногу, соизмеряя свои шаги, их темп, их направление.

Россия и Украина составляли в течение веков после своего разделения не только политическое, но и культурное двуединство. Русская культура немыслима без украинской, как и украинская без русской.

Художники Д. Левицкий, В. Боровиковский, А. Лосенко, А. Куинджи происходили с Украины, а мыслима ли без них история русской живописи? В Петре Ильиче Чайковском и в Маяковском текла украинская кровь. Может быть, она текла и в Достоевском. С Украины Чехов, А. Ахматова, К. Паустовский. С Украины композиторы Д. Бортнянский и С. Прокофьев. А какое значение Украина и украинский язык и фольклор имели для Лермонтова, Некрасова, Лескова (вот кто удивительно почувствовал красоту украинской речи, украинского характера, природы, да и самого Киева!). На Украине писал Пушкин, работали И. Айвазовский, И. Вишняков, В. Антропов, Виктор Васнецов и Врубель.

Без Украины невозможна была бы вся русская культура XVII века, без Киева, Киево-Печерской лавры и Киево-Могилянской академии, без украинского барокко, без Ивана Зарудного в зодчестве и прикладном искусстве и украинского школьного барокко в литературе, в театре.

А разве можно писать историю русской поэзии XIX века не учитывая Шевченко? Возможен ли Гоголь без Украины, без широко и по-доброму повлиявшего на него украинского юмора, украинского фольклора, украинской сочной и цветистой речи?

Но ведь и Украина невозможна без России! Разве в Киеве не строили русские архитекторы? Разве не одно из лучших украшений Киева Андреевская церковь, построенная воспитанным в русских архитектурных традициях сыном петровского скульптора В. В. Растрелли? Разве не несут в себе русских градостроительных традиций многие города Украины и в первую очередь Киев? Разве может быть украинская поэзия (Леси Украинки, М. Рыльского и др.) без Пушкина, без Лермонтова и Некрасова?

Разве не воспитался Шевченко-художник в петербургской Академии художеств?

Украина — цветущая, поющая, привольная — всегда привлекала к себе сердца русских—россиян. Влекли к себе украинские степи, белые украинские хаты, вышитые украинские рушники, украинские сады и украинская мягкая речь, украинский юмор и широта украинского национального характера.

И Киев всегда вызывал чувство ностальгии у русских: как древняя столица Русской земли, как «мать городов русьских», как центр самых больших русских святынь, никогда не противопоставляемых украинским.

В Киеве при всем его национальном своеобразии есть общие градостроительные принципы с другими украинскими и русскими городами, есть отдельные здания, созданные гением тех, кто создавал Москву и Петербург, а в Москве — сколько неучтенного и незамеченного еще киевского, даже в Петербурге был уголок Киева — знаменитая церковь Покрова на Сенной площади, построенная в духе украинского барокко.

Невский проспект был увиден и описан глазами украинца Гоголя, а Киев 1918 года — глазами великоросса Михаила Булгакова.

Существует неправильное и очень распространенное мнение о том, что национальные особенности и национальные ценности зреют и крепнут в уединении, отделенные стенами от других культур. Напротив того: в оранжереях растут слабые растения, растения, не выдерживающие вольного наружного климата. Сильные культуры, к которым несомненно принадлежат и русская, и украинская, и белорусская, получают свои национальные особенности от общения между собой и с другими куль-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

турами, от взаимовлияний и взаимообщения, позволяющих творчески усваивать и перерабатывать на свой лад достижения соседей.

Будем ценить наше родство, взаимно поддерживающее нас, — оно ценно, ибо своеобразие каждого из наших народов родилось и развилось во взаимообщении, а динамический монументализм древнего Киева — стилистическая формация Древней Руси, на которой я особенно подробно остановился в своем докладе, — до сих пор сказывается в национальном характере как русских, белоруссов, так и украинцев. Сказывается и открытый характер восточнославянских культур, их связи со многими народами Советского Союза.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

А. И. ФИЛАТОВА

КИЕВСКАЯ РУСЬ В СОВРЕМЕННОМ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

Шестидесятые и семидесятые годы XX столетия стали временем актуализации жанра исторического романа. Этот процесс характерен для многих литератур мира. Значительны достижения исторического романа, например, в болгарской литературе, выдвинувшей таких мастеров жанра, как Д. Талев, В. Мутафчиева, Э. Станев, А. Гуляшки и др. Аналогичное явление характерно для литературы Польши и Чехословакии.[1] По единодушному мнению исследователей, исторический роман Л. Арагона «Страстная неделя» стал крупнейшим явлением литературы социалистического реализма во Франции. Французские и бельгийские писатели — П. Гамарра, М. Дрюон, Б. Клавель, А. Лану, Ж. Нело, Т.-П. Шаброль — в ответах на анкету об историческом романе говорят о подъеме, который переживает современный исторический роман.[2]

Художественный опыт советского исторического романа имеет большое значение для мировой практики. Однако в советской литературе исторический роман занимал далеко не одинаковое место. В 20-е и 30-е годы, когда были созданы произведения А. Чапыгина «Разин Степан», О. Форш «Одеты камнем», Ю. Тынянова «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара», Г. Шторма «Повесть о Болотникове», А. Толстого «Петр Первый», А. Новикова-Прибоя «Цусима», В. Яна «Чингис-хан», В. Шишкова «Емельян Пугачев», жанр исторического романа играл значительную роль в литературном процессе. В годы Великой Отечественной войны романы В. Яна «Батый», С. Бородина «Дмитрий Донской», А. Степанова «Порт-Артур», С. Голубова «Багратион» и др. приобрели особое патриотическое звучание. Положение изменилось в конце 40-х—начале 50-х годов, когда исторический роман стал заметно утрачивать глубину в осмыслении событий, достигнутую в предшествующие десятилетия. В наше время исторический роман вновь стал жанром, привлекающим внимание писателей и исследователей, активно участвующим в литературном процессе. В художественном постижении истории современные писатели добились значительных успехов. Исторический роман наших дней полноправно участвует в осмыслении трудных проблем, которые встали сейчас перед человечеством. Он вносит свой существенный вклад в борьбу за осуществление идеалов мира и коммунизма.

Масштабность художественной мысли и концептуальность прочтения истории характеризуют лучшие романы нашей эпохи. По сравнению с прошлым расширились идейно-тематические горизонты исторического романа, усилился интерес писателей к малоизученным событиям в жизни

---

[1] Пенчев Г. О некоторых особенностях социалистического реализма в болгарском историческом романе наших дней. (Осознанный историзм и художественное воссоздание прошлого). — В кн.: Социально-эстетическая роль литературы и искусства. М., 1972; Кузнецова Р. Р. Роман 70-х годов в Чехословакии. М., 1980.

[2] Анкета об историческом романе. — В кн.: Наркирьер Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980, с. 75—83.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

народа, более интенсивным стало исследовательское начало в работе исторических романистов. Показательно обращение к эпохам и героям, художественное воплощение которых по разным причинам не было ранее достаточно всесторонним и глубоким (Киевская Русь, древний Новгород, народовольческое движение и др.).

С середины 50-х годов началось активное освоение темы Киевской Руси. Художественное исследование этой древнейшей эпохи представляет огромный интерес. Истоки русской государственности уходят во времена Киевской Руси, — тогда закладывался и фундамент русской культуры. Киевская Русь была также колыбелью государственности, культуры и языка украинского и белорусского народов.

Надежный фактический материал и верные ориентиры в его осмыслении дают писателям советские историки-медиевисты. Чтобы нагляднее представить себе, как много сделано в этом направлении советскими учеными, приведем слова русского историка Ф. И. Успенского, характеризовавшего состояние изучения истории Киевской Руси в конце XIX столетия. Успенский писал: «На одной дороге, вводящей в историю X века, читается надпись: пойдешь по этой дороге, уйдешь в скандинавоманию, сам останешься цел, но будешь долго блуждать и забудешь свой род и племя. На другой надписи читается: эта дорога ведет в славянскую Русь, но где эта Русь находится, никто не знает; кто возьмет этот путь, потеряет коня и вооружение, на него нападут чудовища: скифы, роксолане, хазары, варяги, наконец, ему угрожает сильное вражеское нападение на днепровских порогах. Исход сего последнего неизвестен. Третьей дороги нет, а есть лишь глухое предупреждение: будешь сам искать новой прямоезжей дороги, и коня потеряешь, и себя погубишь».[3]

В фундаментальных работах крупных советских историков Б. Д. Грекова, Б. А. Романова, Б. А. Рыбакова и других исследованы сложнейшие проблемы становления и развития древнерусского государства, одного из сильнейших средневековых государств Европы.[4] Советская наука опровергла положение М. С. Грушевского об отсутствии государственного и этнического единства в Древней Руси, показала научную несостоятельность аналогичных идей, получивших развитие в современной буржуазной науке, вскрыла политические цели, которые преследуются в такого рода трудах.

Представление о культуре Киевской Руси значительно расширено исследованиями последних десятилетий. В работах Д. С. Лихачева[5] древнерусская литература впервые рассмотрена как целостная художественная система, в которой заложены многие элементы будущего ее развития. В канун юбилея Киева вышла новая книга академика Б. А. Рыбакова, подытожившая многолетнюю работу ученого по изучению славянской мифологии.[6] Вызывает значительный интерес книга украинского археолога П. П. Толочко, в которой широко использован археологический

---

[3] Успенский Ф. И. Русь и Византия в X веке. Одесса, 1888, с. 2.

[4] Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949; Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947; Рыбаков Б. А. 1) Древняя Русь. М., 1963; 2) «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1976; 3) Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972; Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси. М., 1968; Соколов М. В. Психологические воззрения в Древней Руси. — В кн.: Очерки по истории русской психологии. М., 1967; Каргер М. К. Древний Киев, т. I. М.—Л., 1958; т. II, М.—Л., 1961, и др.

[5] Лихачев Д. С. 1) Возникновение русской литературы. М.—Л., 1952; 2) Человек в литературе Древней Руси. М.—Л., 1958; 3) Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967; 4) Будущее литературы как предмет изучения. — Новый мир, 1969, № 9; 5) Художественное наследие Древней Руси и современность. Л., 1971. (Совместно с В. Д. Лихачевой); 6) Развитие русской литературы X—XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973.

[6] Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

материал, открытый во время раскопок в Киеве в 1966—1975 годах.[7] Разумеется, неправильным было бы утверждение о следовании литераторов за открытиями ученых. Писатели воссоздали образы людей далекой эпохи, приоткрыли их внутренний мир, рассказали о делах, думах, заботах. Этим они существенно дополнили исследования историков. Образное раскрытие истории, осуществляемое в историческом романе, является мощным средством формирования исторического сознания народа.

«Я негодую, когда слышу выражение: Киевская Русь, — но это же седая старина!.. Нет, Киевская Русь — это отрочество и ранняя юность наша!» — так А. К. Югов объяснил причины сегодняшнего писательского интереса к Киевской Руси.[8]

«Отрочеству и ранней юности нашей» посвящены романы А. Г. Загорного «Каменная грудь», С. Д. Скляренко «Святослав», «Владимир», Ант. П. Ладинского «Когда пал Херсонес», «Анна Ярославна — королева Франции», «Последний путь Владимира Мономаха», В. Д. Иванова «Русь изначальная» и «Русь великая», Б. Е. Тумасова «Земля незнаемая», П. А. Загребельного «Диво», «Первомост», «Смерть в Киеве», «Евпраксия», В. Шевчука «Велесич» и некоторые другие произведения. Названные книги созданы в последнее двадцатилетие.

Лучшие из этих романов активно участвуют в современной идеологической борьбе, разоблачая реакционные буржуазные концепции, утверждая идеи самобытности древнерусской государственности, культуры, литературы. Писатели логикой художественных образов подводят к мысли об единстве мирового исторического процесса, специфическими литературными средствами отвечают на вопросы о роли и месте древнерусского государства в средневековом мире, о самобытности его культуры, созданной народом.

Путь художественного освоения судеб древнего Российского государства в советской литературе был непростым и сопряженным с трудностями и с издержками. Одним из первых к рассматриваемому периоду обратился Г. В. Добржинский в романе «Владимир Равноапостольный» (1931). Опираясь на летописные факты, писатель воссоздал некоторые стороны жизни Киевского государства, передал в какой-то степени своеобразие древнерусского колорита. Однако сложный социальный процесс складывания и упрочения древнейшего русского государства не нашел у Добржинского своего раскрытия, в романе не было глубокого анализа времени. Все это повлекло за собой и неверную оценку деятельности князей Святослава и Владимира, которая рассматривалась писателем вне ее зависимости от интересов и запросов растущего государства. Владимир лишен воли, неспособен к действию, безынициативен. Слепое следование летописным источникам, опора на исследования буржуазных ученых явились причиной неудачи писателя.

Трилогия Ладинского, состоящая из романов «Когда пал Херсонес», «Анна Ярославна — королева Франции», «Последний путь Владимира Мономаха», также посвящена молодому Киевскому государству, его вкладу в мировую историю и культуру. Творческое наследие этого исторического романиста пока еще не получило сколько-нибудь подробного истолкования в литературоведении.[9] Романы Ладинского были задуманы во время эмигрантской жизни писателя. Опубликованные в СССР в конце

---

[7] Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII—XIII веков. Киев, 1980.

[8] Югов А. К. Думы о русском слове. М., 1972, с. 146.

[9] С точки зрения их исторической достоверности романы А. П. Ладинского рассмотрены в статье В. Т. Пашуто «Средневековая Русь в советской художественной литературе» («История СССР», 1963, № 1) и в книге В. В. Каргалова «Древняя Русь в советской художественной литературе. Достоверность исторического романа» (М., 1968).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

50-х—начале 60-х годов, они в силу этого не могли оказать большого воздействия на разработку этой темы в нашей исторической романистике. Однако они вошли в историю советской литературы как произведения талантливого писателя-гуманиста, отстаивающего свою мечту об осуществлении мира для народов и государств.

«Париж—Москва, 1937—1958» — так определено самим писателем место и время его работы над романом «Когда пал Херсонес»; второй роман «Анна Ярославна — королева Франции» был завершен в Москве в 1960 году, а роман «Последний путь Владимира Мономаха» был опубликован уже после смерти писателя (автор пометил дату окончания своей работы над рукописью романа 20 декабря 1960 года).[10]

Тридцать лет писатель провел в эмиграции, на родину он вернулся спустя десять лет после завершения второй мировой войны. Литературную деятельность Ладинский начал как поэт. У Ладинского был богатый запас впечатлений о жизни предвоенной Европы. Он ощущал остроту противоречий в ней, видел признаки измельчания, вырождения, но не мог найти убедительных объяснений этим процессам. Мысль Ладинского все настойчивее обращалась к Советской России. Было принято решение о возвращении на родину, но вторая мировая война разрушила планы писателя. В автобиографии, сохранившейся в его архиве, Ладинский писал: «Одна за другой выходили скромными тиражами книги, в которых изливалось одиночество, оторванность, и эта тоска по русской земле явственно проступала в самом маленьком рассказе. Вот почему тянуло к историческим темам».[11] Писатель говорит здесь о своих поэтических сборниках и других произведениях, печатавшихся во Франции. Возникновение творческого замысла трилогии относится к времени, предшествующему началу второй мировой войны, свое дальнейшее развитие он получил после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в архиве Ладинского две объемистые рукописи под названием «Анна Ярославна и ее мир» и «Владимир Мономах и его время», датированные 1942 годом.[12]

Внимание писателя не случайно привлекла переломная эпоха конца X—XI веков, когда молодое Киевское государство, создавая на пересечении многих традиций свою самобытную культуру, выходило на международную арену, поражая Европу и Византию энергией, напором, непохожестью на другие народы. В далекой истории России он ищет ответы на вопросы, поставленные мировой историей конца 30-х—первой половины 40-х годов.

Перестановка сил на мировой арене в связи с выходом на нее Киевского государства, его международные контакты, неповторимость культуры, глубочайший патриотизм русских людей, единство мировой истории, тесные связи и взаимосвязи народов — вот круг проблем, поставленных Ладинским в трилогии о Киевской Руси. Использование многочисленных источников по средневековой истории Киевского государства, Византии и Западной Европы, большой изобразительный дар писателя способствовали тому, что картина, нарисованная им, предстала в своей исторической достоверности. Последнее обстоятельство было отмечено историками. В. Т. Пашуто подчеркивает, что в романе «„Когда пал Херсонес“ блестяще развита тема византийско-русско-болгарских отношений», а в романе «Анна Ярославна — королева Франции» видны дале-

[10] Вайнштейнкер П. Л. Обсуждение рукописи неопубликованного романа А. П. Ладинского «Последний путь Владимира Мономаха». — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1964, т. XXIII, вып. 4.

[11] ЦГАЛИ, ф. 2254, оп. 1, ед. хр. 147. Имеются в виду поэтические сборники А. П. Ладинского «Черное и голубое», «Северное сердце», «Пять чувств», «Стихи об Европе», роман «Голубь над Понтом».

[12] Там же, ед. хр. 50.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

кие международные горизонты Руси. Своим трудом А. П. Ладинский опередил историков.[13]

В идейно-художественной концепции трилогии Ладинского важное значение придается мысли о многообразии и богатстве духовных и материальных ценностей, которые дает человеку жизнь. Красота природы, женская любовь, наслаждение, получаемое людьми от духовного общения и результатов своего труда, находятся в противоречии со злом, которое принимает разные обличья, самое страшное из них — войны и раздоры между народами и государствами. По мысли художника, человечество может и должно найти общий язык, чтобы договориться о мире. Роман Ладинского «Когда пал Херсонес» в первом издании назывался «Голубь над Понтом». В путешествии Анны в Херсонес после взятия города Владимиром, а затем в Киев на правах жены русского князя писатель видит осуществление миссии мира. Роман «Когда пал Херсонес» завершается словами, принадлежащими его герою: «Разве не мечтали лучшие умы человечества о золотом веке? Может быть, мои дни пресекутся еще задолго до этого счастливого времени, но настанет день, когда люди перекуют мечи на орала и народы станут жить между собой в мире».[14]

Во многих советских исторических романах прослеживаются пути формирования героя (А. Толстого, В. Шишкова, С. Злобина, М. Ауэзова и др.), исследуется историческая обусловленность его характера и его взаимоотношения с историей. Движение художественной мысли Ладинского идет в противоположном направлении. Его герои Ираклий Метафраст и Владимир Мономах — люди широко образованные, с определившимися взглядами на жизнь, получают у писателя право на свое толкование самой истории, ставшей частицей их духовного бытия. В романе «Когда пал Херсонес» взятие Владимиром Херсонеса, положение трудового люда, принятие христианства, объяснение Владимира с Рогнедой, княжеские охоты, русская природа, своеобразие архитектуры киевских церквей показаны через восприятие молодого грека. Выбор рассказчика не случаен, он продиктован стремлением писателя показать Киевскую Русь глазами чужеземца, остро подмечающими все самобытно русское.

Герой Ладинского глубоко ощущает красоту природы, любит поэзию, хорошо знает античную и византийскую литературу и философию, дружит с видными поэтами. Он склонен к размышлениям о судьбах мира, понимает, что его поколение родилось в годы бурь и потрясений. Тревогу ромеев Ираклий связывает с появлением древнерусского государства: «Странный ветер веял из скифских степей. Судьбы человечества ныне не в Риме, а на берегах Борисфена, и символ власти над миром, хрустальный, увенчанный крестом шар, трепетал в руке василевса».[15] В представлении Ираклия Метафраста изнеженные ромеи во многом уступают руссам, которые сильны своей волей к жизни и отвагой: «Посмотрите на руссов и берите пример с них! Бесстрашно они идут на смерть в сражениях, презирая щиты и всякие военные ухищрения, и считая, что умирают ради счастья своей земли».[16] Физическое здоровье, энергия, мужественность, простота внешнего облика руссов поражают Ираклия Метафраста. Сильнейшее впечатление на него производят воля, ум, решительность Владимира. В соответствии с замыслом писатель поэтизирует образы Владимира и Анны, в лирико-романтическом ореоле предстает у него молодое русское государство, только что родившееся на Борисфене.

---

[13] Пашуто В. Т. Средневековая Русь в советской художественной литературе. — История СССР, 1963, № 1, с. 89.

[14] Ладинский Ант. Когда пал Херсонес. Анна Ярославна — королева Франции. Последний путь Владимира Мономаха. М., 1973, с. 192.

[15] Там же, с. 25.

[16] Там же, с. 24.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Исторические события, как правило, Ладинский воссоздает в связи с судьбами конкретных людей, которые сами рассказывают о них, дают им собственную оценку. В «Последнем пути Владимира Мономаха» воспоминания Мономаха составляют содержание произведения и организуют огромный исторический материал. Мономах уже на склоне лет едет из Чернигова в Переяславль. В дороге он вспоминает свою жизнь — дипломатические дела, воинские походы, охоты. Например, одна из глав открывается словами: «Мономах вспомнил, что Гита часто ездила по переяславской дороге, смотрела на эти дубы — то в зелени листвы и отягощенные желудями, то в зимнем уборе». Этот зачин является своеобразным введением к истории Гиты и ее родины, завоеванной норманнами. Начало двадцать шестой главы: «Каждый думал о своем в этом долгом зимнем пути под заиндевевшими дубами» — также служит введением к целой цепи воспоминаний о прошедшем. Принцип субъективированного повествования играет важную роль и в других романах Ант. Ладинского. В своих русских героях Ладинский, как и в людях вообще, ценит крепкие кровные связи с родной землей, которые не ослабевают за годы долгой разлуки с ней. Не случайно, конечно, трилогия Ладинского завершается знаменитыми словами летописной легенды: «Лучше лечь костьми в своей земле, чем прославленному жить на чужбине».[17]

Рисуя образ дочери Ярослава Мудрого Анны, ставшей королевой Франции, Ладинский выделяет в ее характере глубокую и подлинную любовь к Родине, которую она сохранила на всю жизнь. Весьма многозначителен эпизод: государственные грамоты Франции Анна подписывает своим именем, начертанным по-славянски, — «Ана Реина». Она старается сохранить киевские традиции в быту, в одежде, знакомит французов с русской культурой, рассказывая о Киеве, его истории, литературе, искусстве. Ладинский пишет: «Иногда Анна вспоминала на таких собраниях северные саги или песни старых гусляров, услышанные на киевских пирах. Их запоминали менестрели, и кое-что сохранилось в их стихах. Сама не подозревая, Ярославна сеяла на французской земле русские семена».[18]

Небезынтересно заметить, что С. Н. Марков, изучавший древнерусские элементы в «Песни о Роланде», высказал предположение о причастности Анны Ярославны к созданию знаменитого французского эпоса. Исследователь ставит вопрос: «Откуда в „Песни о Роланде“, родившейся во время Анны Ярославны, появились земля полян, печенеги, лютичи, русы, угличи..?» По его мнению, французский поэт мог получить эти сведения при дворе Анны: «Представляется совершенно несомненным, что годы жизни Анны Ярославны во Франции оставили зримый след в великой поэме о рыцаре Роланде. Настало время высказать вполне законную догадку о том, что безвестный слагатель „Песни“, будь это Турольд или кто другой — слышал рассказы Анны Ярославны о ее далекой родине и окружавших Русь странах и их народах».[19] Марков и Ладинский независимо друг от друга пришли к сходным выводам.

Написанные поэтом, исторические романы Ладинского имеют лирико-романтическую окраску. Ладинского интересует больше всего человеческая сущность героев, их духовная жизнь. Социальный анализ не является сильной стороной писателя, социальные аспекты у Ладинского несколько приглушены. Есть в его романах отдельные исторические неточности. В романе «Последний путь Владимира Мономаха» имеются страницы, напоминающие исторические справки, в которых перечисляются факты, имена, названия. Смерть писателя оборвала работу над ру-

[17] Там же, с. 851.
[18] Там же, с. 365.
[19] Марков С. Н. Вечные следы. М., 1973, с. 17.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

кописью, которая оказалась незавершенной.[20] С. П. Злобин в рекомендации, данной Ладинскому для вступления в Союз писателей, заметил, что «книг, в которых так поэтически была изображена русская история, в советской литературе мало, и поэтому произведения Ладинского являются ценным вкладом в многообразие советской литературы».[21]

В отличие от насыщенных лиризмом романов Ладинского романы С. Д. Скляренко «Святослав», «Владимир» — большие социальные полотна. Обращение украинских писателей С. Д. Скляренко, а позднее П. А. Загребельного и В. Шевчука к рассматриваемой нами теме органично. Работа писателей, представляющих различные национальные литературы, над воплощением своей единой предыстории имеет большую политическую значимость. Она является еще одним свидетельством теснейших связей между советскими литературами.

Жизненный и литературный опыт Скляренко, его позиции художника социалистического реализма обусловили подход к историческому материалу, существенно отличный от подхода Ладинского. Скляренко поставил перед собой задачу художественно проанализировать ход исторического процесса, в результате которого Русь превратилась в сильное и развитое средневековое государство. В одном из публицистических отступлений в романе «Владимир» он пишет, разъясняя свой замысел: «Нет, не только сын рабыни, князь Руси стал василевсом, — Русь, которую до того называли языческой, рабской, становится наравне с Византией, с германской империей. Никто и никогда уже не посмеет называть ее так. То, чего достиг Владимир, достигла Русь, ее люди».[22]

В конце 40-х и первой половине 50-х годов исторический роман тяготел к роману с центральной фигурой крупного государственного деятеля (В. И. Костылев — «Иван Грозный», В. И. Язвицкий — «Иван III — государь всея Руси», А. К. Югов — «Ратоборцы» и др.). Принципы романа-биографии использованы и С. Скляренко, однако творческое внимание автора почти равномерно распределилось между историческими деятелями и героями из народа, воссозданными воображением автора на основе скупых летописных упоминаний. В многоплановом историческом повествовании писатель воспроизвел картины жизни, полной динамики и борьбы. В романах Скляренко описаны две семьи: княгини Ольги и старейшины рода Анта. Судьбы трех поколений рассмотрены писателем. Он воссоздает жизненные пути Ольги, Святослава, Владимира, прослеживает судьбы Анта, его сыновей (Микулы, Бразда, Сварга), рисует образы представителей третьего поколения этой семьи (Малуши, Добрыни, Гордея).

Достаточно широко пространство, на котором развертываются события. Действие романов Скляренко происходит в Киеве при Ольге, при сменивших ее Святославе и Владимире, в Любече, в селе Будутин и далеко за пределами Киевского государства. Княжеские терема на Горе, кузница Сварга, бедняцкая хижина Микулы в Любече, картины воинского быта в дружине Святослава, многочисленные батальные сцены, народные праздники, тризны, крещение киевлян и расправа над Перуном — все это образует обширную панораму жизни Киевского государства. Талантливый художник Скляренко воссоздает цепь эпизодов, событий, судеб, которые скупо освещены в «Повести Временных лет», в византийских хрониках, в сочинениях историков.

---

[20] Справедливая оценка романа «Последний путь Владимира Мономаха» дана в статье А. П. Каждана «Последний роман А. П. Ладинского». А. П. Каждан готовил рукопись Ладинского к печати. См.: Ладинский А. П. Последний путь Владимира Мономаха. М., 1966, с. 5—14.

[21] ЦГАЛИ, ф. 2254, оп. 1, ед. хр. 150.

[22] Скляренко С. Владимир. М., 1961, с. 435.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

В характерах героев из народа писатель выделяет те нравственные черты, которые сохранились в духовном облике народа и, пройдя через века, составили основу народного характера (любовь к Родине, к земле, тяга к труду, жизненная стойкость, внутренняя чуткость). Образы Микулы, Малуши, Добрыни, проходящие через оба романа, представляют собой попытку автора воссоздать сложный духовный мир простого человека, живущего на рубеже X и XI веков. В «Повести Временных лет» есть краткая запись: «Владимир же был от Малуши — ключницы Ольгиной. Малуша же была сестра Добрыни; отец же им был Малк Любечанин, и приходился Добрыня дядей Владимиру».[23] Строки летописи дают толчок авторской фантазии. Образ Малуши является одним из наиболее психологически разработанных образов. В ее судьбе Скляренко увидел трагедию социально-неравной любви. Она повторится в истории много раз, будет художественно закреплена в народной поэзии. А. И. Белецкий указал еще на один источник, подсказавший писателю данное художественное решение, заметив, что в истории Малуши «есть нечто общее с героинями поэм Т. Г. Шевченко».[24]

Скляренко стремится выделить прогрессивное начало в деятельности русских князей. В отличие от Г. Добржинского («Владимир Равноапостольный») и Ю. Опильского («Иду на вы») он сумел показать социальный процесс складывания древнерусского государства во всей его сложности и противоречивости. Ольга, Святослав, Владимир собирают русские земли, успешно ведут дипломатические переговоры, заявляя о престиже своей страны. Княгиня обладает недюжинным умом, она верно оценивает сильные и слабые стороны Византии. Осознание Ольгой силы и могущества государства, которое она представляет, чувство собственного достоинства диктует ей ее знаменитый ответ ромеям, зафиксированный в летописи под 955 годом: «Ну, подождите, — зло ответила княгиня, глядя в окно, — приедете вы в Киев, постоите у меня на Почайне, якоже аз на Суде...» [25]

Естественно, что писатель не мог обойти летописных рассказов о мести Ольги древлянам. В романе Скляренко Ольга сама объясняет причины ее расправы с древлянами: «Люди говорили, будто я мстительная, злая. Но не месть, а страх за наши земли, за Русь, вел меня к древлянам. Стоило отпасть от нас древлянам — иные племена наши могли содеять то же. И, может, не было бы днесь и Руси!» [26]

Вполне справедливо наблюдение А. И. Белецкого, заметившего, что «Святослав» Скляренко приближается «по типу» к жанру большой эпической формы.[27] Эпическое повествование у Скляренко прерывается лирико-публицистическими отступлениями. К сожалению, не все заблуждения исторической романистики прошлых лет преодолены писателем: мы имеем в виду элементы идеализации и модернизации. Последняя коснулась прежде всего тех глав, где изображается внешнеполитическая деятельность русских князей, в частности отношения Святослава с Болгарией. На этих страницах Святослав обнаруживает политическую зрелость современного нам прогрессивного деятеля. К примеру, Святослав говорит Борису, кесарю Болгарии, объясняя свои походы в его страну: «И не за вас, кесарей... болит у меня сердце, болит оно за Болгарию. Сильной хочу ее видеть, знаю — великие сокровища собрали ка-

---

[23] Повесть Временных лет, ч. I. М.—Л., 1950, с. 247.
[24] Белецкий А. И. Семен Скляренко и его роман «Святослав». — В кн.: Скляренко С. Святослав. М., 1968, с. 13.
[25] Скляренко С. Святослав, с. 194.
[26] Там же, с. 398.
[27] Белецкий А. И. Указ. соч., с. 19.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ганы. Не за данью я сюда пришел — хочу, чтобы Болгария сохранила свои сокровища».[28]

Дилогия Скляренко стала значительным явлением советской исторической прозы. Важные этапы древней киевской истории получили в романах Скляренко убедительное художественное истолкование, опирающееся на научное понимание закономерностей исторического процесса и глубокое изучение исторических источников.

Произведения Ладинского и Скляренко, естественно, далеко не исчерпали всего богатства сюжетов и тем, которые содержала история древнерусского государства. Художественное освоение этого пласта исторического материала продолжается.

Творческая задача, которую поставил перед собой В. Д. Иванов в романе «Русь Великая», заключается в сопоставлении различных исторических путей с тем, каким пошла Русь, чтобы стать крупнейшим средневековым государством. Писателю важно передать своеобразие течения истории в той или иной стране. Многочисленные эпизоды, воссоздающие образ жизни страны или народа, цементируются авторской мыслью, писательским раздумьем об исторических силах, определяющих судьбы народов. По мысли В. Д. Иванова, в формировании государства с самобытной культурой немалую роль играет общий язык: «Не речные дороги, а общее слово-глагол сотворило единство славянского племени. Повторим же еще: не Днепр, не Ильмень были русской отчизной. Русская отчизна — Слово-Глагол. Пусть в одной части земли иначе звучало окончание слова, пусть в другой по-своему ударяли на слог, пусть один чокал, другой — цокал. И родные братья бывают разноволосы. В русских словах — общая кровь».[29]

Вспомним в этой связи высказывание знатока Киевской Руси академика Б. Д. Грекова, отводившего важную роль в становлении и развитии ее культуры русскому литературному языку: «Для истории русской культуры важно подчеркнуть еще одно обстоятельство. Русский литературный язык, при наличии особенностей народных говоров, прочно внедрялся на всей огромной территории Руси. От холодных берегов северных морей до согретого жарким солнцем Черного моря, от Карпат до Волги и Оки, — где только ни жил русский человек, в юридических ли документах, в исторических ли повествованиях, в стихах или прозе, звучал тот же точный, гибкий, интимный и образный язык».[30]

В романе В. Д. Иванова множество диалогов, размышлений, споров. Его герои склонны к философским раздумьям: они пытаются понять, объяснить действительность, опираясь и на современные им представления о ней, и на суждения философов и историков предыдущих веков. Немалое значение в писательской концепции приобретает мысль о теснейшей связи времен, исторической преемственности как залоге дальнейшего развития. Поэтому в «Руси Великой» детально обосновывается и последовательно развивается идея о важности, значимости, устойчивости традиций, на которые опирается Киевское государство.

В сознании современников Владимира Мономаха живет образ его прапрадеда Святослава. Герои романа В. Иванова вспоминают о нем не раз. Ростислав говорит греку Склиру, что «земля полна сказов о Святославе». Святослав вошел в народную память князем, положившим начало решительной борьбе против кочевников. Боярин Стрига просит передать Мономаху, что он удержит Киятин: «И еще скажи — нужно прапрадеда его, князя Святослава, из могилы поднять», потому что «нет и не будет покоя Руси, пока не пойдем в степь по-святославски».

[28] Скляренко С. Святослав, с. 461. Исторические ошибки С. Скляренко проанализированы в уже называвшейся статье В. Т. Пашуто.
[29] Иванов В. Д. Русь Великая. М., 1967, с. 7.
[30] Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1949, с. 393.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Ощущение теснейших связей современной для героев действительности с давно минувшими временами, переданное авторами «Повести Временных лет», характеризует и героев «Руси Великой». Жители Тмутаракани пытаются измерить, сколько земли наросло у стен храма, который построил Мстислав в честь своей победы в поединке с Редедей (рассказ этот записан в летописи под 1111 годом), рассуждают, сколько людей отжило до них в Тмутаракани.

Факты, изложенные в летописи, воспринимаются героями как повествование о давно минувшем, но хорошо известном. Для Владимира Мономаха летописный рассказ о белке, которую хазары брали в качестве дани, — старая притча. О прошлом, отразившемся в воспоминаниях отцов и дедов, в летописных сказаниях, преданиях, легендах, песнях, герои В. Д. Иванова говорят много и с большим почтением, отдавая дань уважения нелегкой, но героической жизни своих предков: «На старые наши могилы просится справедливая, простая надпись: они сделали все, что могли. Дай бог и другим такую же память!» [31]

Устойчивость обрядов и привычек, вошедших в народный обиход, по мнению писателя, свидетельствует о жизнестойкости народа. Рядом со Словом-Глаголом писатель ставит «Князя великого именем — Обычай!» Изображая сцену свадьбы дочери английского короля Гиты и Владимира Мономаха, В. Д. Иванов подчеркивает древность традиции свадебного обряда и для этого времени: «С какого-то давна принято на Руси величать новобрачных княжеством, какого бы ни были они звания. Когда началось, с чего пошло? С того же предка, с того же явленья родоначальника, с отца-матери, их помнят потомки, вступая в брак, чтоб совершить Закон».[32]

Если С. Скляренко, как уже говорилось ранее, исследуя человеческие судьбы, стремится показать, как изменились лица, социальное положение и психология людей, то Иванов, обратившись к несколько более позднему периоду (времена Святослава и Владимира для его героев уже далекое прошлое), пытается выявить, проверить ценность традиций, понять смысл уроков, которые преподала предшествующая киевская история. Поэтому в его романе упор сделан, напротив, на изображение прочности бытия, традиций, обычаев. Разумеется, постановка такой творческой задачи правомерна, но ее решение сопряжено с необходимостью показать сложные диалектические отношения между определившимся укладом, традицией, этикетом и развивающейся жизнью, вносящей свои изменения. Второе звено у писателя оказалось несколько ослабленным. Нельзя не заметить, что писатель недостаточно внимателен к внутренним социальным и классовым конфликтам древнерусского общества, несколько затушевывает их. Это последнее обстоятельство было отмечено В. Каргаловым, В. Канторовичем и В. Оскоцким.[33]

Особый характер творческого замысла В. Д. Иванова вызвал многочисленные описания различных стран и народов, их жизненных укладов, особенностей восприятия, обусловленных целой системой факторов, а это, в свою очередь, заставило обратиться к панорамному описанию, которое было характерно и для летописцев. Весьма активна в романе «Русь Великая» роль автора. У Ант. Ладинского голос автора сливается с голосом героя. В романах С. Скляренко автор иногда, нарушая ход повествования, заглядывает в будущее, сообщает о том, что произойдет десятилетия спустя: «А дитя спало. Мог ли тогда кто-либо подумать, что пройдет семьдесят пять лет — и дряхлый немощный Ярослав убежит

[31] Иванов В. Д. Русь Великая, с. 121.
[32] Там же, с. 295.
[33] См.: Каргалов В. В. Московская Русь в советской художественной литературе. М., 1971; Канторович В. Я. «Острова», а не «материки». — Вопросы литературы, 1971, № 4; Оскоцкий В. Д. Роман и история. М., 1980.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

сюда, в Вышгород, и умрет здесь, в мрачной темной крепости, где так радостно начиналась ныне его жизнь?»[34] В других случаях Скляренко высказывает свою точку зрения на события, оттеняя в них то общее, что объединяет прошлое с настоящим, или, скажем, вступает в полемику с историками и выдвигает свою гипотезу. В. Д. Иванов широко пользуется средствами художественной публицистики, излагает свои мысли, ставит вопросы, на которые пытается дать ответ, воспроизводя отдельные эпизоды из истории Руси. Примечательно, что в произведениях Иванова нет героев, которые проходили бы путь становления. Герои «Руси Великой» — уже сложившиеся люди. Они пытаются понять судьбы своей родины. По мысли историка В. Каргалова, «Русь Великая» интересна прежде всего тем, что насыщена острыми проблемами, наталкивающими на размышления. Эта особенность книги Иванова позволила исследователю увидеть в «Руси Великой» «роман-раздумье», «роман-поиск» ответов на большие вопросы истории.[35]

Относительно позднее обращение советских исторических романистов к данному пласту прошлого позволило им опереться на большой опыт, накопленный к тому времени исторической прозой. Скляренко стремится раздвинуть рамки романа-биографии с тем, чтобы вместить в них процесс рождения Киевского государства. Ладинский создает лирически окрашенные романы-монологи. В. Д. Иванова привлекает публицистический роман, который он насыщает актуальными проблемами.

В художественное освоение темы Киевской Руси свой вклад внес П. А. Загребельный. По его романам «Диво», «Смерть в Киеве», «Первомост», «Евпраксия», написанным в 70-е годы, можно проследить направление современной художественной мысли, осваивающей традиционный исторический материал. Писатель учитывает достижения своих предшественников, но отстаивает свою, иную манеру творческого видения прошлого. У героя романа «Русь Великая» В. Д. Иванова закрадывается сомнение в справедливости утверждений летописцев, связывающих всю сознательную деятельность с именами князей: «Говорили, что князь Ярослав строил храмы, будто бы мог он что-то построить без общей воли, и не одних киевлян, но и других русских».[36] Летописец Ярослава Мудрого Кузьма (герой романа Б. Е. Тумасова «Земля незнаемая») задумывается, «отчего он, Кузьма, в своем летописании все о князе да о князе речь ведет? Прочитает через многие лета человек его, Кузькины, пергаментные списки и скажет: „Али народа-то в те времена не было?“».[37] Приведенные примеры грешат модернизацией мышления героев. Однако в них своеобразно выразилось ощущение писателями настоятельной потребности изобразить народную жизнь в самых отдаленных ее истоках. В. Иванов и Б. Тумасов только упомянули те проблемы, которые станут главными для П. Загребельного.

Говоря о замысле своих романов, посвященных Киевской Руси, писатель заметил, что ему хотелось «осуществить своеобразные художественные исследования народных судеб, каждая из которых не утратила своего значения и сегодня». Развивая свою мысль дальше, Загребельный следующим образом сформулировал основные проблемы всех четырех романов. «Диво» — это «судьба таланта», «Смерть в Киеве» — «судьба государственной идеи», «Первомост» — «судьба народного сооружения», «„Евпраксия“ же роман о судьбе человека... роман о женщине, о трагедии разлуки с родной землей, о трагедии утраты любви».[38]

---

[34] Скляренко С. Владимир, с. 268.
[35] Каргалов В. В. Московская Русь в советской художественной литературе, с. 10.
[36] Иванов В. Д. Русь Великая, с. 40.
[37] Тумасов Б. Е. Земля незнаемая. Краснодар, 1972, с. 297.
[38] Дружба народов, 1979, № 8, с. 142.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

В романах Загребельного по сравнению с его предшественниками много нового. В них широко воссоздана народная жизнь, более разносторонне и с большей психологической глубиной раскрыты характеры, в социально более точном плане решена проблема взаимоотношений раннефеодального государства и личности, искусства и народа, искусства и государства.

Загребельный является противником романов-хроник. Более перспективной ему представляется форма сюжетного исторического романа. Его произведения отличают настойчивые поиски сюжетно-композиционных решений, которые дают возможность приблизить историю к современности, сделать повествование напряженным, а главное — способствуют более всестороннему раскрытию человеческих индивидуальностей. Идейный замысел романа «Диво» сформулирован в эпиграфе к книге, взятом из стихотворения Б. Брехта:

Кто построил семивратные Фивы?
В книгах стоят имена королей,
А разве короли ломали скалы
И таскали камни?

Пафос романа Загребельного — в утверждении мысли о самобытности русской государственности, русской культуры. Эти идеи, реализованные в художественных образах, играли немаловажную роль и в структуре романов Ладинского и Скляренко. У Загребельного же они приобрели новые акценты. Писатель не сглаживает противоречий и трудностей в сложном процессе становления Киевского государства.

Если Скляренко важно было показать прогрессивность принятия Русью христианства, то внимание Загребельного привлекает нелегкий и небескровный путь приобщения народа к новой религии. Загребельный более чуток к острым социальным конфликтам. В романе «Диво» показан трудный процесс ломки сознания. Принятие христианства сопровождалось многими трагедиями, насилием, кровью. Родима, одаренного художника, лепившего глиняные фигурки языческих богов, убивают, потому что он «размножает поганских идолов, чем вносит смуту в души христианские».

Осуществление замысла романа, в котором главным героем должен стать народ, создающий государство, его традиции, его культуру, требовало, разумеется, художественной структуры произведения, отличной от произведений предшественников Загребельного. Фигуры киевских князей у Загребельного вынесены на периферию повествования. Писатель чужд всякой идеализации образов этих героев.

Древнейшие рассказы об Ольге, Святославе, Владимире, зафиксированные авторами «Повести Временных лет», представляют собой, по мнению ученых, народно-поэтические произведения, которые своими корнями уходят в обрядовую поэзию. Современные исследователи (Д. С. Лихачев, В. К. Соколова и др.) связывают сказание о мести Ольги древлянам со свадебным обрядом, со сказками о мудрой деве. По-разному эти предания интерпретируются художниками, как уже было сказано выше. Ладинский учитывает, что исторические факты, положенные в основу преданий, трансформировались, пройдя через призму народной фантазии, поэтому к оценкам, содержащимся в них, он подходит с большой осторожностью. Под сказочно-фантастическую основу предания Скляренко пытается подвести социальную базу. Загребельный исходит из признания народной точки зрения, выраженной в предании, с которой он солидаризируется: древляне, чей город Искоростень Ольга подвергла жестокому разрушению, видят в ней жестокую и несправедливую женщину, нечестно поступившую с Малом. И Владимир, и Ярослав Мудрый, осу-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ществляющие исторически прогрессивное дело, — жестокие феодальные правители.

Все сюжетные линии (а их немало в «Диве») стягиваются к образу Софии Киевской, собора, рожденного к жизни в XI веке талантом Сивоока. Действие романа развивается в трех временных плоскостях: Киевская Русь 992—1037 годов, Киев дней Великой Отечественной войны, советская действительность 60-х годов. Самый принцип совмещения различных эпох не нов для советской прозы (О. Форш — «Одеты камнем», Л. Леонов — «Русский лес», М. Булгаков — «Иван Васильевич», «Мастер и Маргарита» и др.). Перенесение действия из эпохи в эпоху призвано подчеркнуть неразрывность времен, преемственность социально-нравственных исканий народа, непреходящую ценность его творений.

С Софией Киевской связаны судьбы зодчего Сивоока, советских ученых — отца и сына Гордея и Бориса Отавы, посвятивших свою жизнь изучению творения древнерусского гения. Развертывая действие то в XI веке, то в современности, писатель строит многоплановое повествование, в котором решаются проблемы, обусловленные действительностью XI века, и вместе с тем обсуждаются вопросы, которые ставят наши дни. Этим расширяются границы исторического романа, яснее оттеняется мысль о непрерывности истории, о связи времен.

Сивоок является в романе Загребельного героем, судьба и характер которого дают писателю возможность показать закономерности становления национально-самобытной древнерусской культуры, рассказать о роли народа в ее создании, выяснить, в чем сила и своеобразие произведений древнерусского искусства, одним словом, поставить целый ряд проблем исторического бытия народа.

Образ Сивоока — одна из значительных удач Загребельного. Психологическая и жизненная достоверность образа достигается писателем благодаря тому, что он не побоялся заглянуть в противоречивый внутренний мир героя, которого он заставил пройти по трудным дорогам своего переломного века, когда в жесточайшей борьбе рушились традиционные представления.

Сивоок — древлянин. В его сознание крепко запали с детства образы Перуна, Световида, Велеса, Сварога. Еще раз он окунется в языческую стихию в Радогости, где будет изучать под руководством мудрой Звениславы цветы и травы. Христианство входит в жизнь Сивоока личной трагедией, так как связано с гибелью при насильственном крещении самых дорогих для него людей. Нелегкая судьба Сивоока (после драматических перипетий на родине он оказывается в болгарском монастыре, принимает крещение, попадает в плен к ромеям; во время ослепления болгар Василием Болгаробойцей он случайно спасается, затем живет в Константинополе, работая у зодчего Агапита) отразила судьбы многих русских людей того времени. Жизнь Сивоока определила особенности художественного мышления создателя Софии Киевской (Сивоок по приглашению Ярослава Мудрого вместе с другими мастерами едет в Киев). Сивоок сумел соединить в своем замысле поэтическую народную языческую культуру с опытом византийского зодчества. Но прежде всего им руководит глубокая любовь к родине, окрепшая в годы скитаний. В романе противопоставлены две точки зрения на то, какой быть Софии Киевской, — княжеская и народная, Ярослава Мудрого и Сивоока. Князь думает о соперничестве Киева и Константинополя, Сивоок же хочет построить церковь, которая бы прославила русскую землю. В Софии Киевской должна найти свое осуществление мечта Сивоока об идеале, последний же включает в себя те эстетические ценности, что с детства вошли в мироощущение Сивоока: «...снова вставала перед глазами дивная церковь, он видел ее всю снаружи и изнутри, стояла она яркой писанкой из далеких лет его детства; собственно, была это и не церковь, а образ его земли, кото-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

рый родился из давних воспоминаний и из новой встречи с Киевом, образ, пролетающий, будто дыхание ветра в осенней листве, будто наполненные птичьим щебетом рассветы, будто золотистая молчаливость солнца над белой тишиной снегов».[39]

Исторические и современные сюжетные линии в романе «Диво» слиты органично: они необходимы для реализации писательского замысла. Идея непреходящей значимости истории и неотъемлемой ее части — творений искусства, созданных безвестными гениями, выдвинутыми народной средой, получила здесь яркое художественное воплощение. Роман «Диво» во многом произведение новаторское, оно вобрало в себя богатейший опыт советской прозы последних десятилетий.

Исторические романы Загребельного не однотипны. Писатель ведет каждый раз художественные поиски такого исторического повествования, в котором открывались бы широкие возможности для изображения народной жизни, для воссоздания народной точки зрения на исторические события.

Загребельный обладает завидным творческим воображением, которое помогает ему создавать выразительные образы людей из народа, изображать народный быт и обычаи, народную психологию. Является он также мастером острого сюжетного построения. Эти стороны его таланта полнокровно раскрылись в романе «Первомост». В этом романе все герои, за исключением некоторых эпизодических лиц, вымышлены писателем. Образы Мостовика, Шморгайлика, Стрижака, Маркерия, Светляны жизненны и достоверны. Они представляют различные социальные круги, в героях воплощено многообразие человеческих характеров и типов.

Краткая летописная запись о строительстве Владимиром Мономахом моста через Днепр около Киева стала толчком для создания современно звучащего произведения. Первомост, с которым связаны судьбы всех людей, слобода Мостище вырастают в романе в символ, олицетворяющий творческие силы народа, его настоящую любовь к родине, глубокую верность ей. Первомост — великое народное сооружение — гибнет в огне. Его сжигают мостищане вопреки воле воеводы, вопреки предательству Стрижака и Шморгайлика, сжигают, чтобы по нему не прошли в Киев войска Батыя. Сцена гибели Первомоста вызывает ассоциации со многими более поздними событиями русской истории. Завершают эту картину раздумья писателя о духовном наследии, оставленном мостищанами потомкам: «И, ошеломленные свалившимся на них горем, они слепо, чуть ли не на ощупь, отступали туда, откуда пришли то ли они сами, то ли еще их пращуры, — углубились в древние леса, утонули там и умерли, но не все умерло с ними, остался после них непреоборимый дух, и новые поколения взяли его себе в дорогу, когда отправились искать манящий берег надежд, и только им было суждено перебросить мост через горе и беду, через лихолетье, огонь, отчаяние и муки, и ничто их не пугало и не останавливало, потому что этот берег должен быть вечной свободой на своей земле, прекраснейшей и сладчайшей земле на свете».[40]

Загребельный отрицает путь беллетризации летописных сообщений. Он исходит из мысли о политических и личных пристрастиях летописца, отразившихся в его оценках событий и людей. Поэтому писатель ставит перед собой нелегкую задачу снять различного рода напластования и добраться до зерна истины: «Но избираешь путь иной, трудный: полемику с летописью, путь переосмысления фактов и событий, иногда канонизированных в трудах историков и писателей. Я пытался воссоздать не

[39] Загребельный П. Диво. М., 1976, с. 594.
[40] Загребельный П. Смерть в Киеве. Первомост. М., 1977, с. 773.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

только быт, обстановку, политическую и нравственную атмосферу того времени, но и психологию наших предшественников».[41]

Мотивы следствия, поисков истины, характерные для многих произведений современной прозы, заняли немалое место в романе Загребельного «Смерть в Киеве». «Ради истины человек ничего не должен бояться» — в это твердо верит лекарь Дулеб, которого писатель заставляет на собственном опыте убедиться в трудности и вместе с тем в необходимости достижения истины.

«Смерть в Киеве» — роман, в котором видную роль играет Юрий Долгорукий. Образ этого князя уже не раз привлекал внимание писателей. В творческую задачу Г. П. Блока, автора повести «Московляне», и Д. Е. Еремина, написавшего роман «Кремлевский холм», входило изображение процесса рождения на северо-востоке Руси сильного государства. И естественно, Юрий Долгорукий в этих произведениях представлялся прежде всего как основатель Москвы. В изображении Блока Юрий Долгорукий — умный, энергичный феодальный властелин, который ведет решительное наступление на боярство, прибирая к рукам земли, укрепляя северо-восточную Русь. Он говорит Кучке: «Наперед волю мою выслушаешь. Вотчины твоей больше нет. Моя — вся земля, куда ходила коса и секира. Мои — все угодья, моя — вся челядь».[42]

Юрий Долгорукий в изображении Еремина — тонкий дипломат, стремящийся объединить под своим влиянием всю Русь. Рядом с ним в романе стоит образ Даниды-книжника, философа-гуманиста, созданный писателем не без воздействия «Моления Даниила Заточника».

В романе «Смерть в Киеве» Загребельный предпринимает художественное исследование сложных отношений Юрия Долгорукого с Киевом. История борьбы Долгорукого с Изяславом Киевским подробно освещена в Ипатьевской летописи, симпатии летописца отданы Изяславу, Юрию Долгорукому же дана отрицательная оценка. Летописная трактовка этих событий и отношение летописца к основанию Москвы были восприняты буржуазной историографией. Загребельный, разъясняя замысел своего произведения, писал: «Боярство и церковники всячески мешали Долгорукому в его деятельности, выставляя против него таких послушных им князей, как Изяслав Киевский. Они не останавливались перед тягчайшими преступлениями, лишь бы только опозорить Долгорукого, не допустить его в Киев. Сложилось так, что об этом периоде наши летописцы дают самые подробные сведения... После внимательного сопоставления фактов и очищения их от наслоений, пристрастных оценок и несправедливых суждений эта 800-летняя история прочитывается сегодня как еще одно из свидетельств об извечном стремлении народов нашей необъятной страны жить в дружбе, согласии и единстве».[43]

И действительно, вчитываясь в строки летописных рассказов, Загребельный стремится за давними оценками разглядеть политические причины, обусловившие их тенденцию и характер, и по-современному расставить социальные акценты.

Как и роман «Диво», «Смерть в Киеве» — произведение, в котором исследуется народная жизнь в ее своеобразии и неповторимости. Потомок славянского племени Дулеб, лекарь, который воспринял свое искусство от предков, наделен от природы острым умом, чувством справедливости, честности. Он призван олицетворять в романе Загребельного исконное стремление народа к правде, справедливости, бескомпромиссности оценок. Изображая в романе судьбы Дулеба, его приятеля Иваницы,

---

[41] Загребельный П. Идея — зерно произведения. — Вопросы литературы, 1974, № 1, с. 220.

[42] Блок Г. П. Московляне. М., 1965, с. 42.

[43] Загребельный П. Смерть в Киеве. Первомост, с. 7.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

кузнеца Кричко, считающего, что надо уметь слушать голос Киева, писатель выявляет в их характерах народные нравственные начала.

Как уже говорилось ранее, мотив поисков истины играет в романе немалую роль. Изяслав поручает своему лекарю Дулебу расследовать смерть в Киеве, найти убийцу князя Игоря. Предполагаемые преступники бежали к Юрию Долгорукому. Сложнейшая цепь событий, встречи со многими людьми заставляют Дулеба и его товарища Иваницу убедиться в ложности версии убийства, бросающей тень на Долгорукого, и обнаружить его настоящих вдохновителей. Дулеб, пристально следивший за Долгоруким, открывает в нем князя, радеющего о судьбах русских земель и пытающегося их сблизить друг с другом. Главным в сложной деятельности Долгорукого, как это показано Загребельным, было стремление объединить русские земли, сдружить соседствующие народы. Свою точку зрения писатель сформулировал в пространной характеристике героя: «Много лет княжил он на Суздальской земле, молчаливый, загадочный, неприступный, строил здесь города, собирал людей, чинил суды, устанавливая правды. Он был чувствителен к малейшей несправедливости и потому после смерти отца своего, Мономаха, каждый раз, как только ему становилось известно о какой-нибудь кривде, причинявшейся Киевом, бросался на юг, чтобы помирить, сдержать, усовестить, стоял со своими суздальскими полками как немой упрек и как надежда для всех тех, кто еще верил в золотой век для русских земель, тот вожделенный золотой век, который, по преданиям, когда-то приближался к этому народу, но каждый раз исчезал куда-то в безвесть, не исчезая, однако, навеки».[44]

Может показаться, что Загребельный идеализирует Юрия Долгорукого, во всяком случае трактовка писателем образа этого князя отлична от художественного истолкования им образов Владимира и Ярослава Мудрого. Объяснение этому кажущемуся противоречию мы видим в различии творческих задач, которые ставил перед собой писатель в «Диве» и в «Смерти в Киеве». Образы Владимира и Ярослава Мудрого не раз были изображены в литературе, уже наметилась тенденция к их идеализации. Загребельный поэтому счел необходимым внести свои коррективы, сделав более социально точными характеристики Владимира и Ярослава Мудрого. Юрия же Долгорукого нужно было защищать от его противников, важно было показать в полный рост князя, всю жизнь отстаивающего прогрессивную и патриотическую идею. Образ Юрия Долгорукого полемичен и остро современен.

Цикл романов Загребельного о Киевской Руси завершает роман «Евпраксия». На этот раз предметом изображения стала действительность Западной Европы XI века. Трагическая история Евпраксии, сестры Владимира Мономаха, выданной в двенадцатилетнем возрасте замуж за маркграфа Генриха и ставшей впоследствии императрицей Адельгейдой, позволила писателю создать обаятельный образ умной, тонкой и одаренной русской женщины. Образ Евпраксии заставляет вспомнить другой женский образ — дочери Ярослава Мудрого, изображенной Ладинским в романе «Анна Ярославна — королева Франции». Два писателя с очень разной жизненной и творческой судьбой опоэтизировали в своих произведениях образы русских женщин XI века, которые волею судьбы были обречены на разлуку с родиной, но несмотря ни на что сохранили к ней самую нежную любовь. Евпраксия столкнулась в Западной Европе с самыми мрачными и отвратительными сторонами действительности. Писателю, наверное, следовало внести какие-то дополнительные штрихи и коррективы, чтобы картина европейской жизни стала более объективной, сложной и достоверной.

[44] Там же, с. 244—245.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Названия глав «Летопись. Дополнение», «Летопись. Разоблачение», «Летопись. История и легенда» и др. призваны подчеркнуть критическое отношение автора к сообщениям западноевропейских хронистов и русских летописцев. Анализ источников и суждения Загребельного по поводу их содержания выносятся на страницы романа, приоткрывая тем самым логику развития научной и художественной мысли автора.

Своими романами Загребельный значительно расширил художественные представления о мире Древней Руси. История в его романах прочитана злободневно. Его книги борются, отстаивая наши идеологические позиции. Интересны поиски писателем новых сюжетно-композиционных решений. Его романы несут в себе те идейно-художественные тенденции, которые характерны для современного советского исторического романа в целом.[45]

К роману П. Загребельного «Диво» по своей теме примыкает роман В. Шевчука «Велесич». Он также посвящен творцу одного из шедевров древнерусского искусства — «Слова о полку Игореве». Гениальное произведение постоянно привлекает внимание исследователей. Продолжается работа ученых над истолкованием «темных мест» в «Слове», появляются новые и новые его поэтические переводы.

Известный украинский писатель В. Шевчук в течение многих лет занимался изучением «Слова». Результатом этих штудий явился поэтический перевод «Слова» на украинский язык, научная статья и роман «Велесич».[46] Как и П. Загребельный, В. Шевчук движим стремлением показать роль народа в создании шедевров искусства. Велесич и Сивоок — выходцы из народа. Наставником Сивоока является добрый дед Родим, который пробуждает во внуке любовь к природе, к языческим богам, к народной культуре. Мироощущение Велесича также складывается под воздействием деда Сновида (имя это писатель нашел в летописном рассказе о посольстве берендеев к Мстиславу). Дед верит в языческих богов, противопоставляя их далекому и непонятному христианскому богу, внука он старается воспитать в духе народных представлений о добре и зле, привить ему чувство уважения к прошлому. Свое имя Велесич получает от бога Велеса, покровителя стихотворцев. В романе нарисован жизненный путь Велесича, приведший его к созданию гениальной поэмы. Писатель опирается на сложившиеся в науке представления о социальном положении автора «Слова», о свойствах его личности, особенностях его мировосприятия. Шевчук пытается перевести на художественный язык выводы исследователей, полученные в результате долгого и кропотливого изучения «Слова», его эпохи. В романе В. Шевчука история раскрыта не в ее объективном бытии (это характерно для подавляющего большинства исторических романов). Произведение В. Шевчука включает в себя несколько временных пластов. Наша современность (поездка Макара и Лады, встречи, впечатления, бытовые детали), история Киевской Руси, чудесные, как сказка, сны Макара, в которых воскресает легендарное прошлое, научно-публицистические отступления. Весь этот разноплановый материал объединяет образ Макара, писателя, обладающего острым чувством истории. Макар приоткрывает свою творческую лабораторию, читатель становится свидетелем созревания и воплощения писательского замысла. В романе В. Шевчука остро звучит мысль о важности истории, об углублении исторического сознания нашего современника. В научно-публицистических отступлениях Шевчук излагает свое понимание ряда спорных мест в «Слове», которые связаны с именем Трояна. По мысли Шевчука,

[45] Романы П. Загребельного о Киевской Руси нашли свою оценку в статье В. Д. Оскоцкого «Дела давно минувших дней...» («Радуга», 1980, № 6).

[46] Шевчук В. Велесич. — Дніпро, 1980, № 6.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Троян — тройственный союз племен, возникший в V веке. Этому союзу принадлежали обширные земли, позднее оказавшиеся занятыми кочевниками. Князь Святослав благословил поход за освобождение земли Троян.

Не все в этом романе удалось писателю: органического слияния современной и исторической линий писателю достичь не удалось, нужна более глубокая, обобщающая мысль. Привлекает, однако, попытка писателя, много писавшего о современной действительности, сказать свое собственное, патриотическое, глубоко заинтересованное слово о гениальном русском произведении XII века и впервые нарисовать портрет его создателя.

Если говорить об общих тенденциях развития современного романа, исследующего древнейшую эпоху русской истории, то они характеризуются усилением внимания к народной жизни, стремлением более глубоко проникнуть в духовный мир человека. Новое выражено в последовательном интересе к постановке и решению идеологически острых проблем, во внимании к малоизвестным страницам истории, в обостренном ощущении связи времен, глубоком осознании значимости истории для современности. Явственно прослеживается желание писателей найти такие сюжетно-композиционные решения, которые способствуют выявлению глубинной сути исторических событий, выражению авторских представлений об эпохе.

Повышение интереса к истории в эпоху развитого социализма сказалось во многом. Одно из его проявлений — плодотворное развитие исторического романа в многонациональной советской литературе.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Н. Н. СКАТОВ

КРИТИКА НИКОЛАЯ СТРАХОВА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

В истории общественного сознания вообще и в истории литературы в частности есть деятели, которые, внешне вроде бы не выходя на первый план, играют роль гораздо более существенную, чем принято обычно думать. Так, вряд ли может быть всесторонне понято второе полустолетие в развитии русской литературы XIX века с центральными для него фигурами Достоевского и Толстого без учета жизни и деятельности Николая Николаевича Страхова. «Да половина моих взглядов — ваши взгляды»,[1] — сказал Страхову Достоевский. Правда, сообщил об этом сам Страхов. Но возможное подозрение в преувеличении отпадает, если мы учтем ну хотя бы, например, то, что писал Страхову другой его великий современник, в меньшей мере, чем Достоевский, соратник, но, может быть, еще в большей мере друг — Лев Толстой: «Нынче я говорил жене, что одно из счастий, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов».[2] Это писалось вскоре после их состоявшегося в 1871 году знакомства (переписка Толстого со Страховым завязалась немного раньше, в 1870 году), а именно, в сентябре 1873 года. Через четыре года (в 1877 году) Толстой назовет Страхова единственным духовным другом.[3] И это понятно: ведь еще через много, почти через двадцать лет он снова скажет о сближении со Страховым «самыми основами».[4]

Человек устойчиво консервативных взглядов, принимавший активное участие в бурных журнальных полемиках 60-х годов прошлого века, Страхов и тогда и позднее неизменно занимал правые позиции, выступая постоянным оппонентом революционно-демократических критиков. Кстати, и отношения его с Толстым, и уже тем более с Достоевским, тоже отнюдь не были идиллическими, предполагали расхождения, иногда длительные, и рождали споры, подчас резкие.

Устойчивый и определенный консерватизм Страхова получил, главным образом в самом общем виде, многократную оценку в нашей литературе, особенно в пособиях по истории литературы и критики. Следует, однако, наряду с этим уяснить и то позитивное, что внес Страхов в русское литературное сознание и что (например, некоторые оценки творчества Льва Толстого) вполне обнаружило свою немалую значимость в исторической перспективе.

Деятельность энциклопедически образованного Страхова была разнообразной, но известен он прежде всего как литературный критик. Эта

---

[1] Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, с. 238.

[2] Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20-ти т., т. 17. М., 1965, с. 389.

[3] См. там же, с. 461.

[4] Там же, т. 18, с. 78.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

критика, естественно, тесно связана с его общемировоззренческими основами и с позицией, занимавшейся в общественной борьбе того времени. Что же Страхов внес в русскую критику? Что позволяет его критика увидеть и понять в общественно-политических боях и литературных столкновениях прошлой эпохи, чем интересна, поучительна она и поныне?

Русская литература в пору становления национального сознания после 1812 года рождала ряд громадных обобщающих явлений. Так было в самых разных сферах и на разных уровнях: Крылов — в басне, Грибоедов — в драме, Кольцов — в песне. И, конечно, все так или иначе к себе сводящий и все покрывающий — Пушкин. Пушкин же определил и дальнейшее развитие русской литературы, уже всю ее, пусть иногда в зерне, в зародыше, в наброске, в себе заключая: «Он, — писал Страхов, — один есть полный образ русской души, но лишь в очерке, без красок, которые лишь потом являются в пределах его очертаний».[5] Последующее художественное развитие будет и более сложным, и более дробным, и более противоречивым.

В пушкинскую эпоху все подлинно великие писатели в общем стоят по одну сторону. В послепушкинскую определились такие противостояния, когда мы видим часто и по многим пунктам разведенных, например Некрасова и Фета. Добролюбов в понимании и истолковании написанного Тургеневым романа «Накануне» решительно расходится с самим Тургеневым. Достоевский оказывается энергичным оппонентом Добролюбова и т. д. и т. п. Тем не менее те же Некрасов и Фет сознают единую, от Пушкина идущую родословную, каждый не без основания претендует на часть пушкинского наследия.

Нечто подобное, конечно в иной форме и степени, но все же, имело место и в русской критике. При начале новой русской критики, великой критики великой литературы, стоит колоссальная фигура Белинского. Он стал для нашей критики тем, чем был Пушкин для русской литературы, он стал Пушкиным нашей критики. Многие явления русской критической мысли оказались в пору обострившейся социальной борьбы середины века разведенными и противостоящими. Проще обстоит дело с пониманием позиции критиков реакционных, подчас откровенно рептильных. Но все усложняется, когда мы подходим к таким фигурам, как Страхов или Дружинин, подходим с желанием понять, в частности, и их отношение к Белинскому.

Естественно и справедливо мы видим наследников Белинского и продолжателей дела Белинского прежде всего в Чернышевском и Добролюбове. Сами они это осознавали отчетливо и подтверждали это энергической пропагандой идей Белинского, его имени, его образа — достаточно вспомнить цикл статей Чернышевского «Очерки гоголевского периода русской литературы», который отведен в большей своей части именно Белинскому. Но и многие деятели, не только не принадлежащие к революционным демократам, но им противостоящие, тоже претендуют на верность памяти Белинского, на право наследования ему. Недаром Тургенев демонстративно посвятил свой, как полагали, направленный против «Современника» с его обновленной демократической редакцией роман «Отцы и дети» памяти Белинского.

Конечно, во многих относящихся к Белинскому признаниях многих либеральных деятелей была своя корысть, желание приспособить Белинского к себе, осенить себя его именем, истолковать его в своем духе, подчас прямо извращая. Но не только. В ряде отношений критики и этого толка реально наследовали Белинскому. В чем, где и когда?

---

[5] В кн.: Сочинения Аполлона Григорьева, т. I. СПб., 1876, с. VIII.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Например, за тем противопоставлением Пушкина Гоголю, которое возникло в критике середины прошлого века, ясно просматривается и реальное противостояние общественных сил. К пятидесятым годам уже стало меньше ощущаться живое, злободневное содержание пушкинской поэзии. Но все явственнее стали вырисовываться ее громадные, как бы вневременные масштабы — сравнения с Шекспиром, с Гете мелькали все чаще и уже переставали вызывать удивление. Все это рождало дополнительный энтузиазм одних и сравнительное охлаждение других, доходившее позднее уже и до прямого отрицания Пушкина (у Д. Писарева, В. Зайцева). Безмерность содержания пушкинских творений стала иной раз пониматься как их бессодержательность. И сам Белинский будет подвергаться нападкам, например со стороны Писарева, прежде всего в статье «Пушкин и Белинский», за то, что занимался «бессодержательным» Пушкиным. Уже статьи о Пушкине Чернышевского при громадном уважении к поэту и признании его заслуг достаточно сдержанны. Это, очевидно, и заставило Некрасова написать Дружинину: «Я ужасно жалел, что эти статьи (статьи Дружинина о Пушкине, — *Н. С.*) не попали в „Современник", — они могли бы быть в нем и при статьях Чернышевского, которые перед ними, правда, сильно бы потускнели».[6] Тогда же Некрасов заявил об этих статьях Дружинина печатно: «Вот статьи, каких мы желали бы как можно более, вот какова должна бы быть русская критика!» [7] Вместе с тем, говоря о понимании Дружининым Гоголя, тот же Некрасов напишет: «Дружинин просто врет и врет безнадежно».[8]

В желании, опираясь на «вечный», «абсолютный» смысл пушкинской поэзии, принизить живое, злободневное содержание современного литературного движения у Дружинина прямо заявляет себя позиция испугавшегося такого движения и отгораживающегося от него либерала. Но в понимании и ощущении «вечного», «абсолютного» смысла самой пушкинской поэзии Дружинин был во многом прав. И здесь он реально наследовал Белинскому, а кое в чем, например в понимании позднего Пушкина и его мирового значения, прошел даже дальше Белинского, как прошел дальше Белинского, скажем в понимании позднего Гоголя, Чернышевский. Белинский многому научил наших, и часто очень разных, критиков. Понимать Гоголя. Но и понимать Пушкина. Через много лет писатель и критик очень консервативный и националистически настроенный — В. В. Розанов вроде бы неожиданно тоже захочет ощутить родство с Белинским и в пику всем западникам скажет о «западнике» Белинском: «Белинский — русский, *еще русский*... Его пора перетащить по настоящему адресу, — его, лучшего толкователя Пушкина».[9]

Страхов полагал, что истинным созидателем русской критики был Аполлон Григорьев. Но сам-то Григорьев думал об этом иначе. По сути единственным русским писателем, к которому он прилагал слово гениальный, был Пушкин. И единственным критиком — Белинский, «гениальный человек», «призванный»: «Литература была за него, оправдывала его доктрины, по тому самому, что он ее угадывал, определяя с удивительной чуткостью ее стремления, разъясняя ее, как Гоголя и Лермонтова. Говоря о литературе нашей, — а она долго была, повторю я, единственным средоточием всех наших высших интересов, — постоянно бываешь поставлен в необходимость говорить и о нем. Высокий удел, данный судьбою немногим из критиков! — едва ли даже, за исключением Лессинга, данный не одному Белинскому. И дан судьбою

[6] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 12-ти т., т. X. М., 1952, с. 230.
[7] Там же, т. IX, с. 291.
[8] Там же, т. X, с. 247.
[9] Розанов В. Литературные изгнанники, т. I. СПб., 1913, с. 238.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

этот удел совершенно по праву».[10] Сравнение Белинского с Лессингом останавливает тем более, что Энгельс, как известно, тоже называет уже Чернышевского и Добролюбова социалистическими Лессингами.

Интересно, что Григорьев ощутит именно необычайную широту диапазона деятельности Белинского: «Если бы Белинский прожил до нашего времени, он и теперь стоял бы во главе критического сознания, по той простой причине, что сохранил бы высшее свойство своей натуры: неспособность закоснеть в теории против правды искусства и жизни. В наше время он не был бы ни отрицателем, ни централизатором, хотя подлежит сомнению и то, что он был бы славянофилом. Славянофильство, может быть, играло бы только роль кратковременного момента в его развитии — не более».[11] Ведь действительно — Белинский, много и ожесточенно боровшийся со славянофилами, писал: «Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержания, звуком без значения. В отношении к этому вопросу я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманических космополитов, потому что если первые и ошибаются, то как люди, как живые существа, а вторые и истину-то говорят, как такое-то издание такой-то логики... Но, к счастию, я надеюсь остаться на своем месте, не переходя ни к кому».[12] Именно оставаясь «на своем месте», он, подобно Пушкину, особенно в «пушкинские», тридцатые годы, многое в себе синтезирует, заключает, еще объединяет то, чему скоро предстоит разъединиться.

Недаром Григорьев часто ставит рядом имена Пушкина и Белинского, например в связи с первыми повестями Гоголя, которые поняли, «во-первых, Пушкин, а, во-вторых, — автор „Литературных мечтаний“», т. е. Белинский.

Кстати сказать, последователь и ученик Григорьева Страхов тоже настаивал на необходимости обращения не только к Пушкину, но и к Белинскому (в статье 1861 года «Нечто о полемике» он называет лишь два имени — Пушкина и Белинского — в числе тех немногих, кто «все понимал») и сам, по сути, в целом ряде отношений повторил Белинского, например в своих пушкинских статьях. И это при том, что Страхов, как и его учитель Аполлон Григорьев, разумеется, оказывался противником многого у Белинского и в принципе и в конкретных оценках, особенно у Белинского конца 40-х годов, Белинского — революционного демократа и материалиста.

* * *

Одним из любопытных явлений середины прошлого века является то, что в журнальных полемиках сторонниками материализма были нередко люди гуманитарного образования (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), а в роли защитников «эстетики», идеализма вообще и религиозных воззрений в частности — естественники: Д. Аверкиев, Н. Соловьев, тот же Страхов.

Страхов неизменно выступал как активный пропагандист естественнонаучных знаний. «Естественные науки, — писал он, — имеют троякий интерес: как *полезные* в практике, как удовлетворяющие особым теоретическим потребностям ума, и, наконец, как питающие эстетическое чувство».[13]

---

[10] Сочинения Аполлона Григорьева, т. I, с. 578—579.
[11] Там же, с. 579.
[12] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. X. М., 1956, с. 29.
[13] Страхов Н. О методе естественных наук и значении их в общем образовании. СПб., 1865, с. 130.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Занятия точными науками, и особенно естественными, многое определили в облике Страхова. Во-первых, он отводил таким наукам четкую, достаточно ограниченную область, не считая, что они дают решение общих проблем бытия. Позднее Страхов выступил, в частности, решительным противником дарвинизма, рассматривая его как механистическое понимание развития, для которого «наследственность есть не наследование развития, а только передача частиц, которая может случайно изменяться».[14] Не отрицая большого значения конкретной деятельности Дарвина в качестве выдающегося натуралиста-наблюдателя, Страхов скептически оценивал дарвинизм как общую теорию естествознания.

Ожесточенная полемика о дарвинизме произошла позднее между Страховым и Тимирязевым. Страхов был здесь, впрочем, не одинок (так, его решительно поддерживал, правда не входя в прямую полемику, Л. Толстой, категорическим противником дарвинизма оказался Ушинский и др.) и, во-вторых, не очень оригинален: его взгляды были скорее отчасти развитием, отчасти изложением взглядов Н. Я. Данилевского, известного ботаника, одно время директора знаменитого Никитского ботанического сада.

С другой стороны, скептицизм Страхова был направлен и против того, чтобы естественные науки использовались в подкрепление всего рассматривавшегося им как шарлатанство. В этом смысле интересна позиция, занятая Страховым по вопросу о так называемом спиритизме, получившем одно время широкое распространение даже в академических кругах, где дань увлечению спиритизмом отдали такие крупные ученые, как химик Бутлеров. «Грустно было думать, что в эту цитадель науки, — писал тогда Страхов о Петербургском университете, — закрался и укрепился в ней явный враг научных понятий».[15] Очевидно, что и толстовские «Плоды просвещения» связаны с борьбой, которую вел со спиритизмом Страхов, полемизировавший, в частности, и с Бутлеровым, ибо Толстой, сочувствовавший здесь Страхову, был постоянно в курсе этой полемики.

Думается, постоянная приверженность к естествознанию и размышления над сутью органической природы придали принципу органической критики у Страхова дополнительное своеобразие. Правда, обладая колоссальной эрудицией, Страхов тем не менее не создал ничего подобного общей системе воззрений ни в естествознании, ни в философии, ни в эстетике. Может быть, поэтому-то и для работ самого Страхова характерна известная мозаичность. Вообще его книги есть по сути собрания статей, а не изложение некоего законченного положительного учения. Это прежде всего критические рассмотрения созданного другими. В смысле критики других Страхов, может быть, самый последовательный и полный в нашей литературе тип критика, и здесь он тоже противостоит критике революционных демократов, чья критика не только критика, но и постоянное созидание и проповедь.

Очевидно, в частности, и это обстоятельство тоже способствовало тому, что верх в полемических столкновениях 60-х годов неизменно одерживали передовые критики. Отрицание и скепсис консерватора, как правило, побеждались тогда утверждением и энтузиазмом деятелей прогресса. Недаром сам Страхов однажды признавался в письме Толстому, что всегда брал «отрицательную задачу».

И в полемических выступлениях «Времени» и «Эпохи», сравнительно даже с Достоевским, Страхов прежде всего решал «отрицательные задачи», в наименьшей мере развивая позитивную программу, беря

[14] Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб., 1886, с. 313.

[15] Страхов Н. О вечных истинах. Мой спор о спиритизме. СПб., 1887, с. IX.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

на себя собственно критику и, естественно, на себя вызывая огонь своих противников. В условиях все нараставшей общественной борьбы, перед лицом могучей даже в жестких цензурных условиях пропаганды, которую вел «Современник», деятельность Страхова, сводившаяся по сути к критическим анализам своих противников, не имела успеха. Более того, прямая полемика с революционно-демократической критикой и связанные с нею уже собственно литературные оценки и характеристики (позднее почти все материалы этого рода Страхов объединил в книге «Из истории литературного нигилизма»), — конечно, самая непривлекательная сторона в деятельности Страхова. «Что же я сделал? — писал позднее Страхов. — Я стал смеяться над ними, стал вступаться... за логику, за Пушкина, за историю, за философию. Шутки мои едва ли многим были понятны и только покрыли мое имя позором».[16]

Дело, впрочем, было не только в «логике», в «философии». Может быть, здесь многое тогда было действительно лишь немногим понятно. Однако многим было понятно другое: консерватизм, антиреволюционность позиции критика. Вот откуда шел «позор».

Наиболее сильные стороны критической деятельности Страхова реализовались не в журнально-полемических боях начала шестидесятых годов. Правда, и тогда им была написана одна из лучших его критических работ — статья о романе Тургенева «Отцы и дети».

* * *

Представление о романе, как его выразил Страхов, по-видимому, было общим для деятелей «Времени». Все это сообщает страховской статье дополнительный интерес, и вот какой. Известно, что роман привлек пристальное внимание Достоевского, и Достоевский писал о нем Тургеневу. Тургенев считал отзыв этот лучшей критикой романа и наиболее глубоким пониманием его. Письмо Достоевского утеряно, об отзыве его мы можем судить лишь по косвенным свидетельствам, в частности Тургенева: «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хотел выразить Базаровым, что я только руки расставлял от изумленья — и удовольствия... Точно Вы в душу мне вошли и почувствовали даже то, что я не счел нужным вымолвить».[17] Можно восстановить главную «идею» отзыва Достоевского на основе хотя бы «Зимних заметок о летних впечатлениях», где Достоевский писал о беспокойном и тоскующем Базарове (признак великого сердца).

Именно в этом ключе рассмотрен в статье Страхова образ Базарова, понимавшийся обычно, за исключением статьи Писарева, либо как карикатура на новое поколение вообще и на Добролюбова в частности (Чернышевским и Антоновичем в «Современнике»), либо как апологетика новых людей (большею частью консервативной критики).

Трагизм Базарова — вот что увидели Страхов и стоявший с ним тогда рядом Достоевский. Многие исходные критические принципы Страхова, будучи приложены к роману Тургенева, обернулись наконец и своей сильной стороной. Так, понимание органичности и полноты жизни позволили критику увидеть и жизненность героя, и то драматическое отношение, в которое вставал он к жизни в целом: «...при всей резкости и деланности своих проявлений — Базаров человек вполне живой, не фантом, не выдумка, а настоящая плоть и кровь. Он отрицается от жизни, а между тем живет глубоко и сильно». «...Глядя на картину романа спокойнее и в некотором отдалении, мы легко заметим, что

[16] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, с. 447.

[17] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., Письма в 13-ти т., т. IV. М.—Л., 1962, с. 358.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

хотя Базаров головою выше других лиц... есть, однако же, что-то, что в целом стоит выше Базарова. Что же это такое? Всматриваясь внимательнее, мы найдем, что это высшее — не какие-нибудь лица, а та *жизнь*, которая их воодушевляет... Те, которые думают, что ради умышленного осуждения Базарова, автор противопоставляет ему какое-нибудь из своих лиц, например, Павла Петровича, или Аркадия, или Одинцову, — странно ошибаются. Все эти лица ничтожны в сравнении с Базаровым. И, однако же, жизнь их, человеческий элемент их чувств — не ничтожны... Общие силы жизни — вот на что устремлено все его (Тургенева, — *Н. С.*) внимание. Он показал нам, как воплощаются эти силы в Базарове, в том самом Базарове, который их отрицает... Базаров — это титан, восставший против своей матери-земли; как ни велика его сила, она только свидетельствует о величии силы, его породившей и питающей, но не равняется с матернею силою».[18]

Представление о «вечном», «абсолютном» характере искусства позволило критику увидеть в романе смысл, рожденный своим, определенным временем, но далеко выходящий за его рамки: «Написать роман с прогрессивным или ретроградным направлением еще вещь нетрудная. Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий *всевозможные* направления... он имел гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, *всегдашний*... Если Тургенев изобразил не всех отцов и детей, или не *тех* отцов и детей, каких хотелось бы другим, то *вообще* отцов и *вообще* детей, и отношение между этими двумя поколениями он изобразил превосходно».[19]

Страхов глубоко понял именно трагическую сторону и во взаимоотношениях Базарова с искусством. Цитируя статью Писарева, в которой тот рассматривает отрицание Базаровым искусства как непоследовательность, Страхов пишет как раз о последовательности Базарова, видит в этом не противоречивость Базарова, а его цельность и верность себе: «Очевидно, Базаров смотрит на вещи не так, как г. Писарев. Г. Писарев, по-видимому, признает искусство, а на самом деле он его отвергает, то есть не признает за ним его настоящего значения. Базаров прямо отрицает искусство, но отрицает его потому, что глубже понимает его... В этом отношении герой Тургенева несравненно выше своих последователей. В мелодии Шуберта и в стихах Пушкина он ясно слышит враждебные начала; он чует их всеувлекающую силу и потому вооружается против них».[20]

Страхов увидел в Базарове и национальный тип — ощущение, которое, очевидно, испытывали при восприятии Базарова Достоевский и сам Тургенев, сравнивавший, как известно, Базарова с Пугачевым. Самую силу отрицания искусства у Базарова как знамение времени Страхов возвел и в более общую степень: «Конечно, искусство непобедимо и содержит в себе неистощимую, вечно обновляющуюся силу; тем не менее веяние нового духа, которое обнаружилось в отрицании искусства, имеет, конечно, глубокое значение. Оно особенно понятно для нас, русских. Базаров в этом случае представляет живое воплощение одной из сторон русского духа. Мы вообще мало расположены к изящному; мы для этого слишком трезвы, слишком практичны. Сплошь и рядом можно найти между нами людей, для которых стихи и музыка кажутся чем-то или приторным, или ребяческим. Восторженность и высокопарность нам не по нутру; мы больше любим простоту, едкий юмор, насмешку. А на

[18] Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), т. I. Киев, 1901, с. 28, 34, 37.
[19] Там же, с. 33.
[20] Там же, с. 14—15.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

этот счет, как видно из романа, Базаров сам великий художник... Все в нем необыкновенно идет к его сильной натуре. Весьма замечательно, что он, так сказать, *более русский*, чем все остальные лица романа. Его речь отличается простотой, меткостью, насмешливостью и совершенно русским складом. Точно также, между лицами романа он всех легче сближается с народом, всех лучше умеет держать себя с ним».[21]

Любопытно, что под тем же углом зрения Страхов посмотрел и на «новых людей» Чернышевского. В статье «Счастливые люди», напечатанной в 1865 году в «Библиотеке для чтения», он писал о романе «Что делать?»: «...роман не был бы возможен, если бы не было в действительности чего-нибудь соответствующего... Итак, эти новые люди существуют... Немецкие физиологи действительно ошиблись в своих характеристиках; есть человеческий тип, который не подходит под то, что до сих пор называлось человеком. Он явился недавно, явился на нашей земле, и, может быть, немцам и французам никогда не видать у себя таких людей, хотя эти люди и воспитываются на немецких и французских книжках. Дело не в книжках, а в крови. Разве не слышна в этом типе частица русской силы?» [22] Все это отнюдь не процеженные сквозь стиснутые зубы признания. Первоначальный текст статьи «Счастливые люди», предназначавшийся к печатанию в «Эпохе» и написанный еще в 1863 году, вскоре после появления романа Чернышевского, очевидно, содержал даже более высокие его оценки, ибо цензура потребовала смягчения «особенных похвал романа».[23] Автор совсем не разделяет тех представлений о счастье, которые есть у автора и героев романа, но и к тем и к другим он относится в высшей степени серьезно.

Когда умер Добролюбов, Страхов откликнулся во «Времени» некрологом не только прочувственным, но во многом проницательным и поучительным для понимания добролюбовских статей. Он называет Добролюбова публицистом в форме критика. Это похоже на привычное в устах противника революционно-демократической критики обвинение в желании использовать искусство в чуждых целях, рассматривать его лишь как предлог для пропаганды посторонних ему идей. Однако, оценивая деятельность Добролюбова как самостоятельную, но отрицательную и одностороннюю в отличие от Белинского, который был «крепко связан со всем лучшим, что росло на русской земле в его эпоху», Страхов тем не менее признает: «...только во времена Добролюбова „Современник“ был единственным журналом, которого критический отдел имел вес и который вместе постоянно и ревниво следил за литературными явлениями». Более того: «Критические статьи, судя по самим этим статьям, были для него (Добролюбова, — *Н. С.*) прямым и естественным делом, а не маскою для прикрытия другой деятельности».[24]

Думается, что за всем этим стоит чуткое ощущение того, что статьи наших великих критиков — революционных демократов действительно не только оценка того или иного произведения. Они — критика, но и нечто большее. Они и творчество сами по себе. Можно представить тип статьи, имеющей значение и цену лишь в отношении к рассматриваемому произведению. Лучшие статьи Белинского или Добролюбова — и безотносительная ценность. В этом смысле они отличны от большинства статей того же Страхова, чаще всего только критика, а не созидателя. «Я, — признавался он в письме В. Розанову от 29 апреля 1888 года, — так люблю ссылаться на всякие книги и говорить не от себя, а чужими

---

[21] Там же, с. 16, 23.

[22] Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. СПб., 1890, с. 339—340.

[23] См. об этом: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха», 1864—1865. М., 1975, с. 209—212.

[24] Страхов Н. Критические статьи..., т. II, с. 291.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

словами, сопоставляя и толкуя места какого-нибудь автора. Тогда я чувствую себя на твердой почве». Естественно, речь идет не о какой-то всеядности: «Чужие мысли, — пишет Страхов 18 марта 1888 года в другом письме Розанову, — только помогают моей, и я во множестве книг ищу и нахожу только *свое*».

В этом смысле очень показательны характеристики Страхова в устах его, если это слово здесь уместно, поклонника и, во всяком случае, ученика В. Розанова, который писал, что Страхов почти никогда не являлся утверждателем, а постоянно предостерегателем и удерживателем. «Страхов, — писал Розанов, — вечно точил и обтачивал чужие мысли, чужие идеи, чужие замыслы и порывы. Вся его работа, на протяжении всей жизни и во всех разнообразных областях, где он трудился — биологии, механики, психологии, метафизики — *критическая*, без решимости и даже без желания *творчества*... И он всю жизнь „продумывал" чужие мысли, уча, наставляя и вечно читая сам».[25]

Именно творческий элемент даже у своих противников Страхов не мог не видеть и не мог не говорить о нем. Недаром он писал о Добролюбове: «Если бы он остался жив, мы бы многое от него услышали».

Таким образом, отношение Страхова к «нигилистам» отнюдь не было однозначным. Обычно, и справедливо, отмечается, что позднее Страхов иначе, т. е. гораздо более отрицательно, оценивал и тип «нигилиста» как общественное явление, и литературу, его запечатлевшую, в частности роман «Отцы и дети». Все это так. Но и на этом он не остановился, хотя дело не обошлось без вмешательства извне, а именно со стороны Л. Толстого, решительно и гневно осудившего нападки на «нигилистов» и сразу за словами увидевшего суть дела. В ответ на оправдания Страхова по поводу того, что тот лишь отрицает отрицание, Толстой заявил: «Я говорю, что отрицать то, что делает жизнь, значит не понимать ее. Вы повторяете, что отрицаете отрицание. Я повторяю, что отрицать отрицание значит не понимать того, во имя чего происходит отрицание. Каким образом я оказался с Вами вместе, не могу понять.

Вы находите безобразие, и я нахожу. Но Вы находите его в том, что люди отрицают безобразие, а я в том, что есть безобразие... Вы отрицаете то, что живет, а я отрицаю то, что мешает жить... Я отрицаю то, что противно смыслу жизни, открытому нам Христом, и этим занимается все человечество. До сих пор уяснилось безобразие рабства, неравенства людей и человечество освободилось от него, и теперь уясняется безобразие государственности, войн, судов, собственности, и человечество все работает, чтобы сознать и освободиться от этих обманов».[26] «Относительно моего *нигилизма*, — оправдывался Страхов, — Вы правы: все мое писание имеет односторонний вид и может быть принято за брань на нигилистов. Так это многие поняли; воздерживаясь от всякого суждения о существующем порядке и не воздерживаясь от самых разных суждений о нигилизме, я непременно впадаю в адвокатские приемы, в лукавство газетчиков. Да, молчать действительно лучше, чем говорить».[27]

Еще позднее Страхов писал Толстому: «Нигилизм и анархизм — ведь это очень серьезные явления в сравнении с тою болтовнею, которая составляет верх человеческого достоинства для Григоровичей и Фетов». И это не было лишь приноравливанием к Толстому, ибо и с уже прямо и предельно консервативным Розановым он делился: «Это было общее движение, поток отрицания, захвативший почти всю литературу.

---

[25] Розанов В. Указ. соч., т. I, с. 6.
[26] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 294.
[27] Там же, с. 280.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Конечно, в основе лежат нравственные требования, стремление к общему благу, и в этом смысле можно сказать, что нигилисты дали литературе серьезное настроение, подняли все вопросы».[28] Это писалось в 1890 году, уже сравнительно незадолго до смерти. И, конечно, при безусловном отрицании всех революционных программ как прошлого, так и настоящего, и при предельно честном признании отсутствия за собственной душой какой бы то ни было программы. И чем ближе к концу, тем с большей силой это ощущалось.

В этом смысле, да и во многих других, переписка Страхова с Толстым являет замечательный человеческий документ. Недаром С. А. Толстая уже после смерти мужа многократно отмечает в «Дневнике»: читали... читала... читаю... письма Н. Н. Страхова и Льва Николаевича.[29] Тем большее удивление и сожаление вызывает тот факт, что в недавно вышедшей двухтомной переписке Л. Толстого с русскими писателями (М., 1978) совершенно не нашлось места тому, что сам Толстой считал наиболее из своей переписки интересным.

Исповедуясь (трудно назвать это другим словом у обычно довольно сдержанного Страхова) Толстому, Страхов пишет: «В эпоху наибольшего развития сил (1857—1867) я — не то что жил, а поддался жизни, подчинился искушениям; но я так измучился, что потом навсегда отказался от жизни. Что же я делал собственно и тогда и потом, и что делаю теперь? То, что делают люди отжившие, старики. Я *берегся*, я старался ничего не искать, а только избегать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. И особенно я *берегся* нравственно... А затем — я служил, работал, писал — все лишь настолько, чтобы не зависеть от других, чтобы не было стыдно перед товарищами и знакомыми. Во время литераторства я помню, как я сейчас же останавливался, как только видел, что денег наработано довольно. Составить себе положение, имущество — я никогда об этом не заботился. Так что все время я не жил, а только *принимал* жизнь, как она приходила... За это, как вы знаете, я и наказан вполне. У меня нет ни семьи, ни имущества, ни положения, ни кружка — ничего нет, никаких связей, которые бы соединяли меня с жизнью. И сверх того, или пожалуй вследствие того, я не знаю, что мне думать. Вот Вам моя исповедь, которую я мог бы сделать несравненно более горькою».[30] В ответ на убеждения и доказательства Толстого, что это положение невозможно, так как при нем жить нельзя, Страхов резюмировал: «Я и не живу».[31]

* * *

Из всего этого, конечно, не следует, чтобы Страхов был безыдеальным человеком. Положительные начала, как он их понимал, — о программе в смысле программы действий и их пропаганды в буквальном значении говорить не приходится, — располагались прежде всего в двух сферах: в более земной и реальной — Россия, в более идеальной и метафизической — религия.

Страхова часто называли и называют славянофилом. Не слишком точно. Хотя Страхова объединяет со славянофилами категорическое неприятие Запада, прежде всего буржуазного, и вера в самобытный путь развития России, тем не менее ко многому в славянофильской идеологии, и более ранней и более поздней, он относился критически. Такое критическое отношение к славянофильству было характерно для всех

---

[28] Розанов В. Указ. соч., т. I, с. 236—239.
[29] См.: Толстая С. А. Дневники, в 2-х т., т. 2. М., 1978, с. 385, 389, 401 и др.
[30] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 165—166.
[31] Там же, с. 171.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

почвенников уже в 50—60-е годы. Позднее представления Страхова о России, ее месте, особенностях и роли во всемирной истории обрели определенное теоретическое обоснование. Но опять-таки — не оригинальное, страховское: он снова свое находил у другого. Как в сфере естествознания (в критике дарвинизма), так и в сфере исторических построений Страхов опирался на идеи Н. Данилевского, в последнем случае разработанные в труде «Россия и Европа».

Концепция исторического развития Данилевского основывалась на той идее, что история человечества есть не прогресс некоего общего ряда, единой цивилизации, а существование частных цивилизаций, развитие отдельных культурно-исторических типов. Среди них есть и такой, как славянство. Все это по сути уже снимало вопрос о мессианской роли славянства вообще, России в частности. Тем не менее именно в России Данилевский усматривал первый и самый полный, пользуясь его терминологией, «четырех-основной» тип, т. е. синтезирующий, гармонизирующий четыре начала: религию, культуру, политику, экономику. Правда, скорее в возможности, но такой, для реализации которого нация созрела: «Русский народ и русское общество во всех слоях своих способно принять и выдержать всякую дозу свободы».[32] Как известно, общие идеи Данилевского позднее легли в основание книги Освальда Шпенглера «Закат Европы».

Страхов в духе Н. Данилевского рассматривал Россию как самобытное явление, особый тип духовной жизни и национальной организации. Впрочем, он очень критически смотрел на характер духовного развития страны, в частности и на развитие нашей литературы: «бедна наша литература» — довольно устойчивый критический рефрен Страхова, давший наконец название целому большому очерку «Бедность нашей литературы». Однако «чувство нашей духовной несостоятельности еще не есть доказательство такой несостоятельности». Потому-то «первая наша бедность есть *бедность сознания* нашей духовной жизни».[33] Потому-то Страхов дает столь резко отрицательные оценки тургеневскому «Дыму» (в особой об этом романе статье): «...не дым все русское». И прежде всего за потугинские нападки на Россию: «Вообще, замечания г. Потугина иногда остроумны, но в целом удивительно мелки и поверхностны и доказывают, что русская жизнь может показаться дымом только тому, кто этою жизнью не живет, кто не участвует ни в едином ее интересе. Темна, бедна русская жизнь — кто говорит! Но от этого русским людям, как людям живым, бывает трудно и тяжело жить, а не летят они по ветру с легкостию дыма. В самых шатаниях и увлечениях, которые, повидимому, хочет казнить г. Тургенев своею повестью, мы очень серьезны, доводим дело до конца, часто дорого-дорого за него платимся и, следовательно, доказываем, что мы живем и хотим жить, а не несемся, куда ветер повеет».[34]

Но есть ли у Страхова какие-либо аргументы в пользу такой серьезности и основательности «русской жизни», несмотря на ее бедность и темноту? Трезвый, скептический и строгий ум Страхова предполагал обращение к доказательствам бесспорным и к таким, о которых сам он мог судить вполне компетентно. Доказательства брались из сферы русского искусства, русской литературы. Кстати сказать, эту же аргументацию позднее использует Данилевский. Говоря о прошлом русской литературы, он берет такие сравнения: «Чтобы найти произведение, которое могло бы стать на ряду с „Мертвыми душами“, должно подняться до „Дон-Ки-

[32] Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1888, с. 537.
[33] Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868, с. 3.
[34] Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 60.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

хота“».[35] А говоря о ее настоящем, он уже не может найти никаких сравнений: «Пусть укажут нам на подобное произведение (речь идет о «Войне и мире», — *Н. С.*) в любой европейской литературе».[36]

Характерно, что и в статье о «Дыме» в споре с Потугиным—Тургеневым (ибо Страхов в отношении к России почти объединяет героя с автором — близость эту, как известно, не отрицал и сам Тургенев) Страхов обращается к Глинке. Страстный меломан, Страхов был большим знатоком русского и западного музыкального искусства: «Мы, например, любим музыку Глинки; серьезный, строгий музыкальный вкус развивается в нашей публике; являются композиторы со своеобразными, неподдельными талантами; мы встречаем их с восторгом, и будущность русской музыки нам кажется несомненною. А нам говорят на это: „о, убогие дурачки-варвары, для которых не существует преемственность искусства!“ То есть, как же, дескать, вы надеетесь, что у вас будет русская музыка, когда ее еще нет? Забавное рассуждение! Ведь только на то и можно надеяться, чего еще нет. Но она есть, русская музыка! Сам Созонт Иванович говорит, что Глинка чуть было не „основал русской оперы“. А что, как в действительности он ее основал, и вы ошибаетесь? С каким вы длинным тогда останетесь носом! Шутка ли — *русская опера*!» [37]

Правда, некоторые важнейшие стороны в развитии русского искусства оказались для Страхова почти полностью закрыты. Так было в музыке. Любя и понимая Глинку, Страхов не понимал и не любил Мусоргского и ясно выразил это непонимание и эту нелюбовь в двух статьях-письмах «Борис Годунов на сцене», обращенных к редактору «Гражданина» Ф. М. Достоевскому. Страхову остались чужды и музыкальная форма, в частности тяга к речитативу, и отступление либретто от пушкинского текста (здесь он сошелся во мнении и с музыкальными критиками, Ц. Кюи например). Но главное, ему оказалось чуждо новое музыкальное направление в целом, его дух, его «философия» — он увидел в опере Мусоргского только «обличительство», подобное тому, которое он увидел, например, в поэзии Некрасова. Конечно, показательно, что Страхов не понял и не принял своеобразного аналога Некрасова в музыке — Мусоргского. Речь уже не об именах, а о целом направлении нового русского искусства.

В отношении же собственно к Некрасову Страхов пошел далеко назад, даже в сравнении со своим учителем Ап. Григорьевым и соратником Ф. Достоевским. Конечно, свою роль играло и то обстоятельство, что Некрасов стоял во главе журналов, с которыми Страхов почти непрерывно вел полемику. В 1870 году Страхов опубликовал в журнале «Заря» статью «Некрасов и Полонский». Из нее особенно ясно видно, что речь идет именно о направлении. Страхов даже называет поэзию Некрасова и поэтов, близких к некрасовским «Современнику» и «Отечественным запискам», «направленской». Уже в конце статьи критик сделал любопытное замечание общего характера: «Поэты! Слушайтесь Вашего внутреннего голоса и, пожалуйста, не слушайтесь критиков. Это для вас самый опасный и вредный народ. Они все лезут в судьи, тогда как должны бы быть только вашими толкователями. Но толковать поэзию трудно, а судить — легко удивительно».[38]

Но в сущности именно на этот путь и встал сам Страхов. Он «судит» некрасовскую поэзию, по сути почти ее не «толкуя», — статья оказалась в основном посвящена Полонскому. Точнее, он судит направле-

---

[35] Данилевский Н. Я. Указ. соч., с. 548.
[36] Там же, с. 550.
[37] Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 60.
[38] Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888, с. 176.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ние, правда, из самого этого направления Некрасова выделяя: «Мы были бы чрезвычайно несправедливы к г. Некрасову, если бы смотрели на него, как на некоторого Минаева больших размеров, хотя так смотрит на себя сам г. Некрасов, хотя в минаевщине он поставляет всю свою славу. В г. Некрасове есть нечто большее, чего нет в г. Минаеве и во всем направлении, которому они оба служат».[39]

В результате Страхов не написал ни о том «меньшем», что он видел в Некрасове («Особенно соблазнительно — написать такую *критику* на г. Некрасова. Статейку можно было бы написать преядовитую...»), ни о том «большем», что он в нем ощущал («Отлагаем г. Некрасова до другого времени... мы собственно собираемся *хвалить* нашего наиболее читаемого поэта. Итак, когда-нибудь мы будем хвалить г. Некрасова...»).

Почти все суждения Страхова о Некрасове отмечены этой двойственностью. Дело здесь не только в идеологической предвзятости, но и в неспособности понять и принять новую эстетическую систему. Характерно одно замечание о поэме «Мороз, Красный нос», сделанное Страховым еще в 1864 году в «Эпохе». Полемизируя с «Русским словом», говорившим о невозможности светлых картин крестьянской жизни, как они предстали в предсмертном сне Дарьи, Страхов писал: «Какая прелесть! Эти стихи и выписываешь с наслаждением. Какая верность, яркость и простота в каждой черте». И все же: «...несмотря на струи истинной поэзии, в целом поэма представляет странную уродливость» [40] (ср. аналогичный отзыв в письме Толстому об опере Мусоргского — «чудище невообразимое»), а самое название поэмы для него юмористическое (!): «...зачем юмористическое название в этой печальной идиллии. К чему тут красный нос?» [41] Ухо меломана Страхова не слышит Мусоргского. Ухо знатока поэзии Страхова не слышит драматического контрапункта в поэтическом слове Некрасова.

Известно, что после смерти Некрасова Достоевский, по его словам, «взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы». «Всю эту ночь, — вспоминает писатель, — я перечел чуть ли не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет, как много Некрасов, как поэт, занимал места в моей жизни. Как поэт, конечно».[42] Тогда же Страхов сообщал Толстому: «А Некрасов умирает, — Вы знаете? Меня это очень волнует. Когда он звал к себе обедать (в связи с переговорами о возможности напечатания в «Отечественных записках» «Анны Карениной», — *Н. С.*), я не пошел, но на похороны пойду. Его стихи стали для меня иначе звучать — какая сила...» [43] Вот уж истинно по пророческому слову поэта: «и только труп его увидя, как много сделал он, поймут».

То же, что и об отношении Страхова к Некрасову, можно еще в большей мере сказать и об отношении его к Щедрину и ко многим другим явлениям нового искусства, которое прежде всего отличала передовая мысль, отчетливая, направленная тенденциозность. Особенно несправедливые и злые характеристики неизменно получает у Страхова Щедрин — один из главных его противников в журнальной борьбе еще с 60-х годов. Отмечая «несомненную талантливость» Щедрина, Страхов тем не менее пытался создать, например в позднейшей статье 1883 года «Взгляд на текущую литературу», явно окарикатуренный образ великого сатирика. Не такими писателями, по Страхову, обогащалась литература, о бедности которой он продолжал говорить с большой настойчивостью.

---

[39] Там же, с. 153.
[40] Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 535.
[41] Там же, с. 553—554.
[42] Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971, с. 482.
[43] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 115—116.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

«Бедна наша литература, но у нас есть Пушкин».[44] Споры ли о сути русской жизни и о ее возможностях, сомнения ли в богатстве русской литературы и ее будущем — все заставляло Страхова прибегать к одному бесспорному, всепобивающему и абсолютному аргументу — к Пушкину.

* * *

По существу Н. Страхов сказал о самом Пушкине не так уж много нового, повторяя Ап. Григорьева в основной идее своих пушкинских статей и Белинского в ряде как более важных, так и более частных моментов их. Но особую силу этим статьям придавало то обстоятельство, что первые из них рождались в обстановке, когда имя Пушкина вызывало равнодушие или даже подвергалось прямым нападкам, например «Русского слова» (прежде всего Писарева). «...Вас поражает, — писал Страхов, — безмерная диспропорция между предметом этих суждений и силами и приемами судящих. С одной стороны вы видите явление громадное, глубокое, ширящееся в бесконечность... с другой стороны вы видите людей с микроскопически-узкими и слепыми взглядами, с невероятно короткими мерками и циркулями, предназначаемыми для измерения и оценки великого явления... В наш многоумный век непонимание великого часто также идет за признак ума; между тем, в сущности, не составляет ли это непонимание самого разительного доказательства умственной слабости?» [45]

Между тем Пушкин как явление новой послепетровской жизни и даже прямое следствие дел Петра (по известным словам Герцена, на вызов, брошенный Петром, Россия ответила сто лет спустя громадным явлением Пушкина) явно противоречит славянофильским концепциям. «...Никому, впрочем, не тайна, — писал Страхов, — холодность наших славянофилов к нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно... Дорожа пониманием основных черт ее (русской жизни, — *Н. С.*) духа, они равнодушно, без боли отбрасывают родное явление, мешающее этому пониманию, разрушающее, как резкое исключение, их свято уважаемую теорию».[46]

Сама сила отрицания Пушкина в 60-е годы увеличивала у Страхова силу его утверждения. Позднее Страхов с восторгом воспринял пушкинскую речь Достоевского как подтверждение правоты своего взгляда на Пушкина, как, впрочем, и верности точки зрения на Пушкина всей почвеннической партии, которую он даже называет пушкинскою.

Многое сошлось для Страхова в Пушкине. В Пушкине Страхов видел живой и, может быть, единственный настоящий и непререкаемый залог русской жизни и русского национального характера. К «полному» творцу Пушкину с неотразимой силой влекся односторонний, не «творческий» теоретик Страхов. С Пушкиным скептик Страхов мог, наконец, оставлять свои «отрицательные задачи» и становиться «утверждателем», энтузиастом и проповедником, ибо пушкинские статьи Страхова — это, так сказать, сплошная проповедь Пушкина, «главного сокровища нашей литературы».

Правда, говорить о более или менее полном рассмотрении Страховым творчества Пушкина не приходится. Страхов не случайно, объединяя позднее в книгу свои статьи о Пушкине, назвал ее «Заметками» и специально оговорил такой характер книги. Но дело не только в беспретенциозности жанра. На многое в самом Пушкине вольно или невольно Страхов закрывает глаза. Так, «Историю села Горюхина» (Горохина в из-

[44] Страхов Н. Бедность нашей литературы, с. 54.
[45] Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах, с. 18.
[46] Там же, с. 4.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

вестном тогда подцензурном названии) Страхов соотнес с карамзинской «Историей государства Российского». Но бесспорная для нас сейчас соотнесенность «Истории села Горюхина» с щедринской сатирой, например с «Историей одного города», очевидно, показалась бы Страхову кощунственной. А ведь в общем виде он справедливо писал: «Мы находим теперь, что, несмотря на множество по-видимому новых путей, которыми шла с тех пор русская литература, эти пути были только продолжением дорог, уже начатых или совершенно пробитых Пушкиным».[47]

Но, во всяком случае, один из таких путей новой русской литературы Страхов-критик соотнес с Пушкиным. В своих «Заметках» он лишь обмолвился: «Важность „Летописи“ (т. е. «Истории села Горюхина», — *Н. С.*) видна уже из того, что с нее начинается поворот в деятельности Пушкина, и он пишет ряд повестей из русской жизни, заканчивающийся „Капитанскою дочкою“. В развитии русской литературы едва ли есть пункт более важный; здесь мы ограничиваемся только тем, что указываем на этот пункт».[48]

Из всего написанного Страховым ясно, почему столь важен этот «пункт»: от этого пункта начинается в русской литературе движение, завершившееся в «Войне и мире».

* * *

В новой русской литературе Лев Толстой оказался для Страхова тем явлением, что Пушкин в прошлой. И во многом те же причины, внешние и внутренние, что толкали Страхова к Пушкину, толкнули его и к Толстому. Это опять-таки был исход и внутренней неполноты, теоретичности, недостаточности. Потому-то Страхов и писал Толстому о необходимом для него «*жгучем интересе взаимного* ауканья».[49] Это было снова и безусловное подтверждение силы России. Русская жизнь и русская литература вновь заявили себя в Толстом могуче и неотразимо: «Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глубоком здоровье русского народа».[50]

Именно применительно к Толстому в полной мере и проявилась знаменитая страховская способность понимания. Он не был творцом, но он с большой силой обнаружил способность понимания такого типа творца, как Лев Толстой, и такого типа творчества, как толстовское. Обнаружил, идя от себя, так сказать, «от противного». Впрочем, в Толстом Страхов увидел и подтверждение многих теоретических начал «органической» критики.

Страхов прошел школу классической немецкой философии. Именно там сложились и укрепились его представления о великом значении разума, о могучей силе познания. В этом смысле Страхов всегда оставался рационалистом. В то же время разуму им отводилась достаточно ограниченная площадка и достаточно пассивная роль перед лицом общежизненных стихий. В этом смысле Страхов всегда оставался антирационалистом, и здесь тоже лежит один из истоков страховского противостояния просветительству с его культом разума и универсализацией значения разума. «Вы ведь, — обращался он к просветителям, рационалистам и «теоретикам», как он их называл, — и им (земледелием, — *Н. С.*) вертите в ваших мечтах как попало. Вы вообразили, что оно совершенно в вашей власти, что стоит *вздумать* — и оно процветет; а если не процветает, так от того, что это не вздумано».[51]

[47] Там же, с. 36.
[48] Там же, с. 54.
[49] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 305.
[50] Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 309.
[51] Страхов Н. Из истории литературного нигилизма, с. 99.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Поэтому же Страхов, оставаясь рационалистом, прошел весь путь антирационализма, выходя к философии Шопенгауэра, которая увлекала его, как и его ближайших друзей — Льва Толстого и Афанасия Фета. В то же время, подобно Толстому (но не Фету), скептик Страхов отверг конечные «скептические», т. е. глубоко пессимистические выводы этой философии. Во многом с позиций сближающего его с Толстым антирационализма подходил Страхов и к «Войне и миру». «...*Вера в жизнь* — признание за жизнью большего смысла, чем тот, какой способен уловить наш разум, — разлита по всему произведению графа Л. Н. Толстого; и можно бы сказать, что на эту мысль написано все это произведение... Таинственная глубина жизни — вот мысль „Войны и мира“».[52] Самое столкновение Наполеона и Кутузова в «Войне и мире» как выражение двух противоположных жизненных типов — хищного и мирного, простого — он истолковывал в духе Ап. Григорьева.

Страхов даже полагал, что вообще именно он открыл в критике Толстого, которого, по его словам, не только не поняли, но о котором вовсе не говорили. Но, заявляя это в конце 60-х годов, Страхов должен был бы вспомнить, что Чернышевский «открывал» Толстого, в цикле своих о нем статей, в середине 50-х годов. Недаром еще в XIX веке один из авторов называл приписываемое себе Страховым право на открытие Толстого «высокомерной несправедливостью».[53]

Тем не менее что касается Толстого позднего, во всяком случае от «Войны и мира», здесь Страхов обнаружил удивительные и понимание, и прозорливость. Честь открытия и утверждения в критике этого Толстого во многом действительно остается за ним. Страхов, чуть ли не единственный тогда критик, по сути немедленно стал в то отношение к «Войне и миру», которое сам он позднее формулировал в предисловии к выпущенным в 1871 году отдельной книжкой своим статьям о «Войне и мире»: «„Война и мир“ есть также превосходный пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жестокий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Кажется, легко понять, что не „Войну и мир“ будут ценить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что́ вы скажете о „Войне и мире“».[54] Именно на таком понимании, очевидно, возникло и то доверие, которым быстро проникся и которое постоянно испытывал по отношению к Страхову сам Толстой. Так, при подготовке «Войны и мира» к изданию, вышедшему в 1873 году в составе собрания его сочинений, Толстой в сущности открыл принимавшему в нем участие Страхову carte blanche: «Еще просьба, — пишет Толстой Страхову в письме от 25 марта 1873 года, т. е. всего через два года после знакомства, — я начал приготовлять „Войну и мир“ ко второму изданию и вымарывать лишнее — что надо совсем вымарать, что надо вынести, напечатав отдельно. — Дайте мне совет... если Вы помните, что́ нехорошо, напомните... Если бы, вспомнив то, что надо изменить, и поглядев последние 3 тома рассуждения, написали бы мне, это и это надо изменить и рассуждения с страницы такой-то по страницу такую-то выкинуть, вы бы очень, очень обязали меня».

Страхов немного и осторожно, но действительно правил Толстого, в частности стиль там, где возникали грамматические неправильности — галлицизмы. Оставляя в стороне собственно текстологическую сторону дела, обратим внимание на саму степень доверия, которую питал к Страхову Толстой.

---

[52] Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 215—216.

[53] Гольцев В. Н. Н. Страхов, как художественный критик. — В кн.: Гольцев В. О художниках и критиках. М., 1899, с. 121.

[54] Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 312—313.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Другой пример. Посылая в редакцию «Отечественных записок» статью «О народном образовании», Толстой в письме от 30 августа 1874 года обращается к издателю журнала Некрасову: «... очень прошу вас корректуры ее приказать пересылать Николаю Николаевичу Страхову (Публичная библиотека) и всякое изменение, сделанное им, принимать *как бы мое*» (курсив мой, — *Н. С.*).

Свои статьи о «Войне и мире» Страхов даже называл критической поэмой в четырех песнях.

Во-первых, он установил прямую связь, которая существует между Пушкиным и Толстым, а именно между «Капитанской дочкой» и «Войной и миром». Во-вторых, он установил различие между ранними толстовскими произведениями и «Войной и миром». Наконец, — и главное, — Страхов первый в критике раскрыл смысл «Войны и мира» как русской героической эпопеи: «Художник дал нам новую, русскую формулу *героической жизни*».[55] Эта формула основана, по Страхову, на уяснении русского идеала, впервые после Пушкина так ясно себя заявившего, — духа, который сам Толстой формулировал как дух простоты, добра и правды.

Под этим углом зрения, кстати сказать, знаменитый Платон Каратаев не только не выпадает из *русской формулы героической жизни*, но в известном смысле сводит ее к себе. Недаром именно в связи с ним повторяются у Толстого слова о духе добра и простоты. Образ Каратаева-солдата у Пьера естественно и прямо связан с образом других солдат и с общим образом войны как войны народной. И поставлен солдат Каратаев в самые тяжелые условия, в которых может оказаться солдат во время войны, — плена. «В лице Каратаева, — отмечал Страхов, — Пьер видел то, как русский народ мыслит и чувствует при самых крайних бедствиях, какая великая вера живет в его простых сердцах».[56]

Страхов называет еще такой тип героизма «смирным героизмом» (его несут и Кутузов, и Коновницын, и Тушин, и Дохтуров) в отличие от «деятельного», который, впрочем, виден не только во французах, но и во множестве русских людей (Ермолов, Милорадович, Долохов). «Вообще говоря, невозможно отрицать, чтобы люди решительные, смелые — не имели важности в ходе дел, чтобы русский народ не порождал людей, дающих простор своим личным взглядам и силам... Итак, есть сторона русского характера, которая не вполне схвачена и изображена автором». По Страхову, такой тип героизма еще не нашел вполне своего поэта-выразителя. Мы можем еще только прозревать его. Толстой же прежде всего выразил иное: «Мы сильны *всем народом*, сильны тою силою, которая живет в самых простых и смирных личностях, — вот что хотел сказать гр. Л. Н. Толстой, и он совершенно прав». Но дело не только и не просто, так сказать, в количественной силе, во внешней победе. «Если вопрос идет о силе, то он решается тем, на какой стороне победа; но простота, добро и правда нам милы и дороги сами по себе, все равно, победят они или нет... Огромная картина гр. Л. Н. Толстого есть достойное изображение русского народа. Это — действительно неслыханное явление, — эпопея в современных формах искусства».[57]

Можно оспаривать ту или иную обобщающую формулу Страхова, но нельзя не видеть, что он первый сказал о «Войне и мире» как о народной книге. А ведь самое снисходительное, что произнесла тогда о «Войне и мире» радикальная критика в лице Писарева, было: картины «старого барства». Как не вспомнить великолепную ленинскую формулу, данную

---

[55] Там же, с. 281.
[56] Там же, с. 274.
[57] Там же, с. 286—287.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

как раз в связи с «Войной и миром» и сообщенную нам Горьким: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было».[58]

О бедности русской литературы теперь уже говорить не приходится, и Страхов о ней не говорит: «Если теперь иностранцы спросят у нас о нашей литературе... мы прямо укажем на „Войну и мир", как на зрелый плод нашего литературного движения, как на произведение, перед которым мы сами преклоняемся, которое для нас дорого и важно не *за неимением* лучших, а потому, что оно принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и можем вообразить. Западные литературы в настоящее время не представляют ничего равного и даже ничего близко подходящего к тому, чем мы теперь обладаем».[59] Как не вспомнить также сказанные в связи с «Войной и миром» ленинские слова: «Кого в Европе можно поставить рядом с ним?.. Некого».[60]

Уже в 1870 году Страхов уверенно проронил: «„Война и мир" скоро станет настольною книгою каждого образованного русского, классическим чтением наших детей». Казалось бы, достигнуты пределы признания и самых высоких оценок. И все же они у Страхова нарастают, и это, конечно, тоже связано с тем, что толстовская книга продолжает жить, в своем, как теперь говорят, функциональном значении. Она развивается подобно живому организму: оставаясь той же самой, она и другая. В 1887 году Страхов пишет Толстому о его книге как о вещи уже от автора отстраненной, как о существе совершенно самостоятельном, живущем своею жизнью, общение с которым может быть поучительно для автора, выступающего в роли читателя собственной книги: «Если Вы давно не читали „Войны и мира", то убедительно прошу и советую Вам — перечтите внимательно... Несравненная книга! До сих пор я не умел ценить ее как следует, да и Вы не умеете — так мне кажется».[61]

Но нужно видеть в отношении Страхова к Толстому еще одну сторону. Толстой был для Страхова носителем могучих жизненных сил. «Я давно называл Вас самым цельным и последовательным писателем, но Вы сверх того самый цельный и последовательный человек», — писал Страхов. И несколько раньше: «Вы растянулись умом и сердцем во всю ширину земной жизни».

Так понимаемая жизнь Толстого должна была представляться Страхову совершенно безусловной и истинной в своем развитии. Поэтому Страхов со всем энтузиазмом воспринял позднейшие религиозные искания Толстого.

* * *

Думается, что Толстой, невольно, конечно, определял и дополнительную сложность отношений Страхова с Достоевским. Эти отношения как раз были лишены, несмотря на долголетнюю близость, предельной доверительности и — особенно — простоты, которые отличают отношения Страхова с Толстым. Сложная история эта многократно привлекала внимание исследователей. Факты таковы: Страхов был связан с Достоевским десятки лет и, так сказать, по работе, и дружески, семейно. О романе «Преступление и наказание» он напечатал в «Отечественных записках» за 1867 год (№№ 3 и 4) одну из самых интересных статей. После смерти Достоевского Страхов написал о нем «Воспоминания», сохранившие ценность и документального свидетельства и общего осмысления. Они стали введением к первому полному собранию сочинений писателя.

---

[58] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 17. М., 1952, с. 39.
[59] Страхов Н. Критические статьи... т. I, с. 308.
[60] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 17, с. 39.
[61] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 355.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Между тем спустя некоторое время в письме Толстому от 28 ноября 1883 года он написал о Достоевском очень злые слова и сделал явно несправедливые, даже страшные, упреки. Письмо это было опубликовано в 1913 году, т. е. много лет спустя после смерти в 1896 году Страхова. На него остро реагировала вдова Достоевского Анна Григорьевна, которая, сопоставив публичные «Воспоминания» с этим частным письмом, первая сказала о лицемерии Страхова.[62] И до сих пишут о лицемерии Страхова. Между тем дело явно обстоит сложнее.

Вообще сопоставление частных писем писателя (которые обычно рано или поздно становятся публичными) и печатно даваемых им характеристик людям и обстоятельствам, упоминаемым в переписке, могло бы нередко дать основание для обвинений в лицемерии, тем не менее этого чаще всего — и справедливо — не делается. Кстати, пожалуй, Страхов, судя по многим его письмам, человек, менее других дающий основание для таких обвинений. Да и проницательный Толстой вряд ли мог на протяжении десятков лет называть «одним из лучших людей», которых он знает, лицемера и ханжу. «Он (Достоевский, — *Н. С.*), — сообщает Толстому Страхов, — был мой усерднейший читатель, очень тонко все понимал».[63] А. Г. Достоевская вспоминает (еще до знакомства с письмом Страхова Толстому), как дорожил беседами с ним Ф. М. Достоевский.[64]

С другой стороны, Достоевский, уже опять-таки в частном письме, говорит о Страхове: «Это скверный семинарист и больше ничего».[65] В тетради «для себя» Достоевский записывает о Страхове: «Н. Н. ‹Страхов› в статьях своих говорил *обиняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы».[66] В письме Страхову Достоевский пишет: «В конце концов я считаю Вас за единственного представителя нашей теперешней критики, которому принадлежит будущее».[67] Что это, лицемерие?

Очевидно, имела место сложность отношений и взаимовосприятия: и дружба, и близость, и расхождения, и столкновения, все усиливающиеся. В «Воспоминаниях» о Достоевском Страхов не лгал, но здесь он, по собственным в «Воспоминаниях» же сказанным словам, «возобновил некоторые из лучших чувств» и, по словам, сказанным уже в письме Толстому, «налегал на литературную сторону»: «Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства; но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал».[68] В письме, говоря о Достоевском, он называл того и злым, и завистливым, и развратным, рисует, по его признанию, другую сторону, дает комментарий к биографии, не отменяя самой написанной им биографии — «но пусть эта правда погибнет». Тем более что: «Я прибранил Достоевского, а сам верно хуже».

В то же время и в письмах он с большой откровенностью (и с бо́льшей, чем в «Воспоминаниях») говорит о том, чем для него лично был Достоевский: «... чувство ужасной... пустоты не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось

---

[62] Очевидно, А. Г. Достоевская была бы сдержаннее, если бы она знала о похожих обвинениях, но уже в адрес Страхова, сделанных ранее Достоевским в одной из записей, и о том, что, разбирая архив Достоевского, Страхов, видимо, с нею ознакомился. См.: Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. — В кн.: Лит. наследство, т. 83, 1971, с. 23.

[63] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 273.

[64] См.: Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 319.

[65] Достоевский Ф. М. Письма, т. III. М.—Л., 1934, с. 155.

[66] Лит. наследство, т. 83, с. 619.

[67] Достоевский Ф. М. Письма, т. II, с. 167.

[68] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 310.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел».[69] В «Воспоминаниях» запечатлено «значение». В письмах — не только оно, но и то, что «не ладили». Дело, однако, не только в сложности отношений. Думается, что то, что предстало и было понято как некий феномен лицемерия, возникло на более принципиальной почве, а именно на религиозной.

В свое время А. С. Долинин писал: «Взгляды Достоевского — действительно „наполовину взгляды", высказанные ранним Страховым... Все эти мысли, если взять их изолированно, конечно, в высшей степени не оригинальны: любой „батюшка" произносил подобные речи с церковного амвона не один раз... В „Дневнике писателя", в особенности в „Поучении старца Зосимы", он повторяет их почти дословно».[70] Думается, современный исследователь справедливо оспаривает подобную характеристику: «Великий художник-гуманист в тех же „Записках из подполья" ведет внутреннюю полемику и со страховской „рецептурой" переустройства мира на „идеалистических" началах. Страхову, напротив, все ясно, трудных проблем для него, в сущности, не существует, ему как бы заранее известны все возможные решения».[71]

Может быть, не случайны у Достоевского неоднократные уничижительные характеристики Страхова как семинариста. Действительно, в отличие от многих других выпускников семинарий, так обильно пополнивших в середине прошлого века ряды материалистов и безбожников, Страхов навсегда остался человеком, преданным религиозным догматам. Именно догматам. Вера эта, судя по всему, была непоколебимой, какой-то школьно-семинарской, по-бурсацки вдолбленной и навсегда такой оставшейся — безусловной, бесспорной и безвопросной. Но религиозным писателем или мыслителем в собственном смысле этого слова Страхова назвать трудно, ибо, держа этот принцип в уме, он по сути никогда его не излагал, прямо не защищал, не проповедовал. Даже такая, кажется, единственная его специальная работа, как «Учение о боге по началам разума», имеет не оригинальный, а реферативный характер, есть изложение pro и contra Аристотеля и Лейбница, Декарта и Канта.

Сама же вера полагается до всяких доказательств. Недаром Страхов пишет: «Все существующие философские доказательства бытия божия не имеют характера доказательств в точном значении слова, все они уже предполагают то, что хотят доказать: существование в нашем духе идеи о боге».[72] Думается, ортодоксальная религиозность Страхова здесь-то и искушалась и раздражалась исканиями Достоевского, не случайно, чем дальше, тем больше определялись их расхождения. Страхов и хочет истолковать Достоевского, в особенности «Братьев Карамазовых», в сугубо традиционном христианском духе и все же не всегда решается сделать это и даже прямо пишет в «Воспоминаниях» о неопределенности у Достоевского-писателя «начал и принципов».

Достоевский недаром говорил, что он проходил через горнило испытаний, что тяжко далась ему его «осанна». Дело в том, что писателем пытался, ставился под сомнение сам принцип религии, бога. Искания Толстого самого принципа этого под сомнение не ставили. Все это отталкивало Страхова от Достоевского и влекло к Толстому и в этой области. Они тоже могли спорить — многое у Толстого здесь Страхов резко осуждал, — но это уже был спор единомышленников.

---

[69] Там же, с. 266.

[70] Шестидесятые годы. М.—Л., 1940, с. 244, 247—248.

[71] Гуральник У. Н. Н. Страхов — литературный критик. — Вопросы литературы, 1972, № 7, с. 142.

[72] Страхов Н. Учение о боге по началам разума. М., 1893, с. 33.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Потому-то Толстой, оспаривая те или иные оценки Страховым Достоевского-художника (его тезис о соотношении автора и героев и др.), почти не обращая внимания на все уже данные Страховым отрицательные характеристики Достоевского-человека, вполне признавая огромные заслуги Достоевского — писателя-мыслителя, все же *упрекает* (в письме от 5 декабря 1883 года) Страхова в *преувеличении* им роли Достоевского как пророка: «Мне кажется, вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не вами, но всеми — преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророки и святого, — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

Толстой и сам был «весь борьба». Но для Страхова это была борьба в рамках самой веры: он мог что-то в этой борьбе одобрять, что-то не одобрять. Но саму такую борьбу он одобрял, приветствовал, поощрял и пытался истолковать в своем духе: «...большую долю всемирной известности Толстого нужно приписать не его художественным произведениям, а именно тому религиозно-нравственному перевороту, который в нем совершился и смысл которого он стремился выразить и своими писаниями и своею жизнью».[73] Под знаком этого начала Страхов все меньше говорит о Толстом-художнике. Позднейшие его статьи о Толстом (особенно характерна здесь рецензия 1884 года «Французская статья об Л. Н. Толстом») — это прежде всего рассмотрение писателя с позиций того религиозно-нравственного переворота, который в нем совершился.

Достоевский достаточно ревниво относился к Толстому и, как следствие, к тому, что писал и говорил о Толстом Страхов. 6 февраля 1875 года он сообщает жене о встрече с Майковым и Страховым: «Об романе моем («Подростке», — *Н. С.*) ни слова, и, видимо, не желая меня *огорчать*. Об романе Толстого тоже говорили не много, но то, что сказали — выговорили до смешного восторженно».[74]

Немного раньше Достоевский вносит в тетрадь характеристику Страхова как «затолстевшего» человека.[75] Прямая и отрицательная, она, впрочем, выглядит, может быть выглядела и для Достоевского, каламбуром: Страхов действительно «затолстел», к Толстому повернувшись всеми своими мыслями, чувствами и писаниями.

Самому же Страхову Достоевский напишет удивительно широко, точно, смело и великодушно: «Кстати, заметили Вы один факт в нашей русской критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил на поприще непременно как бы опираясь на какого-нибудь передового писателя, т. е. как бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя... Белинский заявил себя ведь не пересмотром литературы и имен, даже не статьею о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя, которому он поклонялся еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя... Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю. Правда, прочтя статью вашу в „Заре“, я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что Вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, т. е. с *его последнего сочинения*».[76]

Страхов действительно стал чем-то вроде особого критика, уже как бы полностью Толстым поглощенного, специально при Толстом, для Толстого

---

[73] Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892, с. 135.
[74] Достоевский Ф. М. Письма, т. III, с. 148.
[75] См.: Лит. наследство, т. 83, с. 312.
[76] Достоевский Ф. М. Письма, т. II, с. 166—167.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

и о Толстом. «Вы ведь, — пишет он уже сравнительно незадолго до смерти, — много виноваты в моей философии и в том, что я пренебрегаю русскою литературою». Толстой многое затмил для Страхова-критика. Но трезвость взгляда, так отличавшая его лучшие оценки, не совсем изменяла Страхову: «Недавно я кое-что перечитал и кое-что вновь прочел: Гаршина, Короленко, Чехова — да ведь это серьезная литература — не чета Zola».[77]

Великая литература русского реализма снова звала, обещала, обнадеживала старого критика: «Пока жива и здорова наша поэзия, до тех пор нет причины сомневаться в глубоком здоровье русского народа».

---

[77] Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, с. 444.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Я. С. ЛУРЬЕ

КОНЕЦ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ИГА («УГОРЩИНА») В ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРЕ

В нашем восприятии событий прошлого всегда своеобразно переплетаются литература и история. Историк узнает о прошлом из источников, но источники эти — литературные памятники, проникнутые определенной тенденцией, написанные в той или иной художественной манере. С другой стороны, факт, вошедший в исследования и исторические курсы, постоянно используется как материал писателями нового времени, воплощается (и своеобразно деформируется) в исторических романах, драмах, поэмах.

Концом монголо-татарского ига на Руси справедливо считается в русской историографии «стояние на Угре» — последний бесславный поход хана на Русь. Он был предпринят в 1480 году — ровно через сто лет после Куликовской битвы; юбилеи обоих событий отмечаются одновременно.

Что же мы знаем о «стоянии на Угре», или «Угорщине», как еще называют это событие? Хотя Куликовская битва куда более известна, чем «Угорщина», современных сообщений о «стоянии на Угре» сохранилось значительно больше. Только один рассказ «о великом побоище иже на Дону» может рассматриваться как более или менее современный Куликовской битве — это рассказ Троицкой летописи (дошедший в составе Симеоновской летописи и Рогожского летописца); остальные летописные и внелетописные рассказы — более позднего происхождения.[1] Совершенно иначе обстоит дело с источниками о «стоянии на Угре». Конец XV века — время расцвета русского летописания; о последнем, бесславном походе хана повествует, независимо друг от друга, ряд современных летописцев. Правда, многие из летописных сводов конца XV века были введены в науку довольно поздно, но в настоящее время большая часть их издана,[2] и это обстоятельство открывает широкие возможности для источниковедческого исследования.

Первым опытом такого исследования можно считать статью А. Е. Преснякова «Иван III на Угре». Основная идея А. Е. Пресня-

---

[1] Салмина М. А. 1) «Летописная повесть» о Куликовской битве и «Задонщина». — В кн.: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания «Слова». М.—Л., 1966, с. 344—384; 2) К вопросу о датировке «Сказания о Мамаевом побоище». — ТОДРЛ, т. XXIX, 1974, с. 98—124; 3) Еще раз о датировке «Летописной повести» о Куликовской битве. — ТОДРЛ, т. XXXII, Л., 1977, с. 3—39; Дмитриев Л. А. Куликовская битва 1380 года в литературных памятниках Древней Руси. — Русская литература, 1980, № 3, с. 9, 15, 21—22; Кучкин В. А. Победа на Куликовом поле. — Вопросы истории, 1980, № 8, с. 7.

[2] Софийская II и Львовская летописи — ПСРЛ, т. VI, с. 222—232; т. XX, ч. 1, с. 337—347; Симеоновская летопись — там же, т. XVIII, с. 267—269; Типографская летопись — там же, т. XXIV, с. 198—202; Московский свод конца XV века — там же, т. XXV, с. 326—328; Вологодско-Пермская летопись — там же, т. XXVI,

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

кова совпадает с мнениями историков XIX века, касавшихся вопроса о летописных описаниях «Угорщины» попутно (Г. Ф. Карпов, И. А. Тихомиров).[3] Пресняков считал, что в дошедших до нас летописях соединены два рассказа — официальный и враждебный по отношению к Ивану III. «Яснее всего выступает двойственность источников, какими пользовались составители сводов, в Софийской второй летописи», — писал А. Е. Пресняков. Об этом свидетельствует, в частности, перебой в изложении, когда после сообщения о приезде Ивана III из Москвы к Угре (в Кременец) летописец включает в текст послание архиепископа Вассиана, укорявшего великого князя за его колебания, и вновь говорит о поездке Ивана III в Москву (но не с Угры, а с Оки, где князь находился в начале похода Ахмата). Полагая, что два рассказа, отразившиеся в Софийской II летописи, «сохранены данным сводом довольно фрагментарно и подлежат восстановлению путем сравнительного изучения с другими текстами», А. Е. Пресняков, однако, отказался от попытки такого восстановления, отметив «лишь некоторые черты этих двух текстов, поскольку они дополняют наши сведения о ходе событий или освещают характер традиции в них». Кроме Софийской II он упоминает только о Воскресенской, Новгородской IV (Хронографической), Никоновской и тогда еще не изданной Вологодско-Пермской летописи. Предполагая, что «в сводах, таких, как Воскресенский или Никоновский, естественно ожидать исключения элементов, враждебных великому князю», А. Е. Пресняков отмечает, что все-таки и в этих сводах сохранилось упоминание о влиянии на Ивана III «злых человек сребролюбцев, богатых и брюхатых, предателей христианских». Аналогичную двойственность Пресняков усматривал и в рассказе Вологодско-Пермской летописи, хотя в ней нет текстуальных совпадений с другими сводами. Но и здесь упоминаются колебания великого князя и «швы компиляции все-таки видны». В конце концов А. Е. Преснякову так и не удалось обнаружить источник, который описывал бы политику Ивана III как вполне последовательную и решительную, и он противопоставил летописям не источник, а построение своего собрата — историка XX века: «Верную оценку действий великого князя Ивана Васильевича находим у польского историка Фредерика Папэ».[4]

Еще до появления статьи А. Е. Преснякова (1911 год) А. А. Шахматов обратил внимание на летопись, опубликованную уже в конце XVIII века, но не исследованную и недостаточно использованную историками, — на Типографскую летопись, в которой он усматривал отражение одного из ростовских владычных (архиепископских) сводов конца XV века. А. А. Шахматов предполагал, что Вассиан был автором не только послания на Угру, в котором проявилось его «сильное патриотическое чувство», но и той повести об Угре, где упоминались нашептывания «злых человек, сребролюбец, богатых и брюхатых», — повесть эта, по мнению А. А. Шахматова, отразилась и в Типографской, и в Софийской II, и в ряде других летописей. Еще определеннее о связи рассказа об Угре (как и других известий) Типографской летописи с ростовской архиепископской кафедрой и о влиянии этой летописи на последующее летописание (Софийская II, Львовская и Воскресенская летописи)

с. 264—274; Сокращенные своды конца XV века — там же, т. XXVII, с. 282—284 и 355—357; Устюжский летописец — в книге «Устюжский летописный свод» (М.—Л., 1950, с. 92—94).

[3] Карпов Г. История борьбы Московского государства с Польско-Литовским, ч. I. М., 1867, с. 112—119; Тихомиров И. А. Обозрение состава московских летописных сводов. СПб., 1896, с. 32.

[4] Пресняков А. Е. Иван III на Угре. — В кн.: Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб., 1911, с. 284—289; ср.: Papée F. Polska a Litwa na przełomie wieków średnich. Kraków, 1903, s. 59.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

А. А. Шахматов писал в большой работе о русских летописных сводах XIV—XVI веков, опубликованной после смерти ученого.[5]

В 1921 году Типографская летопись была издана в ПСРЛ — эта публикация облегчила возможность сопоставления ее с другими сводами. Такое сопоставление позволило прийти к выводу, что противоречивость текста в Софийской II—Львовской летописях объясняется соединением в нем двух летописных источников (не считая третьего внелетописного — Послания Вассиана) — одного, сравнительно лояльного по отношению к Ивану III, близкого к Типографской, и другого, более обличительного по отношению к великому князю. Для историка в данном случае особенно важно одно обстоятельство: именно из рассказа Типографской летописи было взято упоминание о «злых человеках», отвращавших Ивана III от борьбы с татарами, и именно этот рассказ (как отметил уже Шахматов) лежал в основе текста не только Софийской II и Львовской, но и Воскресенской и других летописей.[6] А публикация в 1949 году Московского свода конца XV века обнаружила, что и этот летописный памятник содержит рассказ, в котором упоминается влияние «злых человек» на Ивана III.

Текст Московского свода был уже учтен в книге К. В. Базилевича о внешней политике Ивана III, содержащей раздел, посвященный событиям 1480 года. Однако считая, что в Московском своде «при сдержанном отношении к Ивану III» допущены такие выражения о великой княгине Софии Палеолог, «которые никак не могли иметь места в великокняжеской летописи», К. В. Базилевич признал рассказ Московского свода составленным в «митрополичьей канцелярии» (более полный текст того же рассказа сохранился, по его мнению, в «Русском Временнике» XVI—XVII веков). Второй источник, рассмотренный им, — рассказ Софийской II—Львовской — К. В. Базилевич считал «весьма ненадежным и недостоверным источником», «не летописной записью, а политическим памфлетом, написанным значительно позже описанных событий». Враждебное отношение рассказа Софийской II—Львовской летописей к Ивану III, обилие «повторений и противоречий», «хронологических и фактических погрешностей» в этом рассказе делало, по мнению К. В. Базилевича, совершенно невероятным предположение А. А. Шахматова о связи этого рассказа с архиепископом Вассианом Ростовским, «человеком близким великому князю», стремившимся «укрепить мужество великого князя и предотвратить влияние на него сторонников примирения с ханом ценой тяжелых уступок». Однако эти возражения К. В. Базилевича А. А. Шахматову были в значительной степени плодом недоразумения. А. А. Шахматов не утверждал, что рассказ об Угре в том виде, в каком он дошел в Софийской II летописи, был рассказом ростовского свода. Рассказом, связанным с Вассианом, он склонен был считать повествование об Угре в Типографской летописи, где вовсе не было тех повторений и противоречий, на которые обратил внимание Базилевич. Но рассказа Типографской летописи К. В. Базилевич вообще не разбирал.[7]

[5] Шахматов А. А. 1) Ермолинская летопись и Ростовский владычный свод. СПб., 1904, с. 82—83; 2) Обозрение русских летописных сводов XIV—XVI вв. М.—Л., 1938, с. 295—296, 297, прим. 3.

[6] Лурье Я. С. Из истории политической борьбы при Иване III. — Учен. зап. ЛГУ, 1941, № 80. Сер. историч. наук, вып. 10, с. 78—88.

[7] Базилевич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая половина XV века. М., 1952, с. 134—147, 156—157. Ср.: Лурье Я. С. Из истории русского летописания конца XV в. — ТОДРЛ, т. XI, 1955, с. 159, прим. 2. «Русский Временник», отразивший, по мнению К. В. Базилевича, рассказ об Угре митрополичьего свода в более полном виде, чем Московский свод (Уваровский список), представлял собою, как установил А. Н. Насонов, летописный свод 1533 года в редакции первой трети XVII века (Насонов А. Н. История русского летописания XI—начала XVIII века. Очерки и исследования. М., 1969, с. 418—477. Ср.: Творогов О. В. Древнерусские хронографы. Л., 1975, с. 229—230).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Другой автор, П. Н. Павлов, как и К. В. Базилевич, считал необходимым защищать Ивана III от обвинения в колебаниях и уступках «злым человекам». Но в отличие от своего предшественника он учитывал важную роль Типографской летописи в системе летописных сводов, содержащих рассказ об Угре, и влияние, которое оказал ростовский рассказ на официальные летописи последующего времени; признавал он и связь ростовского рассказа с архиепископом Вассианом. Однако показания всех этих источников П. Н. Павлов отвергал, объявляя самого Вассиана представителем «консервативной группы феодалов», стремившимся к объединению русских сил лишь из расчета на то, «что во имя этого объединения великий князь пойдет на уступки феодальной знати, претендовавшей на руководящую роль в стране». Официальные и официозные летописи последующего времени переписали с некоторыми изменениями «оппозиционный рассказ ростовского летописания». Что же касается современного событиям «официального рассказа великокняжеского летописания», который должен был очевидно, дать единственно верную картину событий 1480 года, то он, по словам П. Н. Павлова, «мог быть уничтожен, как было уничтожено немало ценных документов в истории любой страны».[8]

Построения К. В. Базилевича и П. Н. Павлова отражали довольно характерную для историографии начала 50-х годов тенденцию к безоговорочному восхвалению самодержавной власти Московской Руси как однозначно «прогрессивной» и к столь же безусловному осуждению всех сил, так или иначе вступавших с нею в противоречия или критиковавших ее. Но тенденция эта не получила поддержки в последующие годы. М. Н. Тихомиров не без язвительности замечал, что, обвиняя летописцев в тенденциозности, «сам К. В. Базилевич проявляет определенную тенденциозность, рисуя деятельность Ивана III в плане полной апологии всех его мероприятий». М. Н. Тихомиров считал достоверными не только известия большинства летописей о колебаниях великого князя, но и упоминания Софийской II—Львовской летописей о возмущении московских «гражан», требовавших от Ивана III решительного выступления против хана.[9] Городские движения 1480 года, направленные против уступок хану, привлекали внимание и других видных историков — Л. В. Черепнина и А. Н. Насонова, также считавших известия об этих движениях в Софийской II и Львовской летописях заслуживающими доверия.[10] Не получил поддержки и взгляд на Вассиана Рыло как на выразителя стремлений «консервативной группы феодалов». Как историки (Л. В. Черепнин, А. Н. Насонов), так и филологи (И. М. Кудрявцев, Б. Н. Путилов) видели в Вассиане не консерватора и реакционера, а, напротив, одного из идеологов складывающегося Русского государства, отражавшего в Послании на Угру «народные требования» 1480 года.[11]

В последующие десятилетия «Угорщина» не была предметом специальных исследований. Но именно в эти годы был опубликован ряд летописей, содержащих рассказы о событиях 1480 года, и были написаны

---

[8] Павлов П. Н. Действительная роль архиепископа Вассиана в событиях 1480 г. — Учен. зап. Красноярск. пед. ин-та, 1955, т. IV, вып. 1, с. 202—212.

[9] Тихомиров М. Н. Средневековая Москва XIV—XV вв. М., 1957, с. 231—237.

[10] Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. М., 1960, с. 877—879; Насонов А. Н. Указ. соч., с. 314. О том, что осенью 1480 года Иван III проявлял «элементы пассивности, некоторые колебания», писал и И. Б. Греков (Греков И. Б. Очерки по истории международных отношений Восточной Европы XIV—XVI вв. М., 1963, с. 194).

[11] Черепнин Л. В. Указ. соч., с. 882; Насонов А. Н. Указ. соч., с. 320; Кудрявцев И. М. «Послание на Угру» Вассиана Рыло как памятник публицистики XV в. — ТОДРЛ, т. VIII, 1951, с. 161, 165—178; История русской литературы в 3-х т., т. I. М.—Л., 1958, с. 195—197.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

исследования о летописных сводах конца XV века, также содержащих рассказы об Угре.[12]

Прямая текстологическая связь рассказа об Угре в Московском своде и последующем великокняжеском летописании с ростовским рассказом, содержащимся в Типографской, обнаруживается из совпадения ряда мест. Совпадает упоминание о том, как Ахмат узнал о расположении русских сил на Оке: «Слышав же царь Ахмат, что князь великый стоит у Окы по брегу со всеми силами, и поиде к Литовьской земле... ко Угре реце»; совпадает описание дальнейшего маршрута Ахмата: «Царь же и с всеми своими татары поиде по Литовьской земли мимо Мченеск и Любутеск и Одоев, и пришедше, ста у Воротыньска, ожидая к себе королевы помочи, король же не иде к нему, ни посла, быша бо ему свои усобицы...» Далее совпадает упоминание о том, что, выйдя на Угру, татары «начаша... стреляти» русских, а русские «стрелами и пещальми многих побиша», о том, что «егда ста река», Иван III отозвал сына, брата и воевод «на Кременець, боящеся татарского прихожения», и что он слушал «злых человек, сребролюбцев богатых и брюхатых и предателей крестьянских, а норовников бесерменских», утверждавших, что Иван III не может биться с татарами: устами их говорил дьявол, прельстивший «Адама и Евву». В обоих рассказах уход татар расценивается как чудо: «Едини от других бежаху и ничто женяше». Наконец, и в ростовском, и в великокняжеском рассказе в совпадающих выражениях рассказывается о последующих событиях (нападение нагайского царя на Угру, гибель Ахмата, неудачная попытка одного из «царевичей» пограбить «украину» за Окой, возвращение князя из Боровска, его благодарность богу, богородице и святым, соглашение Ивана III с братьями) и приводится известие о возвращении великой княгини Софии «из бегов» на Белоозеро, где местному населению «пуще стало татар от боярских холопов, от кровопивцев крестьянских», — известие, завершающееся молитвой о воздаянии «кровопивцам» «по делом их и по лукавству начинания их». Какого происхождения эти совпадающие тексты? Концовка рассказа в Московском своде и сходных с ним летописях явно вторична по сравнению с концовкой ростовского рассказа, где молитвенное обращение имеет стройную и последовательную композицию: оно состоит из трех частей (с окончаниями «Аминь») и завершается патетическим обращением к «храбрым мужественным сынам русским», готовым защищать свои земли от «поганых», завоевавших многие православные земли.

Из двух видов рассказа об Угре в великокняжеском летописании более близким к ростовскому рассказу и первоначальным представляется рассказ в Московском своде (Уваровском списке) и Сокращенном своде Погодинского вида (редакция 1493 года) и вторичным — рассказ в Симеоновской летописи и Сокращенном своде Мазуринского вида (редакция 1495 года).[13]

Основные отличия между этими видами заключаются в том, что, во-первых, в Московском своде и Сокращенном своде 1493 года, как и в Ти-

[12] Насонов А. Н. Указ. соч., с. 310—314; Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976, с. 218—219, 232—233, 243—247. В 1961 году была опубликована статья И. М. Кудрявцева, представляющая собой часть исследования, другой фрагмент которого был опубликован в ТОДРЛ в 1951 году (см. прим. 11): Кудрявцев И. М. «Угорщина» в памятниках древнерусской литературы. (Летописные повести о нашествии Ахмата и их литературная история). — В кн.: Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961. Ряд положений автора вызывает возражения из-за того, что он не учитывает взаимоотношений между теми летописными сводами, в которых читаются изучаемые им повести об Угре (ср.: Лурье Я. С. Неизданный рассказ о «стоянии на Угре». — ТОДРЛ, т. XVIII, 1962, с. 291, прим. 3 и 5).

[13] К Симеоновской летописи и Сокращенному своду 1495 года близок еще текст рассказа об Угре в Новгородской Хронографической (V) летописи. См.: ПСРЛ, т. IV. СПб., 1841, с. 153—154.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

пографской летописи, неприход короля на помощь Ахмату объясняется тем, что «тогда бо воева Минли Гирей царь Крымский королеву землю Подольскую, служа (в Типографской: «дружа», — *Я. Л.*) великому князю», а в Симеоновской и Сокращенном своде 1495 года этого объяснения нет, и известие о нападении Менгли-Гирея на Подолию помещено вне рассказа об Угре. Во-вторых, в Московском своде и Сокращенном своде 1493 года, вслед за Типографской, рассказ о соглашении Ивана III с братьями включает конкретные детали («князю Андрею Васильевичу Большому придал Можайск, а князю Борису Васильевичу отступися сел его») и заканчивается фразой: «И укрепишася крестным целованием разидошася»; в Симеоновской и Сокращенном своде 1495 года условия соглашения и «крестное целование» не упоминаются. Первое из этих различий не дает ясных указаний на соотношение текстов: известие о нападении Менгли-Гирея на Подолию могло быть и исключено из первоначального рассказа об Угре, и вставлено в него.[14] Но отсутствие в Симеоновской и Сокращенном своде 1495 года упоминания об условиях соглашения с братьями можно считать явным и сознательным сокращением текста: в 1491 году Иван III нарушил «крестное целование» 1481 года, заточив Андрея Углицкого, а к 1494 году обоих братьев уже не было в живых и их уделы были включены в состав великокняжеских владений. Поэтому текст рассказа в Московском своде и Сокращенном своде 1493 года естественнее всего датировать первой половиной 90-х годов XV века (до 1494 года), а текст Симеоновской и Сокращенного свода 1495 года — второй половиной.[15]

Тема «Угорщины» вновь привлекла внимание историков в 1980 году, в связи с 500-летним юбилеем освобождения от ордынского ига, хотя основная масса публикаций была посвящена другому «юбиляру» того же года — Куликовской битве. В 1980 году вышли в свет научно-популярная книга В. В. Каргалова и статья В. Д. Назарова, написанные на одну и ту же тему — о конце золотоордынского ига.

В книге В. В. Каргалова собственно событиям 1480 года посвящено менее половины глав (5 из 12); книга содержит и рассказ о «Батыевом погроме», и всю историю освободительной борьбы, включая Куликовскую битву. Характеристика «Угорщины» в книге В. В. Каргалова близка к той, которую мы уже встречали в работах начала 50-х годов — К. В. Базилевича и особенно П. Н. Павлова. Так же, как и К. В. Базилевич, В. В. Каргалов привлекает чрезвычайно узкий круг летописей XV века, игнорируя Типографскую летопись, а рассказ Софийской II летописи рассматривает как «составленный, видимо, в Ростове и отражавший пози-

[14] В своих прежних работах я объяснял отсутствие упоминания о Менгли-Гирее внутри рассказа об Угре в Симеоновской и сходных с нею летописях тем, что сообщение это было выпущено из великокняжеской летописи после 1494 года, так как оно могло повредить заключенному в этом году миру с Литвой (ср.: Лурье Я. С. Новые памятники русского летописания конца XV в. — История СССР, 1964, № 6, с. 124). Но Б. М. Клосс справедливо обратил мое внимание на то, что в сводах второй половины 90-х годов XV века не скрывались факты русско-крымских действий против Казимира, ибо там сохранилось еще более оскорбительное для короля известие 6992 (1484) года о нападении Менгли-Гирея на Киев «по слову великого князя Ивана Васильевича... за неисправление королевское».

[15] Ср.: Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв., с. 243—250. А. Н. Насонов высказывал сомнения в том, что Московский свод после 1479 года содержал текст великокняжеского летописания, и оставлял открытым вопрос об отношении между собой рассказов об Угре в Типографской и Софийской II летописях (Насонов А. Н. Указ. соч., с. 311—312). Но официальный характер известий Московского свода, в основном сохранившихся и в последующем великокняжеском летописании, обнаруживается во всех известиях 1480—1492 годов (ср. известия о походе Менгли-Гирея на Киев в 1484 году, о взятии Твери в 1485 году, о «поимании» Андрея Углицкого в 1491 году и т. д.). Первичность рассказа ростовского свода по отношению к рассказу Московского свода и явно контаминированному рассказу Софийской II—Львовской летописей также очевидна.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

цию церковной верхушки (митрополит Геронтий, архиепископ Вассиан и их окружение)». Предположение это кажется странным потому, что ростовский владыка Вассиан, опиравшийся на великого князя, и митрополит Геронтий, не раз сталкивавшийся с Иваном III, были политическими противниками, ведшими в те же годы ожесточенную борьбу. Впрочем, там, где Софийская II летопись подкрепляет его положения (например, при упоминании превосходства русских войск в дальнем бою или указании на то, что главные силы ордынцев противостояли войскам сына великого князя), В. В. Каргалов на нее охотно ссылается — зато он совершенно игнорирует известие той же летописи о выступлении московских «гражан», требовавших от великого князя более решительной политики (известию этому, как мы уже знаем, придавали особо важное значение М. Н. Тихомиров, Л. В. Черепнин и А. Н. Насонов). Так же последовательно игнорирует автор и такой важнейший источник, как «Послание на Угру» Вассиана, объявляя вслед за П. Н. Павловым ростовского владыку «выразителем интересов церковной и светской феодальной верхушки».[16] Но как быть с другими рассказами, в частности с рассказом Московского свода, тоже повествовавшими, как мы знаем, о влиянии «злых советников» на великого князя и его колебаниях? Оставляя в стороне Типографскую летопись, рассказы этих летописей В. В. Каргалов все-таки привлекает. Но, цитируя известия Московского свода и более поздних летописей (включая Никоновскую) о том, что Иван III велел братьям прийти к себе «на Кременец», В. В. Каргалов опускает следующие далее слова: «... боящеся татарского прехождения, а слушая злых человек сребролюбцев богатых и брюхатых, предателей христианских, а норовников бесерменских...»[17] Читателю же, который все-таки может заглянуть в летописи и обнаружить этот опущенный текст, автор предлагает объяснение, заимствованное, как и в других случаях, у П. Н. Павлова: в основе всех дошедших до нас официальных летописей лежит оппозиционный ростовский рассказ, а первоначальный «рассказ великокняжеского летописания мог быть уничтожен...»[18]

Каким образом произошло такое уничтожение? Как известно, Иван III и Василий III правили вполне благополучно; великокняжеские своды складывались при них один за другим в прямой последовательности. Московский свод конца XV века лег в основу великокняжеских, а потом и царских летописей XVI века — Иоасафовской, Воскресенской, нескольких редакций Никоновской. Почему же ни одна из этих летописей не сохранила таинственно «уничтоженный» официальный рассказ 1480 года? Почему все они в той или иной степени отразили измышления «идеологов боярской верхушки»? Ни на один из этих вопросов В. В. Каргалов не отвечает; никакого предварительного исследования источников, определения их происхождения и времени создания в его работе нет. Ссылаясь на трудность использования летописей «из-за тенденциозности многих из них в подходе к этому вопросу», автор идет другим путем — он предлагает «осмыслить личность Ивана III через призму исторических результатов его деятельности».

Совершенно иначе, чем работа В. В. Каргалова, построена статья В. Д. Назарова. Автор начинает с характеристики летописных источников, справедливо отмечая, что «без этого нельзя аргументированно осветить ход событий». В. Д. Назаров опирается при этом на существующие исследования истории летописания второй половины XV века и на выводы специальной работы о летописных источниках по истории «Угор-

[16] Каргалов В. В. Конец ордынского ига. М., 1980, с. 130—131; ср. с. 103—104. Ср. также: ПСРЛ, т. VI, с. 224.

[17] Каргалов В. В. Конец ордынского ига, с. 112, прим. 26. Ср.: ПСРЛ, т. XXV, с. 328; т. VI, с. 224; т. XII, с. 202.

[18] Каргалов В. В. Конец ордынского ига, с. 134.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

щины», написанной им совместно с Б. М. Клоссом, — можно только пожалеть, что сама эта работа остается пока неопубликованной.[19] Он намечает три основные летописные версии «Угорщины», возникшие «в ближайшее после нее время» и исходившие «из разных, но хорошо информированных кругов», — рассказ великокняжеского летописания, ростовского владычного свода (Типографская летопись) и текст уникального источника, по которому дополнен ростовский рассказ в Львовской и Софийской II летописях. Кроме того, он привлекает несколько более поздний (1499 года) рассказ Вологодско-Пермской летописи. Свою реконструкцию событий 1480 года В. Д. Назаров строит не на каком-либо одном источнике, а на анализе всех основных версий; он не отвергает и известий наиболее критичного по отношению к великому князю уникального рассказа Львовской и Софийской II летописей, считая, что рассказ этот хотя и тенденциозен, но «в фактологическом плане весьма достоверен», и что содержащиеся в нем (как и в других источниках) «обвинения современников в адрес Ивана III в нерешительности имели основания».[20]

В отличие от В. В. Каргалова В. Д. Назаров соглашается с тем, что Московский свод и сходные с ним в этой части своды отражают великокняжеское летописание 90-х годов XV века. Однако наиболее ранний вариант великокняжеского рассказа об Угре сохранился, по его мнению, в еще не изданном памятнике — летописце из Лихачевского собрания (ЛОИИ, ф. 238, оп. 1, № 365 (лл. 850—852 об.)).[21]

Что представляет собою Лихачевский летописец? Это особый вид летописной компиляции, изданной в ПСРЛ (т. XXVIII) под названиями «Летописный свод 1497 года» и «Летописный свод 1518 года (Уваровская летопись)». Оба свода имеют в рукописной традиции название «Летописець руский от 72 язык». «Летописець руский от 72 язык» состоит из двух основных частей — первой (до 1417 года), сходной с Ермолинской летописью, и второй (1417—1477 годы), представляющей собой фрагмент великокняжеского свода, предшествовавшего Московскому своду 1479 года. Вслед за основным текстом в одном из видов (Прилуцком виде, или «Своде 1497 года») следует окончание, близкое к Типографской летописи, а в другом (Уваровском, или «Своде 1518 года») — сперва текст Типографской, а затем (с середины 80-х годов XV века) текст Софийской II и Львовской летописей. Лихачевский список содержит особый вид того же «Летописца от 72 язык»: после 1477 года в нем следует окончание, близкое к великокняжескому летописанию (Московский свод конца XV века), но доведенное до 1488 года. Как мы уже отметили, рассказ об Угре здесь близок к рассказу великокняжеского летописания, но значительно короче, чем в Московском и других сводах, — после известия об «усобицах», помешавших Казимиру прийти на Угру, здесь кратко сообщается, что «приде на царя Ахмата страх от бога и побеже от Угры никим же гоним» (л. 852 об.). Поскольку рассказ об Угре в целом ближе в Лихачевском списке к Симеоновской летописи, чем к Московскому своду (нет упоминания о нападении Менгли-Гирея на Подолию), то его можно было бы рассматривать как сокращение рассказа великокняжеского летописания второй половины 90-х годов XV века (см. схему 1).[22]

---

[19] Я весьма благодарен Б. М. Клоссу и В. Д. Назарову за предоставленную мне возможность частично ознакомиться с этим исследованием.

[20] Назаров В. Д. Конец золотоордынского ига. — Вопросы истории, 1980, № 10. с. 110—112, 117—118.

[21] Ср.: Покровская В. Ф. Летописный свод 1488 г. из собрания Н. П. Лихачева. — В кн.: Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1974 года. М., 1975, с. 28—32. В. Ф. Покровская, ссылаясь на листы рукописи, всюду приводит карандашную их нумерацию; мы, вслед за В. Д. Назаровым, ссылаемся на последнюю нумерацию чернилами.

[22] Ср.: Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв., с. 250, прим. 15.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

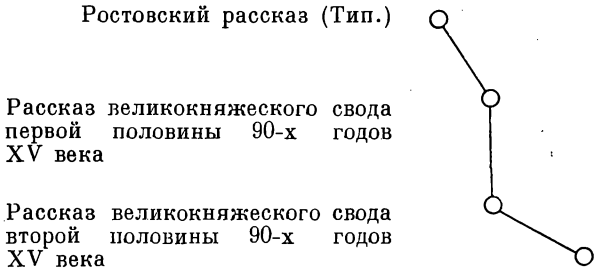

Схема 1

В. Д. Назаров пришел, однако, к другому заключению. Опираясь на источниковедческое исследование, проведенное им вместе с Б. М. Клоссом, он высказал мнение, что в Лихачевском летописце до нас дошла «наиболее ранняя великокняжеская версия» событий на Угре, вполне лояльная в отношении великого князя, его семьи и очень сдержанная «в описании конфликтных ситуаций». Поскольку в рассказе об Угре Лихачевского списка нет известия об убийстве Ахмата, исследователь датирует этот рассказ весной 1481 года, «когда в Москве хотя и знали о смерти Ахмеда, но не были в ней уверены».

Как же соотносится рассказ Лихачевского вида «Летописца от 72 язык» с рассказами об Угре других летописей? Ростовская и великокняжеская версии, как мы знаем, связаны между собой — можно думать, что рассказы великокняжеских сводов 90-х годов опирались на ростовский рассказ. С этим согласен и В. Д. Назаров: он считает, что Московский свод и Сокращенные своды 1493 и 1495 годов «берут за основу раннюю великокняжескую версию», представленную Лихачевским летописцем, «и расширяют ее заимствованиями из Ростовского свода».[23]

Но в рассказе Лихачевского вида также обнаруживаются совпадения с ростовским рассказом (Типографской летописью). Конец здесь краток, но два сходных места в начальной части рассказа, о которых мы уже упоминали, читаются и в Лихачевском: «Царь слышев... поиде в Литовьскую землю... чрес Угру» и «Царь же Ахмат поиде со всеми своими силами, мимо Мченеск и Любутеск и Одоев и пришед ста у Воротынска, ожидая королевы помощи, а король сам к нему не поиде, силы своея не посла, понеже убо быша ему свои усобицы» (лл. 851 об., 852—852 об.). Откуда возникают эти совпадения? В. Д. Назаров объясняет их взаимными влияниями текстов: ростовский сводчик использовал, «скорее всего, ранний великокняжеский рассказ» (рассказ Лихачевского летописца); в свою очередь великокняжеские своды 90-х годов, в дополнение к первоначальному (Лихачевскому) рассказу, использовали ростовский источник, причем дважды и в разных объемах: Сокращенный свод 1495 года (как, очевидно, и Симеоновская летопись), более близкий к оригиналу (Лихачевскому своду), внес заимствования из ростовского свода в наименьшей степени, а Московский свод и Сокращенный свод 1493 года — в наибольшей. Перед нами, таким образом, очень сложная система перекрестных влияний (схема 2), которую придется допустить лишь в том случае, если невозможно более простое объяснение.

Какие же аргументы в пользу первичности текста Лихачевского свода приводит В. Д. Назаров? Он ссылается на то, что все даты в этом тексте «точные, есть ряд уникальных известий и, бесспорно, лучших чтений».[24] Однако в рассказе об Угре Лихачевского летописца своеобраз-

[23] Назаров В. Д. Указ. соч., с. 111—112.
[24] Там же, с. 111.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

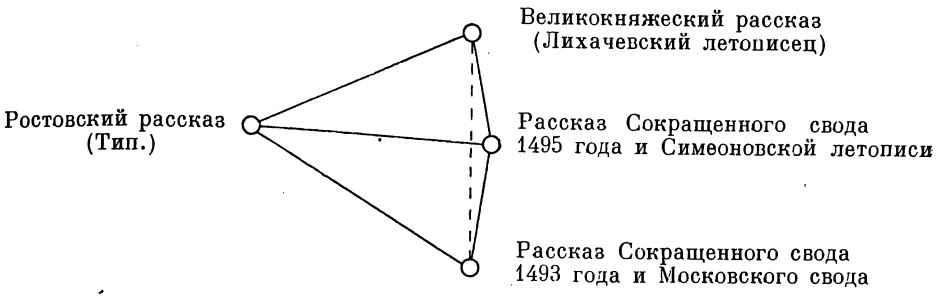

Схема 2

ной представляется как раз не точная дата, а весьма общее обозначение времени похода Ахмата, которым начинается рассказ: «Тое же весны...»[25] Соответствующее ему начало рассказа во всех остальных летописях «Того же лета...» носит более широкий характер («в том же году»), и замена его на «Тое же весны...» могла быть произведена составителем Лихачевского списка просто по смыслу, ибо предшествующие события в летописи относились к зиме—весне 6988 (1480) года. Что же касается точных дат (с указанием месяца и числа), то они в Лихачевском летописце совпадают с такими же датами в Московском и близких к нему сводах: отправление сына великого князя на Оку 8 июня; поход Ивана III к Коломне 23 июля (в Московском обычная описка «23 июня», но в Сокращенных сводах 1493 и 1495 годов и Симеоновской «23 июля») и пребывание его там до Покрова (1 октября); приход Ивана III в Москву 30 сентября. Единственное отличие Лихачевского летописца, отмеченное в статье В. Д. Назарова, возникает при *осмыслении* читающейся там даты прихода русских войск на Угру — 3 октября.

Чтобы понять, в чем состоит это осмысление, приведем четыре варианта соответствующей фразы.[26]

Типографская летопись	Московский свод и Сокращенный свод 1493 года	Симеоновская летопись и Сокращенный свод 1495 года	Лихачевский летописец
Князь же великий... поиде на Угру, пришед ста к Кременци с малыми людми, а людей всех отпусти на Угру.	А князь велики поиде с Москвы противу царя октября в 3. И пришед ста на Кременце с малыми людми, а людей всех отпусти на Угру к сыну своему великому князю Ивану а сын его князь великы Иван и брат его князь Андрей меншой стояша на Угре противу царя со многим воиньством.	А сам князь великый поиде с Москвы противу царя к Кременцу в 3 октября. А князя великого сын князь великы Иван и брат великого князя князь Андрей Меньшей сташа на Угре противу царя с многымь воиньством.	А самъ князь велики поиде с Москвы противу царя къ Кременцу: +тое же осени окт[ября] 3. сын его князь велики Иван Ивановичъ. и бра[т] великог князя сташа на Угре реце противу царя со м[но]гим воиньством (текст приводится без изменений в пунктуации; буквы, взятые в квадратные скобки, срезаны при переплете,— *Я. Л.*).

[25] Там же, с. 115, прим. 55.

[26] ПСРЛ, т. XXIV, с. 198; т. XXV, с. 328 (т. XXVII, с. 233); т. XVIII, с. 268 (т. XXVII, с. 356); ЛОИИ, ф. 238, оп. 1, № 365, л. 852.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

После упоминания о Кременце в Лихачевском списке дано уточнение, сходное с тем, которое читается и в начале всего рассказа в этом списке, — «тое же осени». В. Д. Назаров отнес фразу «тое же осени октября 3» не к предшествующим словам — об Иване III (к которым она несомненно относится в других летописях), а к последующим — о сыне и брате великого князя. В. Д. Назаров связал эти слова с известием уникального источника Львовской и Софийской II летописей о том, что Иван III пробыл в Москве (точнее, в Красном Сельце под Москвой) 2 недели. Известие Львовской летописи, по мнению В. Д. Назарова, «находит подтверждение в Лихачевском списке, где отъезд великого князя из Москвы не имеет даты, а 3 октября ясно указано как день прихода на Угру русских войск во главе с Иваном Молодым».[27] Но указание Лихачевского списка, как мы видели, далеко не ясно — известия этого списка вовсе не совпадают с известиями Львовской и Софийской II (там нет даты прихода Ивана Ивановича и Андрея на Угру), а лишь могут быть с ними согласованы, если отнести слова «тое же осени октября 3» не к Ивану III, а к его сыну и брату.

Между тем начало известия в Московском своде и Сокращенном своде 1493 года явно совпадает с соответствующим местом в Типографской, и чтобы объяснить это совпадение, придется опять предположить, что ростовский сводчик, имея в своем распоряжении первоначальный рассказ великокняжеского летописания (Лихачевский), сократил его и выпустил дату, а затем великокняжеское летописание 90-х годов использовало оба варианта, но истолковало дату 3 октября неправильно, отнеся ее к Ивану III, причем Симеоновская летопись и Сокращенный свод 1495 года точно воспроизвели, несмотря на неправильную дату, первоначальную формулу великокняжеского рассказа Лихачевского списка («поиде противу царя к Кременцу»), а Московский свод и Сокращенный свод 1493 года приблизили ее к формуле ростовского рассказа («пришед ста на Кременце»). Несравненно проще представить себе простую последовательность: Ростовский рассказ→Московский свод→Симеоновская летопись→Лихачевский список.

В пользу относительно ранней датировки рассказа об Угре в Лихачевском летописце говорит как будто то обстоятельство, что рукопись этого памятника относится к концу XV—началу XVI века. Однако водяные знаки рукописи не могут, как обычно, служить основой для вполне точной и узкой датировки — они сходны с филигранями, колеблющимися между 1479 и 1503 годом.[28]

Пока Лихачевский вид «Летописца от 72 язык» и, в особенности, его последняя, наиболее оригинальная часть после 1477 года не изучены в целом, решить вопрос о происхождении известий 1480 года в этом памятнике едва ли возможно. Краткость рассказа об Угре в Лихачевском летописце вовсе не обязательно свидетельствует о его первичности: перед нами может быть и сокращение рассказа великокняжеского свода второй половины 90-х годов с датирующими указаниями, сделанными летописцем просто по смыслу (типа «тое же весны», «тое же осени» и т. п.).

Можно согласиться с тем, что рассказ об Угре в том виде, в каком он сейчас читается в Типографской летописи, не был единственным и непосредственным источником великокняжеского летописания. В рассказе Типографской летописи содержится только одна точная дата — 11 ноября (отход Ахмата с Угры), и помещенная после нее годовая дата 6989 явно не на месте, так как календарный стиль в Типографской — сентябрьский, и 6989 год должен был начинаться с 1 сентября. Ростовское происхожде-

[27] Назаров В. Д. Указ. соч., с. 117.
[28] Покровская В. Ф. Указ. соч., с. 28.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ние рассказа об Угре в Типографской и его связь с Вассианом не вызывает сомнений;[29] но возможно, что рассказ этот первоначально существовал вне летописного свода (отсюда и дублировка известий об отправке войск на Оку, помещенных в Типографской дважды — внутри и вне рассказа). Какого происхождения остальные точные даты в великокняжеском летописании (кроме 11 ноября), сказать пока трудно.

Дошедшие до нас рассказы об Угре в летописях — не первоначальные записи 1480—1481 годов, а уже литературные обработки первоначальных записей. В Софийской II—Львовской повествование о событиях 1480—1481 годов, как мы уже знаем, представляет собой соединение трех разных текстов — ростовского рассказа, близкого к Типографской, Послания Вассиана и уникального источника, наиболее критичного по отношению к великому князю. Соединение этих памятников привело к тому, что известие о поездке Ивана III в Москву здесь помещено дважды — до и после рассказа о приходе на Угру.[30] О поездке Ивана III в Москву уже после прихода его войск на Угру сообщает и Вологодско-Пермская летопись, хотя текст рассказа не совпадает здесь с текстами других летописей и о поездке Ивана III с Угры в Москву рассказано по-иному, чем в Софийской II — Львовской летописях.[31]

Если происхождение и характер рассказа об Угре в Лихачевском летописце требует еще дополнительного исследования, то сводный характер рассказа в великокняжеских сводах 90-х годов (Московский свод и близкие к нему) не вызывает сомнений. Не позднее 90-х годов XV века официальное великокняжеское летописание использовало ростовский рассказ, заимствовав из него упоминание «злых человек... предателей крестьянских».

Но хотя ни один из рассказов об Угре, по всей видимости, не представляет собой прямой и непосредственной записи о событиях 1480 года, ранний характер (конец XV века) и достоверность большинства из них едва ли следует ставить под сомнение. Заслуживает внимания известие о спорах, возникших в 1480 году в окружении Ивана III, и выступлениях противников войны с ханом. В. Д. Назаров, как мы уже отмечали, отнюдь не игнорирует эти известия. Несмотря на то, что в Лихачевском летописце он усматривает наиболее древнее и лояльное сообщение о событиях 1480 года, которое можно было бы рассматривать как счастливо обретенный «официальный рассказ великокняжеского летописания», историю падения золотоордынского ига он восстанавливает не по одному этому рассказу, а также и на основе сводов 90-х годов, уже включивших в свой текст упоминание о влиянии на великого князя «злых человек... предателей крестьянских».

Достоверность известий о колебаниях Ивана III в 1480 году подтверждается не только тем, что о них сообщают разные и частью независимые друг от друга источники — Послание на Угру, ростовский рассказ, Вологодско-Пермская летопись (не говоря уже об источниках, обнаружи-

---

[29] Ср.: Шахматов А. А. Ермолинская летопись и Ростовский владычный свод, с. 82—83; Лурье Я. С. Из истории русского летописания конца XV века, с. 158—159; Кудрявцев И. М. «Угорщина» в памятниках древнерусской литературы, с. 29—30. И. М. Кудрявцев, однако, отвергал предположение А. А. Шахматова о Вассиане как авторе летописной повести об Угре, считая, что Послание «утверждает» позиции Ивана III, а повесть его «развенчивает» (там же, с. 45).

[30] ПСРЛ, т. VI, с. 222 и 230.

[31] Ср.: ПСРЛ, т. XXVI, с. 263—265; тот же рассказ об Угре читается и в кратком Музейном летописце (ГБЛ, Муз. № 3271, л. 252—255 об.; БАН, 34.2.31, л. 457 об.—461). Мнение М. Н. Тихомирова, что Иван III действительно ездил в Москву в 1480 году дважды (Тихомиров М. Н. Указ. соч., с. 232—236), едва ли может быть принято — во всех этих летописях обнаруживаются, хотя и по-разному, явные черты путаницы и перебивки хронологии (ср.: Назаров В. Д. Указ. соч., с. 116).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

вающих недоброжелательство по отношению к Ивану III и сочувствие его братьям, как уникальный источник Софийской II—Львовской летописей и несколько более поздний Устюжский летописец). В пользу достоверности известий о колебаниях великого князя свидетельствует и то обстоятельство, что об этих колебаниях, вопреки своим тенденциям, вынуждены были сообщить (на основе ростовского рассказа) великокняжеские своды во всяком случае не позднее 90-х годов. Почему они это сделали? А. Е. Пресняков полагал, что обвинения Ивана III в нерешительности возникли из-за того, что «книжников, даже чуждых этой обличительной тенденции, прельстил образ бегущих друг от друга войск, ибо с помощью этого образа узрели они в „падении татарского ига" чудо божие».[32] Едва ли можно согласиться с таким объяснением. Заметим прежде всего, что наиболее «реалистический» рассказ, в котором отступление татар объясняется тем, что ко времени наступления холодов они были «наги, боси, ободралися», — это как раз рассказ уникального источника Софийской II—Львовской, больше всех подчеркивающий нерешительность и колебания Ивана III. Что касается ссылок на чудо при объяснении исторических событий, то они, конечно, довольно обычны в древнерусских литературных памятниках, но включать рассказ, задевающий самого великого князя, только для того, чтобы ввести тему чуда, официальные летописцы едва ли стали бы; эту тему можно было ввести и при описании совсем иного поведения князя — фигурирует же мотив чуда в рассказе о походе Ивана III на Новгород в 1471 году или в описании Куликовской битвы. Великокняжеские летописцы упомянули о колебаниях в 1480 году, вероятнее всего, по той простой причине, что о них прекрасно знали современники: следовало поэтому не скрывать эти факты, а объяснить их, возложив ответственность на «злых человек» — советников, уже попавших к тому времени в опалу.[33]

Древнерусские книжники, писавшие о событиях 1480 года, конечно, пользовались при этом образами и стилистическими приемами, свойственными литературе их времени, но сообщали они о реальных и очень важных событиях, смысл которых необходимо понять историкам и литературоведам. Едва ли правильно сводить спор во время «стояния на Угре» просто к распре между «добрыми» и «злыми», «мужественными» и «немужественными». Не только уникальный источник Софийской II—Львовской, но и гораздо более лояльное Послание Вассиана свидетельствует о том, что спор 1480 года имел серьезный идейный смысл. «Аще ли же еще любопришися и глаголеши яко: „Под клятвою есми от прародителей — еже не поднимати руки противу царя, то како аз могу клятву разорити и противу царя стати?", послушаи убо, боголюбивый царю, аще клятва по нуже бывает, прощати о таковых и разрешати повелено нам есть...» — писал Вассиан Рыло, явно имея в виду аргументы сторонников уступок хану. Далее Вассиан поднимал особенно важный для дальнейшего развития русской общественной мысли вопрос — о незаконности «царской» власти хана: «И се убо который пророк пророчествова или апостол который или святитель научи — сему богостудному и скверному, самому называющуся царю повиноватися тебе, великому Руских стран христьянскому царю?»[34] Восстановить вероятную аргументацию сторонников «клятвы царю» можно, конечно, только предположительно, но несомненно, что они ссылались на какую-то разновидность присяги, которую приносили русские князья, получая «ярлык» от «царя» (хана). Отражением подданства хану были, очевидно, арабские надписи на одной

[32] Пресняков А. Е. Указ. соч., с. 285.

[33] Ср.: Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв., с. 246—247.

[34] ПСРЛ, т. XXVI, с. 270; ср.: т. VI, с. 228. Ср. об этом также: Cherniavsky M. *Khan* or *Basileus*: an Aspect of Russian Mediaeval Political Thought. — Journal of the History of Ideas, vol. XX, № 4, October—December, 1959, p. 472—473.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

стороне монет Дмитрия Ивановича и Василия Дмитриевича: «Султан (такой-то), да увековечит...» «Молиться» за «царей» и «их племя» и «благословлять» их обязывались митрополиты, судя по дошедшим до нас ярлыкам, данным ханами митрополитам в XII—XIV веках.[35] Таким образом, здесь, очевидно, могли выдвигаться в качестве аргумента апостольские заповеди: «Бога бойтеся, царя чтите...» (Первое послание Петра, II, 17), «Несть бо власти, аще не от Бога...» (Послание Павла римлянам, XIII, 1—2), не раз служившие идейной основой не только в отношениях с православной, но и с нехристианской властью. Недаром бояре, обличаемые в уникальном рассказе Софийской II—Львовской летописей, ссылаются в этом памятнике на опыт предков Ивана III, «вспоминаючи еже под Суздалем бой отца его с татары, како его поимаша татарове и биша, такоже егда Тахтамышь приходил, а князь великы Дмитрей Ивановичь бежал на Кострому, а не бился с царем».[36] В Троицкой летописи, составленной при дворе Киприана в начале XV века, не только с полным сочувствием упоминается о том, что Дмитрий в 1382 году «не ста на бой, ни противу его подня рукы, противу царя Тахтамышя»,[37] но и одобряется поступок тверского князя, не поспешившего в 1408 году на помощь Василию I против Едигея.[38] А великокняжеское летописание, отразившееся в сводах 70-х годов (и восходящее, очевидно, к еще более раннему), тоже без всякого осуждения сообщало о том, как, защищая права юного Василия II в споре с его дядей Юрием в Орде, его представители успешно противопоставляли завещанию Дмитрия Донского ханскую милость. В ходе дальнейшей борьбы с Юрием и его сыновьями Василий II вел скорее протатарскую политику, и противники обвиняли его в сговоре с «царем».[39]

Почему же в 1480 году сопротивление хану стало возможным, ростовский владыка предложил сыну Василия II «разрешить» его от «клятвы царю», и Иван III, хотя и с колебаниями, пошел по этому пути? Изменилось реальное соотношение сил; внутреннее развитие русских земель, ослабление и фактический распад Орды сделали возможным открытый отказ от признания суверенитета хана. Конец «стояния на Угре» не был столь эффектным, как этого хотелось бы историкам, но последствия его были ясны и неотвратимы. Почти 300-летнее иго перестало существовать. В 1487 году сын Ахмата, хан Большой Орды Муртоза обратился к Ивану III с грамотой. Муртоза просил прислать ему на помощь против Менгли-Гирея Нур-Даулета, татарского «царевича», служившего Ивану III. Просьба не имела успеха: Иван III не собирался помогать Большой Орде против своего тогдашнего союзника, крымского хана. Но для нас важнее другое. Сын Ахмата не только вынужден был обращаться с просьбой к московскому государю: он уже ни одним словом не смел упомянуть о прежних взаимоотношениях, о «клятве царю», которая еще за несколько лет казалась реальностью.[40] Падение ига было мол-

---

[35] Ср.: Орешников А. В. Русские монеты до 1547 года. М., 1896, с. 87—96; Памятники русского права, вып. III. Под ред. Л. В. Черепнина. М., 1955, с. 463—480.

[36] ПСРЛ, т. VI, с. 230.

[37] Приселков М. Д. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., 1950, с. 423.

[38] Там же, с. 468—469.

[39] ПСРЛ, т. XXVI, с. 188, 200.

[40] Сборник РИО, т. 41. СПб., 1884, с. 68—69. В. Д. Назаров считает непосредственной реакцией Большой Орды на события на Угре «ярлык Ахмета царя», читающийся в одной рукописи середины XVII века, в котором хан продолжает требовать дани, ношения «Батыева знамени» и т. д. (Назаров В. Д. Указ. соч., с. 120. Ср.: Базилевич К. В. Указ. соч., с. 164—165). Но легендарный характер «ярлыка Ахмета царя» очевиден; он убедительно доказан в работе: Keenan Ed. The Yarlyk of Axmed-xan to Ivan III: A New Read. — International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, vol. XII, 1969. Более поздняя работа Э. Кинана, в ко-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

чаливо признано прежними повелителями. После 1480 года Россия подвергалась, и не раз, иноземным нашествиям, но никогда уже не испытывала сколько-нибудь продолжительного господства иноземцев.

Возражая историкам, считавшим самодержавие («централизацию власти») основным субъектом русского исторического процесса, Н. Г. Чернышевский указывал, что централизация в прежние времена не могла воспрепятствовать раздроблению Киевской Руси и «не помогала судьбе России» при нашествии «степных хищников»: «Что же такое принадлежит делу централизации в очищении великорусской земли от татар? Ровно ничего не принадлежит... Или придавать какое-нибудь значение неудачному походу к берегам Угры при Ахмате? Действительно, он имеет ту замечательность, что очень ясно обнаружил положение дел... Чем же были побеждены татары? Собственным одряхлением и размножением русского населения...» [41]

Отвергая это мнение Чернышевского, В. В. Каргалов писал, что публицист здесь следовал «традиционной для того времени трактовке событий свержения ига».[42] Действительно, идея «органического развития» России получила в историографии второй половины XIX века широкое распространение. Такого же взгляда придерживался и в своей грандиозной «Истории России» С. М. Соловьев, чье мнение о постепенном падении Орды и исчезновении татарского ига В. В. Каргалов также упоминает с неодобрением.[43] Но следует ли считать, что противоположный, индетерминистский взгляд на историю как на деяния великих героев и великих злодеев является более современным и более научным?

Стремясь «осмыслить личность Ивана III через призму исторических результатов его деятельности», В. В. Каргалов предполагает тем самым, что великие события — результат деятельности великих правителей. Так ли это? Всегда ли крупные государственные преобразования предполагают государственную мудрость стоящего за ними монарха, а военные победы свидетельствуют о его военных талантах? Следует ли считать выдающимся военным деятелем Александра I, чьи войска одержали победу в Отечественной войне 1812 года?

Великое историческое значение последнего столкновения русских с Ордой очевидно. Но исторические источники не дают оснований рассматривать «стояние на Угре» как событие, порожденное героическими деяниями Ивана III [44] или какого-либо другого полководца.

В истории известно немало событий, в которых ярко проявилась роль отдельных личностей, — решительных сражений, восстаний, великих географических открытий. Но еще больше в истории явлений, совершаю-

---

торой он отстаивает «апокрифичность» переписки Ивана Грозного с Курбским, была отвергнута почти всеми советскими и зарубежными исследователями, но его работа о «ярлыке Ахмата», по справедливому мнению Д. С. Лихачева и Р. Г. Скрынникова, обоснована вескими аргументами и убедительна (Лихачев Д. С. Курбский и Грозный — были ли они писателями? — Русская литература, 1972, № 4, с. 209; Скрынников Р. Г. Переписка Грозного и Курбского. Парадоксы Эдварда Кинана. Л., 1979, с. 126).

[41] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. VII. М., 1950, с. 703, 705.

[42] Каргалов В. В. Конец ордынского ига, с. 124.

[43] Соловьев С. М. История России с древнейших времен, кн. 3. М., 1960, с. 8; ср.: Каргалов В. В. Конец ордынского ига, с. 123.

[44] Личная роль Ивана III, судя по источникам, особенно ярко обнаруживалась не в военных (хотя он участвовал в нескольких походах), а в дипломатических делах (ср.: Акты Южной и Западной Руси, т. II. СПб., 1865, с. 111—112; Инструкции Якову Захаровичу в 1494 г. — В кн.: Сборник РИО, т. 35. СПб., 1882, № 20). В воспоминаниях современников Иван III также выступает скорее в роли князя-дипломата, чем князя-воина; свояк его, Стефан Молдавский говорил: «Иоанн, сидя дома и покоясь, увеличивает свое царство, а я, ежедневно сражаясь, едва могу защищать свои границы» (Записки о Московии барона Герберштейна. СПб., 1866, с. 21).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

щихся не в виде волевого акта отдельных лиц, а вследствие постепенных и глубоких изменений. Явления эти могли быть внезапными, как Февральская революция, или происходить не сразу, без точной локализации во времени, как, скажем, окончательное установление крепостного права в конце XVI века. Но решающей роли каких-либо царей, героев или злодеев мы здесь не обнаруживаем — хотя совершившиеся перемены представляются столь же неотвратимыми, как явления природы.

К числу подобных событий относится и освобождение от ордынского ига в 1480 году. Образно говоря, освобождение от ига было важнейшей страницей русской истории, однако страницей, написанной как бы прозой, а не стихами. Именно поэтому, возможно, освобождение от ордынского ига мало привлекало к себе внимание художников. Иван III не принадлежит к числу излюбленных героев «исторического жанра» XIX—XX веков.

Лишь в последние десятилетия в советской литературе появилось два сочинения, непосредственно посвященных Ивану III. Это обширный исторический роман В. Язвицкого, написанный во второй половине 40-х—начале 50-х годов, и поэтическая драма А. Парпары «Противоборство», опубликованная в 1980—1981 годах («Москва», 1980, № 12, с. 81—97; 1981, № 7, с. 77—93). Общая концепция обоих произведений сходна: употребляя выражение М. Н. Тихомирова, можно сказать, что авторы рисуют «деятельность Ивана III в плане апологии всех его мероприятий». В. Язвицкий внимательно изучал источники XV века, и он несомненно знал о спорах, происходивших во время «стояния на Угре», и упреках, которые пришлось выслушать великому князю в 1480 году. Но обо всем этом он, несмотря на сугубую подробность своего повествования, старательно умалчивает. Тема недовольства подданных возникает здесь только в виде предположений, заранее высказываемых двумя мудрыми творцами истории — Иваном III и его сыном Иваном Ивановичем: «Иван Васильевич помолчал и заговорил снова: „Против меня могут еще сказать: время теряем, зима идет суровая“.— Да сие, государь, — воскликнул Иван Иванович, — токмо татарам во вред!..» А потом роли меняются: беспокоится младший, успокаивает старший: «„Государь, — заговорил Иван Иванович, — на Москве некои, не разумеющие ратного дела и ратной хитрости, скажут: страшимся мы...“ — „Пусть, сынок, московские собаки лают, что хотят...“»[45]

Точно так же излагает события 1480 года и А. Парпара в поэтической драме «Противоборство». Нападение хана на Русь готовит заговорщицкий блок, включающий всех явных и тайных врагов великого государя — в том числе присоединенный в 1479 году к Русскому государству Новгород, который, кстати, ни в одном источнике никогда не обвинялся в сговоре с Ахматом. О послании Вассиана Ивану III Парпара упоминает, но дает ему примерно такую же оценку, как П. Н. Павлов и В. В. Каргалов. Послание доставляет Ивану III один из горожан, начальник ополчения Василий Гусаков. Иван III читает послание Вассиана (в сокращенном, но почему-то прозаическом переводе на современный русский язык) и насмешливо вопрошает:

Не правда ли, каких красот полно
Посланье дорогого Вассиана?
Речист мой духовник. Зело речист!

Василий (*не сдержавшись*)

Как подло!

Иван III

Подло что?

[45] Язвицкий В. Иван III, государь всея Руси, кн. 4—5. М., 1955, с. 424.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Василий

Иван Васильич,
И на Москве давно гуляют слухи
О трусости твоей.

Но хотя известный полководец Холмский тут же разъясняет неверность привычного взгляда, «чтобы полководец был на коне в сраженьи впереди», Иван III все же сетует на клевету:

Я — трус!
Поднимется рука явить такое.
Во мне кровинки нет
от крови труса.
Донского правнук по отцу. К тому ж
Владимира Хороброго я правнук
По матери. Я родовой (?) горжусь.

«Как же правду от этой лжи святейших уберечь?» — спрашивает Гусаков, и Иван III отвечает:

А правда не в словах.
Она в поступках,
В делах достойных наших.
Свергнуть иго —
Всей жизни нашей
доблестный венец.[46]

Книга В. Язвицкого в конце 50-х—начале 60-х годов вызвала серьезную критику. Весьма отрицательно оценил ее В. Т. Пашуто.[47] «Совершенно справедливыми» признал упреки В. Язвицкому В. В. Каргалов в книге «Московская Русь в советской художественной литературе» (1971). Осуждая В. Язвицкого за то, что он «приукрашивает роль Ивана III» в событиях того времени, В. В. Каргалов напоминал о том, что «в сентябре 1480 года, когда Иван III появился „на посаде у града Москвы", посадские люди требовали от него решительных действий. По словам летописца, они „начаша князю великому обестужився глаголати и изветы класти, ркуще: «Егда ты, государь князь велики, над нами княжишь в кротости и в тихости, тогды нас много в безлепице продаешь; а нынеча разгневив царя сам, выхода ему не платив, нас выдаешь царю и татаром»". Активных действий требовало и русское войско. Настроение посадских людей выражено в выступлении ростовского архиепископа Вассиана...»[48] Как ни странно, именно эти летописные известия, отсутствие которых В. Каргалов в 1971 году ставил в упрек В. Язвицкому, он сам, спустя десять лет, совершенно игнорирует в собственной книге, признав их теперь, как мы видели, тенденциозными измышлениями враждебных летописцев, а выразителя «настроения посадских людей» Вассиана объявив представителем враждебной «церковной верхушки».

Но отсутствие в художественной литературе серьезного отражения темы освобождения от ига Орды — не только следствие недостаточной разработки этой проблемы в источниковедении и историографии. Исторический жанр в литературе гораздо чаще имел дело с психологией отдельных исторических личностей, героев и злодеев, чем с описанием народных судеб, сложных процессов, в которых участвуют массы. Описаниям дея-

[46] Парпара Анатолий. Противоборство. Поэтическая драма в двух частях. — Москва, 1981, № 7, с. 85, 86.

[47] Пашуто В. Т. Средневековая Русь в советской художественной литературе. — История СССР, 1963, № 1, с. 111.

[48] Каргалов В. В. Московская Русь в советской художественной литературе. М., 1971, с. 149.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ний великих людей были посвящены не только псевдоисторические трагедии Н. Кукольника и подобных ему авторов (неизбежно приходящие на память при чтении приведенных выше литературных изложений событий 1480 года), но и куда более значительные произведения исторического жанра, например трагедии А. К. Толстого. Лишь в пушкинском «Борисе Годунове» тема мнения и судьбы народа начинает преобладать над остальными мотивами, и в «Капитанской дочке» на передний план выходят деяния простых людей и человеческих масс, которые оказываются могущественнее и важнее поступков отдельных героев. Но по-настоящему величественная проза истории побеждает героическую поэзию царей, военачальников и иных искателей славы у Льва Толстого — в «Войне и мире». Ощущение истории как процесса, почти не заметного глазу, но неуклонного, очень остро выражено в неоконченном романе Льва Толстого о Петре I. История сравнивается здесь с огромными весами, на которых взвешивается зерно: «Твердо — не двинется, сидит на земле гиря на одной стороне весов, пока сыплют зерно на другую сторону. Насыпят полну насыпку, и все не двигается гиря; но вот подсыпали от совка горсть зерна и, покачиваясь, поднимается гиря и висит, дрожит, и дитя пальцем качнет, поднимет и опустит ее... Так весь август 1689 года стояли, уравниваясь, весы правительства Русскаго народа... В начале сентября весы выравняло, и вдруг началась работа, — началось то время, которое называется царствованием Петра Великаго...» [49]

Осень 1480 года — один из таких решающих моментов на весах русской истории. Историографическое и художественное осмысление истории падения ордынского ига в его действительном значении — без традиционной сусальности и фальшивой театральности — большая и достойная задача, стоящая перед людьми, занимающимися древней Русью.

---

[49] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 17. М., 1936, с. 164, 167, 168. Ср.: Гордин Я. «Уничтожить все страдания людей». Хроника мысли. — Звезда, 1978, № 8, с. 41—42; Лурье Я. С. «Дифференциал истории» в «Войне и мире». — Русская литература, 1978, № 3, с. 43—60.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ОБСУЖДАЕМ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Г. М. Фридлендер

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Советское литературоведение имеет ряд крупных достижений. Однако не менее велики и те задачи, которые ставит перед ним современный, новый этап нашей жизни. И самая важная из них, с моей точки зрения, — рост общественного авторитета литературной науки, тесно связанный с усилением ее социально-нравственной воспитательной функции.

Давно прошли те времена, когда литературоведение было узкоспециальной научной дисциплиной и когда работы по теории и истории литературы вызывали интерес у одних специалистов. Не только у нас, но и за рубежом литературоведческие работы в наши дни читают тысячи, а порой и сотни тысяч читателей. И они смотрят на эти работы не только как на простой источник «информации», содержащий полезные историко-культурные или биографические сведения и помогающий им, благодаря этому, проникнуть в дух определенной исторической эпохи, понять основные особенности творчества писателя и художественное своеобразие того или иного литературного произведения, но и как на важное средство своего эстетического и социально-нравственного воспитания, расширяющее их духовный кругозор, приобщающее их к истории родной страны и всего человечества, к его прошлому, настоящему и будущему, к тревогам, заботам и борьбе сегодняшнего и завтрашнего дня.

Но дело не только в том, что в наше время работы литературоведов стали духовной пищей для десятков и сотен тысяч читателей и что они часто читаются не меньше, чем сама художественная литература. Не менее важно всегда помнить и о другом. В течение многих и многих десятилетий буржуазное литературоведение кичилось своей научной «добросовестностью» и «объективностью». Оно резко критиковало и философский «априоризм» старой, классической эстетики, и стремление революционной критики XIX века активно вмешиваться в литературный процесс, произносить приговор об авторе и литературном произведении с точки зрения передового социального и эстетического идеала. «Одни факты — и ничего кроме фактов!» — таков был лозунг старого, позитивистского литературоведения. Ныне он давно и прочно забыт. Реакционно-буржуазное литературоведение на Западе устами своих ведущих представителей открыто признало себя средством социального манипулирования сознанием читающей публики. Его принципом стала не правда, а создание популярных мифов, признание условного, субъективного характера всякого — в том числе литературоведческого — знания.

В этой обстановке колоссально возрастает общественная ответственность советского литературоведения, опирающегося на великие идеи Маркса и Ленина, и значение его методологических основ, ибо научной методологии марксизма принципиально чужд свойственный буржуазной науке наших дней субъективистский и волюнтаристский характер. Ее ведущим принципом являются фактическая оснащенность, объективность, глубина и точность теоретического и историко-литературного исследования, умение вскрыть реальные закономерности историко-литературного

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

процесса в прошлом и настоящем, сочетающееся с раскрытием отражения в нем тех глубинных социально-исторических противоречий и тенденций, движение и борьба которых преемственно связаны с социальной, культурной и идеологической борьбой сегодняшнего дня.

Из многочисленных мемуаров XIX века мы знаем, какое огромное духовное воздействие на читателя имели статьи Белинского, Чернышевского, Добролюбова и других деятелей русской классической революционно-демократической критики. Эти статьи несли читателю правду о литературе и жизни. И вместе с тем они активно воздействовали на его сознание и поведение, воспитывали его нравственно и эстетически, вдохновляли его на служение народу и его революционным интересам. На следующем, пролетарско-социалистическом этапе русского освободительного движения задачи объективного исследования реального смысла литературных явлений, выяснения закономерностей развития русской литературы и глубокого идеологического, политического, социально-нравственного воздействия на читателя органически слились воедино в статьях о литературе Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, А. В. Луначарского, В. В. Воровского.

Мы — советские литературоведы — имеем перед собой превосходную читательскую аудиторию. Наши работы читают тысячи людей в нашей стране — педагоги, литераторы, учащиеся высшей и средней школы, многочисленные представители советской интеллигенции. Их внимательно изучают и переводят в других социалистических странах, за ними следят передовые читатели во всем мире. И читатели эти вправе ждать от нас и подлинной правды, и высокой гуманистической идейности.

Вот почему мы должны, как мне представляется, продолжая постоянно заботиться о совершенствовании научного аппарата нашего литературоведения, о росте его фактической точности и оснащенности, о все более глубоком проникновении его в существо историко-литературных процессов и художественно-идеологических проблем прошлого и настоящего, не забывать и о другом нашем важнейшем долге — усилении борьбы за активное воздействие наших литературоведческих работ на душу и сердце читателя, за умение ученого-филолога и литературного критика воспитывать своими трудами людей, обладающих общественным, эстетическим и нравственным кругозором, гражданским и патриотическим темпераментом, достойными нашей эпохи и отвечающими ее потребностям.

К. И. Ровда

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ЛИТЕРАТУР

Данный на XXVI съезде КПСС в Отчетном докладе ЦК КПСС глубокий научный анализ современной международной обстановки и внутренней жизни нашего государства имеет важное методологическое значение для развития марксистско-ленинской теории во всех направлениях, в том числе и в области науки о литературе.

В докладе Генерального секретаря ЦК КПСС т. Л. И. Брежнева на съезде партии во всей полноте показана сложная и глубокая взаимозависимость прогресса экономики, нацеленной на благо человека, и социально-политического и духовного роста в условиях развитого социализма.

Интенсивное экономическое и социальное развитие каждой из советских республик «ускоряет процесс их всестороннего сближения, — читаем в Отчетном докладе ЦК КПСС. — Происходят расцвет и взаимообогаще-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ние национальных культур, формирование культуры единого советского народа — новой социальной и интернациональной общности».[1] Если добавить, что важнейшую роль в этом процессе «сыграли тесное сотрудничество всех наций страны и прежде всего бескорыстная помощь русского народа» (с. 55), то перед нами в сжатой, концентрированной форме будет выражена коренная причина расцвета советской литературы и искусства нашей эпохи, в особенности в последнее десятилетие.

Давно известно, что изоляция национальной культуры от общения с инонациональными духовными ценностями, а это временами случается по разным причинам и теперь (Китай, например), всегда приводила к застою, к отставанию и провинциализму в развитии художественной культуры. И лишь связь с жизнью своего народа, его трудом и борьбой за высокие идеалы, обогащенная опытом других национальных культур, ускоряет процесс развития, обогащения и роста любой нации. Но формы взаимообщения и взаимодействия различны в разные эпохи. В эпоху социализма формы общения народов достигают высшей степени интенсивности и неограниченных возможностей.

Канула в вечность вынужденная замкнутость и ограниченность так называемых малых народов России и художников, представляющих эти народы. «Отсталых национальных окраин, товарищи, ныне не существует!» — сказал Л. И. Брежнев (с. 55). Нет у нас и отсталых национальных литератур — перед читателями всего мира выступает единая, многоликая и многоцветная, советская литература.

Наряду с советской многонациональной литературой как общностью и рядом с ней, во взаимообщении и взаимодействии, существуют и развиваются литературы, составляющие вместе с нашей советской многонациональной литературой единство еще более масштабное: литературы социалистических стран и мировая социалистическая литература в целом, к которой примыкают также социалистические литературы капиталистических и развивающихся стран. Это уже не прообраз, а ядро, авангард мировой художественной литературы, это реальность нашего времени.

В докладе Л. И. Брежнева на съезде в качестве первоочередной задачи провозглашено «дальнейшее углубление социалистической интеграции на базе долгосрочных целевых программ» (с. 7). Теперь «невозможно представить себе уверенное развитие той или иной социалистической страны... без связей с другими братскими странами» (с. 8). Это говорилось об экономике. Но и тут очевидна — пусть не прямая, а сложная, опосредованная — взаимозависимость социалистической экономики и социально-политического и духовного прогресса. Нельзя себе представить развитие культуры в социалистических странах без взаимной связи этих процессов. Развитие сотрудничества социалистических стран и в области культуры выступает как закономерная необходимость.

Совершенно очевидно, что и тут происходит взаимодействие, взаимообогащение и выравнивание развития культур на общей идейной основе и формируется единая социалистическая культура, причем воздействие многонациональной советской литературы на литературы социалистических стран принимает все более широкие размеры. И наоборот, как в экономике, так и в области культуры мы можем позаимствовать многое у наших друзей, «учиться друг у друга» (с. 7) и в области культуры. Так что можно и нужно говорить не только о воздействии советской литературы на зарубежные социалистические литературы, но и о воздействии писателей зарубежных стран на советских писателей.

Из этого следует, что литературы народов Советского Союза и литературы зарубежных социалистических стран могут и должны изучаться

[1] Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 57. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

как широкая литературная общность, с учетом их роли в общемировом художественном процессе. Тогда и значение советской литературы проявится в более ясных очертаниях.

Разумеется, процесс интеграции культурной жизни социалистических стран не ведет к унификации и стандартизации, как это клеветнически утверждают буржуазные советологи. Им недоступно понимание диалектики общего и особенного, общего и отдельного — закономерности, проявляющейся и в природе, и в обществе. Этот процесс, говорится в докладе Л. И. Брежнева, «не стирает национальной специфики, исторических особенностей стран социализма. В разнообразии форм их общественной жизни, организации экономики» и, добавим от себя, духовной жизни, литературы и искусства «следует видеть то, что есть в действительности: богатство путей и методов утверждения социалистического образа жизни» (с. 10). А в жизни всех людей, как известно, литература и искусство играют очень важную роль как средство эстетического, художественного познания и воспитания.

Если по изучению советской литературы в многонациональном аспекте литературоведами сделано немало, то по истории национальных литератур в системе социалистических государств работа только начинается. Между тем системное постижение истории социалистической литературы является на настоящем этапе развития литературной науки в высшей степени актуальной задачей.

В самом деле, после выхода в свет книги Д. Ф. Маркова «Генезис социалистического реализма» (М., 1970) и ее второго издания под названием «Проблемы теории социалистического реализма» (М., 1975), а также сборника статей «Литература европейских социалистических стран. Универсальный характер и национальное своеобразие социалистической литературы» (Веймар, 1975) у нас было опубликовано лишь несколько отдельных статей по данной проблеме, и только в самое последнее время стали появляться содержательные сборники у нас и за рубежом. Среди них — «Общее и особенное в литературах социалистических стран Европы» (М., 1977), «Современная литература Чехословакии в контексте европейских социалистических стран» (М., 1981; издан совместно советскими и чехословацкими учеными). В этой связи нельзя не отметить плодотворную активность словацких литературоведов. Диониз Дюришин наметил хорошо аргументированную программу изучения мировой социалистической литературы еще в своей книге «Теория литературной компаративистики» (Братислава, 1975), вышедшей в русском переводе под названием «Теория сравнительного изучения литературы» (М., 1979, с. 242—281), и продолжает в последующих исследованиях разрабатывать методологию и методику изучения данной проблематики. В Братиславе вышло два больших сборника, посвященных межлитературному контексту словацкой социалистической литературы,[2] а в журнале «Slavica slovaca» (1980, № 4, с. 313—347) опубликованы на русском языке материалы дискуссии, посвященной проблематике межлитературных общностей, с большой вступительной статьей Д. Дюришина.

Названные исследования и материалы заслуживают специального научного обозрения и анализа. Они представляют ценный опыт подступа к разработке важнейших проблем отдельных социалистических литератур и мировой социалистической литературы в целом в самых различных аспектах: сравнительно-типологическом, зонально-региональном, бинарно-контактном и т. д. На современном этапе развития социалистических наций, представляющих систему социалистических государств, возникает

[2] Medziliterárny kontext slovenskej socialistickej literatury. — In: Literaria, XIX. Bratislava, 1977; Socializmus a národné literatury. — In: Literaria, XXII. Bratislava, 1980.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

или, скорее, возникла уже новая духовная общность, включающая социалистические литературы, которые обладают признаками, свойственными им всем. Вместе с тем национальные литературы не растворяются в этой общности, каждая развивается своими особыми путями в тесном взаимодействии с другими и не утрачивает своей индивидуальности. И на очередь встает вопрос об изучении типологии этих литератур и того особенного, чем отличается каждая из них. В одной из названных выше работ правомерно поставлена задача создания «Истории социалистических литератур» европейского социалистического содружества, внутренний стержень которой должно составить «исследование путей формирования и развития типологически новой литературной общности стран социализма».[3]

Словом, перед литературоведами социалистических стран стоят огромные задачи по изучению и осмыслению многообразного опыта развития социалистических литератур как синтеза, как ядра современной мировой культуры. Эти задачи вытекают не только из решений XXVI съезда КПСС, но и из решений недавно прошедших съездов коммунистических и рабочих партий зарубежных социалистических стран.

В. И. Каминский

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В докладе первого секретаря правления Союза писателей СССР Г. М. Маркова на VII съезде писателей отмечалось усиление интереса литературоведов и критиков к проблеме положительного героя: «...интерес этот вызван несомненными успехами нашей литературы, рядом крупных произведений, в которых с большой достоверностью воссозданы общественные страсти нашего времени, нарисованы правдивые и масштабные характеры...» [1]

Героические характеры в советской литературе являются продолжением на новом историческом этапе и вместе с тем развитием и обобщением героической традиции русской классической литературы. Современная нравственно-эстетическая концепция героического может быть глубоко постигнута только тогда, когда изучены ее исторические корни, учтен могучий героический потенциал дореволюционной русской литературы и фольклора, их незримое участие в исторической судьбе литературного героя наших дней.

В положительном герое русской классической литературы ярко отразилось ее глубокое национально-историческое своеобразие, идейно-художественное богатство и общечеловеческая гуманистическая сущность. Трудная и героическая история нашего народа, в богатырских усилиях и муках создавшего великое многонациональное государство, сумевшего отстоять свою свободу и независимость в борьбе с многочисленными и сильными врагами, наложила неизгладимую печать на облик положительного героя русской литературы. Еще с древнейших времен герой русской литературы совмещает в себе черты гражданина и патриота,

---

[3] Общее и особенное в литературах социалистических стран Европы. М., 1977, с. 33.

[1] Марков Г. М. Советская литература в борьбе за коммунизм и ее задачи в свете решений XXVI съезда КПСС. — Лит. газ., 1981, 1 июля, с. 4.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

строителя государства и его защитника, воина и просветителя, борца за исторический прогресс и национальные задачи. Его нравственный облик, общественная и личная жизнь освещены светом высокого государственного идеала, человечности и благородного подвижничества во имя идеи.

Научные основы истории героя древнерусской литературы и русского народного поэтического творчества заложены в трудах выдающихся советских ученых — В. П. Адриановой-Перетц, В. Я. Проппа, А. С. Орлова, Д. С. Лихачева. В них нашли продолжение и развитие блестящие и оригинальные идеи знаменитых дореволюционных исследователей — А. Н. Веселовского, В. Ф. Миллера, И. Н. Жданова, Е. В. Барсова и др. С давних пор постановка вопроса о героическом начале в древнерусской литературе влекла за собой изучение народных, фольклорных истоков исследуемого явления. В самой проблеме фольклоризма литературы, по-новому поставленной современной наукой, изучение героических традиций вызывает неожиданный и плодотворный методологический эффект, позволяя конкретно охарактеризовать и классифицировать в других случаях почти неуловимые формы «непосредственной материализации» народно-поэтических традиций.[2]

Много сделано в современном литературоведении и для воссоздания истории положительного героя литературы нового и новейшего времени, а также для определения основных этапов и историко-литературных закономерностей развития героического начала как эстетического качества русской классической литературы. И здесь советская литературная наука могла опереться на глубокие идеи революционно-демократической критики и использовать плодотворные историко-культурные концепции широкого ретроспективного профиля, сформировавшиеся в работах выдающихся дореволюционных ученых — А. Н. Пыпина, С. А. Венгерова, Д. Н. Овсянико-Куликовского, Н. С. Тихонравова и др.

Нет необходимости говорить здесь о методологической ограниченности и ошибках историко-культурной школы академического литературоведения. Они общеизвестны и очевидны. Нельзя, однако, повторять ошибки упрощенного социологизаторства, прямолинейно противопоставлявшего эту школу и ее представителей не только марксистско-ленинскому литературоведению, но и революционно-демократической литературной мысли. Едва ли в наши дни можно согласиться с оценкой историко-культурной школы в научно-общественном развитии 1860—1880-х годов как факта «научного застоя».[3] Современная историография справедливо отмечает воздействие идей Белинского на главу культурно-исторической школы академика Пыпина, а также, например, то, что в выдвинутой академиком Тихонравовым общей концепции литературного процесса в России первой половины XIX века признавалось прогрессивное влияние на литературу героических событий 1812 года.[4] Можно также отметить, что в основе концепции героического в книге Венгерова «Героический характер русской литературы» лежал «взгляд на новую русскую литературу и на всю вообще вековую работу героической русской интеллигенции как на вековую же подготовку революции...»[5] Многие положения книги Венгерова не столько противоречили марксистской концепции развития русской литературы XIX века, сколько в общем виде соприкасались с ней, особенно с идеями ранних марксист-

---

[2] См.: Емельянов Л. И. Методологические вопросы фольклористики. Л., 1978, с. 176—177.

[3] См.: Берков П. Н. Новая работа о Н. С. Тихонравове и некоторые вопросы русской литературной историографии. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1958, т. 17, вып. 4, с. 372.

[4] Николаев П. А., Курилов А. С., Гришунин А. Л. История русского литературоведения. М., 1980, с. 6.

[5] Венгеров С. А. Героический характер русской литературы. Пг., 1919, с. 5.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ских работ о русской литературе, например с блестящей статьей Розы Люксембург «Душа русской литературы», утверждавшей освободительно-героический пафос как доминанту исторического развития русской литературы. И нельзя не согласиться с А. М. Еголиным, который еще в 1946 году, высоко оценивая патриотический пафос книги Венгерова, подчеркнул, что автор «Героического характера русской литературы» справедливо «увидел очарование русской литературы в том, что она никогда не замыкалась в сфере чисто художественных интересов, а была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово, служившее интересам общества».[6]

Безусловно, в книге Венгерова о героическом характере русской литературы нет конкретного классового, социально-исторического анализа литературных явлений. Столь же очевидно, что в «Истории русской интеллигенции» Овсянико-Куликовского ощутимо влияние идей позитивизма. Да и методология «психологической школы» наложила печать на этот обобщающий труд, который к тому же и не претендовал на решение историко-литературных задач. Но тем более необходимо в наши дни создать масштабную и систематизированную марксистско-ленинскую историю положительного героя русской классической литературы. О сложном, противоречивом продвижении в этом направлении современной литературоведческой мысли свидетельствуют, например, такие обобщающие работы, как книги А. М. Еголина «Освободительные и патриотические идеи русской литературы XIX века» и Н. Я. Берковского «О мировом значении русской литературы», цикл статей Б. И. Бурсова «О национальном своеобразии и мировом значении русской литературы» и его же монография о национальном своеобразии русской литературы (Л., 1967), книга на ту же тему Е. Н. Купреяновой и Г. П. Макогоненко (Л., 1976) и др.

Специфические особенности героя русской литературы, повернутого прежде всего в ракурсе его общественных связей и стремлений, гражданской деятельности и идеалов, с точки зрения его участия в судьбах общества, родины и народа, в его прямом или опосредованном отношении к трудящимся массам, — составляют важные отличительные качества национального облика русской литературы. В них отразились величие, красота и сила ее. Особенно явственно это обнаружилось в «золотой век» развития русской классической литературы. При этом нельзя забывать того, что общественные переживания и стремления положительных персонажей нашей литературы от Радищева до Горького отнюдь не подавляют и не заслоняют духовного богатства личности.

Одна из актуальных научных проблем современности — раскрытие художественно-эстетического механизма образного превращения социально-гражданской избирательности героя русской литературы в его, как выразился Достоевский, «всечеловечность». Ведь живет он богатой и разнообразной нравственной жизнью, источники и саму возможность которой русские писатели сумели открыть и в крепостном слуге Савельиче, и в тесном мирке бедного чиновника, и в так называемой «падшей женщине». Более того, социально-гражданский аспект раскрытия характера, соотнесенный со сложившимся на той же почве идеалом прекрасного, обнаружил бесконечное богатство свойств личности, находящих свое выражение в духовных исканиях, сложных и драматичных переживаниях, ту неповторимую поэзию души, которая была бы невозможна или казалась бы романтически исключительной на почве индивидуалистической. Источником этого богатства духовного багажа героя русской литературы в конечном счете было «взволнованное до глубин» море народной жизни. «Коллективность сознания — народно-национальная внутренняя форма,

[6] Еголин А. Освободительные и патриотические идеи русской литературы XIX века. Л., 1946, с. 18—19.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

первоисточник поэтичности русской литературы, обещание поэтичности в ней, самой широкой, всеохватывающей, проторгающейся через трудности, безбоязненной перед ними».[7]

Формирование передовых общественных идеалов в творчестве русских писателей и судьба положительного героя русской литературы связаны были с тем, что, по словам В. И. Ленина, «Россия поистине *выстрадала*» социализм длительной историей «неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий...» [8]

Длительный, трудный и нередко мучительно-противоречивый путь исканий героя русской литературы объективно-исторически определился как путь к народу, путь в революцию. Он был отмечен важнейшими историческими вехами, поворотными моментами в развитии освободительного движения. Вместе с тем проблема героического в русской литературе глубоко связана с историей духовного, общественно-политического роста трудящихся масс, подготовкой их революционного преображения и освобождения. Возрастающая роль героического начала в эстетическом потенциале русской литературы находится в прямой связи с процессом подготовки революции, более того, — становится художественным выражением магистральных тенденций этого процесса. Проблема эта выдвинута и плодотворно разработана в исследованиях А. С. Бушмина, М. Т. Пинаева, Ф. Я. Приймы, Г. М. Фридлендера, Н. И. Соколова, Н. В. Осьмакова, Н. И. Пруцкова, Г. П. Верховского и др. В то же время широкое, перспективное историко-литературное изучение вопроса в целом в сущности лишь начинается.

Автор настоящей статьи, обратившись к разработке проблем героя и героического в русской литературе, исходил из того, что ленинская периодизация освободительного движения в России XIX века дает ключ к конструированию научной истории положительного героя, исследованию общественного и художественно-эстетического размежевания и борьбы героев, исторической смены одних положительных персонажей другими. Это исходное положение разработано им в популярном очерке «Проблема положительного героя в русской классической литературе» (Л., 1963), а также в статье «Герой и героическое в литературе „переходного времени“» («Русская литература», 1971, № 1) и во второй главе монографии «Пути развития реализма в русской литературе конца XIX в.» (Л., 1979). Вопрос о героических традициях русской классики в советской литературе был в самом общем виде поставлен в его же статье «Героическая традиция и социалистический реализм» (в кн.: Искусство принадлежит народу. Л., 1960). Частные аспекты проблемы затрагивались в статьях того же автора о Григоровиче, Герцене, Чернышевском, Берви-Флеровском, Короленко. В них сделана попытка историко-литературной конкретизации некоторых типологических вариантов образа положительного героя, каждый из которых имеет свою литературную историю.

К сожалению, эта история до сих пор не написана. Речь идет, в частности, о развитии образа «лишнего человека», общественные грани истории которого четко наметила революционно-демократическая критика 1850—1860-х годов. Не меньший интерес представляет эволюция «маленького человека» — от героев Пушкина, Гоголя и Достоевского вплоть до чеховского Червякова («Смерть чиновника»). Эстетическая парадоксальность здесь заключается в том, что образ «униженного и оскорбленного» бедняка, за жалкой фигурой которого угадывалась тень

---

[7] Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л., 1975, с. 38.

[8] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 8.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

великого народа, по мере общественно-литературного развития все более терял свое нравственно-героическое содержание и превращался в лицо пассивно-трагическое, не способное воплотить идеал времени «энергических усилий, отважных решений».[9] А затем «маленький человек» в роли раба по призванию становится объектом юмористического изображения и сатиры. Эти превращения освещены далеко не полностью. И уж совсем не изучена замена в литературе 1880-х годов типа «маленького человека» так называемым «средним человеком» в качестве героя времени, их генетическая родственность и типологическое противостояние.

Впрочем, и тип «маленького человека» на грани веков полностью не утратил своего обаяния в качестве литературного героя. В творчестве Короленко (например, ссыльный чиновник Кругликов из рассказа «Ат-Даван»), Куприна (Желтков из «Гранатового браслета») и в произведениях других писателей-реалистов «маленький человек» вновь обретает ореол героического. Прояснить идейно-эстетическую сущность и перспективы этого процесса — задача дальнейшей научной разработки проблемы. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.[10]

Типология героя-демократа также нуждается в исторически систематизированных дефинициях. Характеры «нигилистов» (Базаров, Марк Волохов), «новых людей», «мыслящих реалистов», «отщепенцев», «критически мыслящих личностей», «кающихся дворян», «народных заступников», «искателей» и, наконец, итоговый образ «современника» (у Короленко) имеют свою драматичную, порой сложную, противоречивую историю и отнюдь не сводятся к отдельным персонажам литературно-художественных и критико-публицистических произведений пореформенного периода. Речь идет о *типе* героя, за которым стоит определенная общественно-литературная концепция и нравственно-эстетический идеал, эволюционирующие в более или менее заметных исторических пределах.

Высокого поэтического обаяния и художественной выразительности достигают в русской литературе XIX века женские образы, воплотившие с наибольшей нравственной полнотой и глубиной национально-исторический идеал «любви, добра и красоты», запечатлевшие неутолимую потребность в свободе, правде и чистоте человеческих взаимоотношений. По словам Некрасова, «трижды раба» по своему общественному и семейно-бытовому положению, передовая русская женщина была особенно чутка и непримирима ко всем проявлениям лжи и насилия, особенно активна в своих гуманных порывах, действенной любви и подвиге самоотречения. В изображении русских писателей она на всех социальных уровнях прямо или косвенно связана глубокими нитями со свободолюбивыми стремлениями эпохи, с путями и судьбами освободительного движения. Эта замечательная традиция находит свое завершение и начало новой художественной жизни в образе Ниловны («Мать» М. Горького), возвышающемся до поэтического символа животворных, плодоносящих сил революции. У нас еще нет обобщающих монографий о героических женских образах в русской литературе, нет и литературной истории женского героического характера, хотя бы начиная с «колоссального исключения» и в то же время «типа русской женщины»[11] пушкинской эпохи — Татьяны Лариной — и до Ниловны М. Горького. Создать их — задача будущего.

В разработке народно-субстанциональной концепции героического и создании истории народного героя — «сермяжного богатыря» — сделано за последние годы много принципиально важного. Свежим, оригиналь-

---

[9] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. VII. М., 1950, с. 877.

[10] См., например: Морозова Т. Г. Рассказ В. Г. Короленко «Ат-Даван» и традиции Достоевского. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования, 4. Л., 1980, с. 123—143.

[11] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. VII. М., 1955, с. 487, 502.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ным подходом к проблеме отличается, например, книга П. П. Скатова о А. В. Кольцове (Л., 1977). Новаторская постановка вопроса о народности содержится в работе Ф. Я. Приймы «К характеристике фольклоризма Н. А. Некрасова» («Русская литература», 1981, № 2). Новый плодотворный аспект в интерпретации народного характера в творчестве А. Н. Островского намечен Ю. В. Лебедевым в статье «О народности „Грозы", „русской трагедии" А. Н. Островского» («Русская литература», 1981, № 1). Значительный интерес для разработки указанной проблемы представляет работа Н. И. Пруцкова «Буржуазный прогресс и патриархальный мир в истолкованиях русских писателей и мыслителей второй половины XIX века» («Русская литература», 1978, № 4). Во многих отношениях она может служить ключом к современному научному освещению героической сущности «патриархальных» характеров народных персонажей в произведениях Л. Толстого, Достоевского, Лескова, Мельникова-Печерского и др. В настоящее время назрела потребность в итоговых, обобщающих работах по этому вопросу.

Историческое преображение литературного героя эпохи кануна «движения самих масс» связано с давним стремлением передовой интеллигенции встретиться с пробуждающимся народом на путях и перепутьях освободительного движения. Эпохальное значение в этот период приобретает нравственно-эстетическая концепция героического, которая легла в основу замысла романа Л. Толстого «Воскресение». В поздних произведениях Л. Толстого, в идейно-художественных исканиях Короленко, затем М. Горького намечаются перспективы широкого творческого синтеза героических традиций русской классической литературы как исходного начала зарождающегося искусства социалистического реализма. Проследить внутреннюю механику этого процесса, охарактеризовать его стилевые формы и поэтику — уже определившееся направление современного научного поиска. История героя и героического в русской классической литературе может стать предысторией современного исследования героической доминанты советской литературы.

В. А. Туниманов

ПРАВДА ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПРАВДА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Историю и литературу издавна многое объединяет. Вольтер, Шиллер, а у нас Пушкин и Л. Толстой были не только выдающимися художниками слова, но и замечательными историками. По меткому определению Пушкина, романы Вальтера Скотта много дали «новой школе французских историков». Длительным и мощным было влияние на русскую литературу «Истории» Карамзина: «Борис Годунов», «Песнь о купце Калашникове», баллады и трилогия А. К. Толстого тому яркие примеры. Отголоски «Истории» Карамзина, естественно очень разнохарактерные, ощутимы и в творчестве Достоевского, Л. Толстого, Щедрина. Закономерно, что именно Пушкину принадлежит самое глубокое суждение о труде Карамзина — вдохновенном «подвиге честного человека».

Но влияние Карамзина на Пушкина вовсе не было всеобъемлющим и подавляющим. А. Григорьев ошибался, считая, что «История» Карамзина «испортила» драму Пушкина «Борис Годунов».[1] Историческое видение Пушкина несравнимо глубже карамзинского. Пушкин первым из русских писателей прикоснулся к народным родникам русской истории.

[1] Время, 1861, № 2, с. 100.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Достоевский был безусловно прав, утверждая, что Пушкиным в «Борисе Годунове», «Капитанской дочке» русская история постигнута в самых ее «глубочайших проявлениях». Проницательно определил Достоевский и почему это произошло, тесно связав вопрос об историзме Пушкина с вопросом о народности творчества: в произведениях поэта «вылилось», «высказалось» сокровенное — «мнение народное», «сердце русское», мировоззрение и идеалы народа.

Л. В. Черепнин обратил внимание и на остро поставленный Достоевским вопрос о соотношении правды исторической и поэтической. Историк пришел к выводу, что Достоевский от ясного ответа на вопрос ушел, и сам предположил, что, видимо, тот имел в виду «правду характеров» как сферу, где две правды встречаются. Но правда характеров есть нечто неопределенное и неуловимое и, что пожалуй важнее всего, производное, вторичное, выросшее на прочной историко-художественной почве. Вопрос «А поэтическая правда?», адресованный Достоевским критику Дудышкину, прямо связан с полемическим ответом: неправомерно подходить к художественным произведениям, воссоздающим картины прошлого, с узкими критериями непременного исторического правдоподобия и — тем более — требовать, чтобы творение художника находилось в соответствии с последними историческими теориями. Следовать таким наставлениям — значит творить по патентованным рецептам, превратиться в ремесленника, специализирующегося на поточном производстве «исторических» игрушек.

Художественная (поэтическая) правда и историческая правда — понятия родственные, но не идентичные. То, что вменяется в прямую обязанность историкам, зачастую может лишь повредить произведению искусства. Художник — творец, воссоздающий образ прошедшей жизни, поэтические *типы* былых людей. И если это великий художник, то историческая правда явится в его художественном творении в самой идеальной, образной форме, а в отдельных случаях даже впервые явится, к удивлению специалистов-историков. «Борис Годунов», «Капитанская дочка», «Война и мир» — одновременно гениальные художественные произведения и яркие звенья русской исторической мысли. Это факты неоспоримые, получившие признание и в исторической науке. Так, Е. В. Тарле увидел в «Войне и мире» подлинно историческое открытие писателя: «... никто до Толстого... не показал с такой глубиной и мастерством воздействие исторических событий на жизнь целого народа».[2] Т. е. Тарле увидел историческую правду, впервые открытую Толстым и облеченную в совершенную художественную форму, или, иначе говоря, идеальную «слиянность» художественной и исторической правд в «Войне и мире».

Необходимостью заполнить существенный пробел в изучении культурного наследия прошлого было вызвано появление монографии Черепнина «Исторические взгляды классиков русской литературы». Черепнин — историк. Этим обусловлен и специфический угол зрения в его работе, где исследуются главным образом эпистолярные и публицистические высказывания писателей о русской и мировой истории. Художественные произведения Черепниным фактически обойдены. Почему? Ответ напрашивается простейший — историками овладевает робость перед непременным эстетическим вопросом: «А поэтическая правда?». Историк, осмелившийся проникнуть в заповедную область художественного творчества, вполне резонно страшится, что его обвинят в эстетическом невежестве или даже в нигилистическом отношении к национальным духовным святыням, — вот почему он предпочитает оставаться на своей исторической почве, где его компетентность вне сомнения. Поэтому историк и обра-

[2] Из литературного наследия академика Е. В. Тарле. М., 1981, с. 304.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

щается к прямым высказываниям писателей, благоразумно обходя художественные произведения. Позиция очень понятная, но и связывающая руки, акцентирующая внимание на явлениях аксессуарных. Так как образный строй и историко-философскую мысль в «Борисе Годунове», «Тарасе Бульбе», «Войне и мире» расчленить невозможно (они составляют единое целое), так как художественная и историческая правды в них объединены различными и часто завуалированными типами «сцеплений», то и анализ исторических концепций писателей без исследования художественной специфики и сопоставления с исторической мыслью эпохи будет неизбежно упрощенным и односторонним. Немыслимо понять историческую концепцию Толстого, игнорируя его признание, что «та литературная деятельность, которая состоит в описывании действительно существующих или существовавших лиц, не имеет ничего общего с тою, которою я занимался».[3] Но невозможно понять и художественную мысль Толстого, расценивая его философию истории и полемику с историческими учениями нового времени как явление второстепенное, своего рода «чудачество» писателя. Сегодня это несомненно, а в середине XIX века признавалось немногими из современников Толстого, из которых особенно необходимо выделить Лескова и Страхова.

Коренной перелом в отношении к историко-философским концепциям Толстого произошел гораздо позднее. Высокий этический и народный потенциал книги ярко раскрылся в Великую Отечественную, в годы борьбы с фашизмом. Эпопея Толстого стала символом русского народа, книгой надежды и веры в глазах всего мира. Книгу воспринимали как пророчество, постигая величие и глубину тех ее страниц, в которых некогда видели скучные и тенденциозные исторические «отступления».

Такое новое и глубоко современное прочтение эпопеи естественно сказалось и на научных историко-литературных и философских исследованиях. В послевоенные годы появились наиболее значительные исследования историко-философской мысли Толстого — А. П. Скафтымова, Е. Н. Купреяновой, Б. И. Бурсова. Были решительно пересмотрены, а не просто уточнены представления о Толстом-историке, о философии истории писателя, и совершенно иначе, чем ранее, осмыслена историко-философская концепция «Войны и мира». Скафтымов, с присущими этому выдающемуся ученому точностью и доказательностью, убедительно вскрыл единство установок Толстого-художника и Толстого-историка. В статьях Д. С. Лихачева и А. М. Панченко прослежены национальные черты толстовского художественного видения истории — средневековый «этический оптимизм» и представления, характерные для народной историософии.

Для верного понимания как философии истории, так и художественной мысли «Войны и мира» важно определить основания и цель полемики, во имя каких идеалов она с такой энергией велась Толстым. Философия истории Толстого родилась в полемике буквально со всеми — старыми и новейшими — историческими теориями. В сжатой форме Толстой в эпилоге к «Войне и миру» «интегрировал» разнородные исторические построения и объяснения и отверг их как обходящие самые главные вопросы исторической жизни человечества. Речь у Толстого идет именно обо *всей* исторической науке от Гиббона до Бокля, а не о тех или иных сочинениях и теориях. Но это не нигилистическое отрицание исторической науки, а, скорее, определение тех непременных условий, которые как раз и необходимы для превращения истории в настоящую науку.

Исторический скептицизм Толстого продиктован высокими полемическими целями. Негативно-скептическая позиция Толстого — неотъемле-

[3] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 16. М., 1955, с. 9.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

мая часть философско-художественной мысли «Войны и мира», но именно часть, и безукоризненно сопряженная с другими. Как ни «плюралистичен» художественный мир эпопеи, как ни сложна историко-философская концепция Толстого, во всем этом бесконечном разнообразии есть центр, главная мысль, лежащая в основе всех «сцеплений», указанная самим писателем, — «мысль народная». Она-то как раз определила и этическую высоту взгляда Толстого, и оптимистически позитивную народную сущность историко-философских построений, и гармоническое сочетание исторической и художественной правд.

Уже завершив создание эпопеи, Толстой, углубившись в работу над новым историческим замыслом, обратился к научному труду С. М. Соловьева и не обнаружил там ответов на важнейшие и главнейшие вопросы. Из «Истории» Соловьева Толстой узнал, что все «было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать». «Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?» — с недоумением вопрошает Толстой. И тут же дает ответ в форме жестко поставленных риторических вопросов: «... кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в к<оторых> щеголяли цари и бояре?» [4] Ответ, само собой разумеющийся, ответ создателя «Войны и мира» — народ, которого Толстой и не увидел в «Истории» Соловьева.

«История народа принадлежит Петру», — сказал Пушкин. Истинность этих слов неоспоримо доказало и творчество автора «Бориса Годунова», и все последующее развитие русской литературы XIX века.

Многообразные отношения между историей и художественной литературой (шире — искусством), пожалуй, еще обнаженнее оттеняют различия и вечное соперничество. Русская литература XIX века не только не плелась в арьергарде буржуазно-либеральных исторических теорий, но — в самом точном смысле — обретала независимость в жесткой и страстной полемике с ними: это равно справедливо и в отношении писателей, создававших произведения в историческом «роде», и тех, кто, подобно Достоевскому, избрали долю летописцев и хроникеров *текущей* действительности. Русские писатели отважно вступали в области исторического знания, фактически заброшенные специалистами. «Что такое Россия? Какой смысл ее существования, ее исторический закон? Откуда явилась она? Куда стремится? Что́ выражает собою?.. вселенная указала ей видное место; но философия истории еще не соблаговолила признать его за нею», — писал Тютчев.[5] Исторические законы и «формулы» настоящего, прошедшего, будущего, философия истории, то есть историческое знание в самом широком, вселенском смысле — вот чем была «одержима» русская художественная мысль и что в значительной степени определило ее исследовательский, нацеленный на решение главнейших мировых и национальных проблем характер, неисчерпаемое идейно-эстетическое богатство.

В последнее время появилось много значительных работ об историзме Пушкина, Достоевского, Толстого. Не ослабевает интерес и к философско-историческим воззрениям русских революционных демократов. Но сфера, в которой пересекаются история и литература, столь необозрима, что можно без преувеличения сказать: существует еще огромный материк, ожидающий своих Колумбов. Особенно назрела потребность в обобщающих исследованиях, в совместных и дружных усилиях философов, историков и историков литературы.

[4] Там же, т. 48, с. 124.
[5] Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. СПб., [1916], с. 439—440.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Ю. К. Герасимов

ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО МОДЕРНИЗМА

Изучение русского литературного модернизма за последние два-три десятилетия заметно продвинулось. Внимание исследователей привлечено главным образом к творчеству самых значительных писателей. И это естественно. Однако как бы подробно ни изображалось при этом их литературное окружение, выборочный подход не может обеспечить цельного истолкования истории внутримодернистских течений в их взаимосвязи и отталкивании, в едином процессе их кризисной инволюции. В настоящее время наблюдается некоторое смещение исследовательских интересов в область изучения стиха и образной системы поэтов начала XX века — и в то же время начинает ощущаться недостаточная изученность идейно-эстетического комплекса модернизма, в частности его религиозно-философских основ и построений. «Интерес ко всему, что связано с религией, несомненно, охватил ныне широкие круги „общества" и проник в ряды интеллигенции, близкой к рабочему движению, а также в известные рабочие круги»,[1] — писал в 1909 году В. И. Ленин, призывавший к бескомпромиссной борьбе с различными попытками эмпириокритиков, «богостроителей» и «богоискателей» сочетать социализм с религией, а религию — с искусством. Для модернизма религиозные вопросы имели большую значимость, для символистов же — обладали первостепенной важностью и заметно влияли на их мировидение, отношение к искусству и к человеку, многообразно преломлялись в их творчестве.

Исследователи, отмечая религиозно-мистические «настроения» и «цели» символистов, крайне редко и скупо приводят конкретные сведения об их религиозных воззрениях (имеется в виду не конфессиональный аспект, хотя и он существен, а те религиозные учения и идеи, которыми символисты вдохновлялись). Малая изученность проблемы «модернизм и религия» приводит подчас к серьезным упущениям при выявлении идеологических позиций отдельных поэтов и при истолковании их конкретных произведений. Стало, например, обычным заносить «в актив» того или иного поэта все его антихристианские строки и мотивы как свидетельства его передовых устремлений. Но за антихристианством модернистов редко стояли атеизм и просветительство, чаще же — контаминации иных религий, эзотерических культов, ересей, включенных в амальгаму различных «тайных знаний» — от гностиков и кабалистики до современного им оккультизма и спиритизма, от демономании и сатанизма до штейнерианства и других ветвей антропософии. Тут, разумеется, не обошлось без игры и чисто поэтических мифологем, но в общем «религиозное творчество» модернизма обнаруживало (с известными исключениями) вполне серьезную и точную направленность — антихристианскую, по преимуществу антиправославную. То была обновленная Ф. Ницше и вышедшая на поверхность в период реакции традиция критики христианства с позиций антигуманистических и антипросветительских.

До сих пор не получила верного объяснения столь существенная для символистов проблема богоборчества. Обычно она была связана у них все же не с атеистическим мышлением. В отличие от «рабского бунта» и от «демонического» самоутверждения «правое» богоборство — «религиозный энергетизм» (термин Вяч. Иванова) по образцу борьбы Иакова с Иеговой — объявлялось символистами угодным богу естественным религиозно-коллективистским состоянием, единственно ведущим человечество к победе над роком, к завоеванию свободы и к обретению

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 415.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

бога. Именно такой тип богоборчества утверждался, в частности, в теории «мистического анархизма» Г. Чулкова, в творчестве Вяч. Иванова.

Обязывая искусство служить религиозному строительству, А. Белый и Вяч. Иванов искали внутренних органических связей между поэтикой, эстетикой и собственно религиозной сферой. Они устанавливали сквозную связь слова с символом, символа с мифом, а мифа с религией. И не только в ретроспективе, но и в перспективе развития символистского искусства. Создание системы основополагающих мифов как раз и отождествлялось с построением новой религии. Нельзя сказать, чтобы в этом направлении не предпринималось серьезных попыток, хотя эмпирически мифотворчество поэтов-символистов представало индивидуально авторским, а нередко и субъективным. К таким попыткам следует отнести трагедию Вяч. Иванова «Сыны Прометея» (1915). Подходить к ней только как к литературному произведению — значит многое оставить без внимания, не достичь верного представления об авторском замысле. Вяч. Иванов осознавал неполноценность и двусмысленность борьбы за новую религиозную культуру без наличия самой религии. Ересиархом стать он не соблазнился, но «мистагогом» себя считал. В трагедии он предлагал версию «священной истории» и новую теодицею. И в предисловии к переизданию трагедии в 1919 году писал, что Прометей в ней «представлен вероучителем и жрецом своеобразной титанической религии, основанной на отмене благоговения», и излагал «существо этой религии в ее неискаженном виде».[2] Но богостроительские усилия Вяч. Иванова не принесли реальных религиозных результатов, и его Прометей остался лишь художественным образом.

Религиозно-мистическая проблематика способствовала самоопределению символизма. И в то же время, выявляя своеобразие писательских позиций и усугубляя фракционность и междуусобицу, пагубно сказалась на его судьбе. Эти и иные существенные обстоятельства необходимо учитывать исследователям русского литературного модернизма начала XX века.

В. А. Ковалев

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И «ВНЕТЕКСТОВЫЕ ФАКТОРЫ»

В советском литературоведении утвердился принцип анализа литературного произведения с учетом многоразличных связей его содержания и художественной структуры с историческим, идеологическим, социально-психологическим, эстетическим контекстом.

Порою контекст понимается суженно как «внетекстовой фактор», «внетекстовая сфера», под которыми подразумеваются то мировоззрение автора и индивидуально-психологическая специфика личности писателя, то природа, реальные герои времени, события, запросы читателя.[1] При всех благих намерениях литературоведов, использующих эту структуралистско-семиотическую терминологию, происходит смешение разноплановых понятий «социальная действительность» и «внетекстовая сфера»,

---

[2] Иванов Вяч. Прометей. Пб., 1919, с. XVIII.

[1] См.: Хованская З. И. Анализ литературного произведения в современной французской филологии. М., 1980; Нирё Л. Значение литературного произведения и внетекстовая сфера. — В кн.: Современные проблемы литературоведения и языкознания. М., 1974.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

широкий контекст истории, культуры и общественного сознания и — «внетекстовые факторы».

Порою встречаются в работах, под предлогом анализа поэтики, тенденции игнорирования «внетекстовых факторов». Например, декларируется необходимость «разбора отдельных вещей как таковых», рассмотрение их «как вполне автономных объектов исследования».[2] Конечно, анатомическое изолированное рассмотрение «текста» в отрыве от «внетекстовых факторов» бывает необходимо на какой-то стадии анализа произведения, его содержания и художественной структуры, но нельзя возводить этот «момент» анализа в принцип исследования отдельного произведения.

Тенденции имманентного, замкнутого анализа произведения зачастую вызываются, на мой взгляд, тем, что некоторые исследователи, особенно молодые, просто невнимательны к «внетекстовым факторам», у них недостаточны навыки изучения этих факторов. Порой при чтении некоторых работ создается впечатление, что исследователь кладет перед собой на стол «текст», т. е. книгу, и больше никуда, ни в какие другие книги и периодику не заглядывает. Конечно, в значительной мере легче работать над изолированно взятым произведением, чем устанавливать связь его с народной жизнью, распознавать в нем проявления каких-то закономерностей эстетического сознания, соотносить авторский текст с публицистикой, с научными полемиками, с событиями социальной жизни, с движением исторической действительности.

Как при таком подходе развертывается исследование отдельного произведения? Автор работы вооружается той или иной общей концепцией творчества писателя и уточняет для себя «примерную» схему и порядок анализа произведения (идейное содержание, сюжет и конфликты, композиция, построение характеров, черты психологизма автора, особенности повествовательной манеры, языка и стиля и т. д.). Такая мето́да исследования романа, повести, поэмы, лирического стихотворения и пр. внешне выглядит вроде бы всесторонней и даже исчерпывающей, но по сути является элементарной. Я бы рискнул утверждать, что подобный анализ произведения не требует профессионального литературоведческого умения и вполне может быть произведен любым усидчивым мыслящим читателем, давшим себе труд сначала прочесть, а затем еще два-три раза просмотреть текст. Различие между подобными критическими работами сводится к большей или меньшей бойкости языка и образности стиля пишущего или к «нестандартной» перестановке непременных пунктов схемы анализа: если один автор начнет со стиля и закончит идейным содержанием, то другой поступит совсем наоборот — начнет с социально-классовых моментов и закончит реестром метафор и метонимий.

Как следует преодолевать эту болезнь? Мне представляется, что в первую очередь исследованием, наряду с творческой историей текста, всех видов и аспектов проблемы генезиса произведения — в особенности наряду с литературным (творческая история, сопоставление с другими произведениями), генезиса социально-политического и научного (связь с развитием общественной мысли, с научными полемиками, моральными проблемами времени, с множеством фактов истории, быта, искусства и т. д.).

И дело здесь заключается не только в отыскании реальных прототипов героев и сюжета произведения, а в раскрытии побудительных мотивов замысла писателя, в обнаружении связи содержания и пафоса произведения с назревшими стремлениями и запросами общества, в установлении неслучайности, глубокой закономерности появления произве-

[2] Не указываю источника, дабы моя заметка не приобрела обличительного оттенка.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

дения, его социальной и исторической целесообразности и в какой-то мере непременности.

Генетический метод широко разработан в отечественном литературоведении и критике (В. Г. Белинский, А. Н. Пыпин, Г. В. Плеханов, Д. Н. Овсянико-Куликовский, П. Н. Сакулин, В. А. Десницкий, Н. К. Пиксанов, М. П. Алексеев и другие).

Разумеется, этот метод требует от исследователя разыскания и изучения, кроме текста или текстов писателя, газетно-журнальной публицистики, научных трудов в тех или иных областях науки, знания ближайшего окружения писателя... Конечно, хлопотно! Но что делать?! Иначе не добудешь материалов, углубляющих читательское понимание текста, не найдешь необходимых «внетекстовых факторов», более полно раскрывающих идеи и тенденции произведения (а тенденции зачастую в тексте являются, как мы знаем, спрятанными, необнаженными), ключей к более точному раскрытию художественной структуры, осознанию закономерностей возникновения художественной формы произведения.

Я нисколько не хочу умалить значения анализа функциональной роли литературного произведения, знакомства с материалами об «отзвуках» данного произведения в последующем развитии литературы, об эволюции восприятия и истолкования его читателями, но считаю центром тяжести литературоведческого исследования именно раскрытие социально-исторических и социально-психологических источников его, т. е. всего того, что породило данное произведение.

Если максимально прояснится генезис содержания произведения, то максимально прояснятся и его художественная структура, и его функциональное предназначение.

Конечно, не всегда бывает легко исследователю охватить многоразличные отношения «текста» и «контекста», но во всяком случае надо стремиться к этому. Иначе исследователь будет соскальзывать к тем или иным разновидностям имманентного метода анализа отдельного литературного произведения, практикуемым формалистами и представителями семиотики, которые отделяют резкой чертой текст от «внешних» факторов и все внимание сосредоточивают на анализе замкнутой формы, художественной структуры или логического каркаса вещи (время, пространство, субъект, объект, модальность, предикация и т. д.). А это нежелательно. Мы должны отстаивать и развивать не ложные или недостаточные в своей основе, а плодотворные и истинно прогрессивные завоевания литературоведческой мысли.

Л. Ф. Ершов

О НАУЧНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Осмысляя закономерности эстетического развития, литературоведение постепенно совершенствует свой исследовательский аппарат, методику и методологию. Сопоставление различных литературных эпох — наиболее испытанный путь типологического изучения. И тут нельзя обойтись без таких понятий, как творческая или художественная формация, типологический ряд и типологическая общность, без понятия эстетической системы, противостоящей конгломерату разнородных, лишь внешне скрепленных явлений.

В цепи «жизнь—литература—наука о литературе» существует не только эволюционная изменчивость, обусловленная живыми потребно-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

стями общественного процесса, но и стадиальная повторяемость тех или иных феноменов. Если логика историко-литературного процесса воплощается в его закономерностях, познанных или еще только познаваемых нами, то периодизация, предлагая опорные вехи, выступает внешней структурой, своеобразным планом этой логики.

Ход времени и движение литературы — вот что призвана фиксировать любая периодизация. Однако между этими понятиями существует и прямая, и обратная связь. Проблема связи между гражданской историей и развитием литературы по-разному осмыслялась литературной наукой в разные исторические эпохи. Скажем, до Октябрьской революции излюбленными были схемы построения истории литературы по царствованиям (русская литература в эпоху Екатерины, во времена Александра, Николая и т. п.) или по десятилетиям (1800—1810, 1810—1820 и т. д.).

Ленинская периодизация освободительного движения подводила строго научный фундамент под понимание историко-литературного процесса XIX—начала XX века. Материалистический подход к общественным явлениям давал возможность постижения объективных внутренних закономерностей становления и формирования русской художественно-эстетической мысли.

В советские годы многое пришлось осмыслять заново, строить теорию литературного процесса с учетом принципиально иных социально-исторических особенностей. Здесь возникали свои трудности и свои проблемы. Надо заметить, что первые опыты серьезного построения синхронии и диахронии приходятся лишь на 40-е годы (Л. И. Тимофеев). Один из таких починов принадлежит и выдающемуся писателю Алексею Толстому, который в 1942 году предложил рассматривать последовательно «литературу 20-х годов», «литературу 30-х годов», «литературу периода Великой Отечественной войны».

Изучение всякой литературы невозможно без выявления ее специфических, конкретных и неповторимых исторических судеб. Своеобразие литературного процесса в том, что он далеко не всегда совпадает с датами общегражданского календаря, — ибо искусство слова не только зеркало, не простой аналог действительности, но особая форма постижения основных линий, ведущих закономерностей эпохи. Периодизация лишь тогда может претендовать на подлинную научность, когда более или менее точно отражает стадиальные (т. е. совершающиеся по определенным фазам, ступеням) видоизменения общественно-литературной жизни. Темп и характер ее развития различны в каждую эпоху, и цель периодизации состоит в том, чтобы с максимальной полнотой выявить их специфику в определенный отрезок времени. Принцип историзма — один из узловых вопросов при построении любого курса литературы. Он особенно важен, ибо с ним связаны проблемы методологии и методики, концепции курса, его социально-философские основы.

Периодизация — не только экран, запечатлевший смену литературных эпох. Это и воплощенное в определенную систему стремление к выявлению устойчивых историко-социальных и эстетических факторов, в видоизмененной форме действующих в новое время, и преемственность, выступающая как важная доминанта духовного развития человечества. Выяснение глубинных связей между явлениями, их сложной, порою противоречивой диалектики, т. е. более широкое распространение методики и приемов типологических исследований, ведет к углублению генетических принципов изучения литературы, к совершенствованию арсенала исторической поэтики.

Какие представления о периодизации наиболее характерны для нынешнего этапа советского литературоведения? О чем спорят, над чем думают ученые, разрабатывая концепции историко-литературного процесса?

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

В последние годы отчетлива тяга к укрупненным представлениям об основных этапах развития искусства слова. Это и понятно, ибо советская литература, пройдя рубеж своего шестидесятилетия, достигла мудрой зрелости, а перед исследователями открылись новые возможности выявления становых линий ее движения. Вместо разбивки на пять—шесть дробных периодов все более ощутимо прокладывает себе дорогу тенденция, создатели которой стремятся выявить и закрепить в хронологической последовательности кардинальные социально-эстетические перемены. Вот почему все чаще встречаются периодизации, в которых берутся за основу два, иногда три определяющих этапа.

Нынче наиболее обоснованной с точки зрения собственно литературно-эстетических закономерностей представляется такая периодизация: 1917—1940 и 1941—1980-е годы. Вместе с тем не отвергается и традиционная периодизация, которая может органически вписаться в общую схему. Достоинства такого подхода очевидны, ибо при этом диалектически сочетается учет своеобразия больших социально-исторических эпох и оперирование такими отрезками времени, которые помогают глубже выявить специфику собственно литературного процесса.

Научная периодизация предусматривает безупречное пользование соответствующей терминологией, употребление таких понятий, которые более или менее однозначно могли бы передавать существо определенного исторического момента. Таких терминов предполагается три: эпоха, этап, период.

Эпоха — это наиболее крупный отрезок времени, обнимающий собой определенный исторически законченный период общественно-эстетического развития. Историю советской литературы можно было бы разделить на две эпохи: 1917—1940 — от победы Великой Октябрьской революции до построения основ социализма и 1941—1980-е годы — от Великой Отечественной войны до построения и утверждения развитого социалистического общества.

В соответствии со специфическими особенностями историко-литературного развития внутри эпох выделяются несколько этапов: 20-е годы, 30-е, 1946—1951, 1952—1965 и 1966—1982.

Еще более дробное деление предлагается называть периодами. Таковы два момента в истории советского общества и литературы — гражданская война (1917—1921) и Великая Отечественная война (1941—1945) — законченные, совершенно самобытные отрезки времени в жизни народа и общества, оказавшие особенно мощное, неповторимое воздействие на развитие словесности.

Предложенная периодизация фиксирует количественный момент в развитии литературы, ее, если можно так выразиться, укрупненную хронологическую канву. Важнее выделить те особенности, которые определяют качественное своеобразие каждого из намеченных этапов. На этот счет в нашем литературоведении последних лет есть плодотворные разработки, в частности монография И. Г. Неупокоевой «История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа» (1976). Здесь содержится интересная попытка характеристики тех признаков, которые выявляют лицо той или иной эпохи, того или иного этапа в развитии искусства слова. Автор намечает такие основные особенности: «1. Изменения во взаимоотношениях литературы и общества... 2. Открытие литературой новых сфер жизни, рождение в ней новых тем, появление новых героев, новых социально-этических представлений и идеалов... 3. Изменение основной драматической коллизии произведений крупнейших жанров».[1]

[1] Неупокоева И. Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. М., 1976, с. 331, 334, 337.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Видимо, не все эти приметы срабатывают синхронно на том или ином этапе эволюции литературы, однако учет их эффективности, взаимодействия друг с другом помогает точнее и глубже выявить своеобразие переживаемого момента. В этом смысле особенно показательна история послевоенной русской советской литературы и сложный процесс осмысления его нашей наукой.

Постижение своеобразия послевоенного этапа началось с попыток построения общей его периодизации. При этом особенно много споров вызвала исходная дата. Некоторые литературоведы называли 1953 год, отмеченный выходом в свет романа Л. Леонова «Русский лес». Другие склонялись к 1954 году, когда состоялся II съезд писателей. Большинство же предпочло 1956 год — год XX съезда КПСС. На самом деле процесс обновления начался несколько раньше, с момента появления первых смелых и новаторских очерков В. Овечкина и сатирических новелл Г. Троепольского (1952—1953 годы), а также лучшего, непревзойденного социально-философского романа Л. Леонова «Русский лес» (создан в 1950—1953 годах). В 1952 году были опубликованы два важнейших литературно-критических документа 50-х годов. Речь идет о редакционной статье «Правды» «Преодолеть отставание драматургии» (1952, 7 апреля), обозначившей начало конца «теории бесконфликтности», и передовой статье «Правды», приуроченной к столетию со дня смерти Н. В. Гоголя и содержавшей призыв всемерно развивать искусство сатиры. Разумеется, эти веяния не были вызваны каким-либо единовременным актом, а готовились всем объективным ходом движения нашей общественно-эстетической мысли послевоенных лет.

Начиная с середины 60-х годов происходят новые существенные сдвиги в художественном осмыслении действительности. Особенно ощутимо проявляется тенденция к раскрытию нового типа конфликтов и характеров, к синтезу бытующих представлений об историческом прошлом и современном мире. Историософское мышление определяет тягу к эпическим жанрам как самой емкой форме подведения итогов.

Ранее (на первом послевоенном этапе) аналитичность, исследовательское начало, пафос открытий отличали преимущественно публицистику и лирико-документальную прозу. Именно эти виды отечественной словесности достигли вершины своего развития к середине 60-х годов. Одновременно это была и высшая точка их популярности у читателя. Со второй половины 60-х годов художественная литература ценой огромных усилий, смелых поисков, открытий общенационального масштаба выровняла баланс в свою пользу. На передний край большого искусства вновь уверенно начал выходить роман (П. Проскурин — «Горькие травы», А. Иванов — «Вечный зов», Ю. Бондарев — «Горячий снег» и др.).

К середине 60-х годов в эстетической жизни страны многое определяли произведения В. Белова, В. Астафьева, С. Залыгина, В. Шукшина, исполненные внутреннего драматизма и глубокой художественной гармонии, написанные свежим и емким, лишенным литературной гладкописи народным языком. Они учили не просто думать и анализировать нравственно-бытовые коллизии, но осознавать свое время в широкой социально-исторической перспективе. Именно этот этап продолжается и поныне.

Таким образом, предлагаемая периодизация сочетает как укрупненное, так и дробное рассмотрение историко-литературного процесса. Эта периодизация может быть принята после обсуждения и уточнения как возможная рабочая схема построения курса истории русской советской литературы за 60 с лишним лет.

Этот вопрос весьма важен, ибо сюда стягиваются проблемы методологии и методики, концепции литературного развития, его социально-философские основы. Верно намеченная периодизация поможет выявле-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

нию генеральных особенностей литературного движения, а тем самым его своеобразия и исторической целостности, его соотнесенности с развитием близких или родственных регионов, а затем с общемировым литературным процессом.

В. В. Бузник

ОБ ИЗУЧЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Уже более чем шестидесятилетняя история советской литературы настоятельно располагает и даже обязывает современную филологическую науку к изучению различных идейно-эстетических категорий в их историческом развитии. Постановка такой задачи основательно подготовлена выводами теоретической мысли, пришедшей в последние годы к твердому убеждению о нестабильности как самых общих, так и более частных литературных понятий, об их непрестанном внутреннем видоизменении, движении, обогащении. Поэтому сейчас уже мало рассуждать, например, о гуманизме советской литературы в общем. Требуется знание еще и вполне конкретных особенностей существования, звучания, истолкования этой высокой идеи отдельно на каждом этапе развития социалистического искусства. То же самое можно сказать и о таких понятиях, как партийность, народность, которые, допустим, в 20-е годы художественно претворялись иначе, чем в период Великой Отечественной войны или в настоящее время. Своей исторической эволюцией отличаются и ценностные ориентации советской литературы, такие, как эстетический идеал, представления о добре и зле, прекрасном и безобразном. Было время, когда, например, понятие героического соединялось в первую очередь с небывалым деянием, подвигом, преодолением огромных препятствий, покорением стихий. Теперь писатели все больше сосредоточивают внимание на внутреннем мире героев. «У меня не вызывает сомнений, — пишет Ю. Бондарев, — что главный литературный герой должен быть наделен богатством нравственной жизни и измеряться должен духовными категориями своего времени».[1] И уже не исключительный поступок, а постоянное состояние души становится мерой героического. «Нравственная активность человека, способность быть верным голосу совести и справедливости — не в этом ли подлинный героизм? — спрашивает сегодня Ф. Абрамов. — Героизм непоказной, некрикливый, который еще мало понят и оценен нами».[2]

Первые шаги по пути исследования различных идейно-эстетических понятий, категорий в их историческом развитии несомненно уже осуществлены — без этого было бы попросту невозможно изучение советской литературы на любых уровнях и в любых аспектах. Однако специальное и систематическое рассмотрение стадиального развития основных эстетических идей советской литературы еще ждет своего часа и своих энтузиастов.

Здесь, правда, надо заметить, что развитию интереса к такого рода исследованиям может неожиданно помешать одно превходящее обстоятельство. Имеется в виду ставшая с некоторых пор весьма популярной мысль об укрупненной периодизации литературного процесса. В проти-

---

[1] Бондарев Ю. Поиск истины. М., 1979, с. 44.

[2] Абрамов Ф. Выступление на VII съезде писателей СССР.— Лит. газ., 1981, 8 июля, с. 5.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

воположность существовавшей прежде периодизации истории советской литературы в основном по десятилетиям предлагается выделение в ней только двух больших периодов. По мнению одних, это довоенное и послевоенное время, другие считают возможным выделить в ее развитии несколько иные этапы: первый — от зарождения социалистического движения в конце XIX века до середины 50-х годов XX века, когда наша страна вступила в пору зрелого социализма; второй — все последующее время, вплоть до настоящего момента.

Проблема литературной периодизации, очень непроста. Она не терпит скоропалительных решений и будет, видимо, еще немало обсуждаться. Хотя заранее можно сказать, что прямое перенесение законов общественного развития на литературу крайне опасно. Литература, конечно же, не существует в отрыве от действительности, но известно, что ее развитием управляют еще и собственные законы, пренебрегать которыми нельзя, не рискуя впасть в упрощенчество.

Никакая периодизация не должна нивелировать литературный процесс и препятствовать познанию его внутренней динамичности — с этим согласятся, наверное, все. И можно надеяться, что наука еще займется поэтапным анализом развития элементов социалистической эстетики. Такая работа, по-видимому, потребует дальнейшего усовершенствования принципов изучения литературного материала. И в этой связи едва ли не самой актуальной может оказаться проблема всемерного объединения усилий двух подразделений филологии — ее историко-литературного и теоретического направлений.

Представляется, что сегодня именно здесь, в области связи истории с теорией, находится одно из узких мест литературоведения. Слишком часто встречаются историко-литературные труды, которые при всей тонкости частных наблюдений и фактической оснащенности словно замкнуты в самих себе, не выходят к значительным обобщениям. В то же время иные теоретические исследования выказывают небрежное отношение к фактам, и теории в таких случаях не вытекают из последних, но довлеют над ними, насильственно подчиняют их себе.

Между тем совершенно очевидно, что для решения такой комплексной задачи, как изучение движущейся эстетики литературы, равно важны и фактичность и широта подхода к явлениям художественного творчества.

Стадиальный анализ необходим для выявления в литературе не только перемен, но и некоторых повторов. Отсюда открывается заманчивая перспектива обнаружения определенной цикличности литературного процесса. Историки советской литературы знают, что она время от времени словно возвращалась на новом витке своего развития к уже пройденному этапу. И думается, что изучение природы и характера этих возвратов имеет немалое научное значение. Рядом с исканиями более позднего времени способен яснее раскрыться исторический смысл похожих на них творческих поисков предшествующей поры. Так, в свете тяготения поэзии первых послевоенных лет к масштабности по-новому видится и так называемый «космизм» ранней пролетарской лирики. За обоими явлениями просматривается специфика искусства переломных лет истории, своеобразие чувств народа, ощутившего свою коллективную мощь.

В сопоставлениях настоящего с прошлым могут проясниться и решения иных спорных проблем текущей литературы. Возьмем, к примеру, бесконечно дебатируемую сейчас проблему «открытости» художественной системы социалистического реализма. Кое-кто, надо признать, готов закончить эти споры, уйдя от их существа. Социалистический реализм, говорится в одной из новейших работ по истории советской

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

литературы, «понимается большинством исследователей как открытая эстетическая система, не связанная критериями формального характера (в пределах реалистического типа художественного творчества)...»[3] Но если разговор идет о «реалистическом типе художественного творчества», то какие могут быть сомнения относительно возможности миграции отдельных элементов «формального характера»? Такая миграция естественна, сама собой разумеется. Совсем другое дело, когда выясняются отношения между реализмом и модернизмом, совершаются попытки навести мосты между этими идеологически несовместимыми системами художественного творчества. Такая «открытость» не может не вызвать споров. И против такого толкования «открытости» советской литературы можно было бы выдвинуть серьезные возражения, если опираться не на собственные догадки, а на вполне реальный опыт литературы 20-х годов. Достаточно вспомнить, как мучительно и трудно переболела она когда-то «открытостью» как раз такого типа, со всем бесстрашием молодости испытала ее на себе, чтобы в итоге все-таки решительно отказаться от форм, которые только умозрительно видятся идеологически нейтральными, а в действительности, в художественном тексте, несут с собой совершенно определенный строй вкусов, взглядов, убеждений. Не случайно элементы модернистской поэтики прижились только в творчестве тех писателей, которые так или иначе разделяли идеи модернизма. Конечно, мне могут возразить, что некоторые структурные детали, присущие модернистской литературе, можно было встретить и в произведениях писателей-реалистов. И это действительно так. В ранних романах, например, К. Федина применялись композиционные приемы (разорванная фабула, смещенность повествовательных планов), какими пользовался тогда же, скажем, Б. Пильняк. Однако какие основания считать, будто автор «Городов и годов» формировал свой стиль по образцам модернистской прозы? Почему не предположить, что творческая манера художника складывалась как самостоятельный ответ на запросы самого времени?

Изучение сегодняшних проблем литературы в соотнесенности с ее прежним опытом могло бы внести необходимую четкость и в вопрос о гуманистическом содержании советской литературы. Пока что решение этого вопроса бывает крайне расплывчатым, идея гуманизма истолковывается односторонне. Выступая в защиту прав человека, писатели порой словно забывают о его обязанностях перед обществом. Между тем эти два понятия — человеческих прав и обязанностей — были для советской литературы неразделимы с самого начала. А. Блок еще в 1919 году писал, что революция «прежде всего выдвигает вопрос о „правах человека“ на жизнь», но она же напоминает «об обязанности каждого человека принять участие в создании того, что сделает жизнь более совершенной, прекрасной и правдивой...»[4]

Иногда литературная критика тщетно пытается бороться и с намечающейся (особенно в драматургии) тенденцией эстетизации заурядного под видом защиты рядового. Здесь тоже важно было бы вмешательство «тяжелой артиллерии», нужна помощь историков литературы с неоспоримостью их доводов, основанных на реальном опыте литературного развития. Такие доводы могла бы подсказать та же проза 20-х годов, которой приходилось по-своему переосмыслять традиционную для русского реализма тему «маленького человека», но которая никогда не возводила в ранг героя мелкую личность, не ставила персонажей М. Зощенко в один ряд с гоголевским Акакием Акакиевичем.

---

[3] Кузьменко Ю. Советская литература вчера, сегодня, завтра. М., 1981, с. 380.

[4] Блок А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 6. М.—Л., 1962, с. 422.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

А разве не нашлись бы в уже далекой от нас литературе 20-х, 30-х, 40-х годов свои, пусть спорные, требующие поправок на время, но поучительные ответы на такие, остро стоящие перед современной литературой вопросы, как «человек и природа», «живое и железное», «город и деревня», «память и прогресс»? Разве не могла бы она рассказать, как решала назревшую нынче проблему художественного вымысла и документа, места символа, мифа, сказа в реалистическом произведении? Ответить и рассказать об этом она безусловно может. Следует только, сознавая ответственность все усложняющихся задач литературоведения, углубленно и вместе масштабно, вдумчиво и с несуетным интересом изучать полный мудрых уроков процесс развития эстетических категорий, понятий, идей советской литературы, познавая не только его диалектическую сложность, но и живую, творческую подвижность.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. ГОРЬКИЙ. ПИСЬМА К Ф. Д. КРЮКОВУ

(ПУБЛИКАЦИЯ Б. Н. ДВИНЯНИНОВА)

В эпистолярном наследии А. М. Горького переписка с писателями занимает огромное место. В этой переписке Горький выступает как друг, добрый наставник, как литератор, который раскрывает и отстаивает свою литературно-общественную позицию.

В начале XX века его называли властителем дум молодежи. Сотрудничество в возглавляемых им «Сборниках товарищества „Знание“» или же в редактируемых им журналах ценилось очень высоко. Многим писателям хотелось появиться «под флагом „Знания“».

Издано уже немало работ, характеризующих редакторскую деятельность Горького, однако все еще недостаточно раскрыты доброжелательность Горького-редактора, его желание «не поучать» литераторов, а помогать им в дальнейшей работе над присланными рукописями.

Федор Дмитриевич Крюков (1870—1920) — теперь полузабытое имя, но ко времени обращения к Горькому он был уже довольно известным автором. Крюков родился в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского в семье станичного атамана. Окончив Медведицкую гимназию и Петербургский историко-филологический институт (в 1892 году), он в течение 12 лет преподавал историю и географию в Орловской гимназии и Нижегородском реальном училище.

Литературная деятельность Крюкова началась в студенческие годы: он опубликовал в «Петербургской газете» небольшие рассказы под псевдонимом «Березинцев». В 1892 году в «Северном вестнике» (№ 4) появился его очерк «Казачьи станичные суды», а в «Историческом вестнике» (№ 10) — очерк «из быта стародавнего казачества» «Гулебщики». Выйдя в 1905 году в отставку и возвратившись на Дон, Крюков увлекся общественной и политической деятельностью. В 1906 году он был избран депутатом Первой государственной думы от Области Войска Донского, а после разгона ее царским правительством принял участие в Выборгском совещании (9—10 июля 1906 года) депутатов Думы и подписал известное «Выборгское воззвание», за что был присужден к трехмесячному тюремному заключению. В 1906 году Крюков стал одним из учредителей партии «народных социалистов».

Активные выступления Крюкова в Думе и в печати 1906—1907 годов против использования донских полков для подавления революционных выступлений в период первой русской революции, требование демократических выборов, отмены сословных и национальных ограничений, а также правдивое художественное изображение жизни широких слоев казачества привлекли внимание к имени Крюкова. Получив поддержку со стороны В. Короленко и П. Якубовича, Крюков становится постоянным сотрудником журнала «Русское богатство». В 1907 году выходит в свет первая книга его очерков и рассказов «Казацкие мотивы». 29 августа (11 сентября) 1909 года Крюков посылает Горькому на Капри рассказ «Зыбь», написанный им в тюрьме, и получает предложение напечатать его в очередной книге «Сборников товарищества „Знание“».[1] Предложение это обрадовало писателя, и он тотчас же принялся за переработку рассказа, используя замечания Горького (см. первое из публикуемых ниже писем). В телеграмме, посланной 24 сентября (7 октября) 1909 года, Горький просит Крюкова скорее передать рукопись в издательство, а 13 (26) октября заведующий конторой «Знания» С. П. Боголюбов пишет Крюкову: «Посылаю Вам начало Вашего рассказа из 12 листа. Листы 13, 14 и 15 сама типография уже послала Вам. Прошу очень не задерживать» (цитирую по хранящемуся у меня автографу). Вышедший в свет 28 ноября 1909 года сборник сразу же привлек внимание критиков, отметивших неоднородность изображения в нем деревни (см., например, отзыв М. Морозова «Молодая деревня» в журнале «Наша заря» (1910, № 1)).

Второе письмо Горького является ответом на письмо Крюкова с откликом на повесть «Лето». Письмо Горького особенно ценно сообщением о том, что помогло ему создать данную повесть. Сведения эти не совпадают с известными ранее,

[1] Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. 2. М., 1958, с. 95.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Весьма интересен также авторский комментарий к знаменитой оптимистической концовке повести «Лето» («С праздником, великий русский народ! С воскресением близким, милый!»), вызвавшей скептические замечания критиков.

В 1911 году Горький дал оценку творчества Крюкова в печати. Обращаясь в статье «О писателях-самоучках» к авторам, плохо знающим, но мрачно пишущим о деревне, Горький писал: «. . .почитайте Муйжеля, Подъячева, Крюкова, — они современники ваши, они не льстят мужику. Но посмотрите, поучитесь, как надо писать правду!» [2]

В 1912 году Крюков опубликовал в «Русском богатстве» (№ 12) очерк «Без огня», повествование в котором о жизни и психологии современных крестьян велось от имени молодого священника. Рассказ заинтересовал В. И. Ленина. «Если это изображение верно, — писал он в статье «Что делается в народничестве и что делается в деревне» (1913), — то русской буржуазной демократии — в лице именно крестьянства — суждено крупное историческое действие, которое при сколько-нибудь благоприятной обстановке сопутствующих явлений имеет все шансы быть победоносным».[3] Говоря, что после 1905 года народнический социализм в России умер, В. И. Ленин указывал, что в противоположность ему «крестьянская демократия в России, если верно изображает ее у Крюкова сладенький попик, живая сила».[4] Выделяя у Крюкова «демократическое ядро» из шелухи народнических предрассудков, В. И. Ленин показал, что реализм Крюкова-художника был сильнее его народнических иллюзий. В. Короленко писал Крюкову в 1913 году: «Крюков писатель настоящий, без вывертов, без громкого поведения, но со своей собственной нотой, и первый дал нам настоящий колорит Дона».[5]

В 1912 году Крюков стал одним из редакторов литературного отдела «Русского богатства». Судя по другому письму В. Короленко 1913 года, начинающий редактор — в отличие от Горького — проявлял большую решительность в правке публикуемых в журнале произведений.[6]

В 1914 году в «Книгоиздательстве писателей в Москве» вышла вторая книга Крюкова «Рассказы» (т. I).

В 1915 году Горький и Крюков вновь встретились на страницах литературного сборника «Щит». Горький выступил в нем с публицистической статьей, а Крюков — с очерком «Сестра Ольшвангер. (Из закавказских впечатлений)».

Горький вспомнил Крюкова и в советские годы. Составляя в 1935 году план «Библиотеки „Колхозника“», писатель включил в него очерк Крюкова «Без огня» вместе с вышеназванной статьей В. И. Ленина.[7]

Публикуемые письма-автографы Горького и его телеграмма к Ф. Д. Крюкову были получены мною от Николая Пудовича Асеева (1870—1952), земляка и друга писателя. Крюков посвятил Н. П. Асееву рассказ «Шаг на месте» («Русское богатство», 1907, № 5).

1

<Сентябрь 1909>[8]

Федору Крюкову

Вы забыли сообщить Ваше отчество.

Рассказ ваш прочитал. В общем — он мне кажется удачным, как и все напечатанное Вами до сей поры в «Р<усском> б<огатстве>».[9] Видимо, Вы человек молодой, серьезный, несомненно, что вы любите нашу русскую природу и есть у вас добрый лиризм, — не риторический, — профессионально-литераторский, а задушевный, искренний и русский. Коли не ошибаюсь да коли вы отнесетесь к самому себе построже — тогда мы с вами поздравим русскую литературу еще с одним новым и талантливым работником.

Здесь голова «Знания» Конст. Петров. Пятницкий. Я дал ему Вашу рукопись — тоже понравилась. Решили предложить Вам — напечатайте рассказ в сборнике «Знание». Отвечайте. Но — по праву бо́ль-

---

[2] Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24. М., 1953, с. 132.

[3] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 22, с. 365.

[4] Там же, с. 368.

[5] Короленко В. Г. Избр. письма, т. 3. М., 1936, с. 228.

[6] Там же, с. 226—227.

[7] М. Горький и советская печать, кн. 2. М., 1965, с. 430. (Архив А. М. Горького, т. X).

[8] Товарищ М. Горького по издательству «Знание» К. П. Пятницкий приехал на Капри 1 (14) сентября 1909 года и в течение 12 дней беседовал с Горьким о делах издательства и присланных рукописях. (Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. 2, с. 93). Письмо Горького написано, видимо, после одной из таких бесед.

[9] Судя по письму, Горький счел Ф. Д. Крюкова начинающим писателем, запомнившимся ему по последним публикациям в «Русском богатстве». Здесь в течение 1896—1909 годов были напечатаны следующие произведения Крюкова: «Казачка» (1896, № 10), «На тихом Дону» (1898, №№ 8—10), «Из дневника учителя Васюхина» (1903, №№ 3, 7), «В родных местах» (1903, № 9), «Картинки школьной жизни» (1904, № 6), «К источнику исцелений» (1904, №№ 11—12), «Станичники» (1906, № 1), «Встреча» (1906, № 11), «О казаках» (1907, № 4), «Шаг на месте» (1907, № 5), «Новые дни» (1907, №№ 10—12), «Жажда» (1908, № 6), «Мечты» (1908, № 11), «Товарищи» (1909, № 5), «Отрада» (1909, № 8), «Шквал» (1909, №№ 11, 12).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

шего опыта в деле — я прошу у Вас разрешения сделать несколько мелких замечаний, касательно внешности рассказа, по поводу его языка. В общем сочный и добротный — он у Вас — местами — не точен, недостаточно крепок, кажется мне.

«Стелился» — можно подумать, это от глагола «телиться». «Облачки» — не на месте в предложении, построенном кратко и красиво: облачки — сладковаты. Гуси — *га*гакают, а не *ка*гакают. «Так называемая» — лишнее. «Вот этому» — опять же лишнее, и «вон ту» — тоже. Зачем так говорить? Ставьте каждый предмет, каждого человека сразу на свое место, ставьте его прочно, владычной рукой.[10]

«С книжками Т.‹ерпуг› познакомился случайно» — и молчок! Или не говорить об этом — выкинуть фразу — или рассказать, как случайно? [11] «Состоявшие, молчавшие, качавшие» и другие словечки со вшами в конечном слоге — отнюдь не являют собою красоты и гордости нашего языка. Вообще — по мере возможности — избегайте шипящих и свистящих слогов.

«Типец» — не шипец ли? [12]

На стр. 5-й брошена горсть таких словечек, как «очарованными, изумительныя» — они ничего мне не доказывают, ничего не внушают. На стр. 9-й вы как бы кокетничаете со мною, читателем, заигрываете — зачем же? Вы — судия и свидетель пред лицом некоей высшей правды, более или менее ясно ощущаемой вами, вы — писатель, высокое лицо! — Я хочу вас уважать, я ведь будничный человек, продающий душу свою по мелочам, я хотел бы немножко бояться вас и немножко — любить, так вы со мною не фамильярничайте, а то я зазнаюсь. Совершенно напрасно полагают, что писатель может обниматься с читателем дружески — нет, они обнимаются лишь как враги. Ведь читатель-то в конце концов — жулик, да и прехитрый. Нет, вы этот прием оставьте, он непременно будет дурно истолкован.[13] И оставьте о! — со знаком восклицания. Да придет оно само собою.

На 16-й непонятно: «сквозистая» — едва ли удачное слово, «кружащиеся в свете [,] существа одного дня» — туманно. Надо исправить.

17. «Явь это или сон?» Вы так напишите картину, чтоб вопрос этот сам читатель поставил.[14]

«Беспокойное волнение» — спокойного волнения не представляю.

Пуришкевича — вон; на что его имя нужно, в хорошем деле и месте?

Такие слова, как «г. . ., с. . ., б. . .» — слова, конечно, русские, но — устраним их! Не ими живет и сверкает русская речь, право, не ими!

О портрете — не пройдет, конфискуют рассказ. И опять-таки не характерно. Тоже о церкви — 21-я, скоропалительно это.[15]

О Рванкине — длинно. Лицо слишком хорошо знакомое, нет причины расписывать его особенно подробно и тщательно.[16]

Слишком часты отзывы о народе как о скоте, рабе и т. д. Впечатление невыгодное для автора, мы живем в стране демократической.[17]

139-я стр. — растрепана. Если Вы тут хотели передать бурное и тревожное настроение героя — так оно не передается мне. Пусть герой, в гневе и ярости, звезды гасит дуновением своим, а вы, автор, останьтесь и при сем зрелище в сторонке. Может быть, со стороны-то и в трагедии увидится смешное, а в комедии — трагическое. Вообще не следует вмешиваться в столкновение своих героев — они же суть ваши читатели — они сами по себе.[18]

Имейте в виду, что всегда полезно написанное сократить в объеме.

Все эти мелочные советы — не принимайте за указания, не усматривайте в них ничего командующего. Говорю потому, что кажетесь вы мне человеком даровитым, и потому, что люблю я литературу русскую — великое это дело, лучшее наше, драгоценнейшее.

Рукопись высылаю бандеролью. Вы сохраните ее, — ввиду внешней оригинальности, это же ценно, как черточка из истории русского писателя.

Буде согласны печатать в сборнике — поправьте, где можете, и пошлите рукопись в контору «Знания». Там сидит милый человек Семен Павлович Боголюбов, он будет извещен о рассказе вашем.

А засим — искренно желаю вам испить полной чашей всю горечь и сладость, сопряженные с делом, за которое

---

[10] Крюков принял большинство замечаний Горького, сняв и заменив отмеченные им неудачные или лишние слова.

[11] Крюков развернул сообщение о чтении Терпуга. Среди прочитанных им книг указаны «Андрей Кожухов» С. Степняка-Кравчинского, «Ответ на определение Синода. . .» Л. Толстого, книги о Гарибальди, Разине, Ермаке.

[12] Типец (типчак) — «растенье Festuca ovina, волосянка, манник, тонконог, щетка» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV. СПб.— М., 1882, с. 406).

[13] Крюков убрал из рассказа обращения к читателю.

[14] Отмеченная Горьким фраза была снята.

[15] Указанные Горьким места сняты.

[16] Лавочнику Рванкину посвящена 5-я глава рассказа. Возможно, что Крюков сократил ее, так как излишней описательности в ней нет.

[17] Оценки народа проходят через весь рассказ Крюкова. Упоминание о народе-рабе снято.

[18] Имеется в виду заключительная глава «Зыби». Финал повести приобрел трагическое звучание.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

взялись. Прекраснейшее дело, нет почетнее его в России. Оно требует всего человека, — всей любви его, всех сил.

О языке позаботьтесь: всегда стремитесь обогатить себя им. Рекомендовал бы, коли это не обидит вас, читайте былины, сказки — сборники Киреевского, Ончукова, Рыбникова, Барсова.[19]

Кстати, Рыбников издается в Москве, уже вышел первый том.

Ну, до свидания. Крепко жму руку. Подумав, что я вас учил — вы меня обидите. Просто я говорил с вами, как человек одного цеха о наших цеховых делах, о лучших приемах работы — и только.

Всего доброго!

А. Пешков.

Буде решите печатать рассказ в «Зн‹ании›» и согласны с нек‹ото›рыми замечаниями и исправите их, делайте это скорей. А рассказ пошлите сюда же, не отдавая в контору, как сказано раньше.

Просматривая рукопись пред посылкой, нашел еще:

на стр. 20 — «Яблонок» почему же не яблонек? [20]

22. «по скотинному» — обычно говорят «по-скотски»; поскотина — загон для скота в Сибири.

30. «Стеклистое» — красиво ли? Приложимо ли к небу, кое всегда мягко и всасывает взгляд наш в глубину свою? Вообще этот суффикс — не русский. Вероятно, вы взяли откуда-то из техники — «раковистый излом» напоминает ваше «стеклистое».

37. «Искросыпительным» — сногсшибательно и скулодробительно! Но — не хорошо! Произвольно-протяженно-сложенные слова сии отдают чем-то несерьезным.

65. «ехать *в* ярмарку». Ново. В Великой Руси ездят *на* ярмарку. Впрочем — дело ваше.

Поверьте — если бы я хоть на минуту подумал, что все эти замечания могут стеснить вашу индивидуальность — не сделал бы я их! Но имею основание думать, что вы человек солидный, серьезный.

Хотя, видимо, и не читали текста 129 статьи.[21] А по сей статье, как утверждает Пятницкий, отмеченные им страницы 64, 70—2—9, 84—5—6 и 108 *обязательно* вызовут конфискацию, причем на 85—6-й имеются основательные причины для привлечения к суду и самого автора, вкупе с издателем, конечно.

Мне, если хотите знать мое отношение, места эти не кажутся ценными, их можно и убрать и сгладить. Суть никогда не заключается в отдельной фразе, а только в общей гармонии. В рассказе вашем гармония эта есть.

Жму руку

А. Пешков.

2

Просим возможно скорее передать рукопись ‹в› Знание Боголюбову. Сюда пришлют на просмотр корректуру. Пешков.[22]

3

‹Декабрь 1909› [23]

Дорогой Федор Дмитриевич!

Ваш запрос о гонораре я сообщил Пятницкому — это исключительно его дело, и он сказал, что напишет в контору о расплате с вами. Сейчас его нет здесь, я думаю, что он уже написал.

«Лето» написано мною по рассказу одного спокойного человека, он жил у меня здесь года полтора тому назад.[24] Заехал он сюда по дороге в Якутскую область, а отсюда отправился снова на родину. Человек — внепартийный, несколько елейный, хотя из солдат, знает — не много, чувствует — прекрасно, главное же — спокоен!

Много я видал и вижу разного народа, и — этот и еще один матрос с Амурской дороги, ныне мой гость — просто

---

[19] Имеются в виду книги: Песни, собранные Киреевским, вып. 1—10. М., 1860—1874; Ончуков Н. Е. 1) Печорские былины. СПб., 1904; 2) Северные сказки. СПб., 1909; Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, т. 1—3. М., 1909—1910; Барсов Е. В. Причитания Северного края, ч. 1—3. М., 1872—1886.

[20] Крюков оставил в тексте донские диалекты.

[21] По 129-й статье привлекались за призыв к бунту. По этой статье Горькому было предъявлено одно из обвинений при публикации романа «Мать» в «Сборниках товарищества „Знание“». Крюков снял опасные места.

[22] Телеграмма послана с Капри 25 сентября (7 октября) 1909 года по адресу: Петербург, Горный институт, кв. 28. Здесь жил профессор Горного института Н. П. Асеев, друг и земляк Ф. Д. Крюкова.

[23] Ответ на письмо Ф. Д. Крюкова с откликом на выход 27-й книги «Сборников товарищества „Знание“» (28 ноября 1909 года) Горький, видимо, послал в конце декабря 1909 года.

[24] Позднее, в 1923 году, в предисловии к немецкому изданию повести «Лето», Горький писал, что материалом для повести послужил присланный ему дневник крестьянина-пропагандиста Игната Тимофеева (Захара Белявина). Это же Горький подтвердил в ответе на анкету «Как мы пишем». См.: Горький М. Полн. собр. соч., Художеств. произв. в 25-ти т., т. 9. М., 1971, с. 569—570. **В настоящем письме сообщаются дополнительные, ранее неизвестные сведения о работе над повестью.**

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

поразили меня непоколебимой своей уверенностью в победе — одолении!

Я, лично, далеко от настроения кричать «С праздником!» — но эти двое так уверены в близости его, что *их уверенность* для меня — праздник! Ибо — воистину! Это ново! Русский же человек — нигилист, как в этом открыто сознаются нигилисты «Вех».[25] Видал я нигилистов, кои притворялись фанатиками, — немало их! Но спокойно верующие, искренно и необоримо убежденные люди — для меня редкость.

У нас есть революционеры «по привычке», «от нечего делать», «со зла», «со скуки», «из любопытства» — мне кажется, что у нас начинают рождаться революционеры органические, люди, для которых жизнь — строительство.[26]

Я не читал книгу Родионова и, должно быть, не буду читать ее.[27] Плохое в людях и жизни — мало интересует меня, я видел и вижу его слишком много. Но мне очень ценно и важно то, хорошее, чему — жить! Мы, Русь, людишки юные, исторические подростки, нам необходимо подчеркивать — да, да — подчеркивать! именно добротное, именно то, что должно и будет жить.

Спасибо вам за письмо ваше, такое товарищеское, искреннее и ясное.

Крепко жму руку

А. Пешков.

Запоздал ответом — не пеняйте! Очень уж завален я работой.

---

[25] «Вехи» — сборник статей (1909) идеологов русского либерализма, который В. И. Ленин назвал «энциклопедией либерального ренегатства» (Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 19, с. 168). В сборнике напечатаны статьи Н. А. Бердяева, М. О. Гершензона, П. Б. Струве и др.

[26] Данное высказывание связано с размышлениями Горького в 1906—1909 годах о том, кого можно называть истинным революционером. В эти годы он видел немало «случайных революционеров», которые отрекались от своих революционных увлечений или же искажали смысл и значение первой русской революции. «Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной „платформы" на другую», — вспоминал Горький в очерке «В. И. Ленин» (Г о р ь к и й М. Полн. собр. соч., Художеств. произв. в 25-ти т., т. 20, с. 12). Ясна была для Горького также неоднородность революционной среды. Особенно резко он почувствовал, как «расколота партия на реформаторов и революционеров», на Пятом (Лондонском) съезде РСДРП (там же, с. 13).

[27] Речь идет о книге черносотенца И. А. Родионова «Наше преступление. (Не бред, а быль). Из современной народной жизни» (1909). Позднее Горький дал резко отрицательный отзыв об этой книге. См.: Г о р ь к и й М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 24, с. 134, 537; т. 29, с. 156—157, 543—544.

В. А. Ружина

МАЯКОВСКИЙ И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Немало работ написано о сложном отношении Маяковского к классическому наследию прошлого, о связях его новаторской поэзии с этим наследием. В пылу полемического задора поэт порою сгоряча отрицал значение Пушкина, Льва Толстого, хотя по существу никогда не занимался «глупым делом» уничтожения классики. Но вот что примечательно: среди имен великих русских писателей прошлого есть имя, которое всегда для Маяковского было свято. И никогда, даже в азарте горячих литературных споров, он не допускал ни малейшей иронии, ни малейшего неуважения в его адрес. Это имя Николая Гавриловича Чернышевского — великого русского революционера-демократа, гениального писателя и философа, создателя романа «Что делать?», который был настольной книгой у русских революционеров многих поколений. Однако до сих пор никто из исследователей творчества двух замечательных русских писателей фактически даже не коснулся темы «Чернышевский и Маяковский».

В очень небольшой личной библиотеке В. В. Маяковского, где почти не было беллетристики, постоянно находился роман «Что делать?»[1] По свидетельству Л. Ю. Брик, «одной из самых близких ему книг была „Что делать?" Чернышевского. Он постоянно возвращался к ней. Жизнь, описанная в ней, перекликалась с нашей. Маяковский как бы советовался с Чернышевским о своих личных делах, находил в нем поддержку. „Что делать?" была последняя книга, которую он читал перед смертью».[2]

---

[1] См.: Ш и л о в Л. Здесь жил Маяковский. М., 1963, с. 8.

[2] Б р и к Л. Ю. Чужие стихи. — В кн.: Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963, с. 354.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Однако, как нам думается, такое чисто «биографическое» объяснение интереса Маяковского к роману «Что делать?» крайне сужает истинный его характер. Об этом свидетельствуют, в частности, другие воспоминания современников и работы некоторых исследователей жизни и творчества поэта.

Хорошо знавший литературную жизнь 20-х годов К. Зелинский так излагает содержание выступления Маяковского 4 марта 1924 года на вечере в Политехническом музее (стенограмма вечера не велась). Критически оценивая вышедшие в свет книги некоторых современных писателей, Маяковский, по словам автора воспоминаний, тут же привел в качестве примера, достойного подражания, роман Чернышевского «Что делать?», подчеркнув его художественное совершенство: «Что важно в художественном произведении? В художественном произведении важен план, овладение темой, четкость композиции, которая определяется мыслью. Вот возьмите „Что делать?“ Чернышевского. Сначала дается интересное построение и удар под занавес».[3]

Должно быть, Маяковский был знаком с романом «Что делать?» еще в 1908—1910 годах, в период своей нелегальной работы в качестве пропагандиста — большевика-подпольщика, когда он перечитал и проштудировал ряд работ Маркса, Энгельса, Ленина. Книга Н. Г. Чернышевского в то время в России была известна почти каждому революционеру, тем более — пропагандисту. По свидетельству Н. К. Крупской, В. И. Ленин знал роман «Что делать?» до мельчайших подробностей.

Одесский литературовед Н. Брыгин в изданной сравнительно недавно книге «Времен стремительная связь» (раздел «Пожар сердца») приводит интересные новые факты, относящиеся к началу 1914 года, которые помогают достаточно полно представить облик М. А. Денисовой, ставшей прототипом Марии — героини поэмы «Облако в штанах». Подробно рассказано (впервые в литературе о Маяковском), в частности, об увлечении М. А. Денисовой романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и особенно образом Рахметова, о ее беседах с Маяковским об этом романе. «Близкие знакомые Денисовых-Филипповых — П. А. Аушева, Т. П. Каянжи, А. И. Партене утверждают, что пылко влюбленный юноша, несмотря на свою скрытность и замкнутость, признался Марии, что он не только читал „Что делать?“ Чернышевского, но и успел дважды побывать на родине Чернышевского в Саратове (до знакомства с М. Денисовой Маяковский лишь один раз был в Саратове — летом 1910 года, — *В. Р.*), знает запрещенную песню о Чернышевском и вообще заинтересован романом, в особенности его главным героем — первым в русской литературе революционером Рахметовым. Владимир читал ей наизусть целые отрывки из романа».[4]

Тут же Н. Брыгин проводит интересные и смелые параллели между «Что делать?» и «Облаком в штанах», несколько даже преувеличивая, на наш взгляд, идейно-эстетическую близость этих произведений русской литературы.

«Созданные по горячим следам жизни, окрыленные самыми передовыми идеями современного им общества — „Что делать?“ и „Облако в штанах“ представляют собою прежде всего революционно-публицистические произведения,[5] яркий гражданский пафос которых органически и естественно переплетается с глубоко личной темой. . . Чернышевскому и Маяковскому в одинаковой мере были присущи и способность подняться над описываемыми событиями, и дар предвидения. И роман „Что делать?“, и поэма „Облако в штанах“ явились программными, пророческими произведениями передовых людей своего времени».[6]

Вопрос о «сущности любви», о рождении новых личных отношений между людьми, рвущими оковы социального и духовного порабощения, — один из центральных в романе «Что делать?». И тут особенно заметны его «точки соприкосновения» с поэзией Маяковского.

Н. Г. Чернышевский был первым в истории русской литературы писателем, у которого неразрывно связанные любовь и революция сливаются в одну тему.

Писатель развенчивает буржуазно-мещанские представления о любви, о браке, построенном на материальном расчете, на купле-продаже, а высокий нравственный идеал революционера воплощает в облике и поступках своих героев.

Истинная любовь — это не слепая страсть, не погоня за мимолетным наслаждением. Это прежде всего чувство, окрыляющее, облагораживающее человека, которое ведет его на большие дела, становится источником творческого вдохновения: «Кто не испытывал, как возбуждает любовь все силы человека, тот не знает настоящей любви».

Ровно шесть десятилетий спустя великий советский поэт с потрясающей силой убеждения и страстью скажет в поэме «Про это» о любви человека нашего времени, живущего высокими идеями века неизбежного торжества коммунизма. И здесь любовь неотрывна от революции, от борьбы за вечные идеалы Истины,

[3] Зелинский К. Легенды о Маяковском. М., 1965, с. 16.

[4] Брыгин Н. Времен стремительная связь. Одесса, 1977, с. 199.

[5] Вряд ли можно согласиться с таким определением жанра *революционно-романтической* поэмы Маяковского. Более точное определение см.: Петросов К. Поэзия Маяковского. Коломна, 1971, с. 124.

[6] Брыгин Н. Указ. соч., с. 201, 202—203.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Добра и Красоты, и здесь она становится зарядом могучего творческого горения:

Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
. . . . . .
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —
Эта тема придет,
велит:
— Красота! —
. . . . . .
Эта тема придет,
вовек не износится,
Только скажет:
— Отныне гляди на меня!
И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знаменя.[7]

Поэт искренне верит в неизбежное торжество новых личных отношений между людьми, соответствующих высокому коммунистическому идеалу.

В записной книжке Маяковского среди заметок, сделанных им в период подготовки к выступлению на диспуте «Упадочное настроение среди молодежи» (1927), есть неожиданная, казалось бы, запись, до сих пор совершенно не привлекавшая внимание исследователей творчества поэта: «Формулирую свою мысль. Чувство любви, на котором растет коммунизм» (т. 13, с. 184). Между тем, эти лаконичные строки — итог раздумий, четкое выражение мысли, ключевой во всей его лирической поэзии 20-х годов — периода творческой зрелости поэта.

Обгоняя время, Маяковский рисовал человека будущего коммунистического века, когда вся планета будет очищена от грязи и скверны буржуазных отношений.

«Маяковский, — вспоминал В. Шкловский, — любил будущее любовью, в которой любовь не служанка: любовь бескорыстна, поэтична, и эту любовь трудно описать. Маяковский видел свою любовь очищенной и воскрешенной. Он видел в ней себя человеком будущего, который в него вошел. Он был человеком настоящего времени, но улучшенным. . . Он учил молодежь, что в любви нельзя получить больше, чем ты сам даешь, любовь — клад будущего; он учил новому уважению к женщине, новому братству, он был превосходным и верным другом».[8]

Раскрывая величие и силу любви человека нового времени, Маяковский неустанно обличал средствами сатиры пошлые обывательские представления о любви, связанные с буржуазным миром ненавистных «жирных».

В 1928 году Маяковский пишет ставшие сейчас широко известными лирические стихотворения «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой», где отвечает на вопрос «Что же такое любовь?»:

Любовь —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —это с простынь,
бессонницей
рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны
считая
своим
соперником.
(т. 9, с. 383)

Любовь одухотворяет человека, побуждает его к кипучей деятельности. Человек, охваченный такой любовью, становится подобным былинному богатырю — ему все по плечу! «Сущность любви» — прежде всего в расцвете творческих сил человека:

нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.
(т. 9, с. 383)

Любовь рождает и могучее слово поэта, которое становится оружием в борьбе за торжество правды и справедливости на земле:

Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.

[7] Маяковский В. В. Полн. собр. соч. в 13-ти т., т. 4. М., 1957, с. 137—138. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

[8] Шкловский В. Маяковский не кончается. — В мире книг, 1973, № 7, с. 19.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.

(т. 9, с. 385)

В «Письме Татьяне Яковлевой», несмотря на сугубо интимный характер стихотворного послания к возлюбленной, любовь вновь изображена в единстве личных и социальных чувств. Без счастья Родины, счастья всего человечества нет и не может быть личного счастья.

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.

(т. 9, с. 386)

Эти «переклички» показывают близость Чернышевского и Маяковского в понимании «сущности любви».

Будучи натурой чрезвычайно эмоциональной, увлекающейся, стремительно рвавшейся к новым, наиболее совершенным отношениям между людьми, Маяковский отдал известную дань распространенным среди некоторой части интеллигенции «ультралевым» теориям об «отмирании семьи» в условиях победы социалистической революции. Однако при этом он почти всегда подчеркивал, что выступает против «старой» семьи, тесно связанной со всем укладом буржуазного мира.

Я не за семью.
В огне
и в дыме синем
выгори
и этого *старья кусок*.

(т. 7, с. 149; курсив мой, — *В. Р.*)

Но уже в поэме «Хорошо!», в рассказе о трудных прожитых годах появляются совсем иные мысли: «. . .только в этой зиме понятной стала мне теплота любовей, дружб и семей» (т. 8, с. 291). Получили отражение в поэме и хорошо известные по письмам и воспоминаниям дружески заботливые отношения Маяковского к своим родным (матери и сестрам). И в стихах второй половины 20-х годов все чаще встречается поэтическая мысль о глубинной объединяющей силе любовного чувства: «. . .прислушиваюсь: любовь загудит — человеческая, простая» (т. 9, с. 385).

Н. Г. Чернышевский и В. В. Маяковский были, пожалуй, единственными большими русскими писателями, попытавшимися — но с разными целями — в своих художественных произведениях нарисовать картины будущего общества, построенного на началах гуманизма, справедливых, социалистических отношений между людьми.

В знаменитых «снах Веры Павловны» Чернышевский рисует светлое и радостное будущее, где нет эксплуатации человека человеком, где торжествует, говоря словами Маяковского, «свободный труд свободно собравшихся людей», где люди не знают войн и насилия, где изобилие духовных и материальных благ. Лишь коллективный, высоко механизированный труд может дать столь высокие результаты. Недаром такое большое внимание писатель уделяет организации трудовых коммун, построенных на началах равенства и братства. И вот — результаты этого труда:

«Здание, громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах, — или нет, теперь ни одного такого! Оно стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья? Кто ж видел такие зерна? Только в оранжерее можно бы теперь вырастить такие колосья с такими зернами. Поля, это наши поля; но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы, — как же они растут на открытом воздухе? . . Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? „Здесь живет много, очень много. . . По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины. . .“ Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро, и еще бы не петь им! Почти все делают за них машины, — и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. . .

— „Неужели это мы? Неужели это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорят по-русски“. — „Да, ты видишь невдалеке реку, — это Ока; эти люди мы, ведь с тобою я, русская!“» [9]

Светлые картины будущего общества, созданные Чернышевским, — не призрачный мираж, не плод фантазии оторванного от жизни мечтателя. Это — вполне достижимая цель, к которой народ придет путем революционной борьбы: «Будущее светло и прекрасно, — обращается автор романа к читателям. — Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести».[10]

Эти вдохновенно-пророческие, проникнутые оптимизмом строки, написанные в 1862 году узником мрачного каземата

[9] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. XI. М., 1939, с. 277—279.

[10] Там же, с. 283—284.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Петропавловской крепости, были продиктованы неиссякаемой любовью к своему народу и верой в его судьбу, в неизбежное торжество добра и справедливости.

Почти во всех крупных произведениях Маяковского, начиная с дооктябрьской антивоенной поэмы «Война и мир» (1916), поэт обращается мыслью к будущему, основанному на социалистических отношениях. В «Войне и мире» поэтически обобщенные картины будущего, воплощавшие гуманистические мечты поэта, носят абстрактно-утопический характер, не исключающий временами и намеренной авторской иронии. После Октября, начиная с первой пьесы «Мистерия-буфф» (1918—1921), советский поэт, пользуясь приемом условно-обобщенного изображения действительности, характерным для его поэтики начала 20-х годов, в ином плане рисует «землю обетованную» — город будущего: «Ворота распахиваются, и открывается город. Но какой город! Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили, а посредине сад звезд и лун, увенчанный сияющей кроной солнца» (т. 2, с. 235).

Пафос неоконченной поэмы «Пятый интернационал» — это, прежде всего, неукротимый порыв поэта в коммунистическое будущее, стремление поскорее увидеть его зримые черты. С глубокой верой в торжество коммунистических идеалов Маяковский рисует землю, преображенную трудом освобожденного человека:

Где раньше
река
водицу гоняла,
лила наводнения,
буйна,
гола, —
теперь
геометрия строгих каналов
мрамору в русла спокойна легла.
. . . . . .
Глаз —
восторженный над феерией рей!
Реальнейшая
подо мною
вот она —
жизнь,
мечтаемая от дней Фурье,
Роберта Оуэна и Сен-Симона.
. . . . . .
Небылицей покажется кое-кому.
А я,
в середине XXI века,
на Земле
среди Федерации Коммун.

(т. 4, с. 133—134)

То же стремление увидеть облик грядущей Коммуны и черты человека коммунистического общества в той или иной степени, в различной форме находит свое воплощение в поэмах «Про это» и «Летающий пролетарий», «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!». Говоря о вчерашнем и сегодняшнем дне советского народа, великий поэт революции всегда видел и его завтрашний день «без нищих и войн», представлял себе «коммуну во весь горизонт» — картины светлого будущего, которое «встает из дня голубого, железом и камнем формясь».

В трудные годы восстановления разрушенного гражданской войной хозяйства Маяковский уже писал стихи о московском метро, о Днепрогэсе, о Волго-Доне, о полете советского человека в космос. . .

С неукротимой силой и страстью Маяковский рвался в коммунистическое будущее, он стремился приблизить его строками своих стихов. Маяковский неколебимо верит в счастье человека в условиях полного торжества «краснофлагого строя». Это для него главное.

Образ «особенного человека» — революционера-максималиста Рахметова из романа «Что делать?», человека железной воли и неколебимой идейной убежденности, умеющего подчинить свои личные интересы и чувства революционному долгу, был весьма близок нравственно-этическому идеалу Маяковского, особенно — советского периода. В его стихах создана галерея героев, на которых равняется читатель, мечтая «сделать бы жизнь с кого». Это несгибаемый рыцарь революции Феликс Дзержинский, это отдавший свою жизнь за Родину дипкурьер Нетте, это сознательно идущие на жертвы и лишения строители Кузнецкстроя. . .

Героический, подвижнический путь русских революционеров, предшественников пролетарского освободительного движения, путь Рахметова, да и самого Чернышевского по-своему отразился в строках поэмы «Владимир Ильич Ленин»:

Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной Володимирки.
. . . . . .
Кто
из вас
решетчатые прутья
не царапал
и не грыз?!
Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».

(т. 6, с. 263)

Наконец, «точки соприкосновения» двух великих писателей можно увидеть и в близости их эстетических взглядов, хотя, разумеется, эта большая тема

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

не может быть сколько-нибудь обстоятельно рассмотрена в данном случае.

Эстетике Чернышевского и эстетике Маяковского посвящено немало специальных работ. Напомним здесь лишь о том, что Чернышевский развенчал идеалистические теории «искусства для искусства» и сформулировал в своих работах принципы материалистической эстетики. Чернышевский боролся за подлинно народное реалистическое искусство, ведущее к революционному преобразованию жизни, правдивое, честное и мужественное, исполненное веры в могучие силы и возможности трудящихся масс. Чернышевский звал художника идти к искусству от жизни с ее революционной борьбой, изображая эту жизнь в свете передовых идеалов своего времени.

Маяковский с первых своих выступлений решительно боролся против буржуазно-модернистских апологетов «чистого искусства». С молодым задором, порою с полемическим «перехлестом» (он был иногда и у Чернышевского), Маяковский утверждал теснейшую связь литературы с действительностью, с борьбой за становление и укрепление социалистического общества.

В послеоктябрьские годы Маяковский постоянно подчеркивает необходимость теснейшей связи искусства с будничным трудом советского народа, строящего коммунизм, настаивает на «полезности» искусства, его непосредственного участия в народной жизни. И в одном из самых последних стихотворений «На что жалуетесь?» (1929), иронически обращаясь к поэту, оторванному от современности, утверждает необходимость для художника связи с реальной действительностью:

Слезайте
с неба,
заоблачный житель!
Снимайте
мантии древности!
Сильнейшими
узами
музу ввяжите,
как лошадь, —
в воз повседневности.

(т. 10, с. 143)

Имена Чернышевского и Маяковского, отдаленные друг от друга и временем, и творческой манерой, и жизненной судьбой, оказываются близки друг другу пафосом революционной борьбы за светлое, радостное будущее своего народа, за торжество самых высоких идеалов человечества.

ЭРНЕСТ КРОСБИ
ДВА ДНЯ С ГРАФОМ ТОЛСТЫМ

(ПУБЛИКАЦИЯ В. А. АЛЕКСАНДРОВА)

Эрнест Кросби (1856—1907) — американский писатель, юрист, политический деятель. Родился в семье священника. Окончил Нью-Йоркский университет (1876) и Колумбийскую юридическую школу (1878). Был адвокатом. В 1887 году занял место в законодательном собрании штата Нью-Йорк, освободившееся после Теодора Рузвельта, будущего президента Соединенных Штатов. В 1889 году Кросби был назначен официальным представителем международного суда в Александрии. Во время пребывания в Египте Кросби познакомился с трактатом Толстого «О жизни», который, по его словам, «прочел в один присест».[1] Эта книга заставила молодого американца коренным образом пересмотреть все свои прежние взгляды на жизнь. В 1894 году он подал в отставку и, перед тем как вернуться на родину, решил посетить русского писателя. Вспоминая об этой встрече с Кросби, Лев Толстой писал: «Я в своем суждении не выделил его из обычных американских посетителей, руководимых в своих посещениях только моей известностью».[2] Но один вопрос, заданный американским гостем, удивил писателя. «Что вы мне посоветуете делать теперь, вернувшись в Америку?»[3] — спросил Кросби. «Помню, мы остановились, — писал Толстой, — и я, хотя и не доверял вполне его искренности, сказал ему, что есть у них в Америке замечательный человек Джордж,[4] и послужить его делу

[1] Кросби Эрнест. Толстой и его жизнепонимание. М., 1911, с. 21.

[2] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 40. М., 1956, с. 339.

[3] Там же.

[4] Генри Джордж (1839—1897) — американский экономист, создатель теории единого земельного налога, целью которого он считал достижение равноправия и всеобщего достатка. Его теорией в свое время увлекался Толстой, потому что она была направлена на уничтожение земельной собственности. Земельный вопрос, по мнению Толстого, мог быть разрешен «признанием равного права каждого человека жить и кормиться на той земле, на которой он родился, того самого, что так неотразимо доказано всем учением Генри Джорджа» (Толстой Л. Н.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

есть дело, на которое стоит направить все свои силы».[5] Кросби последовал совету Толстого и стал, по словам последнего, «энергичным борцом за дело Джорджа».[6] Кросби разъезжал с лекциями по стране, выступал со статьями в периодической печати. Он также активно боролся против американского империализма, был организатором «Лиги социальных реформ» в США. Кросби являлся председателем исполнительного комитета Нью-Йоркского отделения «Общества друзей русской свободы». Революцию 1905 года он принял восторженно. «Весь американский народ и печать сочувствуют революционерам, — писал Кросби Толстому 23 января 1905 года. — Хоть я и не являюсь сторонником насилия, но. . . считаю: если уж приверженцы насилия сражаются между собой, то пусть лучше победит та сторона, чьи идеалы благородней»; [7] и 3 апреля 1906 года: «Мне хочется, чтобы ваша революция поторопилась и закончилась бы скорее, потому что, когда в России все успокоится и она станет более свободной, чем Америка, я приеду повидаться с вами опять и буду с вами вместе превозносить новый порядок вещей».[8]

Кросби считал, что в решении земельного вопроса Россия укажет путь другим странам мира. Он увлекался педагогическими взглядами Толстого и его теорией непротивления злу насилием. Первые статьи Кросби о русском писателе появились в 1896 году. Помимо многих статей, он автор двух книг: «Толстой и его жизнепонимание» (Нью-Йорк, 1903) и «Толстой как школьный учитель» (Чикаго, 1904).

До конца своей жизни Кросби состоял в переписке с Толстым. Его письма к Толстому, весьма важные в истории их духовного общения, были частично опубликованы Э. Г. Бабаевым в «Литературном наследстве» (т. 75, кн. 1).

О своей встрече с Толстым Кросби оставил подробные воспоминания, опубликованные в Англии в 1897 году. Воспоминания Эрнеста Кросби «Два дня с графом Толстым» на русский язык переводятся впервые и приводятся по тексту: Crosby Ernest Howard. Two days with Count Tolstoy. — The Progressive Review, London, 1897, vol. 2, p. 407—422. Перевод дается с незначительными сокращениями.

Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 38, с. 71).

[5] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 40, с. 340.

[6] Там же.

[7] Лит. наследство, т. 75, кн. 1, 1965, с. 400.

[8] Там же, с. 405.

ДВА ДНЯ С ГРАФОМ ТОЛСТЫМ

Весной 1891 г., во время моего пребывания в Египте, в руках у меня оказалась книга Толстого «De la Vie».[9] Она заставила меня проникнуться внутренним благоговением к писателю. Когда год спустя я узнал, что пожертвования пострадавшим от голода в России можно посылать госпоже Толстой в Москву, я ухватился за возможность начать переписку с ней. В начале 1894 г., собираясь вернуться в Америку, я решил посетить Россию, прежде чем покину старый свет, и позволил себе вольность написать графине, напомнив ей о нашей прежней переписке. Я спрашивал, могу ли я надеяться застать ее супруга в Москве в мае месяце. В ответ я получил сердечное приглашение посетить их в имении и сразу же выехал в Россию через Польшу. . .

Когда я смотрел из окна вагона на меняющийся пейзаж, я видел крестьян на полях, занятых работой. Мужчины и женщины, которые встречались на пути, были одеты в темно-красные рубахи и юбки, и я был рад увидеть своими глазами то, что легко можно узнать из романов Тургенева, Гоголя, Достоевского, Толстого — или из путевых заметок Леруа Больё,[10] или Маккензи Уоллеса,[11] — что самодержавие и правящий класс дают неправильное представление о сердце этого великого народа, с его бесконечным терпением и естественной близостью к христианским достоинствам. Если бы они были предоставлены сами себе, они бы не угрожали Европе варварским набегом, а наоборот, мы могли бы видеть в них пример при решении социальных вопросов современности. . .

Я посетил городской дом Толстых, простое деревянное здание на окраине города, застроенной, главным образом, мастерскими и фабриками. Однако сад перед домом делает это место очень привлекательным. Встретила меня графиня. Мы вышли с ней на улицу и уселись на скамейку под деревьями. Она значительно моложе своего супруга, и в ней не трудно было заметить черты Кити из романа «Анна Каренина». Ухаживание Левина напоминало ухаживание самого графа, и, встретив одного из главных героев романа, который произвел на меня

[9] «О жизни» (фр.).

[10] Анатоль Леруа Больё (1842—1912) — французский публицист и историк, член французской Академии, автор многих работ о России, где он неоднократно бывал.

[11] Дональд Маккензи Уоллес (1841—1919) — английский журналист, путешественник, шесть лет жил в России, автор монументального труда «Russia» («Россия»), 1877.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

очень сильное впечатление несколько лет назад на другой стороне земного шара, я чувствовал себя так, как будто Этель Ньюком[12] или Агнес Копперфилд[13] зажили новой жизнью. У графини были другие посетители, и поэтому мой визит был непродолжительным, но на следующий день у меня была часовая беседа с госпожой Толстой. Сам граф с несколькими своими детьми уехал в деревню. Его жена оставалась с двумя младшими мальчиками, которые учились в московской школе. Она очень хорошо владеет английским, и мы беседовали с ней отчасти по-английски и отчасти по-французски. Она рассказала мне о своем отношении к перемене, произошедшей в социальных взглядах графа. Из ее рассказа я заключил, что она согласна в целом с теориями своего супруга, но считает, что он опередил эпоху. Иногда она была вынуждена вмешиваться в его дела, когда речь шла о детях, — и делать это было не трудно, поскольку его теория о непротивлении позволяла поступать так, как она хотела. Когда временами ему становилось тяжело на душе от сознания обширности своих земельных владений, он со слезами на глазах умолял ее избавить его от этой собственности. Она неизменно отвечала отказом, полагая, что владение землей столь же несправедливо для нее, как и для него. Наконец имение было поделено между детьми.[14] Однако одна из дочерей графа, верная сторонница теорий своего отца, отказалась от своей доли.[15] Кроме того, графиня сказала, что при введении таких правил, которые прививают ручной труд, следует обращать внимание на физические данные и образование человека. По ее словам, надеяться на то, чтобы ее дети работали на полях, — значит надеяться сделать из скаковых лошадей вьючных животных.

Она также рассказала мне об одном из своих сыновей,[16] который не хотел служить в армии, но был призван на военную службу по закону. Он хотел отказаться, и отец поддерживал его. У ее сына было слабое здоровье, и тюремное заключение строгого режима, которое грозило ему, почти с полной определенностью означало бы для него гибель. Госпожа Толстая не могла согласиться с такой жертвой, и по ее настоянию молодой человек поступил служить в полк. Однако его силы были уже ослаблены нервным напряжением, так что полковник, человек с добрым сердцем, в скором времени уволил его из армии по состоянию здоровья. Мне казалось, что полное решение спора путем компромисса делает честь всем: отцу, матери, сыну и полковнику. В героизме матерей Спарты было нечто неженственное, а в этой современной драме герои не могли действовать иначе. Речь шла о сыне, который отличился во время голода 1892 г. Он руководил работой по оказанию помощи в Самарской губернии и обеспечивал многие деревни продуктами. Граф, графиня и двое их дочерей выполняли подобную работу в местах, расположенных поближе к дому. Все они испытали величайшие невзгоды, проявляя ежедневную заботу о больных тифом и цингой. Молодой граф еще полностью не оправился после этого тяжелого испытания.

Госпожа Толстая также сказала мне, что именно она перевела трактат своего супруга «De la Vie»[17] на французский язык, а сейчас она переводит книгу Сабатье «St. Francois d'Assise».[18] Император, сказала она, т. е. покойный царь,[19] никогда не видел графа, но она была у него, чтобы получить разрешение издать одну из книг своего супруга, и была поражена его приятной наружностью и добрыми глазами. Великий князь Сергей, брат императора, губернатор Москвы,[20] просил друга пригласить графа Толстого к себе домой, чтобы «случайно» зайти в комнату и посмотреть на писателя, но граф отказался участвовать в этой затее. Его дом в Москве был хорошо известен. Если бы великий князь пожелал встретиться с ним, Толстой с радостью принял бы его в любое время. Графиня сказала, что ее супруг не любит, когда его посетители рассказывают о своих визитах в печати, но так как я с самого начала не собирался делать этого, я охотно подчинился его желанию. Надо сказать, что разрешение писать было дано мне позже.

В полдень на следующий день я отправился в Тулу, чтобы посетить графа в его имении. Путешествие занимает пять часов езды по железной дороге, ведущей в южном направлении в Крым. На станции в Туле, с помощью заранее заученных слов, я попросил извозчика довезти меня до имения графа Толстого. . . Наконец после десятимильного пути мы подъехали к Ясной Поляне, деревне, доставшейся графу Толстому по наследству, свернули на уединенную дорогу направо, пока не подъехали к простому, белому, под зе-

[12] Этель Ньюком — героиня романа У. Теккерея «Ньюкомы» (1853—1855).

[13] Агнес Копперфилд — героиня романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд» (1849—1850).

[14] Раздел имения Толстого произошел в 1891 году.

[15] Речь идет о Марии Львовне Толстой (1871—1906).

[16] Речь идет о Льве Львовиче Толстом (1869—1945).

[17] Трактат Л. Н. Толстого «О жизни» в переводе С. А. Толстой вышел в Париже в 1889 году.

[18] Книга «Жизнь Св. Франциска Ассизского» французского богослова и историка Поля Сабатье (1858—1928) в переводе С. А. Толстой вышла в Москве в издательстве «Посредник» в 1895 году.

[19] Александр III.

[20] Сергей Александрович (1857—1905) — сын Александра II, с 1891 года губернатор Москвы.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

леной крышей дому. Мне показалось, что за домом и садом недостаточно хорошо следят, и, по-моему, это не следствие какой-то особенности данной семьи, но говорит о состоянии русских поместий. Поместное дворянство не смущает ни трава, растущая на дорогах, ни какая-либо иная растительность, пробивающаяся в расщелинах стен. В данном случае, как и во многих других, жизнь в русском поместье напоминает жизнь стародавних плантаторов в южных штатах — смесь аристократических обычаев с демократической грубостью, простоты с полным отсутствием изящества завершенности, что в обоих случаях вызвано, очевидно, условиями рабства. Однако при несправедливом земельном законодательстве, когда тяжкий труд отнюдь не избавляет крестьян от голода, вполне разумно не затрачивать лишних усилий на поддержание внешнего вида усадьбы. Когда же мы узнаем — из недавно опубликованной статьи — о том, что один британский миллионер держит в своем поместье двадцать восемь садовников, возникает уверенность, что русская крайность не является самой неразумной из этих двух.

Мы подъезжали к дому со стороны веранды. На веранде я увидел графа Толстого и молодого человека, оказавшегося сыном, о котором я уже говорил. Они вышли поприветствовать меня. Отца было трудно не узнать. Он очень похож на свои фотографии, которые я видел. Одет Толстой по-крестьянски, в серую блузу из грубой материи, похожей на холст, подпоясан кожаным ремешком, брюки на нем были черные. Однако одежда его отличалась от крестьянской своей опрятностью. Черты лица неправильны и просты, и тем не менее фигура такая сильная и крупная, что его внешность действительно поражает. Он великолепен. Его небольшие голубые глаза очень дружелюбно смотрят из-под густых нависших бровей. Узнав, что мы уже пообедали, Толстой предложил прогуляться, и мы отправились в путь вдвоем. Семь часов вечера, но в этом месте 24 мая [21] день длится до одиннадцати часов вечера. Для человека шестидесяти пяти лет он отличный ходок. В течение двух часов мы бродим по холмам и лесам. Затем заходим в избу крестьянина, граф присаживается и некоторое время беседует с семьей. По-видимому, здесь он желанный гость. Двое ребятишек глядят с высокой изразцовой печи, любимого места для сна в домах, где нет кроватей. Иконы смотрят из угла комнаты, и самовар — бог русской семьи — поставлен на стол. По дороге домой на нас обрушился страшный ураган с дождем и градом. Ураган столь сильной ярости я едва ли наблюдал ранее. Мы укрылись под молодыми деревьями. Граф выражал беспокойство русским восклицанием: «Ай-яй-яй-яй-яй». Через несколько минут мы оба промокли до нитки.

Когда мы пришли домой, нужно было полностью сменить одежду. Я пожалел, что захватил все необходимое с собой: дело в том, что на следующий день одна из дочерей Толстого сказала, что в случае необходимости мне могли бы дать одежду из гардероба графа и я имел бы удобный случай поносить его знаменитый крестьянский костюм. Мне следовало бы не брать одежды, а вместо нее взять фотоаппарат «Кодак». Когда я переоделся, подали чай в большой комнате на втором этаже. Там я застал двух дочерей моего хозяина и гувернантку маленьких детей. Одна из дочерей вместе с крестьянкой сажала картофель в самый день моего приезда.

В имении семья всегда засиживается допоздна, так как почта приходит после одиннадцати вечера, а почта графа — действительно событие! Он получает письма, книги и газеты изо всех частей света. Недавно он получил, например, книги Генри Джорджа и письма от сторонника единого налога в Германии. Мормоны [22] и разные другие примечательные люди в Америке посылали ему свою литературу, и благодаря этой полуночной почте граф знает все, что происходит в мире.

Я был первым человеком, который встал утром. В течение некоторого времени я осматривал комнаты. Дом был обставлен мебелью, отличавшейся большой простотой. За исключением фортепьяно и одного или двух семейных портретов, в нем не было видно ни украшения, ни лишней мебели. На полах не было ни ковров, ни ковриков. Вся роскошь была убрана. Везде я замечал желание хозяина дома не иметь больше удобств, чем его соседи по деревне. Спустя некоторое время появилась гувернантка и младшие члены семьи: девочка девяти лет и мальчик — шести,[23] очаровательные дети, свободно говорившие по-английски; мы позавтракали вместе с ними. Я не могу удержаться, чтобы не сказать нескольких слов о мальчике по имени Ваня, который умер год спустя. Он был одним из самых славных парнишек, которых я когда-либо встречал. И хотя я был знаком с ним только один день, когда я услышал о его смерти, то почувствовал, словно что-то

[21] В «Летописи жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891—1910» Н. Н. Гусева (М., 1960, с. 132) сообщается, что Э. Кросби посетил Ясную Поляну около 12 мая 1894 года.

[22] Религиозная секта мормонов. Основана в 1830 году в США. Мормоны проповедуют мирный труд, воздержание в жизни. До 1890 года признавали многоженство. Верят в множество богов, колдовство, злых и добрых духов. Учение мормонов сочетает в себе разные элементы христианства, иудейства, ислама, буддизма, древнегреческой веры и др.

[23] Речь идет о младших детях Толстого — Александре Львовне (1884—1979) и Иване Львовиче (1888—1895).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ушло из моей жизни. Мы сразу подружились, и он провел большую часть дня в сборе полевых цветов, которые или дарил мне, или сам ставил в стакан у меня в спальне. Он был переполнен жизнью и предавался самому невинному озорству. Когда я читал в одиночестве в большом зале, — одновременно служившем столовой и гостиной, — он вошел в поисках чулок для своей куклы. Зная, что я наблюдаю за ним краем глаза, он начал искать их в самых неподходящих местах — в отверстии гитары, в чайнике для заварки и т. д., от души наслаждаясь шуткой. Наконец, когда я собирался уезжать, он пришел поцеловать меня на прощание и начал сбивчиво просить передать моему сыну, что он должен сменить свое имя на Джонни (Ваня) и приехать поиграть с ним. Конечно, широкое распространение «толстовских» идей никоим образом не отразилось на этой любящей молодой жизни. Совершив с детьми и их гувернанткой прогулку, во время которой к нам присоединился молодой граф, мы вернулись домой и узнали, что их отец заболел после вчерашней простуды.

После второго завтрака граф Толстой вышел из своего кабинета, держа в руках сочинения китайского философа Лао-Цзы [24] на английском, французском и немецком языках, и попросил меня прочитать ему отрывки из английского перевода. Он хорошо говорил по-английски, и мы всегда беседовали на этом языке. Он взялся переводить китайского автора на русский язык [25] и был в восторге от его взглядов. Действительно, у Лао-Цзы и у его английского переводчика есть немало христианского духа. Генерал Александер [26] в свободном пересказе одного из отрывков Лао-Цзы говорит нам, что он фактически предвосхищает слова Христа: «Он, который унизил себя, должен быть возвышен» (гл. 42).[27]

Граф Толстой еще не совсем оправился от вчерашней простуды, чтобы выходить на улицу. Поэтому я пошел с одной из его дочерей. Мы побывали в двух крестьянских избах и нашли их довольно уютными. Благодаря заботе и энергии семьи Толстого, деревня была лучше, чем большинство русских деревень. Мы прошли мимо церкви, в которой граф безуспешно пытался возвратиться к вере своей юности. Я спросил мою спутницу, не охладевал ли ее отец к работе. «Нет», — отвечала она. Она также сказала, что он сейчас готовит новую книгу о «патриотизме» и что после появления каждой книги они опасаются, не сошлют ли их в Сибирь. Она сообщила, что царь читал его последнюю книгу «Царство божие внутри вас», которая, без сомнения, довольно резка по отношению к правителям, и что царь запретил произносить имя графа при дворе. Когда царю посоветовали арестовать графа, говорят, он сказал: «Его считают апостолом, я не сделаю из него мученика». Молодая графиня рассказала мне еще о их знакомой помещице, которая охотно посылала продукты страдающим от голода, но в то же время писала своему управляющему, требуя больше высылать доходов с имения; таким образом, желая покончить с голодом, она способствовала его появлению. Моя спутница сказала, что они были глубоко опечалены поступком друга их семьи, который отрекся от церкви из-за своей совестливости и был проклят графом Толстым. Сейчас он находится в ссылке, а его дети были отняты от него и его жены.[28] Таковы последствия сознательных действий в России. Мы заговорили о романах ее отца. Я сказал, что предпочитаю их всем другим. Она была не согласна со мной, когда я поставил его выше Диккенса, потому что Диккенса очень любят в семье Толстого. Однако она согласилась с тем, что романы Толстого жизненно правдивы.

Мы обедали в пять часов. Граф и две его дочери — вегетарианцы. Молодые графини пили молоко и ели яйца, но их отец не ест пищи животного происхождения, а также не притрагивается ни к табаку, ни к кофе, ни к чаю, ни к сахару, ни к вину. Его пища приготавливается на растительном масле вместо говяжьего или свиного сала. Пьет он миндальное молоко, а вместо чая — отвар из изюма. Я сказал ему, что собираюсь стать вегетарианцем. «Можете быть уверены, что ваша жена будет против этого», — ответил он.

После обеда он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы совершить прогулку, и мы пошли по дороге. Двое детей и их гувернантка сопровождали нас некоторое время. Эта дама заслуживает, чтобы сказать о ней несколько слов. Будучи прямой наследницей m-lle Bourienne из «Войны и мира» (ибо этот дом принадлежал отцу князя Андрея, а святая княгиня

---

[24] Лао-Цзы (Лао Тзе или Тсе) — древнекитайский философ (VI век до н. э.).

[25] Высказывания Лао-Цзы, собранные Л. Н. Толстым, были изданы в 1910 году издательством «Посредник» под названием «Изречения китайского мудреца Лао Тзе, избранные Л. Н. Толстым». Тексту предшествовала вступительная статья «О сущности учения Лао-Тзе», написанная Толстым.

[26] Дж. Г. Александер (1821—1897) — английский морской офицер. Участник Крымской кампании. Занимался литературной деятельностью. Автор пьесы «Dimetri: a dramatic sketch from Russian history» (London, 1876) («Димитрий, драматический очерк из русской истории», Лондон, 1876). В конце жизни увлекался китайской философией.

[27] Alexander G. G. Lao-Tsze, the Great Thinker. London, 1895, p. 87.

[28] Речь идет о князе Дмитрии Александровиче Хилкове (1858—1914).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Марья напоминает мать Толстого, которая умерла, когда он был ребенком), она все же отличалась совсем иным складом характера. Она была прекрасной швейцаркой строгих кальвинистских убеждений. Положение в семье Толстого постоянно мучило ее праведную душу. Она допускала, что граф святой, но она не могла примирить действительность с его верой. «Он должен стать более аскетичным христианином, чем он полагает», — пояснила она мне. О вегетарианстве она сказала, что бог разрешил людям есть мясо и все. Ни граф, ни кто-либо другой из нас не отважился оспаривать это заявление. Каждое воскресенье она занималась обучением детей и делала все возможное, чтобы оградить их от дурных влияний. По дороге граф снова почувствовал себя плохо, и хотя его знобило, он смог просидеть с нами до моего отъезда (между десятью и одиннадцатью часами). Он выразил сожаление, что заболел, и когда мы были на верху лестницы, он тепло пожал мне руку. «Возможно, мы никогда вновь не увидимся», — сказал он, и я почувствовал, что покидаю старого друга.

Я совсем не изменил слов графа Толстого. Невозможно дать точное представление о беседе, которая продолжалась несколько часов. Когда я беру слова в кавычки, их точность приблизительна, но в письмах, написанных в то время, я освещал более полно то, что он говорил. Я использовал их при написании этой статьи. Во время нашей первой прогулки я заговорил о непротивлении.

«Меня часто спрашивают, — сказал он, — что бы я сделал, если бы увидел человека, убивающего ребенка. Между прочим, я прожил шестьдесят пять лет и не видел такой картины, но каждый день я вижу бедность, вызванную узаконенным насилием».

Я сказал ему, что его доводы в последней книге «Царство божие внутри вас», направленные против правительства, опирающегося на силу, не привлекут американца так, как русского, поскольку американцы считают свою землю свободной страной. Он отвечал, что это результат невежества, потому что люди не видят, как правительство подавляет их, сохраняя несправедливое положение в обществе. Я выразил свое отвращение к многочисленным линчеваниям, которые опозорили нас перед всем миром. Он сказал, что предпочитает линч узаконенной смертной казни.

Я спросил его, нравится ли ему определение церкви как «союза любящих во имя страдающих». «Вовсе нет, — ответил он. — Оно не включает бога, а Христос говорил, что первая заповедь — любить бога».

Читая некоторые его произведения, я пришел к мысли, что он ставил любовь к ближнему выше любви к богу. Я поделился с ним своими соображениями, но он отверг их.

«Вы не смогли approfondir votre sentiment,[29] — сказал он, употребив французское выражение, потому что не нашел английского эквивалента. — Если вы не любите бога, у вас нет причины любить вашего ближнего. Ну, почему вы должны любить вашего ближнего?»

«Но, — возражал я, — не говорят ли нам, что „тот, кто не возлюбил брата своего, которого он увидел, как может возлюбить бога, которого не видел?“»

Но граф, казалось, действительно не думал, что эта цитата имеет какое-либо отношение к делу.

Он высоко отзывался о Мэтью Арнолде[30] и о его определении бога как «силы внутри нас, которая призывает к справедливости». Я спросил его, не считает ли он Ветхий завет прекрасным с чисто литературной точки зрения. Граф согласился и сказал, что помнит, как плакал над историей Иосифа, когда впервые читал ее. Я напомнил ему о его педагогических экспериментах, когда он заставлял крестьянских мальчиков писать рассказы, и, особенно, о рассказе одного из мальчиков, который я читал. В своем рассказе этот ученик описывает возвращение крестьянина в свою семью после службы в армии, и как тот, играя, делал вид, будто бьет свою жену, а его маленькие дети радовались фарсу и возвращению своего отца. Толстой выразил удивление моей памятью на такие подробности и сказал мне, что мальчик, который написал этот рассказ (теперь взрослый мужчина), и еще один крестьянин договорились встретиться с ним на следующий день, чтобы поговорить о бессмертии души и божественном происхождении Христа. Я спросил, что он им скажет. «Я скажу им, что истинная жизнь заключается в бессмертии, — ответил граф, — и что она не может быть ничем иным». О божественном происхождении Христа он говорил, что великая ошибка представлять Иисуса как абсолютное божество, ибо, думая так, мы не будем следовать его примеру. Толстой сказал о недавно встретившемся ему утверждении, что все мы должны стать «Христами». «Это новый вид лицемерия, — заметил он, — и столь же отвратительное, как и старое».

Я спросил его, что он думает об Уолте Уитмене.[31] Он признался, что не может понять его. Пророк из Кемдена, действительно, должен быть загадкой для иностранцев. Однако я был уверен в существовании скрытого сходства между Уитменом и Толстым, потому что уверенность в абсолютном единстве человеческого рода и во всемогущей силе любви, обеспечивающей это единство, является основным мотивом всего, что написано каждым из них. В скором времени мое мнение подтвердилось: я услышал, что граф Тол-

[29] Углубить свое чувство (фр.).

[30] Мэтью Арнолд (1822—1888) — английский поэт и критик.

[31] Уолт Уитмен (1819—1892) — американский поэт.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

стой с восторгом читает статьи Эдварда Карпентера,[32] а Карпентер — это Уитмен в прозе.

У меня был экземпляр «Жизни» Лоуренса Олифанта,[33] и, прочитав эту книгу, я дал ее графу. Он полистал страницы и сразу наткнулся на какой-то спиритуалистический отрывок, который позабавил его. Во многих вещах Олифант согласен с Толстым, но в вопросе о чудесах и сверхъестественных явлениях они очень далеки. Толстой категорически против всего, что в этом роде. Однако, учитывая современное развитие гипнотизма, автоматического письма и других подобных вещей, он, очевидно, поступает неблагоразумно. С другой стороны, Олифант заблудился в лабиринте жутких «влияний» и «направлений». Я сомневаюсь, смог ли дочитать граф его биографию до конца. Тем не менее из этого не следует, что Толстой материалист. Он больше всех верит в духовную жизнь. По его словам, он не видит спасения в немецком социализме из-за его стремления к материализму. Однако о Генри Джордже граф отзывался очень высоко.

«Мне нравятся его книги за сильное христианское чувство, которое пронизывает их», — сказал он. Система единого налога представляется ему единственной практической схемой реформы, стоящей теперь перед народом. Однако Толстой был не в состоянии понять, почему г-н Джордж хотел выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города Нью-Йорка в 1886 г. Он очень хорошо знает, что происходит в Нью-Йорке и высоко отзывался о работе проф. Феликса Адлера.[34]

Вечером, в день моего отъезда, когда мы сидели в зале, дочери графа шили одежды крестьянам, а сам граф непрерывно двигался по комнате. Вдруг он вмешался в беседу и, обратившись ко мне, спросил: «Вы знаете, что моя дочь, — при этом он посмотрел на одну из них, — боится смерти? А вы? Говорите правду, ну! А вы?» Я сказал, что физически боюсь, а морально или духовно нет, и что я боюсь меньше, чем прежде, и надеюсь избавиться от страха смерти вообще. «О!» — воскликнул он, имея в виду физический страх. — Это похоже на то, как будто вы собираетесь пересечь Атлантический океан и должны подвергнуться морской болезни». Я ответил, что никогда не видел, как человек умирает. «А я часто, — сказала одна из молодых графинь, — и смерть кажется мне всегда чем-то величественным и прекрасным». Она сказала тихо, и все же эти слова произвели большое впечатление. Граф Толстой добавил, что считает хорошим обычаем всегда помнить о своей смерти.

Его мнения по женскому вопросу вполне определенны. Он не полностью сочувствует целям современной «новой женщины», но верит в ее свободу.

«Обязанности женщины заключаются в семейном кругу, — сказал он мне, — но мужчина с незапамятных времен поступает неправильно, ограничивая ее деятельность. Освободите ее, и она добровольно, как равная, будет выполнять ту же самую работу, которую она привыкла делать как рабыня и поденщица».

Я сказал ему, что около двух или трех лет тому назад я бросил курить, отчасти под влиянием его статьи на эту тему,[35] но что до сих пор мне часто снится по ночам, будто бы я с удовольствием курю сигару и чувствую отвращение к себе за то, что нарушил свое решение. «Странно, — сказал он. — Так же часто мне снится, что я ухожу на войну, и я не знаю, как это объяснить».

Я спросил графа Толстого, читал ли он отзывы, недавно опубликованные в журнале «New Review» на его книгу «Царство божие внутри вас» и направленные, главным образом, против его учения о непротивлении.[36] «Да, — отвечал он, — но только один из них имеет какую-то ценность: обвиняющий меня в непоследовательности за то, что я сам держусь наступательного тона, и в этом автор был совершенно прав».

Говоря о друге, который был болен, граф сослался на необходимость использования таких случаев для нашего духовного усовершенствования. Затем, повернувшись ко мне, когда мы шли по лесной тропинке, он сказал, улыбаясь: «Вы молоды, богаты и здоровы. У вас много соблазнов». Я спросил его, не думает ли он, что великая перемена происходит в общественном мнении в пользу социаль-

---

[32] Эдвард Карпентер (1844—1929) — английский писатель. Находился под влиянием поэзии Уитмена, посетил его в 1884 году.

[33] Лоуренс Олифант (1829—1888) — английский путешественник и писатель. Увлекался мистикой. Долгое время — член социально-религиозной общины «Братство Новой жизни» (США). В воспоминаниях Э. Кросби речь идет о книге М. Олифанта «Воспоминания о жизни Лоуренса и Алисы Олифант» (Лондон, 1891).

[34] Феликс Адлер (1851—1933) — американский ученый, занимался проблемами этики. В 1876 году образовал в Нью-Йорке «Общество этической культуры».

[35] Речь идет о статье Толстого «Для чего люди одурманиваются», которая появилась в английском журнале «The Review of Reviews» (London, 1891, vol. 3).

[36] Отрывки из трактата Толстого «Царство божие внутри вас» были опубликованы в лондонском журнале «The New Review» (1894, vol. 10, January, p. 55—70) под названием «Учение Христа, в том виде, как оно претворяется в жизнь его церквами». Отзывы об этом трактате английских священников В. Рипона, В. Синклера, Д. Рикэби и Дж. Роджерса появились в следующем, февральском, номере журнала.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ной справедливости. Толстой согласился со мной, но сказал, что в его положении, когда он получает все новости подобного рода в том виде, в каком он их получает, он, вероятно, будет введен в заблуждение в отношении силы этого движения. Он сказал мне, что должен сделать многое, но у него осталось мало времени.

Я только что совершил путешествие на лошади по святой земле и сказал, что было интересно следовать по следам Христа в Вифании[37] и у Галилейского моря.[38] Толстой ответил, что не может понять этого чувства. Почему люди хотят видеть места, где были те, кем они восхищаются? В этом отношении я без сомнения напоминал его горячо любимого «мужика» больше, чем он сам, ибо жажда к странствиям в крови русского крестьянина. Несомненно, неодобрительное отношение к ним графа Толстого является естественной реакцией против обычая, который на его глазах беспричинно утрируется каждый день.

Граф указал мне на пашущего крестьянина, лошадь которого шла с бороной. «Именно эту работу я предпочитаю всем другим», — сказал он. Я спросил его, не трудно ли справляться с плугом и бороной одновременно. Он ответил, что нет. Лошади привыкли к ним, и обычно сами проявляют осторожность.

Толстой рассказал мне о друге, типичном толстовце, богатом человеке с высоким положением, который разделял все взгляды графа. Его отец, узнав, что сын [39] собирается раздать всю свою собственность, перед смертью завещал опеку над ним, оставив ему только доход. Теперь сын вместе с женой живет очень бедно в своей усадьбе, обедая со своими рабочими и жертвуя своим состоянием на издание полезных книг для крестьян, чтобы вытеснить плохие книги, которыми только и снабжали их. Я спросил его, подразумевает ли он под плохими книгами фальшиво-благолепные жития святых и книги подобного рода. Он ответил отрицательно и сказал, что имел в виду безнравственные книги; в то время как святой синод запрещал все издания, которые в каком-либо виде содержали критику церкви и духовенства, едва ли нашлась бы такая безнравственная книга, которая была им запрещена. Подобная цензура печати является примером тирании, от которой в России страдают все. В гостиницах даже «Times» в читальных залах появляется с целыми абзацами, замаранными типографской краской. «Запечатанными», как образно говорят русские. Нет ничего мучительнее этого. Если данная статья попадет в Россию, она будет «запечатана» или, что еще более вероятно, вырвана. И если по сей день граф Толстой получает письма, газеты и книги нетронутыми, я думаю, это происходит благодаря его высокому званию, от привилегии которого ему никак не удается полностью избавиться.

Советы, которые Толстой дал мне, были, во-первых, познакомиться с Генри Джорджем и, во-вторых, говорить точно то, что я думаю. «В этом случае, — сказал он, — вы дадите оружие против самого себя, ибо люди несомненно будут критиковать любую непоследовательность, и тогда вы будете вынуждены изменить свою жизнь». Он также сказал, что ему очень нравится английская пословица: «Было бы желание, а возможность найдется».

Граф Толстой произвел на меня впечатление очень серьезного человека, несмотря на его добрый характер. Это последнее свойство проявлялось всегда очень отчетливо. Например, за обедом, узнав, что дети видели фотографии моей семьи, он попросил принести их и показать ему. Он также обладал весьма тонкой наблюдательностью, о чем можно судить по многим штрихам наподобие тенирских,[40] которые находишь в его романах. Он подметил, например, что я ношу маленькие женские часы, которые я получил от лондонского часовщика взамен моих, отданных ему в починку. Но за всем этим интересом и внешней подвижностью, кажется, скрывалось сознание серьезности жизни, которая тяготит его.

Гувернантка рассказала мне небольшую историю, показательную в смысле того, как воспитывал граф своих детей. Всего лишь за день или за два до моего приезда крестьянский мальчик, игравший около дома, ударил его младшую дочь палкой по руке, да так, что появился синяк. Ребенок плача побежал к отцу. Он нежно успокоил ее и сказал, что сейчас у нее есть хорошая возможность отплатить добром за зло. «Пойди в кладовую, — сказал он, — возьми малинового варенья и отнеси его мальчику». И она действительно сделала так, как посоветовал ей отец.

Я уезжал из Москвы поездом в очень жаркий день и, чтобы подышать свежим воздухом, иногда высовывался из окна вагона. Тридцать пять часов спустя я возвращался по той же железной дороге и почти замерз в своем легоньком пальто. Перемена погоды напомнила мне о доме, но не о большой продолжительности дня. В этот самый день в С. Петербургских газетах было опубликовано официальное объявление, в котором говорилось, что до июля месяца уличные фонари не будут зажигаться по ночам, и действительно солнце выполняло эту практическую за-

[37] Вифания — упоминаемое в библейских сказаниях селение, расположенное в Палестине. Современное название — Аль-Азариех.

[38] Галилейское море — библейское название Тивериадского озера на пути реки Иордан, находится в Израиле.

[39] О ком идет речь, установить не удалось.

[40] Давид Тенирс (1610—1690) — фламандский художник.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

дачу. Когда я лежал, поеживаясь, и подводил итоги своему визиту, я был доволен. Некоторые мои друзья предсказывали, что мое восхищение графом исчезнет, как только я увижу, как он живет согласно своему учению. Но результат был совершенно иным. Я не только был принят всей его семьей с самым сердечным гостеприимством, но я встретил одного из самых искренних, да и одного из самых здравомыслящих людей на земле. Достаточно побыть в его обществе в течение пяти минут, и уже нельзя сомневаться ни в одном из этих достоинств. Мнение о Толстом любого непредубежденного человека, свободного от предрассудков, знакомого с ним, должно соответствовать словам Линкольна, который, как говорят, увидев Уитмена, сказал: «Вот идет человек».

Это знакомство продолжало поддерживаться многолетней дружеской перепиской.

Толстой указал Кросби путь жизни; в свою очередь, общение с Кросби способствовало появлению одного из самых спорных произведений писателя «О Шекспире и о драме». Упоминание о работе над этим трактатом находим в письме Толстого В. Г. Черткову, датированном октябрем 1903 года: «Занят теперь очень неожиданной работой, — писал Толстой, — которая вот уже скоро месяц отвлекла меня от моих более нужных работ. Это начатое мною предисловие к статье Crosby об отношении Шекспира к рабочему народу, которое переросло статью Crosby и стоило мне большого труда».[41] Действительно, окончив статью «Шекспир и рабочий класс», Э. Кросби обратился к Толстому с просьбой написать предисловие к ней, так как собирался опубликовать ее отдельным изданием и надеялся, что вступительная статья Толстого поможет ее более широкому распространению. Работа Толстого над предисловием вылилась в самостоятельное произведение о Шекспире. «Мне нужно было высказать то, что сидело во мне полстолетия»,[42] — писал Толстой В. В. Стасову 9 октября 1903 года.

О причастности Кросби к созданию этого произведения Толстой открыто говорит в своем трактате: «Статья г-на Э. Кросби об отношении Шекспира к рабочему народу, — пишет Толстой, — навела меня на мысль высказать и мое, давно установившееся, мнение о произведениях Шекспира, совершенно противоположное тому, которое установилось о нем во всем европейском мире».[43]

На английском языке этот трактат Толстого в переводе В. Г. Черткова появился в 1906 году в лондонском журнале «The Fortnightly Review». В том же 1906 году он вышел отдельным изданием: «Толстой о Шекспире; критическое эссе о Шекспире; с последующим разбором отношения Шекспира к рабочему классу, написанном Эрнестом Кросби и письмом от Дж. Бернарда Шоу» (Нью-Йорк и Лондон). Желание Кросби быть опубликованным рядом с великим Толстым сбылось. Он получил эту книгу незадолго до своей смерти в январе 1907 года.

[41] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 88, с. 309.

[42] Там же, т. 74, с. 202.

[43] Там же, т. 35, с. 216.

В. С. Приходько

Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК О СТАРООБРЯДЦАХ И ПРОТОПОПЕ АВВАКУМЕ

Ранний интерес Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка к проблеме раскола и движению старообрядчества, к личности Аввакума определился значением этого явления в жизни России и, в частности, Урала.

Старообрядчество в истории России было одним из крупнейших религиозно-общественных движений, в котором отразилась стихийная борьба против самодержавно-крепостнического строя и господствующей православной церкви. Социальный и политический протест в «религиозной оболочке» был характерен не только для России, но и для Европы, что неоднократно подчеркивал В. И. Ленин: «. . .выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам, на известной стадии их развития, а не одной России».[1]

Русское старообрядчество в течение 300-летней эволюции пережило немало фаз значительного подъема и заметного спада движения и, несмотря на правительственные гонения, сыграло большую роль в духовном и общественном развитии русского народа. Оно явилось религиозным выражением классовых противоре-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 228.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

чий, характерных для России середины XVII века.

Этот век в русскую историю вошел как «бунташный», и такой же была культура этого столетия. «Сильнейший удар по единообразию культуры нанесла в 50-х годах церковная реформа патриарха Никона. Ее следствием, — замечает А. М. Панченко, — был раскол православной Руси: как полагают историки, от четверти до трети населения сохранило верность древней традиции, верность старообрядчеству (старообрядцами стали называть тех, кто не принял реформ Никона и придерживался в религиозной и бытовой практике дореформенных, «древлих» правил и обычаев). Старообрядчество — самое мощное религиозное движение за всю русскую историю».[2]

Д. Н. Мамин-Сибиряк никогда не изучал прошлое ради прошлого. Писателя не интересовали отжившие, «музейные» явления. Но «раскол, рассматриваемый как известное историческое явление, — пишет Д. Н. Мамин, — совсем не то, чем представляется этот же самый раскол в жизни, когда перед вами проходят тысячи живых людей, характерные сцены и еще более характерные лица: в тиши ученых кабинетов, среди мертвых книг и покрытых пылью рукописей вы поневоле смотрите на раскол, как на известную математическую выкладку или строго логический результат из известных исторических прецедентов, так что за этими прецедентами и сухими книжными известиями вы не видите живых людей и живых лиц, вас не волнует их присутствие. . .» [3]

Знание писателем старообрядческой среды было значительно шире, чем у многих его современников. Он хорошо знал раскольников и их начетчиков, часто общался с ними. Б. Д. Удинцев, племянник писателя, вспоминал, что «Д. Н. Мамин всегда интересовался памятниками старообрядческой письменности, у него было довольно большое собрание рукописей и икон».[4] Многое он узнал от жены, М. Я. Алексеевой, вышедшей из старообрядческой среды. Но главным источником ранних рассказов и повестей Д. Н. Мамина были его личные наблюдения, а также сообщения его отца-священника Наркиса Матвеевича Мамина о наиболее значительных фактах из жизни старообрядцев Висимо-Шайтанского завода, где родился и вырос будущий писатель.

Его интерес к расколу — это интерес к народной жизни Урала. Еще будучи студентом, он запрашивает у отца сведения, необходимые ему для реализации творческих замыслов: «Припомнить Вы можете вот что: через Ваши руки проходили и проходят интереснейшие факты из раскольничьей жизни — жизнь в скитах, сводные браки, взгляды на семейную и общественную жизнь со стороны раскольников, их предания, суеверия, приметы, заговоры, стихи, правила и т. п. Все это мне крайне интересно знать, и Вы бы, папа, хорошо сделали так: подобрали бы к стороне все документы, которые перешли к Вам из раскольничьих рук, и занесли на бумагу некоторые факты, которые Вам известны. Я говорю о фактах и цифрах, которые обрисовали бы как прошлое, так и настоящее раскольников на Урале. Для этой же цели Вы, папа, могли бы достать много интересных выдержек из заводского архива. . .» [5]

Выполняя эту просьбу, Мамин сохраняет те необходимые, на его взгляд, материалы, выдержки из архивов, которые могли бы понадобиться сыну. В Государственном объединенном музее писателей Урала в Свердловске в фондах Д. Н. Мамина сохранились подлинные письма и документы Наркиса Мамина: «Речь Н. М. Мамина о начале войны с Турцией» (4 листа, рукопись), «Речь о помощи страждущим славянам в Турции» (1 лист, рукопись), «Записки Н. М. Мамина о рекомендуемой педагогической литературе» (2 листа, автограф) и др. Среди них наше внимание привлекли «Сведения Н. М. Мамина от духовенства Висимо-Шайтанского прихода» (2 листа, рукопись), «Копия-сведения Н. М. Мамина о деятельности Висимо-Шайтанской церкви» (4 листа, рукопись), «Статистическая таблица в приходе Висимо-Шайтанского завода Н. Мамина» (8 листов, автограф).[6]

Во всех исторических работах, посвященных началу горнозаводского дела на Урале, отмечалось, что значительную долю первых рабочих составляли раскольники-старообрядцы. В Висимо-Шайтанском заводе население также состояло в основном из старообрядцев, и, по замечанию Б. Д. Удинцева, «Тагил и Висим — это „гнезда“ сильно развитого здесь когда-то старообрядчества. Места действия романов „Горное гнездо“ (Н. Тагил) и „Три конца“ (Висим)».[7] Отец писателя сохранил черновик «сведения» для Верхотурского земского собрания от священнослужителей Висимо-Шайтанской церкви, составленного в сентябре

---

[2] Панченко А. М. Литература второй половины XVII века. — В кн.: История русской литературы X—XVII веков. М., 1980, с. 372—373.

[3] Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 12-ти т., т. 12. [Свердловск], 1951, с. 177.

[4] ИРЛИ, ф. 494, письмо Б. Д. Удинцева В. И. Малышеву от 31 января 1956 года.

[5] Цит. по: Боголюбов Е. А. Творчество Д. Н. Мамина-Сибиряка, вып. I. Молотов, 1944, с. 16.

[6] Государственный объединенный музей писателей Урала (далее — ГОМПУ), ф. I, оп. 1, ед. хр. 9, 11, 14; 12, 23, 25.

[7] ИРЛИ, ф. 494, письмо Б. Д. Удинцева В. И. Малышеву от 24 февраля 1959 года.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

1840 года. В нем сообщалось, что «в 1839 году православных в приходе значилось 472 души обоего пола и раскольников 1210 душ».[8] В «Ведомости о числе раскольников разных лет в Нижнетагильских заводах, находящихся за январь месяц 1849 года» приводятся данные о числе раскольников в том же Висимо-Шайтанске: мужчин — 235, женщин — 354.[9] И в «Копии-сведении о деятельности Висимо-Шайтанской церкви» в 1875 году вновь приводятся данные о числе раскольников: из них мастеровых было 105 мужчин и 164 женщины, а государственных крестьян всего лишь 18 мужчин и 23 женщины.[10]

Молодой священник Наркис Мамин, впоследствии глубоко и всесторонне изучивший жизнь и быт старообрядческой среды, в начале знакомства с ними имел определенные, сложившиеся взгляды и убеждения, во многом совпадавшие с официальной правительственной точкой зрения по этому вопросу. Распространенное мнение о косности и невежестве «темного царства» как будто подтверждается и Н. Маминым, когда он пишет о вредных суевериях и предрассудках, о безнравственности сектаторских толков, о сводных браках и т. д., считая, что все это имеет место в старообрядческих семьях: «Надобно сказать, что суеверия больше распространены между раскольниками, чем между православными. Для проверки своего мнения я спросил в своей школе сначала двух девочек, одну из семейства, придерживающегося старообрядчества, есть ли у них в семье урочливые, т. е. такие дети, которые часто схватывают уроки (подвержены сглазу, — *В. П.*), и получил ответ: у нас Степан часто урочится, т. е. получает болезнь от глаза. После того спрашиваю рядом сидящую девочку из православных: у них кого чаще схватывают уроки? — и получаю ответ, что у них в семействе никто не урочится. Затем также спросил пару мальчиков, оба мальчика сказали, что у них есть в семье урочливые».[11]

Но, пытаясь быть объективным, далее Н. Мамин пишет и о невежестве и суевериях православного населения, осуждает приверженность к вину и дорогому платью. Хорошо зная по роду своей деятельности старообрядческое учение, он считал, что «по прямому смыслу мнений и верований старообрядцев между ними нет мнений, прямо ведущих к безнравственности. Но сводные браки и принятие старообрядцами в свои дома личностей сомнительной нравственности, известных под именем „старцев или иноков", являвшихся в общество старообрядцев из лесов, более или менее близких к нашему заводу, — служат не к утверждению чистоты нравов между старообрядцами, а часто ведут к ослаблению добрых семейных и общественных обязанностей. Например, в здешнем заводе две старообрядки-девицы проживали несколько времени в лесу у личностей, именуемых старцами, и чтобы не выдавать таiно посещающих кельи старческие в лесу за признание в них девиц, они подрезали себе волосы, как носят мужчины, и носили мужское платье».[12]

Н. М. Мамин как личность резко отличался от рядовых служителей культа того времени. Развитой и образованный человек, он иначе понимал и нравственные требования, чем большинство его коллег. Они сводились к вере в призвание всех грамотных людей просвещать, учить народ, независимо от его вероисповедания. С восторгом он писал: «В настоящее время блестящая надежда на возрождение народной нравственности возлагается на благородное влияние земских учреждений и введение гласного судопроизводства. . . К сожалению только, склонность большой части жителей завода к старообрядчеству много задерживает развитие грамотности в народе, а чрез это — распространение правильных понятий о нравах (одно слово нрзб, — *В. П.*) семьянина и гражданина».[13]

Но старообрядческое население Висима было в основном грамотным, так как обучалось оно в домах начетчиков и начетчиц, а школ, где обучали грамоте священники, старалось избегать. В таком густо населенном раскольниками поселке, как Висимо-Шайтанск, приходилось считаться с влиятельной верхушкой старообрядчества, просившей православного священника ограничиться своими прямыми обязанностями. В «Ведомости об училище Владельческо-Общественном за 1866—1868 гг.» сохранилась любопытная запись: «По влиянию лиц, преданных расколу, общество просило священника уступить занятия его в училище пять лет назад тому исправлявшему должность учителю. Особенное доверие к училищу оказывают лица, придерживающиеся раскола, детей коих в числе учащихся находится пять мальчиков и девочек».[14] Надо заметить, что старообрядцы пользовались всяким удобным случаем определить своих детей в школы (по преимуществу, с учи-

[8] ГОМПУ, ф. I, оп. 1, инв. № 6411, л. 2.

[9] Государственный архив Свердловской области (далее — ГАСО), ф. 43, оп. 3, ед. хр. 76, л. 8.

[10] ГОМПУ, ф. I, оп. 1, инв. № 6413, л. 2.

[11] Там же, инв. № 6411, л. 2. На полях заметка: «Спрошены сначала Елена Якимова из старообрядчества, Анисья Нерушева из православных; Кондрат Черемнов — старообрядчества, Василий Шурыгин — православных; Афанасий Черемнов — старообрядчества, Андрей Подров — православных».

[12] Там же, л. 3.

[13] Там же, л. 1.

[14] Там же, инв. № 6408, л. 1.

lib.pushkinskijdom.ru 01248.

телями светскими, а не из духовного сословия) и по мере возможности дать им образование, так как с 1825 по 1855 годы, крайне тяжелые для старообрядцев, их школы закрывались, а открывать новые запрещалось.

Хорошо зная состояние дел в своем приходе, Н. М. Мамин с полным основанием имел право писать и об основных направлениях раскола: «Главные виды раскола в округе суть следующие: а) поповщина, с подразделением ее на стариковщину и австрийщину — „австрийцев"; б) беспоповщина; в) секта десных или же субботников».[15]

На Н. М. Мамина, как на местного священника, церковное начальство возлагало полицейские функции по искоренению инаковерия. Будучи человеком глубоко религиозным, Н. М. Мамин тем не менее на протяжении всей жизни продолжал интересоваться расколом не с точки зрения охранительной, а как явлением народной жизни. Демократически настроенный Н. М. Мамин, проживший почти четверть века в окружении раскольников, ограничивался сведениями и отчетами о состоянии дел старообрядческого населения, ни в чем его не преследуя и не притесняя. Частой гостьей семьи Маминых была старообрядческая начетчица Матрена Афанасьевна Попова, о которой сестра писателя Е. Н. Удинцева вспоминала: «Брат часто бывал в раскольничьих скитах, знакомился с влиятельными „старцами" и начетчиками. Помогла ему и исключительная популярность отца среди старообрядцев. Отец, хотя и был священником, отличался незаурядной терпимостью. В его отношениях со старообрядцами не было ничего задирающего, ничего восстанавливающего миролюбивых соседей. С представителями ближайших скитов установил самые добрососедские отношения. Я помню, например, что одна из самых влиятельных окрестных начетчиц, справляющая раскольничьи службы, была у нас не редкой почетной гостьей. Звали ее Матрена Афанасьевна и отец, добродушно подтрунивая, часто называл ее „отец Матрентий"».[16]

Д. Н. Мамин, выросший и воспитанный в среде православного духовенства, не сразу осознал, что раскол — это не ересь и не изуверство. Преодолеть отчужденность и даже некоторую враждебность по отношению к раскольникам помог ему отец, чья природная доброта и житейский опыт выработали у этого священника терпимое отношение к старообрядцам, так как в них он видел прежде всего людей труда, со строгими моральными принципами, а не религиозных противников.

* * *

Многие ранние произведения писателя, относящиеся к концу 70-х—началу 80-х годов, пронизаны впечатлениями от юношеских встреч со старообрядцами. Д. Н. Мамин обнаруживает здесь хорошее знание материала, но, во многом еще разделяя официальную точку зрения, рисует раскольничью среду преступной и развращенной, а самих раскольников — темными и загадочными личностями. Он разоблачает «ложь и лицемерие раскольнических старцев», их «мнимую святость».[17] В ранних рассказах — «Старцы», «Тайны зеленого леса», «Русалки», «Варваринский скит» и др. — перед нами проходит жизнь старцев и старец, архиереев и начетчиц раскольничьего мира. Д. Н. Мамин воспроизвел в них слышанные им на родине истории о разбойниках, о беглых, о старателях и староверах.

Типичная точка зрения православного населения на жизнь раскольников и их начетчиков была выражена устами автобиографического героя Д. Н. Мамина, сына священника Вениамина Колосова. В рукописном варианте беллетризованных заметок, озаглавленных «Отрезанный ломоть», Д. Н. Мамин писал, что «Витенька отличался крайней нетерпимостью в сфере религиозной, потому что считал и был глубоко убежден в том, что те религиозные воззрения, которые выработались у него, самые правильные, а все, что около и кругом Витенькиных воззрений, — все это чепуха и чушь, с которой Витенька вступал в ожесточенный бой при каждом удобном случае».[18] Вот как описывает Д. Н. Мамин «кержаков»: «Через час мелькала на берегу огоньками небольшая деревушка, раскинувшаяся среди леса на небольшой прогалинке. Самые домики рассмотреть нельзя было, но видно было освещенные узенькие оконца, из которых широким лучом тянулся слабый свет по берегу и падал в реку. На берегу черными остовами виднелись опрокинутые лодки. Мы пристали к ним.

— Ну, Витенька, народ здесь живет все отчаянный, кержаки да раскольники, смотри — ухо востро, а то, пожалуй, нас ни за грош укокошат!

— Куда им, цусть-ко пошевелят! — и Витенька при свете месяца показал Тимофеичу свой кулак.

. . .Изба, в которую мы попали, с лубочными картинками по стенам, отличала зажиточного мужика, притом кержацкие

[15] ГАСО, ф. 6, оп. 4, ед. хр. 5, л. 5.

[16] Урал. Сб. «Зауральского края», посвященный памяти писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, 1913, с. 75—76.

[17] Груздев А. И. Начальные годы литературной деятельности Д. Н. Мамина-Сибиряка. — Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. Герцена. В ознаменование 25-летия педагогической и научной деятельности института (1918—1943). Челябинск—Л., 1947, с. 196.

[18] ГАСО, ф. 136, оп. 1, ед. хр. 85, л. 14.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

лестовки и кадильницы прямо говорили, что мы попались в самое гнездо раскольников, которые особенно любят селиться по берегам той реки, по которой мы плыли, потому что эти берега в этой местности крайне пустынны и мало заселены, так что на тридцать, на сорок верст кругом не встретишь живой души, что особенно выгодно для раскольников.

Тимофеич поднес рюмку хозяину.

— Нет уж, уволь, родимый мой, — отстранил хозяин своей рукой поднесенную рюмку, — я ведь старой веры и не стану с вашим братом пить из одной-то посудины.

— Экой ты, братец, недогадливый: неси скорее свою-то рюмку, из которой пьешь. . .

Хозяин немного помялся, почесал свой затылок, посмотрел исподлобья на нас и на водку, но соблазн был велик и он направился за своей рюмкой.

— И то разве свою принесть, — как бы про себя говорил он дорогой.

— Экие черти эти кержаки, — рассуждал Витенька, когда хозяин ходил за рюмкой, — ведь вот хоть кол ты ему на голове теши, а он все свое: родители не благословили, старая вера. . . Подлецы этакие, вздуть бы их хорошенько, вот, мол, тебе и старая вера, не то бы тогда запели!

Ожесточение Витеньки против кержака-хозяина еще более возросло, когда тот, возвратившись с рюмкой и увидев своих гостей за курением папирос, категорично заявил им, что если они не перестанут курить, то он принужден будет выгнать их. Сколько Витенька ни горячился, но хозяин настоял на своем, и табакуры должны были курить не иначе, как предварительно высунув свои головы в окно.

— Эх, вы, простофили, — горячился Витенька, — старики наврали вам про какую-то старую веру, а вы и поверили им.

— Ну, видно не так дело-то было, родимый мой, — спокойно отвечал хозяин, — старики, небойсь, не врут, а вот ты возьми да и поверь какой-нибудь стрекулятине, так на том-то свете и узнаешь, каково тебе будет. А старикам не из чего врать, да лишний грех на свою душу брать».[19]

Еще неопытным пером, но с большой любовью Д. Н. Мамин описывает родные места, родной Висим. Здесь еще отсутствует всякая социальная тональность пейзажа горнозаводского Урала, на которую он обратит внимание позднее. В отрывке без названия, напоминающем его путевые заметки (он начинается словами: «Целым морем света был залит едва проснувшийся город, подернутый еще утренней прохладой, того света, радостного и ликующего, под неотразимым впечатлением которого трепетно бьется сердце в груди, рвется и просится куда-то и замирает каким-то особенным образом»), Д. Н. Мамин почти с документальной точностью описывает свое возвращение домой: «Через час я шел пешком по направлению от Нового завода к Шайтану, с дорожной сумкой через плечо. А вот и моя родина притаилась, в глубокой котловине, образовавшейся среди гор, вон два пруда как два громадных глаза смотрят на небо, вот небольшая церковь подошла к одному из них, а напротив стоит низенький деревянный дом, с пятью большими окнами, в котором ждут меня с часу на час. А кругом Шайтана стоят мои старые знакомые, вот те фиолетово-темносиние горы, что подходят одна к другой, по которым теперь гуляют продольные лучи заходящего солнца, окрашивая все кругом всеми цветами радуги, разбрасывая тени, разгоняя тот туман, что пустила от себя вода, накопившаяся в низких местах между гор. А вон то, что поднимается над Шайтаном: дым или туман? Впрочем, все равно, и дым и туман отечества нам сладок и приятен».[20]

В произведениях зрелого Мамина мы не встретим уже такого ясного, откровенного любования природой: трубы металлургических заводов внесут в пейзаж резкие контрасты, диссонанс, и объектом внимания станут уже не подернутые дымкой леса и горы седого Урала, а «капитал горного гнезда», символ жестокой конкуренции и порабощения человеческой личности. Народ, нещадно эксплуатируемый заводчиками, уже не дифференцируется по религиозной принадлежности, и для Д. Н. Мамина православные и раскольники — это равно страдающее население.

В ранних рассказах Д. Н. Мамина типы староверов еще не были связаны с острой постановкой социальной проблемы, выступали в своеобразном «этнографическом» освещении. Даже там, где принадлежность к той или иной группе по религии не играет никакой роли, Д. Н. Мамин все же напоминает об этом. В неопубликованном рассказе «Легкая рука» (1874—1875, первоначальная редакция очерка «Бойцы») он пишет: «В верстах в 80-ти от пристани Быстрой, в глухом лесу, на берегу маленькой речки, стояла мельница старика Якова, поселившегося здесь неизвестно когда и по какой причине. Про старика Якова и его мельницу много различных слухов ходило в народе, начиная с того, что он

[19] Там же, лл. 12, 13, 14.

[20] Там же, ед. хр. 83, л. 13, б. д. Как полагает И. А. Дергачев, отрывок без названия и рукописный набросок «Отрезанный ломоть» (данный вариант рассказа весьма далек от окончательного текста произведения (см.: Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 12-ти т., т. 12)) можно отнести ко времени семинарского обучения Д. Н. Мамина. См.: Дергачев И. Д. Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество. Свердловск, 1977, с. 15—16.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

отъявленный раскольник, укрывающий беглых и „австрийских попов“, и кончая тем, что у него все можно сбыть: и ворованную медь, и краденое золото. Но эти слухи, ходившие в народе, имели много неясного и видимо преувеличивались, потому что старика Якова выставляли вместе и колдуном большой руки, творящим большие чудеса направо и налево».[21] Здесь отразились стереотипы народной молвы (мельник — это всегда колдун, всегда укрыватель разбойников), а также стереотипы православно-миссионерские (раскольник, ушедший в «прекрасную пустыню», — обязательно преступник). Но здесь отразилось и критическое отношение Д. Н. Мамина к этим «слухам и толкам».

Изучая вопросы раскола по книгам и журналам, сопоставляя их с фактами живой жизни, систематически наблюдая жизнь раскольников в миру и скитах, Д. Н. Мамин в своих рассказах нарисовал картины их быта и нравов. Писатель, как и его отец, был далек как от идеализации раскола, так и от церковно-полицейского к нему отношения. В этих рассказах мы уже можем выделить два основных направления в художественной разработке этой темы: начало протеста, присущее беднякам-старообрядцам, беглым и «разбоїникам» (Д. Н. Мамин настаивал на том, что разбойник — это особый народный тип), и экзотические, иногда уродливые формы старообрядческого быта, в частности положение женщин-раскольниц (коллизия бытовых запретов и поисков «правды»).

В «Красной шапке», «Старцах», «Русалках», в рассказах «Тайны зеленого леса», «Не задалось», «Варваринский скит» и др. возникают образы мастеровых, бунтарей, ищущих воли, мстящих за притеснения и издевательства. Тут же мы впервые встречаемся с начетчицами старообрядческого мира, видим затерянные в лесах скиты и их обитателей, пользующихся в старообрядческом мире большим почетом и уважением.

В «Тайнах зеленого леса» [22] рассказывалось о судьбе простой крестьянской девушки Матрены Павловны (прототипом послужил образ старообрядческой начетчицы Матрены Афанасьевны Поповой), которую судьба сделала убийцей ее прежнего возлюбленного, беглого солдата, а потом кержацкого архиерея, обманщика и сластолюбца. Выпавшие на долю Матрены Павловны испытания не сломили умную, серьезную женщину. Постепенно она обретает силу и устойчивость, становится одним из столпов старообрядчества и авторитетным мирским человеком. Именно о таких женщинах со сложной судьбой размышлял отец писателя: «Раскольники, по малочисленности, большого влияния на православных не имеют, но иногда увлекают в свои заблуждения лиц женского пола, расстраивая семейные и супружеские отношения».[23]

Много общего с жизнью Матрены Павловны и у другой героини Д. Н. Мамина — «матушки Спиридонии» (в миру Степаниды). В неопубликованном романе «Семья Бахаревых» (1877—1878) писатель пытается объяснить начало «разлома» в судьбе героини. «Дело происходило лет тридцать тому назад, на одном из глухих приисков, — рассказывает автор, — где Бахареву приходилось жить безвыездно по нескольку месяцев и где Стеша жила вместе с отцом, который находился при рудниковой конторе в должности каморника. Работы было много, дела шли туго, и Бахарев не имел возможности часто видаться со своей семьей, а тем более выписать ее к себе на рудник, заброшенный в самую глубь севера Уральских гор. Стеша постоянно вертелась на глазах Бахарева, сначала не обращавшего на нее внимания, но потом заметившего ее по следующему случаю. Девочка была сирота и выросла исключительно среди мужчин, в суровой рудниковой обстановке, и была общим баловнем, пока не сформировалась окончательно в русскую настоящую красавицу, когда она вдруг начала дичиться прежних ласк и знаков внимания. В девушке просыпался инстинкт женщины, и она все свое молодое чувство сосредоточила на Василии Назарыче, который меньше других обращал на нее свое внимание. Сначала это было тайной, но эта тайна давила девушку, переполненную потребностью к кому-нибудь привязаться, и она незаметно для самой себя начала оказывать Бахареву особенные знаки внимания, а потом сама первая вызвала его на то, в чем раскаивалась затем целую жизнь. Если природу не пускать в дверь, она лезет в окно, так и здесь — накопившиеся чувства нашли свой исход, а затем наступила быстрая реакция, кончившаяся тем, что Бахарев пошел своей дорогой, его спасла работа, а Стеша своей — ее погубила вконец старая вера».[24]

Не надо понимать заключительные слова этого фрагмента буквально; далее показано, что старинные устои русской жизни способствовали ее «возрождению». Как и Матрена Павловна из «Тайн зеленого леса», Стеша, ставшая матушкой Спиридонией, нашла себя в «общественной деятельности» старообрядчества: «Мать Спиридония жила в двухэтажном высоком деревянном доме, почерневшем от времени и вечно запертом на замок. Мать Спиридония редко кого принимала к себе в дом, потому, вероятно, что и сама редко бывала в своем доме, разъезжая

[21] ГАСО, ф. 136, оп. 1, ед. хр. 1, л. 21.
[22] Кругозор, 1877, № 23 и № 24.
[23] ГОМПУ, ф. I, оп. 1, инв. № 6415 (записано как примечание на обратной стороне циркуляра-пояснения, рассылаемого священникам для служебного пользования).
[24] ГАСО, ф. 136, оп. 1, ед. хр. 3, л. 163.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

по всей губернии по каким-то своим, земным раскольничьим делам».[25]

Женщины, добровольно несущие крест забот об окружающих, порой не замечали этой роли, выполняя ее как нечто само собой разумеющееся. Близки к образу Матрены Павловны и матушки Спиридонии раскольничьи начетчицы Василиса Мироновна («В горах»), Варвара («Варваринский скит»), Таисья («Мастерица»), Миропея Михайловна («Последняя веточка»), Таисья («Три конца») и др.

Любовь к людям, готовность помочь им в самых трудных обстоятельствах, поиски своего места в жизни делают эти образы одновременно и трогательными и мужественными. Часто за суровой, аскетической внешностью скрывалось то первое чувство любви, которое женщины не в силах подавить в себе ни постом, ни молитвой. Так, во время разговора с Василием Назарычем о судьбе его дочери в Спиридонии заговорил «могучий инстинкт женщины, которого не могут (в ркп «не может», — *В. П.*) потушить ни целые годы отшельнической жизни, ни наступившая давно старость, ни религиозные понятия и убеждения. Спиридония теперь не была Спиридонией: в последней фразе нечаянно вылилась молодая горячая Степанида, Стеша, которая тридцать лет тому назад без ума любила Василия Бахарева, тогда еще бывшего в полных силах и платившего девушке той же монетой. Много прошло времени с той поры, их дороги разошлись в разные стороны, обоих давно серебрила старость, но их опять столкнула судьба вместе, и в стариках заговорило старое, давно потухшее чувство. Глядя теперь на этих стариков, совсем седых и желтых, кто бы мог подумать, что ведь было же время, что эти старики могли любить друг друга, любить, быть может, более горячо, чем умеют любить их потомки».[26] В любви и человечности таких людей писатель видел глубокие свойства самой народной жизни, не подчиняющейся разобщающему влиянию капитализма. И в женщинах раскола Д. Н. Мамин раскрывал две стороны их жизни: любовь к людям, участие к ним, заботу об их судьбах — и мрачные эсхатологические верования. Через несколько лет, в середине восьмидесятых годов, Д. Н. Мамин придет к выводу, что в высшей степени важную роль в исторических судьбах древлего благочестия играли женщины раскола, особенно в беспоповщинском согласии. «Последняя и „немощнейшая чадь женская", отринувши свою немощь, приняла самое живое участие в делах своего гонимого братства, — заключает Д. Н. Мамин в рассказе «Последняя веточка». — Женские слабые руки с молитвой, лаской и чисто женской ловкостью сделали то, чего не могла сделать наконец „мужская крепость", — они давали настоящую раскольничью закалку из поколения в поколение».[27]

Интерес к расколу и старообрядчеству был присущ всем членам дружной маминской семьи. Характерно признание Б. Д. Удинцева, что и его «всегда влекло к себе (а одновременно и отталкивало) русское старообрядчество, как бы завершившее собой всю средневековую нашу литературу. . . В нашей семье всегда был какой-то особенный интерес к старообрядчеству. Отец Д. Н. Мамина-Сибиряка был православным священником в старообрядческом Висимо-Шайтанском районе. Дмитрий Наркисович с детства почувствовал силу и поэзию гонимой народной веры (между прочим, сейчас на Урале поставлен вопрос о создании Висимского заповедника, который охранил бы не только природу замечательного уголка Урала, но и некоторые памятники старообрядческой и старой заводской культуры). Мамин-Сибиряк собирал старые рукописи на Урале, а когда я учился в СПб, водил меня несколько раз в Никольскую старообрядческую общину. . . Конечно, сейчас эта группа русского населения совершенно, по-видимому, размыта временем, но ее традиции таят в себе что-то глубоко национальное, Аввакумовское».[28]

* * *

Из деятелей старообрядчества особенно интересным для Д. Н. Мамина был Аввакум. Б. Д. Удинцев писал, что «личность Аввакума (помню это по личным беседам в Петербурге в 1910—1912 гг.) очень привлекала Мамина. Несомненно, что в собрании (Д. Н. Мамина, — *В. П.*) были и материалы, касавшиеся Аввакума. В 1917 году архив писателя в Ленинграде погиб (его вдова в начале революции отсутствовала, и квартира пустовала). Несколько рукописей (в том числе Указ «о розыскании еретических дел» 1654 года из Чердыни) случайно сохранились в Свердловске, в Маминском музее (писатель оставил их в Музее Уральского общества любителей естествознания, уезжая в 1891 году в Петербург)».[29] Писатель считал «Житие» протопопа Аввакума величайшим памятником русской литературы, а в самом Аввакуме видел политического выразителя своего века, передового бойца, и был он для него «самым любимым историческим героем».[30]

---

[25] Там же, л. 160.

[26] Там же, л. 168.

[27] Там же, ед. хр. 26, л. 8. В печатном тексте этот фрагмент дан в другой редакции. См.: Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 10-ти т., т. 5. М., 1958, с. 255.

[28] ИРЛИ, ф. 494, письмо Б. Д. Удинцева В. И. Малышеву от июня 1966 года. Висимский государственный заповедник организован в 1971 году.

[29] Там же, письмо Б. Д. Удинцева В. И. Малышеву от 31 января 1956 года.

[30] Там же, письмо Б. Д. Удинцева В. И. Малышеву от 10 апреля 1958 года.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

В ГАСО в рукописи романа «Три конца» находится набросок незаконченного рассказа Д. Н. Мамина (рассказ без названия и не имеет отношения к данному роману). Мы предполагаем, что это набросок к задуманному и не созданному роману о двух великих «раскольниках» — протопопе Аввакуме и Льве Толстом. Сопоставление этих фигур во второй половине 80-х годов показательно для эволюции взглядов писателя на раскол. Теперь для Мамина это не религиозное сектантство, а одна из форм протеста не только религиозного, но и социального характера, направленного на защиту патриархального уклада жизни перед угрозой капиталистического хищничества и разложения нравов. По мысли Д. Н. Мамина, бунтарский дух Аввакума не умер, он возродился в Льве Толстом.

В свое время В. И. Малышевым был напечатан небольшой фрагмент этого произведения.[31]

Приведем его полностью, поскольку он представляет несомненный интерес, тем более что один из героев выражает мысли Д. Н. Мамина.

«— Читали ли Вы, молодой человек, автобиографию попа Аввакума? — заговорил наконец Ефим Иваныч, гордо откидывая голову. — Такая маленькая книжечка, издание синодальной типографии.

— Нет, у меня большой пробел по части изданий синодальной типографии, — не без ядовитости ответил Вадим.

— Напрасно-с. . . Если хотите знать, в русской литературе существуют только два оригинальных произведения: „Слово о полку Игореве“ и автобиография попа Аввакума. Стиль — это весь человек, а по языку нет равных этим двум гениальным произведениям. . . Да-с.

— Ну-с?

— Так я и хочу сказать, молодой человек, что первому отдана приличная дань уважения, а теперь очередь за вторым. . . Полагаю, что именно сейчас самый благоприятный момент для такой оценки. Я удивляюсь, что до сих пор не найдется такого человека или талантливого критика, который бы сопоставил рядом автобиографию попа Аввакума и исповедь все того же автора „Власти тьмы“.

— Браво, Ефим Иваныч! крикнула Ниночка. Недурно сказано. . .

— Ну-с? сумрачно проговорил Вадим, бросая папиросу.

— Поп Аввакум груб, ужасно груб чисто мужицкой грубостью, особенно в своих письмах к боярыне Морозовой, но эта грубость раскольничьего попа, как твердая скорлупа ореха, прикрывает такое любящее сердце, такую детскую искренность, такую цельную душу, как кристалл. Вы видите в этом раскольничьем попе политического выразителя своего века, передового бойца и главное — полного, цельного, искреннего человека, у которого каждое слово двухвершковым гвоздем приколочено. За таким человеком пойдут тысячи, потому что его влияние неотразимо пройдет через целые века. В самом обличении попа Аввакума бьется неумирающая любовь к обличаемому, которого он и обличает только потому, что любит. Каждое поповское слово дробит, как молотом, всякие новшества и иноземную пестроту. . . Поставьте рядом с этим наше барское хныканье и разные модные confession'ы. . . Одним словом, поставьте рядом автора „Власти тьмы“ с раскольничьим попом Аввакумом, и Вы увидите, где одной „пленной мысли раздраженье“ и где сама истина. . . Все-с, молодой человек.

— Мне кажется, Ефим Иваныч, даже неприлично делать такие сопоставления, — возразил Вадим, чувствуя, как у него от волнения холодеют руки. — А главное нехорошо то, что Вы говорите совершенно неискренне, с целью подзадорить мальчика, то есть в данном случае меня».[32]

О том, что интерес Д. Н. Мамина к личности Аввакума был глубок, свидетельствуют и варианты к его автобиографическому роману «Черты из жизни Пепко», одному из самых интересных и оригинальных произведений писателя. Во многих деталях жизни и быта героя романа Василия Ивановича Попова нетрудно заметить ряд обстоятельств жизни самого писателя, но значение произведения не ограничивается точностью и правдивостью изображения ранней литературной биографии автора. В романе ставятся проблемы назначения человека, даны широкие художественные обобщения, рисующие тяжелую судьбу литератора-разночинца. Сила неосуществленных желаний, бедность, безрадостное существование — все это вызывало к жизни легендарные сюжеты, ярких героев.

В романе много высказываний о литературе, принадлежащих как Василию Попову, так и другому герою романа, Агафону Павловичу Попову, или просто Пепко. И вновь Д. Н. Мамин обращается к личности Аввакума в отрывке, не вошедшем в окончательную редакцию романа. «Посмотрите, напр.[имер], как шельмует нас, русских авторов, в своей confession тот же граф Толстой. . . гр. Толстой поставил крест всем нам: и просто и мило. Как хотите, а от такого пассажа чья угодно шкура затрещит, и выносит его только одно христианское смирение все того же гр. Толстого. Русский человек уж так устроен, что непременно достукается до откровенных мыслей и непременно такая откровенность падет на его голову. . . Припомню по этому случаю аналогический пример:

[31] См.: Малышев В. И. Неизвестные и малоизвестные материалы о протопопе Аввакуме. — ТОДРЛ, т. IX, 1953, с. 404.

[32] ГАСО, ф. 136, оп. 1, ед. хр. 44, л. 262.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Исповедь попа Аввакума — этот забытый литературный перл. . . Его по достоинству оценил один Тургенев и только по своей благовоспитанности не сопоставил с confession гр. Л. Толстого».[33]

Д. Н. Мамина, продолжавшего с неослабевающим вниманием и интересом заниматься проблемой раскола и старообрядчества, привлекал в вожде старообрядчества темперамент борца за идею, демократизм мировоззрения, язык и стиль его произведений, а в традициях старообрядчества — «что-то глубоко национальное, Аввакумовское. В этих традициях диалектически-своеобразно переплетается нечто весьма возвышенное, передовое с узко-националистическим, резко консервативным, но, увы, реальным. . . В русском старообрядчестве, в русской средневековой культуре есть немало ценного, того, что просто не понимают люди механической, индустриальной эпохи».[34]

[33] Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч. в 12-ти т., т. 8, с. 340.

[34] ИРЛИ, ф. 494, письмо Б. Д. Удинцева В. И. Малышеву от 23 июня 1966 года.

Е. В. Проц

СУДЬБА СПАССКОГО АРХИВА И. С. ТУРГЕНЕВА

Судьба спасского архива И. С. Тургенева, о котором пойдет речь в этой статье, еще не была предметом специального рассмотрения.

Один из близких друзей Тургенева, П. В. Анненков в своих заметках писал о нем: «. . .Вряд ли найдется в России человек, который более его заботился бы о всяком клочке бумаги, им полученном, даже с цифрами, уже уплоченными, о всякой квитанции портного и сапожника, который так приберегал бы всякое извещение о перемене адреса, уже не говоря о выражении мнений и суждений лиц, по-видимому мало ценивших предметы, о которых теперь они распространялись».[1]

Свидетельство Анненкова особенно ценно, ибо ему, пожалуй, единственному из занимавшихся наследием Тургенева, было дано соприкоснуться с частью огромного архива писателя, который он тщательно собирал и хранил на протяжении всей своей жизни, — с парижским архивом.

Конечно, истоки тургеневской аккуратности, даже некоторой педантичности, которую отмечают и другие современники писателя, следует искать прежде всего в укладе жизни спасского дома. В Спасском-Лутовинове знали цену любой бумаге, относились к документам прошлого и дня сегодняшнего с пониманием их значения, весьма бережно хранили. К Тургеневу в свое время перешел обширный архив, содержавший бумаги его прадеда Ивана Андреевича Лутовинова, деда по матери Ивана Ивановича Лутовинова, матери Варвары Петровны. Это были различные по своему содержанию документы. Среди них тетрадка прадеда Тургенева,[2] в которую он «вносил всё, что ему казалось любопытным, полезным или поучительным, как-то: . . .политические известия, анекдоты, реляции, а также копии разных стихотворений, торжественных и сатирических, известных прошений (как-то Искры, Румянцова) на высочайшее имя, рескриптов и т. п.»,[3] судебные дела (в описи имущества И. И. Лутовинова их значится около ста), планы земельных участков, заемные письма, свидетельствующие о денежных взаимоотношениях И. И. Лутовинова с дедом и бабкой Л. Н. Толстого — И. А. Толстым и П. Н. Толстой; дневники, письма, хозяйственные книги, описи гардероба матери Тургенева, письма различных лиц владельцам спасской усадьбы. Спасский архив был необычайно богат и обширен, но лишь часть его перешла к Тургеневу после смерти В. П. Тургеневой в 1850 году, многие бумаги сгорели при пожаре усадебного дома в 1839 году.

Тургенев очень дорожил бумагами своих предков. Спасский архив для художника был одним из источников, питавших его творчество. Тургенев обладал, если так можно выразиться, прекрасным чувством документа. Он видел за выцветшими строками старинных бумаг слож-

[1] Из бумаг П. В. Анненкова. — В кн.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III. Под ред. М. К. Лемке. Пб., 1912, с. 477.

[2] Тургенев полагал, что тетрадь принадлежала прадеду Ивану Андреевичу Лутовинову. Сегодня относительно этой тетради существует иное мнение (см.: Чернов Н. М. Из разысканий о Тургеневе. — В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 218—220).

[3] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Соч. в 15-ти т., т. XV. М.—Л., 1968, с. 103. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием «Соч.» или «Письма».

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ные человеческие судьбы, характеры, ощущал движение времени, неотвратимость его.

Порой, чувствуя значение, великолепный язык документа, писатель стремился познакомить с ним современников. Так произошло с «Прошением секунд-майора Аленина (Оленина) от 16 марта 1796 г. на имя правителя тамбовского наместничества генерал-майора С. В. Неклюдова», которое сохранилось в тетради прадеда Тургенева И. А. Лутовинова. Этот документ увидел свет в 1870 году в первом номере «Русского архива», где ему было предпослано предисловие Тургенева.

Иной раз документ использовался писателем творчески, как это было с письмом отставного бригадира, которое Тургенев, работая в 1867 году над повестью «Бригадир», просил разыскать своего управляющего Н. А. Кишинского в бумагах спасского архива. Тургенев дает управляющему очень точное описание документа: «Это письмо, написанное старинным почерком на большом листе серо-синей бумаги; письмо это было написано к моей матери в 19 или 20 году одним отставным бригадиром, который рассказывал свою связь с лутовиновским семейством и просил приюта» (Письма, VI, 219).[4]

Большое значение имело для творчества Тургенева не только знакомство с бумагами прадеда и деда по материнской линии (кстати, это своеобразно отозвалось в романе «Дворянское гнездо»: герой получил фамилию Лаврецкий, которую носила в девичестве прабабка Тургенева Мавра Ивановна Лутовинова), но и с дневниками, хозяйственными книгами, письмами матери. Отзвуки лутовиновской старины слышим мы во многих произведениях писателя («Старые портреты», «Три портрета», «Собственная господская контора», «Муму», «Записки охотника», «Первая любовь», «Бригадир», «Пунин и Бабурин», «Степной король Лир», «Отчаянный», некоторые страницы «Дворянского гнезда» и «Нови»).[5] В перечисленных произведениях знание быта, нравов, психологии людей во многом идет от серьезного отношения к документам спасского архива. Тургенев бережно хранил бумаги предков, среди которых были, очевидно, не только лутовиновские, но и тургеневские документы.

Но это лишь часть архива спасского дома. Другую составляли бумаги самого писателя. Это автографы многих его произведений, над которыми он работал в Спасском-Лутовинове, рукописи произведений, написанных вне Спасского, отделкой коих занимался Тургенев в Спасском, как, например, рукопись комедии «Студент» («Месяц в деревне»), его студенческие тетради, заметки, деловые бумаги, письма различных адресатов к нему. Конечно, личный архив Тургенева был весьма подвижен. Что-то он привозил и оставлял на хранение в Спасском, что-то брал с собой. Отдельные рукописи по просьбе Тургенева в разные годы высылались из спасского дома в Париж или другие города, где писатель жил и работал. Так, в 1879 году Тургенев просил Н. А. Щепкина: «В одном из ящиков моего письменного стола в Спасском (помнится, в одном с правой стороны) находится рукописная тетрадь, содержащая критический разбор повести „Племянница“. Это имя стоит на первой странице. Пожалуйста, отыщите эту тетрадь и немедля пришлите ее ко мне в Париж, Rue de Douai, 50 под бандеролью» (Письма, XII, ч. 2, 112).

Но многое оседало в ящиках его письменного стола и библиотечных шкафов. Существовала даже особая шкатулка с рукописями писателя. О ней Тургенев вспоминает в письме к Н. А. Кишинскому в 1867 году: «Письмо бригадира вы не нашли? Не находится ли оно в шкатулке между рукописями моих сочинений?» (Письма, VI, 232). Некоторые из документов, оставшихся в спасском доме после последнего приезда Тургенева в 1881 году, стали собственностью наследников писателя. Многие из них перешли в ведение музеев, архивов, библиотек, Пушкинского Дома, но не все. Особый интерес вызывает судьба тех рукописей, которые еще при жизни Тургенева были вывезены из Спасского в Петербург другом писателя поэтом Я. П. Полонским.

Знакомство Тургенева с Полонским относится к 1841 году. Со временем оно перерастает в дружбу. В 1881—1882 годах Полонский, его жена Жозефина Антоновна, их дети — Александр, Борис, Наталья — в летние месяцы гостят по приглашению Тургенева в Спасском-Лутовинове. Лето 1881 года Тургенев проводит в Спасском вместе с Полонским. Но на следующий год из-за обострения болезни писатель не смог приехать в Россию, как собирался. Полонские живут в Спасском без хозяина, а уезжая, вывозят из спасского дома в Петербург весьма значительную часть бумаг и документов Тургенева, хранившихся в библиотеке и кабинете писателя.

Тургенев узнал об этом, наверное, довольно скоро из письма своего управляющего Н. А. Щепкина. Свидетельство тому — воспоминания жены Щепкина С. Г. Щепкиной: «Когда проводивши их

---

[4] Об использовании в «Бригадире» подлинных материалов, в том числе семейного архива, подробно см. в статье: Чернов Н. Еще одна Салтычиха. По следам истории, рассказанной И. С. Тургеневым. — Неделя, 1968, № 35 (443), 25 авг.

[5] Об этом см. в комментариях к произведениям, в частности в академическом Полном собрании сочинений и писем в 28-ми томах.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

(Полонских, — *Е. П.*) Николай Александрович (Щепкин, — *Е. П.*) вошел в большой дом распорядиться, чтобы Захар привел все на зимнее положение, заметил в библиотеке незапертым нижний ящик одного шкапа. В нем, в связках по годам, была сложена переписка Тургенева с разными лицами, и их-то не оказалось в шкапу. В библиотеке было много книг иностранной литературы и старинных русских журналов. По желанию Тургенева ключи от нее передавались гостям. Так как при аренде все было сдано Н. А. по описи, то вина исчезновения писем легла бы на него. Не ожидая приезда Ивана Сергеевича на будущее лето, сообщил ему об этом с первой почтой, прося его, чтобы сам выяснил, куда они делись? В ответ пришло от него письмо: „Письма нашлись: ему их вернули обратно!“»[6]

Ни письмо Щепкина, ни ответ Тургенева нам неизвестны. Впрочем, сомневаться в том, что Щепкин известил Тургенева о пропаже, не приходится. Об этом упоминает Тургенев в письме к Полонскому от 26 июня (8 июля) 1883 года. Трудно сказать, почему так поздно писатель отозвался на пропажу документов спасского архива. Может быть, он надеялся объясниться с Полонским и как-то уладить дело. Так или иначе, но Тургенев выразил свое отношение к поступку Полонского только в июне 1883 года, после того как его, уже смертельно больного, посетил издатель А. Ф. Маркс.

Если до посещения Маркса Тургенев полагал, что о его спасских бумагах знает лишь ограниченный круг лиц, ему близких, то встреча с издателем убедила его в обратном и заставила немедленно обратиться к Полонскому с требованием, «чтобы негодные бумаги были немедленно уничтожены, все до последней» (Письма, XIII, ч. 2, 179). Тургенев заключил письмо к Полонскому весьма жестко: «Я рассердился бы на тебя серьезно, если бы не отнес все это за счет легкомыслия твоего ума». Впервые это письмо было опубликовано в сборнике «Звенья» в 1950 году Г. П. Мпролюбовым. В комментариях к письму Г. П. Миролюбов высказал мысль, что «инициатива и формулировка письма исходила не от него (Тургенева, — *Е. П.*), а от П. Виардо».[7] Это предположение основывалось на том, что письмо Тургенева, кроме даты и подписи, было написано рукой П. Виардо, а издатель «Нивы» Маркс был назван Саксом.

В примечании к интересующему нас письму Тургенева к Полонскому в Полном собрании сочинений и писем И. С. Тургенева в 28-ми томах сказано более определенно: «Возможно, что письмо написано не под диктовку Тургенева, а составлено П. Виардо и только подписано им» (Письма, XIII, ч. 2, 377). Как нам кажется, это предположение нельзя признать верным. Не вызывает никаких сомнений, что письмо написано если не под диктовку Тургенева, то при его весьма активном участии. Во-первых, в нем есть детали, которые известны были только Тургеневу: упоминания о письме Щепкина в связи с пропажей рукописей, о неопубликованных стихотворениях в прозе, которые читал Тургенев Полонским и М. Г. Савиной летом 1881 года в Спасском. Во-вторых, в письме звучат наставнические ноты, столь свойственные письмам Тургенева к Полонскому, сказывается знание характера Полонского. Все это не позволяет счесть рассматриваемое письмо только делом рук П. Виардо. Болезнь могла ослабить внимание Тургенева, и он мог не заметить ошибочного написания фамилии издателя «Нивы». Нам кажется, что, расценивая письмо Тургенева к Полонскому как «происки» П. Виардо, исследователи уподобляются Е. А. Штакеншнейдер, которая в своем дневнике охарактеризовала письмо только со слов самого Полонского, находясь под впечатлением его тогдашнего настроения. По записи Штакеншнейдер, Полонский утверждал, что Тургенев передал ключ от письменного стола его жене «еще при жизни, так сказать, завещая ей все его содержание, все бумаги, письма, начатые сочинения, черновые, одним словом, все».[8] Но этой записи противоречат свидетельства самого Полонского. В письме к П. Виардо Полонский объясняет: «Жена моя взяла в Спасском указанные им (Тургеневым, — *Е. П.*) бумаги по его желанию, на что есть доказательства в его же письмах к ней».[9] Полонский имел в виду письмо Тургенева к Ж. А. Полонской от 23 сентября (5 октября) 1881 года, в котором он писал: «Начну с того, что подтверждаю сделанное мною Вам обещание и, отправляясь в Петербург (что будет, вероятно в конце февраля), повезу с собой разные бумаги и письма, которые оставлю Вам, иные для хранения, другие для уничтожения после моей смерти, которая не явилась за мною в ночь 1-го на 2-е октября. На это Вы можете с уверенностью рассчитывать. . .» (Письма, XIII, ч. 1, 125). Однако обещание Тургенева относилось к бумагам парижского архива, но отнюдь не спасского. Правда, в письме к Боголюбову осенью 1883 года Полонский утверждал, что после его отъезда из Спасского летом 1881 года Тургенев показал Полонской письма своей матери и кое-какие черновые рукописи, якобы при этом сказав: «Возьмите все это и сохраните, так как боюсь умереть в октябре месяце».[10] Но эти слова ничем не под-

[6] Щепкина С. Г. И. С. Тургенев в Спасском-Лутовинове. — Красный архив, 1940, № 3, с. 210.

[7] Звенья, т. VIII. М., 1950, с. 250.

[8] Там же, с. 251.

[9] Там же, с. 258.

[10] И. С. Тургенев. Новые материалы и исследования. М., 1967, с. 474.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

утверждаются, разве что в них повторяется мотив ожидания Тургеневым скорой смерти, который звучит в письме к Полонской.

Конечно, не стоит исключать того, что Тургенев вел с Полонскими разговоры о своих бумагах: рукописях, переписке,— но вряд ли, даже уступая настойчивости Ж. А. Полонской, которая относилась резко отрицательно к французскому окружению Тургенева, жизни его в Буживале и стремилась как-то влиять на него, он более определенно высказывался о своем архиве, нежели в письме от 23 сентября (5 октября) 1881 года. И, несомненно, Полонский чувствовал крайнюю слабость своей позиции. Но дело было сделано — очевидно, что в большей степени повинна в этом была Жозефина Антоновна — и Полонскому нужно было как-то выходить из затруднительного положения. Пожалуй, более верно определил суть создавшейся ситуации в дневниковой записи от 30 сентября 1883 года В. П. Гаевский: «Обедал у меня и провел весь вечер Полонский. Он очень огорчен разладом с Тургеневым, который в июле, месяца за полтора до смерти, послал ему написанное под его диктовку письмо,[11] наполненное упреками за то, что жена Полонского взяла из стола в Спасском бумаги Тургенева. Поступок, действительно, возмутительный, объясняемый прежде всего бабьей глупостью».[12]

О растерянности Полонского свидетельствует и его утверждение в письме к П. Виардо, что бумаги Тургенева были взяты им и его женой из Спасского «в надежде на его (Тургенева, — *Е. П.*) выздоровление». Трудно представить более странное обоснование происшедшего.

В конце концов Полонский передал какие-то бумаги спасского архива Тургенева на хранение в Литературный фонд (свидетельство тому — два письма его председателю Литературного фонда Н. С. Таганцеву).[13] Об этом Полонский известил П. Виардо [14] как прямую наследницу Тургенева.

* * *

Какие же рукописи вывез Я. П. Полонский из Спасского? Сохранился список, составленный им, очевидно, для памяти. Он хранится в отделе рукописей Государственного литературного музея.[15] Это лист бумаги, исписанный с обеих сторон весьма характерным, трудным для чтения почерком Полонского. Озаглавлен он: «Рукописи И. С. Тургенева». Включает 35 обозначений. В конце подпись: Я. Полонский. Дата отсутствует.

Список фактически содержит не 35 названий, а гораздо больше. Под номером 13 значится 7 рисунков Боклевского к «Запискам охотника» (кстати, это единственное указание на то, что Боклевский работал над иллюстрациями к «Запискам охотника»). Под номером 35 значатся письма матери Тургенева, его брата, знакомых и родственников, близких. Они Полонским не были конкретно учтены, и, как он признавался Таганцеву, всех писем он не перечитывал. Хотя список носит название «Рукописи И. С. Тургенева», он включает не только рукописи прозаических, поэтических, драматических произведений писателя, но и дневник матери Тургенева (№ 1), уже упоминавшиеся рисунки Боклевского, письма многочисленных корреспондентов, копию авторской исповеди Н. В. Гоголя (№ 14), патент Русского географического общества (№ 33), Parmis de Chasse (Билет на право охоты) (№ 30). Особо выделен черновик письма по-французски (№ 5) и несколько зачеркнутых листиков и писем (№ 34). Рукописи прозаических произведений Тургенева значатся в описи под одиннадцатью номерами. В некоторых случаях Полонский кроме названия дает их описание. Номер 28 в описи Полонского повторяется дважды. Под ним значится «Школа гостеприимства» и «Начало статейки», как называет Полонский рукопись Тургенева. Номер 31 отсутствует.

Восемью номерами обозначены восемь рукописей поэтических произведений. Шестью номерами обозначены драматические произведения Тургенева. Под номером 15 в списке Полонского значится: «Мертвые души. Часть вторая, Гоголя. Книги». Под номером 32 значится биография Л. Н. Толстого. Как мы видим, приводимый ниже список Полонского, хотя и не очень подробный, все же дает представление о богатстве спасского архива Тургенева.

РУКОПИСИ И. С. ТУРГЕНЕВА

1. Порядок дня, — дневник матери: тетрадь в переплете, в 1/4 с вырванными страницами.
2. Вечер в Сорренте.[16] — Сцена. — 10 стран.

[11] Таким образом, если верить В. П. Гаевскому, то Я. П. Полонский тоже не сомневался, что письмо к нему было написано «под диктовку Тургенева».

[12] Из дневника В. П. Гаевского. — Красный архив, 1940, № 3, с. 234.

[13] Звенья, т. VIII, с. 256—258.

[14] Там же, с. 258.

[15] Рукописный фонд ГЛМ, РО 3517.

[16] Пьеса эта была закончена в Петербурге 10 января 1852 года. В письме к Д. Я. Колбасину 26 января (9 февраля) 1853 года из Спасского Тургенев просил прислать ее в Спасское, что было выполнено адресатом лишь после 1853 года (см. Письма, II, 475). Таким образом, рукопись «Вечера в Сорренте» действительно находилась в Спасском. В академическом Полном собрании сочинений и писем Тургенева в 28-ми томах пьеса напечатана по тексту первой публикации,

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

3. Предположения (1 лист, несколько стран.).
4. Авторская исповедь Н. В. Гоголя. Копия.
5. Черновик письма — по-французски (1 лист).
6. Начало поэмы. — Графиня Донато (1 лист тетради).
7. Филиппо Стродзи,[17] стихи черновые (1 лист).
8. Начатое стихотворение Дупель прилетает на кочку [18] (1 страница и пять 1/8 листа).
9. Помещик [19] — стихи (тетрадка 28 страниц).
10. Заметки — 7 строчек (1 страница почт.).
11. Поп [20] — поэма. Переписана (14 стран.: тетрадь в 1/2 листа).
12. Андрей [21] — поэма в двух частях (стихи) (75 и 54 строфы) (подписан).
13. Рисунки от Боклевского (карандашом?) (7 рисунков к Запискам охотника).
14. Сочинение без заглавия — 1 часть (3 тетради).
15. Мертвые души. Часть вторая Гоголя — книги.[22]
16. (Черновик). Параша.[23] 44 стр.
17. Разговор,[24] стихотвор. 18 стр.
18. Переписка.[25]
19. Три встречи.[26]
20. Муму.[27]
21. Жид [28] (подписанный и Жид переписанный), 2 тетради.
22. Завтрак у предводителя [29] — без конца.
23. Поправка к Наследнику [30] [Нахлебнику] (1 лист).
24. О соловьях [31] (конец написан карандашом).
25. Провинциалка [32] (тетрадь 24 страницы).
26. Разговор на большой дороге [33] — 5 тетра листа.
27. Начало какой-то статейки — 1 лист.
28. Школа гостеприимства.[34]
28. Начало статейки — лист 1 [зачеркнута цифра 3], 4 почти с четверть.
29. Конец Песнь торжествующей любви,[35] 1/2 почти № 1.

так как местонахождение рукописи неизвестно.

[17] Автографы начала поэмы «Графиня Донато» и поэмы «Филиппо Стродзи» неизвестны. Впервые эти произведения опубликованы в кн.: XXV лет. 1859—1884. Сборник, изданный комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884, с. 209—215. Возможно, они были напечатаны по рукописям, вывезенным Полонским из Спасского-Лутовинова. В академическом издании напечатаны по тексту первой публикации (см. Соч., I, с. 620, 617).

[18] Стихотворение «Дупель прилетает на кочку» в печати неизвестно.

[19] Автограф поэмы «Помещик» неизвестен (см. Соч., I, 541).

[20] Может быть, беловой автограф, который ныне хранится в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (архив И. С. Тургенева, № 2) и по которому поэма была напечатана в академическом издании (см. Соч., I, с. 614), а возможно — это черновой автограф. Впервые отрывки из поэмы «Поп» были напечатаны в книге «XXV лет». Можно предположить, что они были напечатаны по рукописи, вывезенной Я. Полонским из Спасского-Лутовинова.

[21] Автограф поэмы «Андрей» неизвестен (см. Соч., I, 539).

[22] О большом интересе Тургенева ко второму тому «Мертвых душ» свидетельствует ряд его писем из спасской ссылки 1852—1853 годов (см. Письма, II, а также: Назарова Л. Н. Тургенев о Гоголе. — Русская литература, 1959, № 3, с. 155—158).

[23] Автограф «Параши» неизвестен (см. Соч., I, 530).

[24] В ИРЛИ хранится лишь автограф отрывка поэмы (ф. 445, № 536). В академическом издании поэма напечатана по тексту первой публикации (см. Соч., I, 533).

[25] Черновой автограф повести «Переписка» хранится в ИРЛИ (ф. 93, оп. 3, № 1261; см. Соч. VI, 524). Лаконизм записи Полонского не позволяет делать какие бы то ни было предположения о том, какой именно автограф этого произведения он имел в виду.

[26] Известно лишь начало чернового автографа рассказа «Три встречи» (ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 1260; см. Соч., V, 589).

[27] Автограф повести «Муму» неизвестен (см. Соч., V, 595).

[28] Автограф рассказа «Жид» неизвестен (см. Соч., V, 567).

[29] Автограф пьесы «Завтрак у предводителя» неизвестен (см. Соч., III, 388).

[30] Это, наверное, описка, а может быть, ошибка Полонского. Речь, конечно же, идет о комедии «Нахлебник». Возможно, что это лист, который впоследствии попал в архив И. М. Гревса (см.: «Нахлебник». Вновь найденный лист беловой редакции (1848). Публикация Л. И. Ровняковой. — В кн.: Тургеневский сборник, т. 2. М.—Л., 1966, с. 7—11).

[31] Беловой автограф очерка «О соловьях», законченного в Спасском 6 ноября 1854 года, хранится в ГЛМ (см. Соч., XIV, 497).

[32] Автограф пьесы «Провинциалка» неизвестен (см. Соч., III, 428).

[33] Автограф сцены «Разговор на большой дороге» неизвестен (см. Соч., III, 446).

[34] «Школа гостеприимства» — фарс, который написали совместно летом 1855 года И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, В. П. Боткин и А. В. Дружинин (см.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961, с. 139—140). Автограф неизвестен.

[35] Несколько вариантов окончания повести «Песнь торжествующей любви» на-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

30. Parmis de Chasse. [Билет на право охоты (франц.)]
32. Биография Толст<ого> печатная, изд. <анная> Стасюлевич<ем>, и заметки карандашом.[36]
33. Патент Рус. Геогр. Общества.
34. Несколько зачеркн<утых> листиков и писем [переписанных?] [37]
35. Письма матери, брата, знакомых и родственников и близких

Я. Полонский.

У Я. П. Полонского оставались и еще какие-то бумаги спасского архива. Свидетельство тому — появление на выставке в память И. С. Тургенева в 1909 году записной тетради матери И. С. Тургенева Варвары Петровны, 1823 года, как собственности Ж. А. Полонской.[38] Кроме того, письмо С. А. Толстой к И. С. Тургеневу, которое он получил в Спасском в июне 1881 года, попало в Институт русской литературы из архива Полонского.[39]

Все вышеизложенное позволяет усомниться в правильности того, о чем пишет Т. П. Голованова в примечаниях к письму Тургенева Я. П. Полонскому от 26 июня (8 июля) 1883 года (Письма, XIII, ч. 2, 377). Исследовательница утверждает, что рукописи писателя, вывезенные из Спасского Полонским, находятся в рукописном фонде ИРЛИ. Действительно, ф. 93, собрание П. Я. Дашкова (оп. 2, № 259; оп. 3, №№ 1251, 1254—1258), содержит рукописи И. С. Тургенева, но среди них нет ни одной из тех, что упоминаются в описи Я. П. Полонского,[40] и они составляют лишь малую частицу спасского архива писателя.

Большинство же черновых автографов произведений Тургенева, упомянутых в списке Полонского, неизвестно. Трудно сказать, какова их судьба. Во всяком случае, опись Полонского дает возможность для размышлений и поисков.

Иная, более счастливая судьба той части спасского архива, которая перешла к наследнице Тургенева, его дальней родственнице по лутовиновской линии О. В. Галаховой. Тургеневские рукописи и бумаги из собрания Галаховой хранятся в музее И. С. Тургенева в Орле. Среди них уже упоминавшиеся студенческие тетради писателя (22 ед. хранения), наброски стихотворений, материалы родственников И. С. Тургенева (документы С. Н. Тургенева и В. П. Лутовиновой-Тургеневой), письма Тургенева.[41] Здесь же хранилась рукопись комедии «Студент», позднее переданная в ЦГАЛИ.

ходятся в Париже, в Национальной библиотеке (Bibl. Nat., Slave 77; см. Соч., XIII, 562—563). Краткая запись Полонского лишает нас возможности делать какие-либо предположения.

[36] Очевидно, эти заметки карандашом были сделаны Тургеневым в книге: Толстой Л. Н. Избранные произведения, с портретом, вступительной статьей, выдержками из критических статей. СПб., 1879. (Русская библиотека, вып. IX, изд. Стасюлевича).

[37] Записи 32 и 34 прочтены Н. Н. Фоняковой, за что приношу ей искреннюю благодарность.

[38] Каталог выставки в память И. С. Тургенева в имп. Академии наук. Изд. 2-е, доп. СПб., 1909, с. 84.

[39] ИРЛИ, 13588. LXXIII б. 12.

[40] Исключение, возможно, составляет черновик повести «Переписка» (см. прим. 25).

[41] См.: Описание материалов Государственного музея И. С. Тургенева. I. И. С. Тургенев. Составитель А. И. Понятовский. Орел, 1968.

А. А. Шелаева

ЛЕСКОВ И ПРУДОН

Многие исследователи творчества Лескова (Л. П. Гроссман, Н. С. Плещунов) [1] отмечали, что его роман «Чертовы куклы» — один из важнейших источников для изучения эстетических взглядов писателя. Опубликованный в 1890 году, он явился своего рода итогом многолетних размышлений Лескова об искусстве и личности художника и свидетельствовал о значительной эволюции его взглядов влево. С публицистической откровенностью Лесков ставил в романе вопрос о подлинном значении искусства и доказывал превосходство идейного, демократического искусства над отвлеченным от жизни, салонным.

Горячее чувство сопричастности всему, что происходило в современной ему художественной жизни, было присуще Лескову уже в начале его творческого пути. Героями его ранних романов «Обойденные», «Островитяне», а затем произведений 70-х годов — «Запечатленный ангел»,

[1] См.: Гроссман Л. П. Н. С. Лесков. Жизнь. Творчество. Поэтика. М., 1945, с. 204—205; Плещунов Н. С. Роман Лескова «Чертовы куклы». — **Учен. зап. Азерб. гос. ун-та им. С. М. Кирова, серия обществ. наук, 1960, № 3, с. 57.**

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

«Тупейный художник» и др. — выступают художники, и в центре большинства из них — вопрос о роли искусства в человеческой жизни. Искусство являлось для Лескова синонимом духовности, творческого отношения к действительности.

В произведениях 60—70-х годов нашел отражение и специфический интерес писателя к изобразительному искусству, а также к личности и индивидуальной психологии художника. В представлении Лескова, нравственный облик и природные свойства натуры художника оказывали прямое воздействие на его талант. По лесковскому определению, художник — «это человек с идеями».[2] Но истинный художник, с точки зрения Лескова, лишь тот, чьи идеи нужны людям и кто в любых теснящих его обстоятельствах сумеет сохранить верность собственным идеалам, претворить их в жизнь.

С наибольшей глубиной эти эстетические вопросы разрабатывались писателем в романе «Чертовы куклы», который создавался в конце 80-х годов. Преимущественное внимание Лескова к живописи в это время имеет свое историческое объяснение. В связи с наступившей реакцией русское искусство и литература переживали один из труднейших этапов в своем развитии. В этой обстановке более чем когда-либо духовная жизнь русского общества была сосредоточена в области изобразительного искусства, которое как бы приняло от литературы эстафету прогрессивных идей 60-х годов. Идейная борьба вылилась в весьма опосредованные формы и велась в основном на страницах периодических изданий. В ней участвовали и писатели. На поприще художественной критики часто выступали В. Гаршин, Салтыков-Щедрин, Г. Успенский, Д. Григорович.

В пору безгласности и затишья в литературе Лесков увидел в изобразительном искусстве значительную преобразующую силу. Писатель отводил художнику в эти годы едва ли не главную роль в развитии прогрессивных идей и воспитании русского общества. «Живописцы могут служить идеалам теперь лучше, легче, чем мы, — утверждал он в письме от 18 февраля 1889 года к И. Е. Репину, — и вы обязаны это делать» (XI, 415).

В своем романе о художниках «Чертовы куклы» Лесков утверждает эту мысль со всей категоричностью. Симпатии писателя на стороне его героя Мака, который в полемике с другими художниками — Фебуфисом и Пиком — отстаивает право искусства решать насущные вопросы современности, служить ее идеалам. Собратьям по кисти Мак не раз подсказывает идеи, требующие, по его мнению, безотлагательной разработки в живописи. Одна из них оказывается способной на время увлечь даже Фебуфиса, чье творчество было откровенным служением не идеям, а «свободным музам».

Изложенная иносказательно в виде евангельской притчи об искушении Христа Сатаной «на крыле храма» и «высокой горе» (Евангелие от Матфея, IV, 5—10), она в трактовке Лескова обращает читателя романа к самым важным для художника 80-х годов вопросам. Назначение картины — раскрыть евангельский сюжет так, чтобы истолковать всякий компромисс, отступничество от идеалов как нравственное падение, как союз с дьяволом.

Сатана, который, по замыслу Мака, должен выглядеть на картине как обыкновенный «очень внушительный и практический господин», убеждает «вдохновенного правдолюбца» Христа «войти с ним в союз», т. е. «снизойти с высот его духовного настроения и „немножко броситься вниз“. . . к правде герцогов и королей» (VIII, 499). Не случайно эскиз не завершенной Фебуфисом картины назван художником «Бросься вниз».

В контексте романа учительный смысл притчи в том, что художник в любых обстоятельствах должен найти в себе силы сохранить чистоту и целостность идейных принципов, не променять их на практические выгоды, которые сулит служба у «герцогов и королей». В свете этой трактовки евангельского сюжета расшифровывается и название романа «Чертовы куклы». Лесковский Фебуфис, по его собственному признанию, не совладавший с идеей картины (VIII, 499), как бы становится исполнителем дьявольской воли. Его конформизм, переход на позиции чистого искусства — постепенное движение к обрыву, с которого он наконец совершает «падение», поддавшись уговорам «практического гения» (VIII, 543) поступить на службу к герцогу.

Эстетические представления Лескова, как и всей русской демократической интеллигенции, складывались в период 60—70-х годов под влиянием жарких теоретических споров об искусстве и его назначении. Полемика разгорелась как отклик на бунт 14 конкурентов Академии художеств, которые в 1863 году категорически воспротивились обязательной исторической программе «„Валгалла“. Из скандинавской мифологии». Прямые упоминания об этом событии в печати были запрещены цензурой.[3]

Однако антагонисты академического направления («Современник», «Искра», «Будильник») нашли способ выступить в защиту «бунтарей». На своих страницах они подчеркивали общий упадок и кризис исторической живописи, произведения которой давно отличались пустотой содер-

[2] Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти т., т. VII. М., 1958, с. 222. Далее ссылки на это издание привод ятся в тексте.

[3] См.: Стасов В. Собр. соч., т. I, отд. 2. СПб., 1894, стлб. 162, примеч. 1.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

жания и приблизительным историзмом.[4] Прогрессивной критикой того времени был резко поставлен вопрос о свободе художественного творчества, о содержании современного искусства и его отношении к действительности.[5] Свои позиции она стремилась подкрепить достижениями европейской эстетической мысли. Под редакцией Н. Курочкина осуществляется перевод трактата П.-Ж. Прудона «Искусство. Его основания и общественное назначение». Книга выходит в свет в 1865 году, сразу вслед за парижским изданием.[6] В предисловии к ней Н. С. Курочкин пишет: «Силою обстоятельств вопрос об искусстве и полемика о нем были выдвинуты у нас в последнее время на первый план. . . некоторые места из предлагаемой нами книги могут рассматриваться как последнее слово наших споров, нашей полемики».[7]

Действительно, призыв Прудона: «Пусть искусство сделается рациональным, пусть оно научится выражать стремления нынешней эпохи!» (с. 213) — и его мысль о том, что все в окружающей жизни может «служить предметом для искусства» (с. 22), в значительной мере перекликались с идеями «шестидесятников».

Обращение революционных демократов к эстетическому трактату французского социалиста глубоко закономерно и оправдано всем ходом развития эстетической мысли в России. В глазах прогрессивной части русского общества французское искусство давно было единственным в Европе, «говорящим прямо от себя, без подсказов со стороны какого-либо направления, принятого академией или важным лицом».[8]

Автор трактата уже в 40-е годы имел в России устойчивую репутацию ученого, которому принадлежит последнее слово в социальных науках. Книга Прудона «Что такое собственность?» (1840) почти сразу после ее выхода в свет обсуждалась А. Герценом, П. Анненковым и М. Бакуниным.[9] Герцен был убежден, что знакомство с работами Прудона является обязательным для интеллектуальной закалки его молодого современника. Для него Прудон — «один из сильнейших, из самых смелых мыслителей. . . века».[10] Имя Прудона в воспоминаниях Герцена о московском периоде его жизни стоит непосредственно после имени Гегеля.[11] В своих литературных произведениях Герцен часто упоминает и цитирует Прудона.[12] В письмах к французскому социалисту он делится соображениями о путях развития России, о ее сложных отношениях с Западной Европой.[13]

Вторая книга Прудона «Система экономических противоречий, или философия нищеты» (1846) также надолго приковала к себе внимание мыслящих русских. Ее обсуждение становится темой переписки П. Анненкова с К. Марксом. Слабые стороны учения Прудона с трудом открывались русскому публицисту. На его восприятии книги «Философия нищеты» как бы лежала печать общей увлеченности в России идеями Прудона. К. Маркс вынужден долго и терпеливо объяснять Анненкову недостатки сочинения Прудона. Полностью убедить своего корреспондента в справедливости этих критических замечаний ему, однако, так и не удалось.[14] Как и все русские в эти годы, Анненков восхищен антибуржуазным пафосом работ Прудона, смелостью доводов логики. Эти стороны его сочинений многих тогда держали в плену. «. . .На севере существует ваш культ»,[15] — откровенно признается Герцен в одном из писем к Прудону.

Несмотря на то что сочинения Прудона были запрещены в России, их открыто читали и обсуждали в кружке Петрашевского.

Большой интерес проявляли в России к личности Прудона. В известных «Письмах из Парижа» П. Анненков дополняет представления русских о Прудоне неко-

---

[4] См.: Дмитриев И. И. 1) Расшаркивающееся искусство. — Искра, 1863, № 37, с. 503—511, № 38, с. 521—530; 2) Шалости наших художников. — Будильник, 1865, № 87, с. 346. — За подписью: Филарет; 3) Что требуется от искусства? — Там же, № 95, с. 377. — За подписью: Филарет; Антонович М. 1) Современная эстетическая теория. Рец. на кн.: Н. Г. Чернышевский. Эстетические отношения искусства к действительности. Изд. второе. С-Пг., 1865. — Современник, 1865, март, с. 40, 74; 2) Лже-реалисты. — Там же, июль, с. 53—93.

[5] Беспалова Н. И., Верещагина А. Г. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX в. М., 1979, с. 32—33.

[6] Proudhon P.-J. Du principe de l'art et de sa destination sociale. Paris, 1865.

[7] Курочкин Н. Предисловие в кн.: Прудон П.-Ж. Искусство. Его основания и общественное назначение. СПб., 1865, с. III. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

[8] Анненков П. В. Парижские письма: Письмо шестое. — Современник, 1847, июнь, отд. IV, с. 231.

[9] Бурлак В. Н. Отражение идей марксизма в русской прогрессивной общественной мысли 1840—60-х годов. М., 1980, с. 52.

[10] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. XI. М., 1957, с. 235.

[11] Там же, т. III, с. 328—329; т. X, с. 184.

[12] Там же, т. VI, с. 58, 73, 123—125, 142, 529; т. VII, с. 242, 253; т. VIII, с. 163.

[13] Там же, т. XXV, с. 285.

[14] Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 306.

[15] Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. XXV, с. 284.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

торыми собственными наблюдениями. В частности, он отмечает крайнюю полемичность общественных выступлений философа. В умении заострить проблему Анненков не видит Прудону равных. Поэтому его раздражают «обоюдоострые статьи, порожденные заразительным примером Прудона и, как у всех подражателей сильного образца, лишенные настоящего значения».[16] Автор «Писем из Парижа» не оставляет без внимания и серьезные разногласия между Прудоном и Жорж Санд, видимо, вызванные существенным различием их взглядов на роль женщины в обществе.[17]

Постепенно имя Прудона становится приметой интеллектуальной жизни в России 40—60-х годов. Его упоминания в романе Гончарова «Обрыв» достаточно, чтобы датировать время действия и представить его героев Волохова и Веру мыслящими людьми своего времени.[18]

К подобному способу характеристики героев прибегает и И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» (1862). Самый жаркий философский спор в кружке Кукшиной закипает в момент, когда она произносит имя Прудона.[19] Мгновенно возникает повод для того, чтобы обсудить вопрос об эмансипации женщин, а вслед за этим и другие актуальные вопросы времени: об отношении к авторитетам, к браку. Имя Прудона для образованного русского человека как бы несло в себе некий полемический заряд и побуждало к размышлениям, вызывало желание высказаться даже в том случае, когда он не разделял прудоновских идей.

В 40-е годы сочинения Прудона изучает молодой Лев Толстой. Они оказывают сильное воздействие на его представления об общественном прогрессе. На всю жизнь Толстой остается приверженцем Прудона. Как и французский социалист, он всерьез отрицает крупную промышленность, выступает против эмансипации женщин, идеализирует натуральное хозяйство и признает, что бедность — единственная норма и регулятор общественных отношений.[20] Эстетические воззрения Толстого также несут печать идей Прудона. Многие положения его трактата «Что такое искусство?» (1897) близко перекликались с сочинением Прудона «Искусство. Его основания и общественное назначение».[21] Как и французский философ, в резко полемической, категорической форме Толстой утверждает мысль об извращенности художественного вкуса в современном ему обществе, о том, что произведения истинного искусства, доступного народу, подменяются рутинными, полными изощренной условности.[22] Его критика искусства христианского мира во многом продолжает и дополняет критический очерк истории искусств, сделанный Прудоном. Вслед за ним Толстой низвергает общепризнанные авторитеты. Со всей страстностью он развивает одну из основных идей Прудона — идею о служении искусства народу.

В постановке общественных, эстетических и философских вопросов Лесков, особенно в последние годы жизни, обнаруживает существенную близость Толстому. Однако путь его идейного развития был извилист и непрост. Сочинения Прудона были с жадностью прочитаны им уже в юношескую пору.[23] В 1861 году внимание Лескова привлекает книга Б. Гильдебрандта «Историческое обозрение политико-экономических систем» (СПб., 1861), одна из глав которой последовательно излагает экономическое учение Прудона. По этому изданию Лесков настойчиво рекомендует ознакомиться со взглядами Прудона молодому А. С. Суворину.[24] Но вопреки общему увлечению идеями Прудона в 40—60-е годы, Лесков относится в этот период к его учению и тем, кто его пропагандирует, с большой предубежденностью и даже иронией. Это отношение к французскому социалисту Лесков выразил в романе «Некуда» (1864). Преднамеренно карикатурно он изображает кружок нигилистов, в котором идеи Прудона служат не руководством к действию, а материалом для схоластической «проработки». Но и для этих героев Лескова Прудон не является вполне авторитетным мыслителем. «Я теперь работаю над Прудоном. Он часто завирается, и над ним надо работать да работать, а то сейчас загородит вздор» (II, 429), — заявляет эмансипированная девица Бертольди. Она абсолютно уверена в справедливости своей оценки Прудона. Опасаясь, что новый член кружка Лиза Бахарева будет не в состоянии критически оценить его сочинения, Бертольди ее поучает: «Только работайте над ним, а не берите ничего на веру: у него тоже есть подлая жилка» (II, 429).

Трактат Прудона об искусстве, очевидно, был прочитан Лесковым в год его выхода в свет в переводе под редакцией Курочкина. Работая в 1865—1866 годах

---

[16] Анненков П. В. Письмо из Парижа. — Современник, 1847, февраль, отд. IV, с. 151.

[17] Там же, с. 149.

[18] Гончаров А. И. Собр. соч. в 8-ми т., т. 6. М., 1980, с. 168.

[19] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Соч. в 15-ти т., т. VIII. М.—Л., 1964, с. 262.

[20] Идеи социализма в русской классической литературе. Л., 1969, с. 316.

[21] Лекции по истории эстетики, кн. 3, ч. 1. Под ред. М. Кагана. Л., 1976, с. 141.

[22] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 30. М., 1951, с. 27—202.

[23] См.: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Л., 1954, с. 325.

[24] См.: Суворин А. С. Недельные очерки и картинки. — С.-Петербургские ведомости, 1870, 11 янв. — За подписью: Незнакомец.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

над романом «Островитяне», писатель самым непосредственным образом откликается на это издание. Проблемы общественной значимости искусства прямо обсуждаются в спорах действующих в романе лиц.[25] В этих эпизодах «Островитян» слышны отголоски идей Прудона. Прудоновские взгляды на искусство герои Лескова излагают достаточно близко к тексту трактата. Прудон, например, сочувственно цитирует Платона: «Платон был прав, изгоняя из республики художников и поэтов» (с. 410). Как и древнегреческий философ, он отводит поэтам и художникам второстепенную роль в обществе. Прудон убежден, что «общество... можно считать погибшим, если оно позволяет художнику вдохновлять себя и руководить собою» (с. 410). Лесков вкладывает в уста одного из участников спора — сторонника гражданского направления в искусстве — высказывание, которое совпадает с тем, что говорит Прудон. Однако эта скрытая цитата из прудоновского трактата не только передает мысль его автора, но и обнаруживает ироническое отношение Лескова к некоторым положениям эстетики Прудона. Его герой, сославшись, как и Прудон, для убедительности на Платона, предлагает вовсе запретить художественное творчество, а художников приспособить на пользу обществу к физическому труду.

Формулировку темы спора «об искусстве вообще и в различных его применениях в жизни» (III, с. 82) можно также воспринять как перефразированное с пародийной целью название трактата французского философа.

Подобное отношение Лескова к сочинению Прудона в 60-е годы, вероятно, порождено различными причинами. Прежде всего оно было обусловлено идейной позицией автора «Островитян». Он не был сторонником революционных переворотов в социальном устройстве. Отталкивал его также и радикализм новейших эстетических теорий. Однако ироническое отношение Лескова к Прудону, видимо, питали не одни идейные соображения. В лесковской оценке Прудона могли сыграть свою роль антипатии Лескова к некоторым последователям французского философа в России. Личность и произведения французского социалиста особым пиететом в эти годы окружило левое крыло демократической журналистики. Это были те самые «нетерпеливцы», с которыми Лесков полемизировал в статье «О замечательном, но не благотворном направлении некоторых современных писателей» [26] и которых карикатурно изобразил в «Некуда». Выход романа в свет стал поводом для еще более резкого размежевания Лескова и революционно настроенной молодежи. В. Зайцев и Д. Писарев в своих откликах на это произведение заклеймили Лескова как пособника III отделения и надолго «отлучили» от демократической литературы.[27] Вполне естественно, что в конфликтной ситуации скептицизм Лескова по отношению к признанным его противниками авторитетам [28] проявлялся с большей силой.

Позиция демократов, группировавшихся вокруг редакции «Русского слова», с точки зрения Лескова, отличалась крайней тенденциозностью. Писателю, который шел против «течения», она казалась неприемлемой, тем более что с особой силой тенденциозность этого журнала сказывалась в решении важных для Лескова вопросов, связанных с искусством. Значение искусства в жизни человеческого общества признавалось теоретиками «Русского слова» с оглядкой на теорию искусства Прудона — ограниченным и утилитарным. В пылу журнальной полемики с «Современником» по поводу второго издания диссертации Н. Г. Чернышевского сторонники гражданского направления в искусстве из «Русского слова» впоследствии дошли до полного отрицания искусства. В спорах героев «Островитян» Лесков намеренно обнажает вульгаризаторскую сущность взглядов некоторых истолкователей теорий Чернышевского и Прудона.

Причастность Лескова к спорам об искусстве объяснима также в связи с другими обстоятельствами. Рецензенты трактата Прудона Е. Тур (Е. В. Салиас), Incognito (Е. Ф. Зарин), Е. Н. Эдельсон были из круга лиц, близких Лескову. С двумя последними его связывало в этот период тесное дружеское и творческое общение. Все они выступили против социологической части эстетики Прудона, в которой он подверг резкой критике принцип «искусства для искусства» и выдвинул принцип оценки искусства с точки зрения «людей практики», т. е. «бесчисленного множества».

В 1865 году появилась умеренная по тону оценок и обстоятельная по содержанию рецензия Е. Тур в «Голосе». Лесков не мог обойти ее своим вниманием. Совсем недавно, в 1861 году, он сотрудничал в газете Е. Тур «Русская речь». Выступая с проблемными статьями по вопросам истории, женской эмансипации и другим в «Русской речи», Лесков в то время охотно посещал литературный салон Е. Тур. Вполне вероятно, что его посетители затрагивали в своих беседах и проблемы искусства. В 1861 году в русском обществе шли оживленные споры по поводу выставки в Академии художеств, статей В. Стасова, Д. Минаева, откликнувшихся в печати на это крупное собы-

[25] См. комментарий к роману «Островитяне» (III, 586).

[26] Русская речь, 1861, 27 июля.

[27] Русское слово, 1864, № 6, с. 48; 1865, № 3, с. 11—16.

[28] О Прудоне см.: Русское слово, 1865, №№ 1, 4.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

тие в культурной жизни России. В художественной критике возникли новые термины «нравоописательная живопись» и «бытовая живопись», происхождение которых было следствием глубоких раздумий о предназначении изобразительного искусства. В своей оценке Прудона Е. Тур оказывается верна русской прогрессивной критике начала 60-х годов. Утверждение содержания в искусстве и его общественной значимости, с ее точки зрения, не означает отрицания искусства как особой формы творческой деятельности человека. От искусства «нельзя требовать непосредственной пользы и непосредственной морали», — писала Е. Тур. Однако она считала, что можно «назвать пользою и моралью» благотворное действие произведений искусства «на ум, воображение и сердце человека».[29] Эта мысль рецензентки, высказанная в противовес идеям утилитаристов из «Русского слова», была близка эстетической позиции автора «Островитян». Прямых дружеских контактов с писательницей к этому времени у Лескова уже не существовало. В лице маркизы де Бараль она была зло осмеяна в «Некуда». Однако статья Е. Тур — опытного художественного и литературного критика — могла убедить Лескова в справедливости его скептического отношения к трактату Прудона.

В большей степени, однако, эпизод спора в «Островитянах» был, видимо, подготовлен общением Лескова с Е. Ф. Зариным и Е. Н. Эдельсоном, которые в эти годы всерьез заняты полемикой с эстетическими взглядами Прудона и его последователей в России. Оба литератора имели возможность обсудить с Лесковым содержание их статей по поводу трактата. Всех их объединяло сотрудничество в «Отечественных записках», по вечерам они сходились в литературном кабачке «Пер Шухард», обстановка которого способствовала дружескому непринужденному общению.[30] Зарин и Эдельсон пользовались особой симпатией Лескова в эти годы. «Человеку, которого более всех присных и знаемых возлюбила душа моя»,[31] — гласит лесковская надпись на фотографии 1866 года, подаренной Зарину. Семейство Зариных, жившее в непосредственной близости от Лесковых, упоминается в «Русских общественных заметках» и некоторых художественных произведениях писателя.[32] Зарин является довереным лицом Лескова в редакции «Отечественных записок».

Не менее значительно для Лескова в эти годы общение с Эдельсоном, который обладал исключительными познаниями в области литературы и искусства. Эдельсон был представителем «эстетической критики». Его полемика с демократами, выдержанная в корректных тонах, отличалась последовательностью. Интересна оценка личности Эдельсона, данная Лесковым в некрологе, который появился на страницах «Литературной библиотеки» анонимно. «Как частный человек, как друг, приятель, товарищ и знакомый, Е. Н. Эдельсон пользовался всяческим уважением»,[33] — писал автор некролога. Он обнаруживал также полную осведомленность в том, какого направления мысли придерживался Эдельсон. Лесков называет его «нанискреннейшим идеалистом» и горько сетует на то, что «в глазах некоторых из русских периодических изданий: „Современника“, „Искры“, „Русского слова“» это «было достаточным поводом к бесконечному ряду обид, издевательств,[34] которым нельзя подвести никакого итога».[35] Все это свидетельствует о том, что к эстетической позиции Эдельсона и его критической деятельности Лесков относился с явной симпатией. Полемика критика с левыми журналами, видимо, постоянно была в центре внимания дружеского кружка литераторов. Не случайно в некрологе Лесков вспоминает: «В приятельской беседе он иногда еще и позволял себе добродушно указывать на некоторые грубейшие промахи литературных невежд, нагло выдающих себя за геннев, способных произносить непогрешимые речи. . . и часто говорил шутя, что рьяные реалисты уже слишком строги и суровы к нему».[36]

Однако полного единогласия в спорах, возникших по поводу трактата Прудона, в кругу Лескова достигнуто не было. Зарин со всей категоричностью и присущей ему непримиримостью отрицал как критическую часть трактата Прудона, так и его положительную программу. Эдельсон пытался прочитать трактат по-своему, доказать, что Прудон не желает отвергнуть искусство вообще. Он уверен,

---

[29] Тур Е. Книга Прудона об искусстве. — Голос, 1865, 4 сент.

[30] Лесков Н. С. Картины прошлого. — Новое время, 1883, 12 янв.

[31] Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова, с. 226.

[32] [Б. п.]. Русские общественные заметки. — Биржевые ведомости, 1869, 28 сент.; Лесков Н. С. Картины прошлого. — Новое время, 1883, 12 янв.; См. также: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова, с. 188—189, 226—227; Лесков Н. Собр. соч. в 11-ти т., т. X, с. 258, 259, 260, 263, 264, 308, 528.

[33] С. Евгений Николаевич Эдельсон. Литературный некролог. — Литературная библиотека, 1868, № 2, с. 3. Некролог внесен А. Лесковым в картотеку публикаций Н. Лескова без подписи (хранится в архиве Орловского музея Н. С. Лескова).

[34] См.: Буренин В. П. Княгиня Нелли. Светская сказка. — Искра, 1863, № 37, с. 517. — За подписью: Вл. Монументов.

[35] Литературная библиотека, 1868, № 2, с. 1.

[36] Там же, с. 2—3.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

что ученики и последователи Прудона в России высказывают идеи, о которых тот и не дерзал помышлять.[37] Позднее рецензент «Недели» Н. Александров в статье «Прудон об искусстве и сатурналии наших эстетиков по поводу этого» объяснит, что трактат Прудона «частично был признан идеалистами» потому, что те «ожидали увидеть во французском социалисте только отрицателя искусства».[38] Однако случилось так, не без иронии заключает Александров, что «Прудон угодил разом двум философским лагерям».[39] Реалисты переосмыслили его идеи. К. Случевский, например, утверждал, что у Прудона «понимание будущего искусства, его настоящего призвания, его средств, довольно ясно и полно».[40] Поэтому он всерьез упрекает Incognito — Зарина за излишний критический пыл по отношению к прудоновскому трактату.

Эпизод спора в «Островитянах» скорее всего непосредственно связан со статьей Зарина «Прудон об искусстве».[41] Она и роман Лескова появились в «Отечественных записках» с разрывом всего в два месяца.

Зарин использует выход трактата в свет как повод для полемики с реалистами. Как и ранее, Прудон выполняет роль взрывчатого вещества, а когда «бой» разгорается, Зарин как бы забывает о нем. Всю силу своего полемического удара он переносит на «теоретиков» из «Русского слова». «Цинизм», «фурии», «умственная чернь» — именует он своих оппонентов, а их учение называет «омерзительным натурализмом».[42]

Зарин подвергает уничтожающей критике основные положения эстетики Прудона, ставшие неотъемлемой частью эстетического учения «Русского слова». Прежде всего он развенчивает принцип личного вкуса «бесчисленного множества» в оценке произведений искусства и принцип подчинения искусства «праву и обязанности».[43] Первый он называет «принципом беременных женщин» [44] и показывает, как следование ему на практике приводит к упрощенному восприятию искусства и полному непониманию его идейного содержания. «Должен ли художник быть рабом или учителем?»,[45] «Сапоги или Пушкин, Шекспир или гражданская каракатица, трезвые музыканты или искусные?» [46] — восклицает он по поводу второго, недоумевая, какому праву — гражданскому, уголовному или государственному — должно подчиняться искусство.

Острый характер полемики с «Русским словом» ощущается буквально в каждой строке статьи Зарина. Его положительная программа также выпад против «теоретиков», вслед за Прудоном яростно отвергавших принцип «искусства для искусства» как антигражданский. «„Искусство для искусства". Или это закон, или яблоко лучше искусства. Другого выбора нет»,[47] — решает он. В интерпретации Зарина формула, которую зачастую использовали для обозначения безыдейного, отвлеченного от жизни искусства, неожиданно обретает совсем иной смысл. Она означает, что цель искусства — искусство, т. е. выражение прекрасного, и что оно должно быть свободным от служения какой-либо доктрине, утилитарности, а то, что искусство существует для человека, по убеждению Зарина, все давно знают и не подвергают сомнению. Практически утвердить старый термин в новом значении Зарину, конечно, не удалось. Бесплодность этой попытки, по всей вероятности, была очевидна и для Лескова. Тем не менее, как и Зарина, Лескова, видимо, раздражал категорический тон, в котором велась дискуссия о назначении искусства на страницах «Русского слова» и «Современника». Полемисты то и дело впадали в крайности, что и дало писателю право изобразить их в своем романе в шаржированном виде: Лесков не жалеет красок, чтобы зло высмеять столкнувшихся в споре. С помощью уменьшительных суффиксов дан Лесковым портрет персонажа, который отрицал искусство с невозмутимым спокойствием и таким тоном, каким, вероятно, Пилат произнес свое «еже писах — писах» (III, 82). Это «белокурень-кий господинчик с жиденькими войлоковатыми волосами», названный Лесковым «тенористым дьяконом». Его оппонентом выступала дама из «ассортимента фраз ходячих в юбках», которая беспрестанно иронизировала и все свои усилия «устремляла только на то, чтобы не соглашаться» (III, 82).

Лесков не только пародирует манеру полемистов из «Русского слова» и «Современника», но черпает из их статей все аргументы pro и contra. С этой целью он обращается к рецензии В. Зайцева на второе издание диссертации Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1865).[48] по-

---

[37] Эдельсон Е. О значении искусства в цивилизации. СПб., 1867, с. 23—24.

[38] Неделя, 1868, № 2, стлб. 41.

[39] Там же, стлб. 42.

[40] Случевский К. Явления русской жизни под критикою эстетики, I. Прудон об искусстве, его переводчики и критик. СПб., 1866, с. 1.

[41] Отечественные записки, 1866, сентябрь, кн. 1, с. 123—144, кн. 2, с. 361—379. — За подписью: Incognito.

[42] Отечественные записки, 1866, сентябрь, кн. 2, с. 370.

[43] Там же, с. 368.

[44] Там же.

[45] Там же, с. 377.

[46] Там же, с. 368.

[47] Там же, с. 371.

[48] Русское слово, 1865, апрель, с. 80—95.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

служившей яблоком раздора в отношениях этих органов демократической печати. Участник спора в романе «Островитяне», яро выступающий за гражданское направление в искусстве, буквально повторяет слова Зайцева. Лесковский герой решительно утверждает, что «художество отжило свой век и что искусство только до тех пор и терпимо, пока человечество еще глупо; да и то терпимо в тех случаях, когда будет помогать разуму проводить нужные гражданские идеи, а не рисовать нифм да яблочки» (III, 82—83). Выражение «искусство. . . терпимо» непосредственно заимствовано у рецензента «Русского слова». Для Зайцева «произведения искусства. . . терпимы» и «заслуживают уважения» единственно тогда, когда «научают людей правильно смотреть» [49] на общественные вопросы. Мысль «теоретического дьякона» о том, что искусство существует только в силу недостаточного развития человечества, прямо перекликается с тем, что говорит по этому поводу в своей статье Зайцев. С присущей «теоретикам» «Русского слова» прямолинейностью [50] он делает вывод, что «искусство не имеет настоящих оснований в природе человека. . . что по мере совершенствования людей, оно должно падать и что оно заслуживает полного и беспощадного отрицания».[51]

Дальнейшие реплики упомянутого персонажа «Островитян» также представляют собой реминисценции статьи Зайцева. Как и Зайцев, с презрением отвергавший полотна художников, запечатлевших «голых женщин» и «кардиналов», лесковский персонаж пренебрежительно относится к традиционным темам классического искусства. Изображение Рубенсом обнаженного женского тела, в его восприятии, неприличный поступок. «Большой бесстыдник» (III, 83), — именует он художника. На протяжении спора это оскорбительное прозвище художников звучит дважды. Наконец сторонник гражданского направления в искусстве высказывается откровенно. По его мнению, всех жрецов свободного искусства «к делу надо обратить. . . Кто к чему годен окажется: кто камни тесать, кто мосты красить» (III, 83).

Пристрастная оценка деятельности художников и идея их насильственного приобщения к производительному труду были высказаны Зайцевым в связи с выводом о ненужности и «вредности» искусства. Он рассматривает искусство как социальное бедствие. Зайцев выделяет художников в особый класс «бесстыдников». Несметные толпы праздных артистов и художников, «паразитно живущих в обществе», грабят государство,[52] — заявляет он.

Аргументы противоположной стороны, отстаивающей самостоятельное значение искусства в жизни, не сформулированы в «Островитянах» с достаточной ясностью. Однако из диалога следует, что противница «белокуренького господинчика» восстает как раз против тех идей «разрушителей эстетики», которые вызвали горячее несогласие М. Антоновича в его статье «Лже-реалисты». Впечатление, что статья М. Антоновича присутствует в поле зрения Лескова в момент его работы над «Островитянами», усиливает и другой факт. Героиня Лескова, как выяснилось в споре, втайне исповедует теорию «искусства для искусства» (III, 83). Как известно, статья Антоновича, в которой он утверждал, что искусство должно стремиться к дидактике, а художник должен решать современные вопросы,[53] завершалась признанием «чистого искусства». «Конечно, мы признаем искусство для искусства, т. е. для эстетического наслаждения»,[54] — писал ее автор. Видимо, позиция публициста «Современника» в глазах Лескова была также в достаточной степени противоречива и не находила поддержки.

Упомянутый спор автор «Островитян» обрывает нарочито грубой выходкой художника Истомина, который берет в нем перевес случайным преобладанием физической силы. Истомин обрисован в романе как апологет «чистого искусства», академического направления в живописи. Круг его творческих интересов ограничен мифологическими сюжетами, которые он разрабатывает технически безукоризненно, но без всякой попытки современной их интерпретации. Лесков высмеивает как творческую программу художника, так и его легкомысленное отношение к жизни, выражая сочувствие лишь безвременно погибшему в нем таланту рисовальщика. Воплощенный в образе Истомина ходульный тип художника романтического склада писатель отвергает всей логикой сюжета «Островитян». С его точки зрения Истомин не способен сказать «новое слово» в искусстве. Практически Лесков оказывается между двух лагерей и решает вопросы искусства, опираясь лишь на собственный жизненный опыт и врожденное эстетическое чутье. Но позиция Лескова по сути своей глубоко демократична. Она находит выражение уже в его ранних статьях 1860 года, где Лесков размышляет о целях и задачах художественного творчества. Он страстно отвергает мысль, что «предметом литературы должно быть что-нибудь особенное, а не то, что всегда перед глазами».[55] «Вековым

[49] Там же, с. 90.

[50] См.: Кузнецов Ф. Публицисты 1860-х годов: Круг «Русского слова». М., 1981, с. 195.

[51] Русское слово, 1865, № 4, с. 84.

[52] Там же, с. 91.

[53] Современник, 1865, июль, с. 92.

[54] Там же, с. 89.

[55] Современная медицина, 1860, № 32, с. 567.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

хламом предубеждений», по его мнению, является боязнь эстетствующих литераторов показать «противящиеся гигиене стороны общественной жизни».[56] В то же время попытка Лескова до некоторой степени смягчить обвинения в адрес героя «Островитян» убеждает и в другом. Лесков полагает, что безыдейность художника может быть частично искуплена техническим совершенством его произведений, искренним и бескорыстным служением искусству.

Нетерпимость Лескова к крайностям в понимании вопроса о предназначении искусства, проявившаяся в «Островитянах», внушала к роману осторожное отношение критики. Между тем он представляет существенный интерес, так как в спорах его героев Лесков фиксирует момент острой идеологической борьбы в русском обществе и проясняет собственную эстетическую позицию в этот период. Сопоставление романа «Чертовы куклы» с этим произведением Лескова свидетельствует о значительной эволюции эстетических взглядов писателя.

Роман «Чертовы куклы» в его последней, увидевшей свет редакции создавался много позднее «Островитян». Основная работа над ним велась в 1889 году, когда многие былые оценки и представления были пересмотрены Лесковым.

Несравненно более резким становится критицизм Лескова по отношению к теории «чистого искусства», которая обрела в эпоху 80-х годов откровенно реакционный смысл. Забота о том, чтобы искусство не сбивалось с верного пути реалистического изображения жизни, не покидает Лескова. Современник писателя А. Фаресов приводит в своей книге о нем такое высказывание автора «Чертовых кукол»: «Пошлость пушкинским стихом катают (говорит Лесков о поэтах «чистого искусства», — *А. Ш.*) и не подозревают, что поскольку литература отвечает нашим нуждам, постольку она и значительна».[57]

В беседе с критиком В. Протопоповым в 1894 году писатель заявляет: «Я совершенно не понимаю принципа „искусство для искусства“: нет, искусство должно приносить пользу, — только тогда оно и имеет определенный смысл. Искусства рисовать обнаженных женщин я не признаю».[58]

Решающим для Лескова в вопросах искусства и художественной критики становится влияние Л. Толстого, с которым в конце 80-х годов у автора «Островитян» и «Чертовых кукол» возникают дружеские отношения. При посредстве Л. Толстого Лесков знакомится с художником Н. Ге, ставшим, по всей вероятности, одним из прототипов Мака в «Чертовых куклах».[59]

В начале 1889 года, в период наиболее интенсивной работы над своим романом о художниках, Лесков прочитывает корректурный оттиск статьи Л. Толстого «Об искусстве» (XI, 427). Позднее статья была переработана автором в трактат «Что такое искусство?». «. . .Это превыше всех похвал за ясность, точность и вразумительность» (XI, 427), — пишет Лесков В. Г. Черткову. Некоторые из идей Толстого оказываются чрезвычайно близки Лескову. Как и Толстой, в эти годы Лесков выступает против ремесленничества в искусстве. Толстовская мысль о том, что «настоящее. . . художественное произведение нельзя делать по заказу»,[60] находит непосредственное воплощение в романе Лескова. Героя «Чертовых кукол» Мака Лесков наделяет чертами, какими в представлении Толстого должен обладать настоящий художник. Его герой — человек «нравственно просвещенный», причастный «общей жизни человечества».[61]

С других позиций, видимо, была перечитана в это время и книга Прудона об искусстве, оказавшая в свое время воздействие на формирование художественных вкусов Толстого. Ее демократический пафос теперь настолько увлек Лескова, что идеи и наблюдения философа получают в «Чертовых куклах» непосредственное отражение и развитие.

Вполне возможно, что именно под влиянием трактата Прудона в сознании Лескова складываются типы главных героев его романа.

«. . .Есть художники, которые сумели, служа искусству, сохранить философский навык мыслящего ума: говорить об искусстве — их дело» (с. 13), — считает Прудон. Лесков наделяет своего героя Мака способностью рассуждать об искусстве и уважительно именует его «мыслителем». С точки зрения других героев романа, Мак обладал «превосходными идеями» (VIII, 499). В характеристике от автора Лесков раскрывает их суть: «Мака занимали общественные вопросы, он скорбел о человеческих бедствиях и задумывался над служебными целями искусства» (VIII, 488). Своим стремлением понять назначение художника, его место и роль в обществе этот лесковский герой отвечает тем представлениям о передовом художнике, которые были свойственны Прудону.

---

[56] Там же.

[57] Фаресов А. И. Против течений. СПб., 1904, с. 389.

[58] Цит. по: Русские писатели о литературном труде, т. 3. Л., 1955, с. 205.

[59] См.: Шелаева А. А. Н. Н. Ге как прототип одного из героев романа Н. С. Лескова «Чертовы куклы». — В кн.: Творчество Н. С. Лескова. Курск, 1977, с. 68—78. (Научн. тр. Курского пед. ин-та, т. 76 (169)).

[60] См.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание, т. 30, с. 215.

[61] Там же, с. 213.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Образы Фебуфиса и Пика, которых Лесков противопоставляет Маку и заставляет вступить с ним в идеологический конфликт, также могли быть навеяны сочинением Прудона. Размышляя о природе эстетического восприятия, автор трактата особо выделяет категорию людей с «развращенным эстетическим чувством». Прудон подмечает в таких людях «охлаждение души, непостоянство сердца и переменчивость», которые происходят от неспособности сохранить верность определенному эстетическому идеалу. По мнению философа, прекрасное в глазах таких людей быстро обесценивается, красота утрачивает свойственное ей нравственное начало: «Человек, в котором эстетическое чувство развращено, будучи принужден постоянно искать нового идеала, беспрестанно меняет вкусы, привычки, друзей, любовниц и не может никогда на чем-нибудь одном остановиться» (с. 31). Своей жизненной практикой и творчеством лесковские художники Фебуфис и Пик полностью отвечают характеристике обозначенного Прудоном типа. Фебуфис легко меняет демократические убеждения на монархические, родину на страну герцога, работает во всех жанрах, с легкостью берется за любую тему. По словам Пика, Фебуфис пишет «все», и даже идейный Мак при всем желании «научить его выбирать лучшее» (VIII, 489) не способен сделать это. Непостоянен Фебуфис и в любви. Пик подыскивает этому непостоянству философское объяснение: он считает, что «переменять привязанности очень весело» (VIII, 488—489), и вплоть до своего принудительного брака и трагического разрыва с женой буквально во всем следует своему другу и покровителю.

Некоторые из наблюдений Прудона как бы прямо реализуются Лесковым в сюжете «Чертовых кукол». Так, например, его вывод о том, что покупатели ищут больше всего у артистов «развратных сюжетов» (с. 300), явственно перекликается с эпизодами посещения салона Фебуфиса знатными путешественниками.

В подтверждение своей мысли Прудон приводит рассказ знакомого живописца о его высокопоставленном покровителе. Ознакомившись с работами художника, он изрек: «Все это хорошо. . . но недостаточно весело, вы меня понимаете? . .» (с. 301).

Тем не менее философ убежден, что подлинный художник найдет в себе силы пренебречь материальной выгодой и отвергнуть «развратный сюжет». Он не может «показать Мессалины, предающейся своей ненасытной страсти» (с. 302). «Неприличный жест, сладострастная поза, нагота», с его точки зрения, не достойны живописного изображения даже в изобличительных целях.

Фебуфис у Лескова не гнушается самых соблазнительных сюжетов. Он смело разрабатывает сюжет о Мессалине. Это полотно Фебуфиса вызывает откровенный восторг герцога, в то время как другие заслуживают лишь сдержанную его похвалу, которую герцог выражает восклицанием: «Но все это не то» (VIII, с. 506).

Сюжет произведения Фебуфиса назван в романе Лескова «Messaline dans la loge de Lisiska», т. е. «Мессалина в ложе Лицизки» (VIII, с. 503). В прижизненных изданиях он, по мнению автора, не требовал перевода. В 11-томном Собрании сочинений перевод дан с ошибкой: «Мессалина в хижине Лизиска» (VIII, с. 506). Вопрос о переводе необходимо уточнить, так как это имеет принципиальное значение. Интересно заметить, что в правильном переводе данное Лесковым по-французски название картины Фебуфиса отражает сюжет произведения французского художника М. Ш. Леру (M. C. Leroux) «Мессалина», которое демонстрировалось в Салоне 1868 года. М. Ш. Леру изобразил римскую императрицу на окраине Рима. Художник иллюстрирует рассказ историка [62] о том, как, изменив свою внешность, под фальшивым именем куртизанки Лицизки Мессалина проводила ночи в городских лупанарах.

Примечательно, что со времен Тацита [63] и Ювенала [64] образ Мессалины стал своего рода символом для обозначения в искусстве всего нескромного, откровенно порочного. Появление картины М. Ш. Леру в Салоне 1868 года могло быть связано с моментом острой идейной борьбы во французской художественной критике. Его произведение как бы полемически заострено против мысли Прудона о существовании для искусства «запретных» тем. Так или иначе все эти факты говорят о том, что Лесков внимательно следил за европейской художественной жизнью и глубоко вникал в происходящие в ней процессы.

Интерес Лескова к эстетическим взглядам Прудона проявляется и в других эпизодах романа «Чертовы куклы». Отголоски идей французского философа явственно слышны в полемике Фебуфиса с «одним из лучших тогдашних судей искусства» (VIII, 538). Европейский критик выступил в печати с разбором полотна Фебуфиса и порицал художника за выбор «величественного и смелого» (VIII, 537), но «мертвого сюжета» (VIII, 538). Фебуфис в ответ разразился обстоятельным теоретическим сочинением. Полемика возникла вокруг вопроса об исторической живописи и в значительной степени напоминала изложенный Прудоном в его трактате известный спор между «классиками» и «романтиками». По содержанию, стилю и терминологии многие тезисы Фебуфиса и его европейского оппонента близки аргументам представителей этих

[62] Larousse P. Grand Dictionnaire, v. 11.

[63] См.: Тацит Корнелий. Анналы. К. 11.

[64] См.: Ювенал. Сатиры VI, X.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

направлений в формулировке Прудона. Строгий критик оценивает произведение художника с позиций романтической школы. Не случайно «огромное полотно», созданное Фебуфисом в стране герцога, названо в романе «каким-то смешением псевдоклассицизма и псевдонатурализма» (VIII, 537). И далее Лесков как бы намеренно использует те термины, которые в сознании его современников могли ассоциироваться с эстетическими взглядами Прудона. Художественный критик упрекает Фебуфиса в «рутинности и бесплодности» (VIII, 538) замысла его произведения, далекого от реальной жизни. Совершенное техническое исполнение еще более подчеркивает бледность замысла, ибо настали времена, считает критик, когда «здравый ум просвещенного человека отказывается высоко ценить художественные произведения, ласкающие одно зрение» (VIII, 538). С подобными упреками обращаются «романтики» к представителям «классической» школы у Прудона: «С вашими правилами, с вашими рутинными красотами, с вашим форменным изяществом вы губите искусство» (с. 117), — утверждают они.

Фебуфис в своем ответном слове отчасти повторял аргументы «классиков» из трактата Прудона, которые доказывали, «что красота, как и истина и справедливость, не подчиняются ограничениям, и в отношении их бессмысленны те или другие. . . требования» (с. 118). Он твердил, что «свободен от предрассудка, желающего запрячь свободное искусство в плуг и подчинить музу служению пользам того или другого порядка» (VIII, с. 539).

Круг примеров из текста можно увеличить. Однако в заключение хотелось бы осветить причины, которые побудили Лескова при создании его романа о художниках штудировать трактат Прудона и каталоги французских выставок. Этот факт свидетельствует о пристальном внимании Лескова к философской и художественной мысли Запада. Как и у других передовых представителей русского общества, оно, видимо, было стимулировано попыткой самодержавия отгородить Россию от тлетворного влияния Европы. Эту тенденцию в русской политической жизни Лесков хорошо ощущал, и она нашла отражение в его произведениях «Русское общество в Париже», «Загон» и др. В «Чертовых куклах», где под видом страны герцога изображена Россия, самодержавный правитель стремится всеми силами изолировать художников от «живых веяний» (VIII, 538) с Запада и заставить их работать по отечественным академическим программам.

Влияние передовой западноевропейской культуры на Россию для писателя казалось освежающим и животворным. Бытующее мнение о Лескове как о писателе, не имевшем точек соприкосновения с европейской культурой, представляется глубоко неверным.

Ю. В. Лебедев

С. В. МАКСИМОВ И Н. А. НЕКРАСОВ

«Это удивительно скромный человек и далеко не оцененный по достоинству на своей родине, где его имя очень популярно, но не гремит, как гремело бы за границей, если бы Сергей Васильевич Максимов, только очень недавно избранный в почетные академики Императорской академии наук, был писателем иностранным. . . Но такова уж судьба русского писателя за очень немногими исключениями»,[1] — так говорил буквально за несколько месяцев до смерти С. В. Максимова его биограф литературовед П. В. Быков.

С тех пор прошло восемьдесят лет, восстановивших многие литературные репутации. Но имя С. В. Максимова известно лишь узкому кругу специалистов. В советское время его произведения, в сущности, не издавались (счастливым исключением являются только «Крылатые слова»). Творчество Максимова не получило достойной оценки и в нашем литературоведении.

А между тем еще М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности, наравне с трудами Даля, Мельникова, Якушкина и других».[2]

Мало назвать Максимова беллетристом-этнографом. Такое «определение» понижает ценность его творческого наследия, обедняет вклад писателя в историю

[1] Быков П. В. Исследователи русской жизни. С. В. Максимов. — Живописная Россия, 1901, № 4, с. 52.

[2] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти т., т. 9. М., 1970, с. 440.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

русской литературы и общественной мысли середины и второй половины XIX века. Максимов, конечно, имел незаурядный дар ученого-этнографа, но собственно этнографическими вопросами он никогда не ограничивался, оставаясь еще и талантливым писателем, чутким к движению народной жизни, народного сознания.

Русская литература XIX века в лице своих гениев, творцов классического романа, создавала обобщенный, синтезированный образ народной России. Но такая обобщенность требовала отвлечения от реального многообразия и пестроты народного мира, от индивидуальной неповторимости каждого уголка, каждой деревушки на бескрайних русских просторах. А ведь еще в начале 1840-х годов В. Г. Белинский с удивлением и восхищением писал: «Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь, — все это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе, и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других элементов, из которых иные родственны, а иные совершенно чужды ему! Мало этого: сколькими оттенками пестреет сама Великороссия не только в климатическом, но и в общественном отношении! Северная полоса России резко отличается от средней, а средняя — от южной. Переезд из Архангельска в Астрахань, с Кавказа в Уральскую область, из Финляндии в Крым, — все равно, что переезды из одного мира в другой. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса — какие резкие контрасты! Какая пища для ума наблюдательного, для пера юмористического!».[3]

У Белинского, завороженного богатствами российских духовных просторов, не уставала рука от таких перечислений-призывов, адресованных «наблюдательному уму» русских писателей-демократов. Призывы не остались без отклика. Слова Белинского стали для писателей типа Максимова делом всей жизни. Максимов исходил, исколесил вдоль и поперек всю Русь, по-своему восполняя пробел, волей-неволей возникавший в русской литературе, устремленной в своем магистральном русле к созданию больших, синтезирующих форм. Творчество Максимова отвечало другим, не менее насущным потребностям времени. В эпоху торжества русского классического романа, в период исключительного расцвета литературы как особой формы художественного сознания нужны были люди, которые, не мудрствуя лукаво, собирали на глазах у общества непричесанную, разноликую мозаику народной жизни, ничего в ней не усекая и с предельной осторожностью используя специфические возможности литературы. Воображение — великая сила, но пусть останется жизнь и такою, какова она есть до нашей мысли о ней, до наших обобщений, до литературной ее обработки. Можно остаться писателем, но не спешить свести концы с концами, не завершать и не закруглять в жизни то, что пока еще не поддается в ней завершению, не допускать никакого насилия над ее живым веществом.

Демократический дух 1860-х годов проявился и здесь, в этом безграничном доверии к жизни, которая сама по себе казалась богаче любых, даже самых дерзновенных художественных фантазий. Доверием к жизненному процессу с его собственными творческими возможностями были проникнуты и строки основного тезиса революционно-демократической эстетики Н. Г. Чернышевского: «Произведение искусства может иметь преимущество перед действительностью разве только в двух-трех ничтожных отношениях и по необходимости остается далеко ниже ее в существенных своих качествах».[4]

По тем же причинам М. Е. Салтыков-Щедрин с особым вниманием относился к беллетристам-«первопроходцам», исследователям новых, еще не освоенных литературою явлений действительности. Писатели максимовского толка, по Щедрину, не претендовали на создание целостных, художественно завершенных картин, они ограничивались «отрывками, очерками, сценками». Но только так, по-видимому, и можно было подготовить почву для новых литературных форм, более широко и всесторонне обнимающих живое многообразие окружающего мира. Именно потому Салтыков-Щедрин и считал, что книги Максимова должны стать настольными как для писателей-демократов, так и для «всех исследователей русской народности».

С. В. Максимов дал богатые материалы для творчества своему ближайшему другу А. Н. Островскому, а также М. Е. Салтыкову-Щедрину и Н. А. Некрасову, которые охотно печатали произведения Максимова в журнале «Отечественные записки». Большое влияние на творчество Некрасова оказала книга Максимова «Сибирь и каторга», которую известный критик-демократ А. М. Скабичевский назвал «эпопеей, в своем роде Илиадой и Одиссеей каторжной жизни», так как это было не бессвязное собрание этнографических очерков, «а серьезное научное исследование, совмещающее в себе и этнографию, и историю, и статистику каторги».[5]

Книга Максимова первоначально была запрещена цензурой. Лишь отдельные

[3] Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 377.

[4] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти т., т. 2. М., 1949, с. 69.

[5] Скабичевский А. Сочинения в 2-х т., т. 2. СПб., 1903, стлб. 685.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

материалы ее вышли в 1862 году брошюрой «Ссыльные и тюрьма» с грифом «секретно» и в продажу не поступали. Впервые этот труд был опубликован полностью Н. А. Некрасовым в журнале «Отечественные записки» за 1868—1869 годы,[6] а затем, в 1871 году, вышел отдельным трехтомным изданием под названием «Сибирь и каторга». Есть все основания предполагать, что именно книга С. В. Максимова явилась непосредственным творческим импульсом к созданию декабристских поэм Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины».

Принято считать, что в поэмах декабристского цикла Некрасов использовал мемуары А. Е. Розена и воспоминания М. Н. Волконской. Однако книга А. Е. Розена «Записки декабриста» вышла в Лейпциге на немецком языке (которого Некрасов, кстати, не знал) в 1870 году, т. е. в год публикации поэмы «Дедушка» в «Отечественных записках». А с воспоминаниями М. Н. Волконской Некрасов познакомился уже после создания и публикации поэм «Дедушка» и «Княгиня Трубецкая». М. С. Волконский в своих заметках писал по этому поводу следующее: «Однажды, встретив меня в театре, Некрасов сказал мне, что написал поэму „Княгиня Е. И. Трубецкая“, и просил меня ее прочесть и сделать свои замечания».[7] После этого Некрасов стал настойчиво уговаривать Волконского познакомить с записками его матери, и Волконский после некоторых колебаний его просьбу удовлетворил.

Ясно, что в момент работы поэта над первыми двумя поэмами декабристского цикла наиболее достоверными источниками, которыми он располагал, были сведения из третьей части книги Максимова «Сибирь и каторга» — «Государственные преступники». Эта часть была опубликована в сентябрьском и октябрьском номерах «Отечественных записок» за 1869 год и содержала подробные описания ссылки и сибирской жизни декабристов. Примечательно, что в своих описаниях Максимов использовал не только воспоминания А. Е. Розена. В третьем томе «Сибири и каторги» он писал: «Автору этой статьи привелось ознакомиться с записками и сказаниями десяти узников».[8] Сверх этого сведения о декабристах добывались писателем через расспросы очевидцев и справки в архивах, а также по непосредственным наблюдениям. Максимов посетил не только все места ссылки декабристов, но и был в известном Тарбагатае, рассказ о котором явился идейным зерном поэмы Некрасова «Дедушка».

Есть документальные свидетельства о том, что Некрасов хорошо знал этот максимовский труд. В 1862 году, когда первая часть его вышла в секретном издании, Некрасов уже был в довольно близких отношениях с Максимовым. В письме к А. Н. Островскому от 9 января 1862 года он, например, писал: «Желал бы тоже, чтоб у меня обедал Максимов, но я тоже и у него не был и чрез записку звать его неловко, не возьмете ли тоже на себя?».[9] К концу 1860-х годов связи Некрасова с Максимовым настолько окрепли, что он мог обращаться к нему с дружескими поручениями. Характерный образец этих приятельских взаимоотношений — письмо Некрасова конца 1869 года (когда в «Отечественных записках» печаталась «Сибирь и каторга»): «Сергей Васильевич! Пожалуйста, добейтесь толку от Костомарова, дает ли он на эту книгу статью? Пора! Я у него был — не застал, оставил записку. Ответа не получил. Пред‹анный› Вам Н. Некрасов» (XI, 163). Ясно, что с такими поручениями можно обращаться только к доверенному лицу, принимающему участие в делах журнала. Наконец, факт близкого знакомства Некрасова с книгой Максимова «Сибирь и каторга» документально подтверждается письмом поэта к В. М. Лазаревскому за 1872 год: «Что-то не помню у Максимова такой книги: „Тюрьма и ссылка“; у него есть „Сибирь и каторга“. Не ее ли Вам нужно? Зайдите к Звонареву мимоходом и возьмите, что Вам нужно, от моего имени» (XI, 231). Книги «Тюрьма и ссылка» у Максимова действительно не было, но характерна эта оговорка Некрасова: «что-то не помню». Очевидно, что в свое время Некрасов был знаком с книгой «Ссыльные и тюрьма», изданной Морским министерством под грифом «секретно».

Исследователи поэмы «Дедушка» не раз отмечали расхождения, которые существуют между описанием жизни староверческих поселенцев в воспоминаниях Розена и поэзией крестьянского Тарбагатая у Некрасова. А. И. Груздев, автор одного из последних фундаментальных исследований поэм декабристского цикла, пишет: «В поэме устранены. . . малейшие намеки на отмеченные Розеном благоприятные условия начальных лет жизни переселенцев в Сибири и благодетельные меры со стороны власти: „было дозволено“ продать имущество и „приехать в Сибирь с деньгами“, „комиссар дал им

---

[6] См.: Бикбулатова К. Ф. К вопросу об историзме творчества Некрасова (поэма «Дедушка»). — В кн.: Некрасовский сборник, III. М.—Л., 1960, с. 154.

[7] Записки княгини Марии Николаевны Волконской с предисловием и приложениями издателя князя М. С. Волконского. СПб., 1906, с. XIII.

[8] Максимов С. В. Сибирь и каторга, т. 3. СПб., 1871, с. 155.

[9] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952, с. 466. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

четыре года льготы для платежа подушных податей“».[10]

Но именно эти указания на благоприятные обстоятельства, имеющиеся в воспоминаниях Розена, отсутствуют в книге Максимова. Вот как описывается в ней начальный этап жизни переселенцев в Сибири: «За Байкалом семейские староверы с охотою рассказывают всем такое предание, завещанное отцами, о времени и способах их водворения после Ветки и Стародубских слобод. „Казна дедам нашим не помогала. Привел их на место чиновник, стали его спрашивать: где жить? — указал в горах. . . Стали пытать: чем жить? — чиновник сказывал: а вот станете лес рубить, полетят щепки: щепы эти и ешьте! Поблагодарили его, стали лес рубить; на другой год исподволь друг около друга стали кое-чем займоваться, запасаться нужным. На восемь дворов одна лошадь приводилась. Поселились. Земля оказалась благодатной. Ожили, повеселели. Приехал знакомый чиновник и руками развел: Вы де еще не подохли? Жаль — очень жаль, а вас — чу! — затем и послали, чтобы вы переколели“».[11]

Обратим внимание: в максимовской версии сила крестьянского мира заключается в присущих ему творческих, самодеятельных началах, зерном которых является дух общинности, артельности, в жизни «миром» («друг около друга займоваться», «на восемь дворов одна лошадь»). Именно так, по-максимовски и по-народному, трактуется история тарбагатайских поселенцев в поэме Некрасова «Дедушка»:

Горсточку русских сослали
В страшную глушь, за раскол,
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит. . .
. . . . . .
Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

(III, 11—12)

Как и у Максимова, у Некрасова сила крестьянства, истоки его жизнеспособности — в творческих началах общинного самоуправления:

Взрослые в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут,
Подати платят до срока,
Только ты им не мешай.
«Где ж та деревня?» — Далеко,
Имя ей: *Тарбагатай*. . .

(III, 13)

А. И. Груздев проницательно отметил в этом описании отголосок народной мечты о благополучной, независимой жизни, о земле и воле. Не исключено, что и здесь сказалось прямое или косвенное влияние книги С. В. Максимова. Дело в том, что наряду с воспоминаниями декабристов и другими документальными и мемуарными источниками Максимов использует в своих описаниях жизни и быта переселенцев-староверов ходившие среди сибирского крестьянства легенды о вольных землях, затерянных в лесах, о счастливой совместной жизни обитателей этих легендарных земель: «К числу очень распространенных сибирских народных преданий принадлежат повсюдные рассказы о том, что там — заблудившийся зверовщик, заслышав звон колокола и, соблазнившись им, нашел никому не ведомое селение; в другом месте таковое же обрел заседатель, который, не догадавшись скрыть своего звания, был убит жителями никому неизвестного и вполне независимого селения. Подобные рассказы слышали мы и в Западной и в Восточной Сибири. . . В Якутске. . . на Колыме и Индигирке тамошние жители до сих пор рассказывают о существовании сыздавна каких-то жителей, прежде сосланных, потом бежавших и поселившихся на неизвестных островах Ледовитого моря. В давние годы какой-то промышленник около колымского устья осматривал на островах звероловные снасти. Там застигла его пурга и он заблудился. Долго блуждал он по окрестным пустыням и наконец собаки привезли его в незнакомое селение, состоящее из нескольких домов, которые все были срублены в угол. Заблудившегося приняла женщина, но она ничего с ним не говорила. Поздно вечером пришли с промыслов мужики и стали допрашивать прибывшего к ним: кто он, откуда, по какому случаю и зачем заехал к ним, не слыхал ли об них чего прежде и наконец, не подослан ли кем? Промышленника этого они содержали под присмотром шесть недель, поместили его в отдельный дом и не дозволяли отлучаться ни на шаг и ни с кем не разговаривать. Заключенный во время пребывания своего там часто слышал звон колокола и обитатели этого заповедного селения собирались в молельню, из чего он и заключил, что это был раскольничий скит. Наконец жители этого селения согласились отпустить промышленника, но взяли с него при этом клятву молчать обо всем, им виденном и слышанном. Затем они завязали ему глаза, вывели из селения и проводили очень далеко; при расставании ему

[10] Груздев А. И. Декабристский цикл поэм Н. А. Некрасова. Л., 1976, с. 48.

[11] Максимов С. Р. Сибирь и каторга, т. 1, с. 323.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

подарили большое количество белых песцов, красных лисиц и сиводушек».[12]

С наблюдениями Максимова над духовным обликом первого поколения русских борцов за свободу связан и образ главного героя поэмы Некрасова «Дедушка». В рассказе о жизни декабристов в Сибири Максимов постоянно подчеркивает связь этих героев с народной Россией и народной нравственной культурой. Это касается прежде всего образа жизни ссыльных декабристов на каторге. Характерной особенностью уклада русской народной жизни Максимов считал дух артельности. Он находил его во всех ее проявлениях: от быта нищих, соединяющихся в артели для добывания себе пропитания, до хлебопашцев, плотников, коробейников, шерстобитов, портных и даже ссыльно-каторжных. Жизнь «миром» торжествует везде, где устраивается на жительство русский человек. Что противостоит гнету тюремного начальства в арестантской среде? Какие средства сопротивления находит бесправная каторжная масса? «Средства эти, — пишет Максимов, — они находят в собственной натуре, в натуре русского человека, и гнету и преследованию сверху сопоставляют сильный оплот и противодействие снизу, в среде своей. Противоборство это заключается в так называемой артели тюремной, в арестантской общине. Община эта ладится плотно, очень скоро и просто. . . по силе закона: „дружно — не грузно, а врозь — хоть брось“. . . Пользуясь всяким благоприятным моментом, тюремная община, не ведающая усталости, не желающая отдыха, накопляет внутри себя силы и притом в таком количестве, что, при напоре их, поневоле должны уступить всякие внешние противоборства, хотя бы они и велись систематически».[13] Декабристы, по Максимову, не оказались исключением. Как русские люди, они совершенно естественно пришли на каторге к необходимости артельного, товарищеского общежития. «Большая артель так верно обеспечила материальную жизнь и так хорошо была придумана, что „никто во все время не нуждался ни в чем и не был ни от кого зависим“».[14] Сосланная в Сибирь «горсточка русских» дворян-революционеров вела себя так, как сосланная на поселение горсточка русских крестьян-старообрядцев. В поэме Некрасова «Дедушка» Тарбагатай является символом жизнестойкости русского национального характера. Рассказ о нем имеет прямое отношение к некрасовской характеристике духовного облика декабристов.

Подчеркивая демократические основы декабристской культуры, Максимов замечает: «Есть еще одно обстоятельство особенно характеризующее декабристов и подтвержденное общим свидетельством: это — совершенное отсутствие озлобления против судьбы и людей. В этом отношении декабристы не были похожи на революционеров других стран и не держались никогда правила „чем хуже, тем лучше“, и „все худо, что делается на воле“. Совершенно напротив, они брались везде исправлять зло, быть полезными везде, где ни были невольно закинуты судьбою, и содействовать добру, хоть бы они делались не чрез них».[15] Вспомним некрасовское:

Пыль отряхнул у порога,
С шеи торжественно снял
Образ распятого бога
И, покрестившись, сказал:
— Днесь я со всем примирился,
Что потерпел на веку! . .

(III, 8—9)

В стиле жизни декабристов на каторге Максимов, основываясь на документальных источниках, подчеркивает гармоническое сочетание интеллектуального и физического труда. Н. А. Бестужев, например, завел на каторге «самую многосложную мастерскую: починял сапоги, рисовал портреты товарищей, учил шить башмаки, исполнял для дам обязанности ювелира, чинил часы дамам и коменданту, снимал виды окрестностей, точил из дерева различные подарки дамам в отплату за лакомства, занимался слесарным мастерством; разослал, между прочим, всем знакомым в России, по желанию их, железные кольца, кресты и браслеты собственной работы из тех кандалов, которые выносили товарищи его на ногах в течение двух лет (а некоторые и долее)».[16] Некрасовский Дедушка-декабрист не случайно «с шеи торжественно снял образ распятого бога»: так можно было снять крест, выкованный из кандалов, крест, ставший материальным символом тяжелого крестного труда, жертвенного подвига первого поколения русских борцов за свободу. А в черновиках поэмы встречаются и другие перекликающиеся с Максимовым бытовые подробности, которые Некрасов, в соответствии с высоким пафосом избранного жанра, не включил в окончательный текст:

Отдых у деда недолог —
Вынет он свой сундучок
Много там дратвы, иголок,
Шило, пила, молоток.

(III, 421)

Тем не менее, вслед за Максимовым, Некрасов всячески поэтизирует духовную близость декабристов к простому народу, к поэзии земледельческого труда. Максимов рассказывает в своей книге о том, как в Петровском заводе декабристы обучали детей слесарному, столярному,

[12] Там же, с. 327—328.
[13] Там же, с. 110—111.
[14] Там же, т. 3, с. 232.
[15] Там же, с. 273—274.
[16] Там же, с. 195.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

портняжному и многим другим ремеслам. Он сообщает многочисленные факты благотворного влияния ссыльных революционеров на простых людей. Один из рабочих, получивших ремесленное образование в каземате, писал впоследствии своему учителю, декабристу Д. И. Завалишину, что он старается внушить своим детям такое же уважение к физическому труду, какое умели внушить и ему в каземате. «И конечно, пример людей высшего происхождения и образования, не пренебрегавших никаким ремеслом, никаким телесным трудом, лучше всего действовал на людей, чтобы и в их глазах облагородить тот труд, на который привыкли смотреть только как на тяжелую и часто безотрадную ношу».[17] Вспомним знаменитую сцену из некрасовской поэмы:

Эй! отдохни-ко, сердечный!
Я за тебя потружусь! —
Глянул крестьянин с испугом,
Барину плуг уступил,
Дедушка долго за плугом,
Пот отирая, ходил;
Саша за ним торопился,
Не успевал догонять:
«Дедушка! где научился
Ты так отлично пахать?
Точно мужик, управляешь
Плугом, а был генерал!»
— Вырастешь, Саша, узнаешь,
Как я работником стал!

(III, 13)

Говоря об огромном нравственном влиянии декабристов на окружающих, Максимов постоянно подчеркивает демократическую широту их духовной культуры. Это были люди, одинаково плодотворно умевшие заниматься «и высшими предметами человеческого ведения, и самыми тяжелыми работами хозяйственного труда, от сохи и косы в поле, от обработки огорода и ухода за скотоводством, до постройки образцового дома, до всех поделок и исправлений плотничных, столярных, слесарных и пр.» [18]

Столь же несомненным нам представляется влияние книги Максимова на оформление замысла и на основное содержание другой поэмы Некрасова декабристского цикла — «Княгиня Трубецкая». У Максимова дается подробное описание пути княгини Трубецкой в Сибирь и подробно пересказывается сцена духовного поединка ее с Иркутским губернатором Б. И. Цейдлером. Говоря о величии совершенного Трубецкой подвига, Максимов отмечает, что она «проторила первую дорогу, по которой с неменьшею безбоязненностью прошли следом за нею и другие. На Трубецкую пали все те неудобства, которые выпадают на долю передовых пионеров».[19] И Некрасов вторит Максимову в «Эпилоге» поэмы:

Вражда людей, не знающих пощады,
На том пути ей ставила преграды,
И — первая — она их перешла.
Ее души ничто не устрашило!
Она другим дорогу проложила,
Она других на подвиг увлекла!

(III, 397)

Совпадает с максимовской и общая оценка русских женщин — жен декабристов.

У Максимова:

«Поехавшие за своими мужьями жены совершили те евангельские подвиги, подобие которым мало представляют европейские истории. . . те, которые выстрадали себе право сожительства в Сибири, вступили на стезю высоких христианских подвигов и служением своим приобрели то прозвание ангелов-хранителей, которое сделалось для них общим у всех соузников».[20]

У Некрасова:

Высок и свят их подвиг незабвенный!
Как ангелы-хранители они
Явилися опорой неизменной
Изгнанникам в страдальческие дни.
. . . . . .
Пленительные образы! Едва ли
В истории какой-нибудь страны
Вы что-нибудь прекраснее встречали.
Их имена забыться не должны.

(III, 397)

Творческие связи Максимова и Некрасова далеко не исчерпываются декабристской тематикой. Следы влияния максимовских книг довольно ощутимы и в итоговом произведении Н. А. Некрасова, его поэме «Кому на Руси жить хорошо». Сам сюжет поэмы — странствия по Руси семерых крестьян-правдоискателей — созвучен духу максимовских мыслей о коренных основах народного характера. «Бродяжеством, — пишет он, — жила Русь далеко после тех времен, когда плотили ее в государство; бродягами расширила она свои пределы и ими же отстояла свою независимость от диких кочевых орд, напиравших на нее с востока и юга. Бродяги колонизовали север, завоевали Сибирь, населили Дон и Урал. . . Не умалило этого народного коренного свойства искать способных и выгодных мест на свободном и широком раздолье земли своей и Московское государство, когда ослаблено было экономическое и государственное значение Филиппова заговенья и уничтожен крестьянский выход на Юрьев день. Бродяжество, вольный переход с одних земель на другие и теперь живет в народе как одно из коренных начал его быта и движет народом на всех путях, хотя и под другими именами, с иными оттенками. Проявилось в нем и святое религиозное чувство; почувствовали в элементах его нужду для

[17] Там же, с. 276.
[18] Там же, с. 277.
[19] Там же, с. 203.
[20] Там же, с. 202.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

себя и торговля, и ремесла, и промыслы, и самая общественная жизнь успела уже выродить настоящих бродяг, в европейском смысле этого слова, и на них пока затворилась. Бродяжеству еще долго придется жить на Руси и в народе. Народ наш еще не сидит плотно на той территории, которую получил он в наследство от отцов и дедов».[21]

Не под влиянием ли Максимова изменилась в «Последыше» (1872) формулировка спора семи странников?

Мы ищем, дядя Влас,
Непоротой Губернии,
Непотрошеной Волости,
Избыткова села! . .

(III, 313)

Конечно, это предположение весьма гипотетично. Однако не вызывает никаких сомнений другое: влияние книги Максимова «Бродячая Русь» на оформление замысла итоговой части «Кому на Руси жить хорошо» — «Пира на весь мир». «Бродячая Русь» печаталась в некрасовских «Отечественных записках» в 1874 (кн. 9 и 10), 1875 (кн. 1) и 1876 (кн. 7, 8, 10, 11, 12) годах. Именно в этот период Некрасов напряженно работал над «Пиром». Знаменитые строки:

Стучись же, гость неведомый!
Кто б ни был ты, уверенно
В калитку деревенскую, —

(III, 360)

выглядят как прямое заимствование из книги Максимова «Бродячая Русь». Вот как описывает Максимов отношение к страннику крестьянской семьи: «Вот, батюшка, странничек, покушай горяченького, да сказывай, что видел, что слышал. Больно мы странных захожих людей любим. . . Обогрелся странник и повеселел не столько от теплой избы, жаркой печи и вкусной яичницы, сколько от ласковых слов, от первого спопутного привета».[22]

Кто видывал, как слушает
Своих захожих странников
Крестьянская семья,
Поймет, что ни работою,
Ни вечною заботою,
Ни игом рабства долгого,
Ни кабаком самим
Еще народу русскому
Пределы не поставлены:
Пред ним широкий путь.

(III, 362)

Представление о творческой истории «Кому на Руси жить хорошо» вообще будет недостаточно полным без учета того, что, «собирая» в течение многих лет «по словечку» материалы для своей поэмы, Некрасов неоднократно обращался к глубокому и умному знатоку народной жизни Сергею Васильевичу Максимову. По существу, вся вторая главка «Пира» — «Странники и богомольцы» — построена на образах и мотивах максимовской «Бродячей Руси».

Нельзя не обратить внимания и на заключительную главку «Пира» — «Доброе время — добрые песни». Описание в ней жизни и быта бедного сельского духовенства несет на себе следы знакомства Некрасова с последнею главою книги Максимова «Бродячая Русь» — «Скрытники и христолюбцы. Из быта староверов». Напомню историю пономаря, которая в максимовском пересказе предвосхищает историю некрасовского Трифона, отца Гриши Добросклонова:

«Осталось сказать еще про пономаря, да лучше его самого не скажешь: „слякохся от нищеты“, говаривал он сам с полною откровенностью. В самом деле: сыновья его, ходившие в епархиальный город за 250 верст с вакаций и на вакации всегда пешком, не уносили с собой больше 3—4 гривен медными деньгами, и чем жили — отец и думать боялся. (Ср.: «Дьячок хвалился детками, А чем они питаются — И думать позабыл», — *Ю. Л.*). Стаивал он на перекрестках, выпрашивая у проходящих подаяния, бродил по базарам между возами, собирая высыпавшиеся крохи, и не раз видали его в питейном доме пляшущим и поющим шаловливую песенку не за вино, а за те же медные деньги».[23]

Максимовские темы и образы часто встречаются и в других произведениях Н. А. Некрасова. Таков, например, тип рыжего целовальника Калистратушки из поэмы «Коробейники». Впервые он встречается в очерке Максимова «Колдун», опубликованном в ноябрьском номере «Библиотеки для чтения» за 1857 год. А максимовские очерки о костромских и владимирских коробейниках, по существу, предвосхищают тематику «Коробейников» Н. А. Некрасова.[24]

В заключение отметим, что проблема влияния Максимова на творчество русских писателей-демократов нуждается в серьезном исследовании. А. Н. Пыпин, человек, близкий к демократическому лагерю, не случайно причислял Максимова к этнографам-народникам, отношение которых к народу «не имело в себе ничего натянутого и искусственного», о быте народа они говорили «как о близком их сердцу деле».[25]

---

[21] Там же, т. 1, с. 226—227.

[22] Отечественные записки, 1874, кн. 9, с. 89.

[23] Максимов С. В. Бродячая Русь Христа-ради. СПб., 1877, с. 360.

[24] См. очерки С. В. Максимова «Маляр» («Библиотека для чтения», 1854, № 5), «В дороге» («Отечественные записки», 1860, кн. 8) и др.

[25] Пыпин А. Н. История русской этнографии, т. 2. СПб., 1891, с. 346.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Я. Л. Левкович

ПУШКИН В РАБОТЕ НАД «ЗАПИСКАМИ»

Известно, что «Записки», начатые Пушкиным в 1821 году, были им уничтожены после декабрьских событий. Известно, что они были уничтожены не полностью. Сохранившиеся отрывки (о Карамзине и о Державине) помещаются в сочинениях Пушкина в разделе «Автобиографическая проза». И. Л. Фейнберг предположил, что из сожженных «Записок» Пушкина до нас дошло еще несколько отрывков, в частности, он отнес к «Запискам» статью, которая печатается под условным редакторским заглавием «Заметки по русской истории XVIII века».[1] К мысли, что эти «Заметки» могут быть частью автобиографических записок Пушкина, независимо от Фейнберга пришел Б. В. Томашевский.[2] Томашевский считал, что историко-публицистические «Заметки» могли выполнять функцию «быстрого введения» в «Записки».

Мнение Томашевского и Фейнберга разделяют не все исследователи. Так, например, скептически относится к нему Н. Я. Эйдельман. Посвящая «Заметкам по русской истории XVIII века» специальную статью, он пишет: «Чрезвычайно соблазнительно было бы видеть в прекрасной, зрелой исторической прозе „Замечаний" начало автобиографии поэта, нечто вроде исторической экспозиции к ней; соблазнительно, но не обязательно». И дальше: «Не исключено, что независимо от Записок замышлялась большая работа „О новой России" со вступлением „О России древней"».[3] Присоединяясь к позиции Томашевского и Фейнберга, мы попытаемся ее аргументировать.

Главный аргумент для того, чтобы считать «Заметки» отрывком из «Записок», оставил сам Пушкин. В ноябре 1826 года в Михайловском по заказу Николая I он работал над запиской «О народном воспитании». В черновике ее мы находим пометы, которые свидетельствуют, что поэт в трех местах собирался дополнить черновик вставками из «Записок». Приведем эти пометы в контексте черновика:

«Последние происшествия обнаружили много печальных истин. Политические изменения вынужденные у других народов долговременным приготовлением. . . были любимою мечтою молодого поколения. Несчастные представители сего буйного и невежественного поколения погибли.

Любопытно видеть etc — из записок 2 гл. . . .

Чины сделались страстию русского народа. Того хотел Петр I, того требовало тогдашнее состояние России —

Александр (из записок). . . Патриархальное воспитание из записок».[4]

Фейнберг выбрал упомянутые сюжеты из записки «О народном воспитании» и предложил считать их сохранившимися отрывками «биографии» Пушкина.[5] Это предложение оспорил Томашевский, отметив, что «сличение окончательного текста с черновым показывает, что Пушкин намеченных выписок не сделал».[6]

Пометы Пушкина свидетельствуют, что та часть «Записок», из которой он собирался делать выписки, не была уничтожена, по ее не было в Михайловском в ноябре 1826 года, что ее не было и в Москве, куда вернулся из Михайловского Пушкин, и что в этой части был раздел, который Пушкин обозначил «2 гл.».

Судя по пометам Пушкина, в «Записки» его были включены рассуждения о склонности молодого поколения к политическим преобразованиям, о мерах Александра I, связанных с существованием «Табели о рангах», наконец, о преимуществах общественного воспитания по сравнению с домашним и частным. Таким образом, часть «Записок» (глава вторая пр[illegible] на которую ссылается Пушкин, касалась современной ему поры, т. е. царствования Александра I. Но общественные процессы, сопутствующие «Александровой поре», начались в предшествующую эпоху. Предшествующему периоду жизни русского общества и посвящены «Заметки по русской истории XVIII века» (или «Некоторые исторические замечания», как назвал их Анненков). Здесь, в обзоре деятельности Петра I и его «ничтожных наследников», Пушкин исходит из интересов своего времени, прибегает к рассмотрению недавнего прошлого с целью дать ответ на сегодняшние, еще не решенные вопросы.

«Состояние народа» при Петре требовало введения «Табели о рангах», разру-

---

[1] Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 6-е, М., 1976, с. 252—265. В копии, принадлежавшей П. В. Анненкову и снятой с копии Н. С. Алексеева рукой Ф. В. Анненкова, этой статье дано название «Некоторые исторические замечания» (см.: Эйдельман Н. Я. «По смерти Петра I. . .» — В кн.: Прометей, кн. 10. М., 1974, с. 318). Копия Анненкова хранится в Пушкинском Доме (ИРЛИ, ф. 244, оп. 6, № 18).

[2] Томашевский Б. В. Пушкин, кн. I. М.—Л., 1956, с. 567.

[3] Эйдельман Н. Я. «По смерти Петра I. . .», с. 367; ср. его же: Пушкин и декабристы. М., 1979, с. 133—134.

[4] Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI. [Л.,] 1949, с. 311—314. Далее ссылки на это издание даются в тексте.

[5] Фейнберг И. Л. Указ. соч., с. 265—276.

[6] Томашевский Б. В. Указ. соч., с. 567.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

шающей кастовую замкнутость дворянства. При Александре «чины сделались страстию русского народа». Петр сознавал «выгоды просвещения» и «не боялся народной свободы» — непременного следствия просвещения. Екатерина II подражала Петру, но лицемерно, провозглашая любовь к просвещению и преследуя его носителей. В связи с «выгодами просвещения» и шли, по-видимому, у Пушкина размышления о «патриархальном воспитании».

Мысль о том, что развитие просвещения неминуемо ведет к свободе, является центральной в «Исторических замечаниях». Просвещение и свободу Пушкин ставит в неразрывную связь. «Замечания» преисполнены также верой в силу общественного мнения. Все это обусловлено настроениями, которые владели Пушкиным в 1821—1822 годах, когда он приветствовал европейские революции и ждал политических преобразований в России.

Пометы на полях записки «О народном воспитании» указывают на несомненную связь между автобиографическими записками Пушкина и «Заметками по русской истории XVIII века». Именно эти пометы послужили основанием для Томашевского определить «Заметки» как «быстрое введение» Пушкина в свою биографию.

Косвенное указание на связь «Замечаний» с записками содержит и рукопись «Замечаний»: шесть больших двойных согнутых пополам листов заполнены четким («беловым») почерком Пушкина; текст почти без поправок, в конце поставлена дата: «2 августа 1822 года»; заглавия нет — вместо него стоит «№ 1». Номер поставлен высоко к верхнему краю листа, т. е. уже после того, как «Замечания» были написаны. Вероятнее всего это было сделано, когда Пушкин приступил к «2 главе» своих «Замечаний» — очевидно в рукописи эта вторая глава была обозначена «№ 2». Таким образом, и положение записи «№ 1» в автографе, и помета «2 гл.», и сюжеты, отмеченные для выписок из «Записок», свидетельствуют, что помимо известного «№ 1» был и «№ 2», нам неизвестный, и что в ноябре 1826 года Пушкин собрался делать из него выписки. Иными словами, «быстрое введение» в «Записки» имело два раздела.

Однако мы знаем, что когда в 1830-е годы Пушкин вновь принялся за свои «Записки» (никакого исторического введения там уже нет) он начинает их прямо с родословной Пушкиных и Ганнибалов. Это может быть свидетельством в пользу мнения Н. Я. Эйдельмана, что «Заметки по русской истории XVIII века» и «Записки» не имеют ничего общего, но может свидетельствовать и об изменении замысла «Записок». Нам кажется вероятным второе предположение.

Чтобы обосновать это мнение, необходимо объяснить, как могли строиться «Записки» в первом варианте, т. е. как и где должен был обозначиться переход от «быстрого введения» к собственно биографии поэта и почему первоначальный замысел был изменен.

Следы первоначального замысла «Записок» обнаруживает лист 13_1 в тетради № 832 (кишиневской). В этой тетради, как и во всякой черновой тетради, были творческие заготовки Пушкина, но здесь же он вел дневник (два сохранившихся листочка кишиневского дневника вырваны отсюда), писал черновики писем. Когда поэт после 14 декабря чистил свой архив, наибольшее число листов вырвано из этой тетради, т. е. тетрадь № 832 и есть та самая «сбивчивая черновая тетрадь», которую Пушкин переписывал набело, работая над «Записками».[7]

Лист 12_1 начат как заглавный к стихотворению «Таврида» — посередине записано: «„Таврида“. 1822» и эпиграф из Гете: «Gieb meine Jugend mir zurück».[8] На обороте сверху набросана программа стихотворения: «Страсти мои утихают тишина царит в душе моей, ненависть, раскаяние, все исчезает — любовь, одушевление (?)». На этом же листе (12 об.) — черновые строки 1-й главы «Онегина» и дата: «16 авг. 1822». Лист 12 об., как вензелем, окружен цифрами годов от 1811 до 1833, некоторые даты повторяются по нескольку раз. Учитывая, что Пушкин уже работал над «Записками», можно предположить, что хронологический вензель связан с размышлениями о начатом труде.

Это предположение подтверждает известный план записок, который составлялся Пушкиным уже в 1830-е годы, когда он вновь вернулся к работе над своей «биографией». Часть этого плана состоит также из последовательной записи дат: 1811, 1812, 1813, 1814, 1815. Некоторые из этих пунктов-дат развернуты, другие обозначены только годом.

Хронологический вензель, конечно, нельзя назвать планом, но в нем несомненно угадываются размышления Пушкина о начатом труде. Отметим, что цифровая запись фиксирует не только воспоминания о прошлом, но и размышления о будущем, т. е. указывает на протяженность замысла (годы с 1811-го по 1824-й идут подряд, потом сразу появляются тридцатые годы — 1830-й и 1833-й, поэт как бы перешагивает через десятилетие). Расположение цифр свидетельствует, что они написаны после даты «16 августа 1822», но теми же чернилами и одинаково заточенным пером — т. е. записи, относящиеся к «Тавриде», и цифровая запись скорее всего сделаны в один и тот же день. Через две недели после этого, 1 сентября, Пушкин посылает Вяземскому письмо, которое, нам кажется, также связано

[7] См. в письме к П. А. Катенину от первой половины (не позднее 14) сентября 1825 года: «Стихи покаместь я бросил и пишу свои mémoires, то есть, переписываю на бело скучную, сбивчивую черновую тетрадь» (XIII, 225).

[8] Верни мне мою юность (нем.).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

с работой над «Записками»: «Ты меня слишком огорчил, предположением, что твоя живая поэзия приказала долго жить. Если правда — жила довольно для славы, мало для отчизны. . . понимаю тебя — лета клонят к прозе. . . неужели тебя пленяет ежемесячная слава Прадтов? Предприми постоянный труд‹, пиши› в тишине самовластия, образуй наш метафизической язык, зарожденный в твоих письмах — а там что бог даст. Люди, которые умеют читать и писать, скоро будут нужны в России, тогда надеюсь с тобою более сблизиться» (XIII, 44). Конечно же Пушкин намекает здесь на возможную перемену общественной ситуации (может быть, даже революцию) и сопутствующие ей перемены в жизни общества и в собственной жизни, т. е. на возможное возвращение из ссылки («тогда надеюсь с тобою более сблизиться»), на грядущую свободу печати («люди, которые умеют читать и писать нужны будут в России»), на широкое развитие публицистики, когда можно будет, выработав метафизический язык, писать не для «славы», а для «отчизны».

Обращаясь к Вяземскому, Пушкин по сути дела пишет о себе. Это его, а не Вяземского «лета клонят к прозе», он, а не Вяземский уже приступил к «постоянному труду», зачин которого можно назвать публицистическим. О каком «труде» пишет Пушкин? И. М. Дьяконов полагает, что речь идет об «Евгении Онегине».[9] Действительно, «постоянным трудом» Пушкин впоследствии назовет «Онегина». Но это будет в 1830 году, при завершении романа. Даже если предположить, что замысел романа уже мелькал в сознании Пушкина, то в 1822 году он не мог думать, что работа над ним затянется. В творческой практике Пушкина «Онегин» — единственное произведение, над которым он работал так долго. Кроме того, эпитет «постоянный» не может быть применен к творческому труду, когда этот труд существует еще на стадии замысла. Только дневник или записки можно назвать «постоянным трудом» в начале работы над ними, так как только дневник или записки могут вестись всю жизнь, «постоянно», пока продолжается жизнь автора. Убеждая Вяземского, что публицистике скоро будет открыта дорога, сам Пушкин осознает свой труд, как труд публицистический, который тоже «нужен будет в России», т. е. который можно будет печатать частями, продолжая «постоянную работу» над ним. Когда писалось это письмо, Пушкин уже начал «выдавать в свет» свои «Записки», правда пока только в рукописных списках, минуя цензуру. С «Заметок по русской истории XVIII века» кишиневский приятель Пушкина Н. С. Алексеев в том же 1822 году снял копию.[10]

Таким образом, в августе 1822 года Пушкин занимается обработкой «быстрого введения» в «Записки» и обдумывает их продолжение: 2 августа перебеливает текст первой главы «Исторических замечаний», после этого переписывает вторую главу (о такой последовательности работы, как указано выше, свидетельствует запись «№ 1», поставленная в начале «Исторических замечаний»). Очевидно, до августа 1822 года свой замысел, его план и структуру Пушкин «еще не ясно различал» и собственно «воспоминания» (т. е. рассказ о себе) не были начаты.

16 августа появляется хронологический вензель в кишиневской тетради — наметка последовательных, погодных воспоминаний уже о своей жизни, а 1 сентября, приняв решение о «постоянном труде» и, по-видимому, обдумав его строение, Пушкин дает Вяземскому совет обратиться к публицистике и признается, что его самого «лета клонят к прозе».

Знаменательно, что хронологическая запись в кишиневской тетради и хронология дат в позднейшем плане начинаются с одного и того же года — 1811-го (в первом варианте ему предшествуют «Исторические замечания», во втором — родословная Пушкина). Что такое 1811 год для Пушкина? Это год поступления в лицей, т. е. первые шаги его сознательной жизни. Лицей — одно из проявлений «прекрасного начала» царствования Александра I. В 1811 году для Пушкина смыкаются жизнь историческая и жизнь частная. В день открытия лицея поэт и его друзья впервые сознают себя гражданами, «сынами отечества». В первоначальном замысле записок основание лицея и поступление Пушкина в лицей, вероятно, и было тем сюжетным звеном, которое соединяло «быстрое введение» с собственно жизнеописанием поэта, его «биографией».

Таким образом, хронологический вензель помогает предположить первоначальный план записок, как они мыслились Пушкину в Кишиневе: от «№ 1» («Заметок по русской истории XVIII века» или «Некоторых исторических замечаний») к «№ 2» (Александровой поре) и к 1811 году — году основания лицея. Вспомним, что одна из отсылок к «Запискам» в черновике «О народном воспитании» касалась преимуществ общественного воспитания перед «патриархальным». Несомненно, что в автобиографических записках рассуждения о «патриархальном воспитании» были бы вполне уместны при переходе к рассказу о лицее. Так обозначилась бы связь Пушкина и его поколения с историей своего времени.

---

[9] Дьяконов И. М. Об истории замысла «Евгения Онегина». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. X. Л., 1982, с. 71.

[10] По этой копии Е. И. Якушкин напечатал отрывки «Заметок» в «Библиографических записках» (1859, № 5, с. 130—132).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Из сказанного можно сделать вывод, что в августе 1822 года «Заметки по русской истории XVIII века» мыслились еще как непременная часть «Записок».

Обычно (особенно в Кишиневе) Пушкин сообщал друзьям о своих новых замыслах и трудах. Но «Записки» в письмах этого времени почти не упоминаются. Не считая письма к Вяземскому с намеком на «постоянный труд», Пушкин пишет о своих «воспоминаниях» только один раз — Дельвигу, в марте 1821 года: «. . .теперь ничего не пишу. Я переваривaю воспоминания и надеюсь набрать вскоре новые; чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости — как не воспоминаниями?» (XIII, 26). Здесь будущий труд еще никак не определен и вряд ли Дельвиг связал слова Пушкина с конкретной работой над мемуарами. «Переваривaю воспоминания» могло быть понято как потребность ссыльного поэта вызывать образы прошлого в воображении. О том, что речь идет о «Записках», мы знаем из позднейшего признания Пушкина: «. . .в 1821 году начал я свою биографию, и несколько лет сряду занимался ею» (XII, 310). Полупризнание в письме к Дельвигу свидетельствует, что в марте 1821 года этот труд был еще только на стадии замысла («теперь ничего не пишу»).

К постоянной работе над «Записками» Пушкин приступил в Михайловском. Они упоминаются уже в письме к Л. С. Пушкину, в начале ноября 1824 года: «Знаешь ли мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно. . .» (XIII, 121).[11]

Предполагаемый нами план записок (от «№ 1» и «гл. 2», или «№ 2», к основанию лицея) в Михайловском, по-видимому, изменился. Изменения связаны с переменой образа жизни Пушкина и с особенностями его мировоззрения. Брожение общественной мысли на юге, кишиневские встречи, участие в масонской ложе «Овидий», политические споры, причастность (пусть неосознанная) к деятелям тайных обществ, революционное движение в Европе — все вело Пушкина к стремлению отразить и объяснить в своих «Записках» современную общественную ситуацию, назревшую необходимость «народной свободы».

В первоначальном замысле «Записок» исторические события подаются в крупном масштабе, где нет места для родословной поэта. Казалось бы, что, начав говорить о «выгодах просвещения», осознанных «северным исполином» — Петром, Пушкин кстати мог бы упомянуть Абрама Ганнибала. В «Исторических замечаниях» не упоминаются и Пушкины, хотя судьба их рода была связана с петровскими реформами, когда старинное дворянство уступило место новой знати.

Между «Заметками по русской истории XVIII века» и работой над «Записками» в Михайловском прошел 1823 год — кризисный в мировоззрении Пушкина, связанный с разочарованием в близком достижении идеала свободы. В этом смысле показательны два его черновых письма о Греческой революции. В первом письме, из Кишинева, которое предположительно адресуется В. Л. Давыдову, сочувствие делу освобождения греков от турецкого ига выражено Пушкиным в восторженных тонах («Греция восстала и провозгласила свою свободу», «Восторг умов дошел до высочайшей степени. . .», «Первый шаг Александра Ипсиланти прекрасен и блистателен» и т. д. — XIII, 22—24). Письмо к Вяземскому от 24—25 июня, написанное за полтора месяца до отъезда в Михайловское, наполнено уже скептическими нотами («Греция мне огадила. . . чтобы все просвещенные европейские народы бредили Грецией — это непростительное ребячество. Иезуиты натолковали нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, состоящий из разбойников и лавошников, есть законнорожденный их потомок» — XIII, 99).

Поражение европейских революционных движений, не поддержанных народом, принесло Пушкину глубокое разочарование. Это было поводом для размышлений на более общие и более близкие вопросы о соотношении между носителями революционных идей и народом. Вопросы о политическом преобразовании России и мыслимых формах революционного преобразования, поставленные в «Исторических замечаниях», требовали теперь уже новых размышлений и нового подхода.

В движении замысла записок несомненную роль сыграл и переезд в Михайловское — родовое имение предков, обостривший интерес Пушкина к своей родословной. Нам кажется вероятным предположение, что тот тип записок, который мы видим в 30-е годы, определился в 1824 году в Михайловском. В так называемом «Начале автобиографии» (1833) судьба предков уже не растворяется в общих рассуждениях об историческом процессе, а становится исходным моментом биографии поэта. Историей Ганнибалов Пушкин начинает интересоваться именно в это время и именно в Михайловском. Здесь еще были свежи предания о них и даже был жив двоюродный дед Пушкина Петр Абрамович Ганнибал. Как раз в период работы над записками

[11] Упоминания о работе над «Записками» см. также в письмах к Л. С. Пушкину в начале 20-х чисел ноября 1824-го («. . .Стихов не пишу, продолжаю свои Записки. . .» — XIII, 123), в первой половине февраля 1825-го («. . .Стихов новых нет — пишу Записки, но и презренная проза мне надоела» — XIII, 143) и 27 марта 1825 года (XIII, 159); к П. А. Катенину в первой половине сентября 1825 года («Стихи покаместь я бросил и пишу свои mémoires» — XIII, 225); к П. А. Вяземскому во второй половине ноября 1825 года («Писать свои Mémoires заманчиво и приятно». — XIII, 244).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Пушкин получил от него и сохранил у себя немецкую биографию Абрама Ганнибала, которую сразу же начал переводить на русский язык.[12]

Воспоминания об Абраме Ганнибале мелькают уже в послании к Н. М. Языкову, написанном вскоре после приезда в Михайловское 20 сентября 1824 года:

> В деревне, где Петра питомец,
> Царей, цариц любимый раб
> И их забытый однодомец,
> Скрывался прадед мой Арап,
> Где, позабыв Елисаветы
> И двор и пышные обеты,
> Под сенью липовых аллей
> Он думал в охлажденны леты
> О дальней Африке своей,
> Я жду тебя. . .
>
> (II, 322–323)

В Михайловском впервые проявляется интерес поэта и к роду Пушкиных. Один из предков поэта вводится в число действующих лиц «Бориса Годунова».

С переменой замысла «Записок» публицистическое введение оказывалось лишним: «№ 1», как и неизвестная нам «гл. 2» (или «№ 2»), отделились от записок и начали самостоятельное бытование. Для дальнейшей работы над биографией рукописи этих двух глав были Пушкину не нужны. Поэтому он вполне мог отдать их кому-нибудь для прочтения (как когда-то в Кишиневе отдал переписать «№ 1» своему приятелю Алексееву).

То, что рукопись осталась цела и не была уничтожена в то время, когда Пушкин чистил свой архив, свидетельствует, что ее не было в Михайловском. Не было ее и в Тригорском: иначе необходимые вставки Пушкин мог бы сделать.

В период работы Пушкина над «Записками» в Михайловское приезжали два человека, которых он несомненно знакомил со своими трудами и замыслами. Эти два человека — Пущин и Дельвиг. Т. Г. Цявловская высказала предположение, что отрывки из своих записок Пушкин читал Пущину.[13] Это подтверждается письмами Рылеева. Не случайно упоминания о пушкинских «Записках» появляются в письмах Рылеева к Пушкину после поездки Пущина в Михайловское. Воспоминания у Пушкина и Пущина во многом были общими, и друга детства, конечно, интересовало все, что было написано Пушкиным. Однако Рылееву лицейские воспоминания не были близки, а вот острый исторический анализ начатого Петром I периода русской истории и особенно той поры, которая предшествовала возникновению тайных обществ, должны были его заинтересовать.[14]

Любопытно отметить, что вопрос: «Что твои записки?» Рылеев задает в том же письме, в котором спрашивает о Дельвиге: «Что Дельвиг? По слухам он должен быть у тебя. . . С нетерпением жду его, чтоб выслушать его мнение об остальных песнях твоего Онегина». И дальше: «Что твои записки?» (XIII, 157).

Мы знаем, что когда Дельвиг уезжал из Михайловского, он вез в Петербург какие-то пушкинские рукописи. Пушкин доверил ему свою «черную», т. е. черновую, тетрадь (см. XIII, 195), где были, как во всякой черновой тетради, наряду с законченными произведениями, произведения незаконченные, которые нужны были Пушкину для работы, т. е. которые он предполагал получить обратно. Тогда же Дельвиг мог увезти и те прозаические статьи, которые первоначально были задуманы как части «биографии», не вошли в нее, но также могли понадобиться и, как мы знаем, понадобились Пушкину во время работы над запиской «О народном воспитании». Только спешность царского заказа помешала ему сделать из них необходимые выписки.

Наше предположение, что «Заметки по русской истории XVIII века» увез из Михайловского именно Дельвиг, подтверждает судьба автографа. «Заметки», как указывалось, впервые напечатал Е. И. Якушкин в 1859 году по копии, принадлежавшей Н. С. Алексееву, а автограф был опубликован только в 1880 году.[15] Его судьба прослеживается в глубину на несколько десятилетий. Наиболее отдаленным от нас владельцем автографа был М. Е. Лобанов — посредственный писатель и переводчик. В 1824 году Пушкин в письме к брату пренебрежительно отозвался о лобановском переводе «Федры» Расина (XIII, 86), а в 1836 году выступил против Лобанова в известной статье журнала «Современник» «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной». Лобанов доказывал «безнравие и нелепость всех французских литературных течений» и призывал академию принять участие в цензуровании книг. Пушкин заключал статью «искренним желанием, чтобы Российская Академия... ободрила, оживила отечественную словесность, награждая достойных писателей деятельным своим покровительством, а недостойных — наказывая одним ей прилич-

[12] См.: Телетова Н. К. Забытые родственные связи А. С. Пушкина. Л., 1981, с. 116—117. Ср.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. Под ред. М. А. Цявловского, Л. Б. Модзалевского и Т. Г. Зенгер. М.—Л., 1935, с. 34—39.

[13] Цявловская Т. Г. «Муза пламенной сатиры». — В кн.: Пушкин на юге, т. 2. Кишинев, 1961, с. 172.

[14] Это не противоречит тому, что «№ 1» и «№ 2» в это время уже не были частью «Записок». Читая эти отрывки Пущину, Пушкин, конечно, упомянул, что они предназначались им для «Записок».

[15] Русская старина, 1880, № 12, с. 1043.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ным оружием: невниманием» (XII, 74). Но это было в 1836 году. Какова бы ни была литературная позиция Лобанова в 1836 году, следует помнить, что за десять лет до того он был в дружеских отношениях с Дельвигом: оба они служили в Публичной библиотеке, Лобанов был частым посетителем салона Дельвига. С. М. Дельвиг 16 ноября 1825 года писала своей приятельнице: «Я приобрела много новых знакомств, из коих лишь некоторые мне приятны — это близкие знакомые моего мужа, как Козловы, Гнедич, Пушкин (Левушка, как его называют — это брат Александра), госпожа Воейкова, которую я уже немного знала, Лобановы (переводчик «Ифигении» и «Федры»), все это славные люди, без малейших претензий».[16] Лобанов относится к «некоторым», которые особенно приятны дому Дельвигов. С хозяином дома его сближали, по-видимому, не только литературные интересы. Очевидно, что 14 декабря оба они, как и вся Россия, пережили потрясение. Известно, что в день восстания Дельвиг был в толпе на Сенатской площади, он был также одним из немногих свидетелей казни декабристов. Мы не знаем, присутствовал ли при этом и Лобанов, но достоверно известно, что он собирал печатные свидетельства о деле 14 декабря. В его бумагах, хранящихся в Архиве литературы и искусства, Н. Я. Эйдельман обнаружил полную подборку вырезок из газет и других печатных изданий о восстании и процессе над декабристами.[17] Замысел такой подборки свидетельствует о сочувствии к осужденным.

Публицистические «Заметки» Пушкина, его мысли о политическом преобразовании России, об отмене крепостного права и возможных формах революционного переворота шли в одном направлении с размышлениями декабристов на те же темы. Это были назревшие вопросы современности, которые обсуждались как в тайных обществах, так и в литературных салонах. Наличие «Заметок» Пушкина в архиве человека, который интересовался делом 14 декабря, представляется вполне естественным. «Заметки по русской истории XVIII века» Пушкина сочетаются с «декабристской» коллекцией Лобанова.

Нити, связывающие имена Дельвига и Лобанова, достаточно прочны, чтобы не сомневаться, что рукопись «№ 1» Лобанов получил от Дельвига. Но «№ 2», или «2 гл.», у Лобанова, по-видимому, не было.

Дельвиг вез «Заметки» Пушкина не для печати. Даже известный нам «№ 1», где давалась убийственная характеристика царствования Екатерины II, был бы непроходим через цензуру. Тем не менее Пушкин, конечно, полагал, что «Заметки» Дельвиг кому-то даст прочесть. Позволим себе высказать предположение, что в числе первых (а может быть, и единственных) читателей предполагались издатели «Полярной звезды».

Рылеев писал Пушкину, что «с нетерпением» ждет Дельвига, чтобы узнать, как идет работа над «Онегиным». Но первую главу романа Бестужев и Рылеев не приняли, не могли они принять и следующие главы. Можно предположить, что Пушкин отослал в Петербург труд, который был созвучен интересам его «республиканских» друзей. Желание познакомить их со своими «Замечаниями» могло иметь еще одну причину.

Известно, что когда Дельвиг приехал к Пушкину, тот уже получил «Полярную звезду» на 1825 год. Новый альманах вместе читался и обсуждался друзьями. Брату Пушкин писал, что Дельвиг «любит лежать на постеле, восхищаясь Чигринским Старостою» (XIII, 163), т. е. отрывком из поэмы Рылеева «Наливайко», напечатанным в «Полярной звезде». Несомненно, что гражданский пафос альманаха не прошел мимо Пушкина и Дельвига, а гражданский пафос альманаха был в первую очередь связан со статьей Бестужева.[18] Несомненно и то, что программная статья Бестужева обсуждалась ими в первую очередь. На это Пушкина вызывали сами издатели. Рылеев, сообщая Пушкину о выходе альманаха, писал: «Уверен заране, что тебе понравится первая половина взгляда Бестужева на словесность нашу. Он в первый раз судит так основательно и так глубокомысленно» (XIII, 150). Однако Рылеев ошибался. Пушкин вступил в полемику с Бестужевым. Позиция, выраженная позднее в письме к Бестужеву от конца мая—начала июня (и продолженная в письмах к Рылееву) в своем первоначальном виде была очевидно сформулирована в беседах с Дельвигом. В ходе полемики встали вопросы об ободрении писателей, о социальном положении писателей в России, об отношениях Пушкина и Воронцова, «аристократическом предрассудке Пушкина» — его 600-летнем дворянстве, которое он так настойчиво утверждал и которое решительно осуждали издатели «Полярной звезды».

Одним из принципиальных вопросов полемики был вопрос об ободрении. Бестужев писал: «Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни; Шекспир под лубочным навесом возвеличил трагедию;

[16] Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929, с. 181.

[17] Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы, с. 78—79.

[18] Отзвуком их бесед об альманахе и его гражданской направленности является отрывок из письма Пушкина к Жуковскому от 20-х чисел апреля 1825 года (XIII, 166).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Мольер из платы смешил толпу; Торквато из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий; даже Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу в бледности изможденных гонением или недостатком лиц ваших — рассвет бессмертия!» [19]

Отношений писателей с власть имущими Пушкин касался в своих «Заметках по русской истории XVIII века». Так же как Бестужев, он выстраивает ряд трагических писательских судеб: «. . .Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый лучи его, перешел из рук Шишковского в темницу, где и находился до самой ее смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами — и Фон-Визин, которого она боялась, не избегнул бы той же участи, если б не чрезвычайная его известность» (XI, 16).

При внешней схожести перечней, которые мы находим у Бестужева и у Пушкина, они имеют различные исходные позиции. Для романтика Бестужева «гении всех веков и народов» противостоят окружающему миру. Пушкин исходит из конкретной исторической ситуации в России. «Чиновные» фавориты и нечиновные, гонимые писатели-дворяне — одна из примет «века» Екатерины.

Своими «Заметками» Пушкин мог начать полемику с Бестужевым, т. е. отправить их с Дельвигом в Петербург, чтобы потом додумать, отшлифовать свои возражения. «Заметки» были исторической основой, на которой строились его дальнейшие аргументы в упомянутом письме к Бестужеву. После отъезда Дельвига мысли, вызванные беседами с ним, совместным чтением и обсуждением литературных новинок и мнений, продолжали занимать поэта. В первых числах июня (т. е. через полтора месяца после отъезда Дельвига) Пушкин пишет ему: «По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение» (XIII, 181). Почти одновременно посылает он и письмо Бестужеву, которое тоже содержит «окончательное мнение» по поводу его обзора и, в частности, по поводу «ободрения». Вопрос об «ободрении» особенно остро воспринимался Пушкиным после службы у Воронцова и высылки из Одессы.

Посылая в Петербург «Исторические замечания», Пушкин был готов видеть себя в числе «гонимых» писателей. Томашевский справедливо отметил, что «в обзоре деятельности Екатерины II Пушкин исходит из интересов своего времени: он отмечает те порочные стороны ее деятельности, которые сохраняли свою силу и в царствование Александра. . .» [20] Его судьба в «Записках» (как она могла рисоваться в первом их варианте) была продолжением судеб названных им Радищева, Княжнина и других. Однако в ходе размышлений «гонение» и «ободрение», по-видимому, перестали быть крайними точками одной шкалы. «Гонения» — преследования политические, а «ободрение» — признание социальной весомости писателя, признание его деятельности как общественно необходимой со стороны властей. И вот в письме к Бестужеву выстраивается другой ряд имен: Державин и Дмитриев, которые «в ободрение» были сделаны министрами, воспитатель наследника Жуковский, историограф Карамзин. В пылу полемики даже век Екатерины II Пушкин называет «веком ободрения», но в качестве примера «ободренного» писателя может привести только одного Державина.

«Окончательное мнение» в отношении «ободрения» писателей сформировалось на фоне сложившегося (и сформулированного в «Замечаниях») размышления о судьбах русского дворянства. Успех литературы Пушкин связывал с независимостью писателей, а независимость видел в их принадлежности к родовитому дворянству. В письме к Бестужеву он писал: «У нас писатели взяты из высшего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием. Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин — дьявольская разница!» (XIII, 179).

Связь между «Замечаниями», письмом к Бестужеву и размышлениями о собственной судьбе обнаруживает, нам кажется, один эпизод. 10 августа 1825 года Пушкин пишет Вяземскому: «. . .да нет ли стихов покойного поэта Вяземского, хоть эпиграмм? Знаешь ли его лучшую эпиграмму: *Что нужды? говорит рассчетливый* etc. . . главная прелесть: *Я не поэт, а дворянин!* и еще прелестнее после посвящения Войнаровского — на которое мой Дельвиг уморительно сердится» (XIII, 204). «Посвящение» Войнаровского Бестужеву заканчивалось известной декларацией Рылеева: «Я не поэт, а гражданин». Из письма выявляется еще одна тема бесед Дельвига и Пушкина. Эпиграмму вспомнили потому, что концовка ее перекликалась с декларацией Рылеева.

Речь идет о следующей эпиграмме Вяземского:

«Что пользы, — говорит расчетливый Свиньин, —
Мне кланяться развалинам бесплодным
Пальмиры, Трои иль Афин?
Пусть дорожит Парнаса гражданин
Воспоминаньем благородным:
Я не поэт, а дворянин,
**И лучше в Грузино пойду путем доходным:
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин».**

[19] Полярная звезда. . . на 1825 год. Пб., 1825, с. 6.

[20] Томашевский Б. В. Указ. соч., с. 585.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Эпиграмма Вяземского высмеивала адресованные Аракчееву льстивые стихи П. П. Свиньина:

Я весь объехал белый свет
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою,—
Дивился многому умом,
Но только в Грузине одном
Был счастлив сердцем и душою,—
И сожалел, что не поэт!

Вяземский назвал свою язвительную эпиграмму «эпиграмматическим переводом стихов Свиньина». Тираду Пушкина о Воронцове, ждущем льстивых стихов от поэта, можно назвать переводом той же эпиграммы на язык публицистической прозы. Таким образом, стихотворение Рылеева напомнило Пушкину и Дельвигу эпиграмму Вяземского и стихотворение Свиньина, а вирши Свиньина (равно как и эпиграмма Вяземского) вспомнились Пушкину еще и потому, что сочетались с его размышлениями о судьбах русского дворянства, как и с его личными отношениями с Воронцовым. «Чины сделались страстию русского народа», — пишет Пушкин в записке «О народном воспитании» (и, судя по пометам на полях ее, в «Исторических замечаниях»); «И лучше в Грузино пойду путем доходным: Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин» — как бы вторит Пушкину Вяземский. Эпиграмма Вяземского иллюстрирует мысль Пушкина применительно к современности. «Шестисотлетнее дворянство» защищало, по мнению Пушкина, от «страсти к чинам». А «страсть к чинам» вела дворянство к утрате независимости (в этом, собственно, и состоит «соль» эпиграммы Вяземского). Личные отношения Пушкина с Воронцовым, его жизненный опыт, как и его исторические размышления, противоречили предложенной Бестужевым концепции ободрения.

Обсуждение «Полярной звезды» с Дельвигом и желание как можно скорее довести свою позицию, выраженную в «Замечаниях», до «полярных господ» и других петербургских литераторов (а Дельвиг был тем человеком, который знал, кому можно показывать «Заметки») могло быть стимулом к отправке «Замечаний» в Петербург.

В переписке Пушкина нет следов, которые позволили бы нам сказать с уверенностью, что Бестужев или Рылеев читали «Заметки по русской истории XVIII века». Отметим, однако, что в переписке Пушкина недостает нескольких писем (как самого поэта, так и издателей «Полярной звезды»), относящихся к начатой полемике. Так, например, не имеем мы «замечаний» Пушкина на «Войнаровского», о которых он неоднократно упоминает в письмах к Рылееву. Не дошло до нас и очень важное для нашей темы письмо-ответ Бестужева на замечания Пушкина по поводу обзора в «Полярной звезде». Именно в этом полемическом ответе Бестужева могли упоминаться «Исторические замечания» Пушкина.

Из сказанного следует, что по первоначальному плану, «Записки» Пушкина должны были включать историко-публицистическое введение, от которого поэт впоследствии отказался. Это введение было написано Пушкиным и состояло из двух глав или разделов. Первая глава печатается под редакторским названием «Заметки по русской истории XVIII века» в разделе «Историческая проза». Вторая до нас не дошла. Возможно, автограф или какие-либо следы этой главы и сейчас хранятся в одном из архивов (государственных или частных). Но не исключено, что рукопись Пушкина находилась в руках кого-нибудь из декабристов и была уничтожена в ожидании ареста. Пушкин жег свои бумаги из боязни «замешать многих», кто-то мог уничтожить рукопись «Замечаний» из боязни замешать его. Будем надеяться на первое. Вспомним, что автограф записки «О народном воспитании» был найден только в 1965 году.

Нам кажется, что еще один след той же «2 гл.» (или «№ 2») «Записок» мелькает в пушкинском отрывке из «Романа в письмах». В письме девятом читаем: «Состояние помещика, по-моему, самое завидное. Чины в России необходимость хотя бы для одних станций, где без них не добьешься лошадей». Дальше в рабочей тетради Пушкина (ПД, № 841) следовал пропуск.[21] В комментариях к десятитомнику Б. В. Томашевский пишет: «По-видимому, часть 9-го письма утрачена».[22] После пропуска читаем текст: «Пустившись в важные рассуждения я совсем забыл, что теперь тебе не до того. . .» (VIII, 54). Ссылку на «Записки» при рассуждении о чинах мы видели в черновике записки «О народном воспитании». Не исключено, что пропуск в рукописи нарочитый и что в 1829 году, когда писался «Роман в письмах», Пушкин еще надеялся вернуть свои «Исторические замечания» и переписать в письмо девятое отрывок из них.

---

[21] Позднее он заполнен отрывками из «Евгения Онегина» (7-й главы и «Путешествия Онегина») и рисунками.

[22] Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VI. М.—Л., 1957, с. 74.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Н. Н. Петрунина

О НАБРОСКЕ ПУШКИНА «МОСКВА БЫЛА ОСВОБОЖДЕНА...»

Среди незавершенных фрагментов Пушкина сохранился прозаический набросок, именуемый обычно по первым его словам — «Москва была освобождена». Предмет отрывка — рубеж русской истории начала XVII века: конец междуцарствия, избрание на царство Михаила Романова (1613). Набросок, дошедший до нас в составе рабочей тетради 1829—1833 годов (ПД 842), опубликован был впервые В. Е. Якушкиным при описании этой тетради,[1] а в 1887 году П. О. Морозов ввел его в собрание сочинений поэта.[2] Основываясь на положении фрагмента в рукописи, Морозов отнес его возникновение к 1832—1833 годам — дата, которая с уточнениями, диктовавшимися изучением записей, соседствующих с ним в тетради, продержалась до начала 1960-х годов.[3]

Уже Морозов напечатал фрагмент «Москва была освобождена» под рубрикой «Исторические заметки», объединив его с выпиской «О приказах» и сопроводив примечанием: «. . .заметки. . . набросаны Пушкиным, по всей вероятности, в то время, когда он приступил к занятиям историей Петра Великого».[4] С этого времени и до малого академического издания включительно фрагмент печатался среди пушкинских текстов исторического характера.[5]

В 1962 году Ю. Г. Оксман отказался от ставших традиционными датировки и толкования наброска. Изъяв из состава исторической прозы Пушкина, исследователь поместил фрагмент «Москва была освобождена» в томе «Критика и публицистика» среди «Статей и заметок 1824—1836 гг.» и сопроводил его примечанием: «Конспект исторической части предисловия Ф. Н. Глинки к поэме „Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой“ связан с работой Пушкина над статьей об этой поэме.[6] Временем публикации статьи (февраль 1830) условно определяется и дата конспекта, явно не законченного». При этом фрагмент получил соответствующий редакторский заголовок: «Конспект предисловия Ф. Н. Глинки к поэме „Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой“».[7] Однако, как убеждает обращение к первому изданию поэмы Глинки, «Москва была освобождена» не только не является «конспектом» предисловия или примечаний к «Карелии», но и вообще не обнаруживает с ними ни текстуальной, ни фактической близости. Это заставляет отклонить комментарий Ю. Г. Оксмана, а с ним и датировку фрагмента 1830 годом.

Признав, что вопрос о назначении фрагмента остается открытым, мы должны будем заключить, что основания для его датирования приходится по-прежнему искать в рабочей тетради Пушкина. Тетрадь ПД 842 заполнялась с двух сторон. Набросок «Москва была освобождена» находится с той стороны, где записи открываются черновиком стихотворения «Мé-док», которым Пушкин, по-видимому, начал тетрадь вообще, и расположен в таком контексте: лл. 15_{1-2}, 16_1 — набросок незавершенного «Разговора о критике»; л. 17_1 — фрагмент (начало первой главы) ранней редакции «Пиковой дамы»; лл. 18_1, 19_1 — «Москва была освобождена»; лл. 20_{1-2} — второй фрагмент «Пиковой дамы»; лл. 21_1—23_2 — черновик поэмы «Езерский». Насколько можно судить при отсутствии твердых датировок для большинства произведений, над которыми поэт работал на перечисленных и примыкающих к ним листах, тетрадь с этой стороны заполнялась подряд. Как уста-

---

[1] Русская старина, 1884, авг., с. 323—324.

[2] Пушкин А. С. Соч., т. 5. СПб., 1887, с. 190—191.

[3] Сам Морозов позднее (Пушкин А. С. Соч. и письма, т. 7. СПб., 1905, с. 35—36) сузил датировку фрагмента до 1832 года; П. Е. Щеголев (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 5. М.—Л., 1931, с. 474) отнес его к 1831—1832 годам; Ю. Г. Оксман (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. V. М.—Л., «Academia», 1936), повторив в тексте (с. 351) дату «1831—1832», в примечании, раскрывая ее мотивировку, писал: «Условно — по месту в рукописи — датируется 1832—1833 гг.» (с. 665); Л. Б. Модзалевский (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. VIII. М.—Л., изд. АН СССР, 1951, с. 551) вслед за Щеголевым датировал набросок «1831—1832».

[4] Пушкин А. С. Соч., т. 5. СПб., 1887, с. 191.

[5] Не нарушают этой традиции ни подготовленный Н. К. Козминым IX том первого академического издания Пушкина (1928), где в состав «Историко-литературных, критических, публицистических и полемических статей и заметок», из которых исключены «статьи исторические», интересующий нас фрагмент не вошел, ни издание «Academia» (т. V), где Ю. Г. Оксман поместил его под рубрикой «Литературно-критические, исторические и полемические наброски».

[6] Комментируя статью Пушкина о поэме Глинки, Ю. Г. Оксман так определил характер этой связи: «Вариантом начала рецензии на „Карелию“ является набросок „Москва была освобождена“» (Пушкин А. С. Собр. соч. в 10-ти т., т. 6. М., Гослитиздат, 1962, с. 418).

[7] Там же, с. 304—305, 540.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

новила О. С. Соловьева,[8] черновик «Езерского» появился в тетради ПД 842 в промежуток времени с апреля до сентября 1832 года, а оба отрывка «Пиковой дамы» возникли, несомненно, до того, как Пушкин перенес работу над поэмой на страницы этой тетради. Тем самым следует заключить, что фрагмент «Москва была освобождена» набросан не позднее начала сентября 1832 года. Сложнее установить время, ранее которого он не мог появиться. «Разговор о критике», предшествующий в тетради первому отрывку «Пиковой дамы», возник, по-видимому, в середине (до 14) февраля 1830 года.[9] Однако сам текст наброска первой главы повести об игроке указывает на тот же 1832 год.[10] Остается допустить, что отрывок «Москва была освобождена», вклинившийся между двумя фрагментами «Пиковой дамы», писан также в 1832 году, не позднее начала сентября.

Автограф фрагмента в тетради ПД 842 — текст, писанный набело с поправками. Поправки, с одной стороны, свидетельствуют о стилистической шлифовке, с другой — говорят о поисках нормы фактической детализации.[11] Пушкин ищет тон повествования, но в самом рассказе не идет дальше первых шагов. Если внимание к стилю характерно как для прозы Пушкина (будь она художественная, историческая или публицистическая), так и для творческих его заготовок впрок — конспектов, выписок, заметок, восходящих к письменным либо к устным источникам, то второе направление правки — поиски масштаба отражения исторической действительности — выдает скорее работу творческого характера. Забегая вперед, скажем, что фрагмент «Москва была освобождена» представляется нам ранним приступом к «Истории Петра», начальными строками «Истории», набросанными в то время, когда Пушкин едва лишь начал систематическую работу над ней, когда создание ее подготовительного текста было еще делом будущего. Каковы же доказательства, которые можно привести в пользу этой гипотезы?

К «Истории Петра» привлекает внимание уже время возникновения наброска — 1832 год. Еще в июле 1831 года Пушкин просил «дозволения заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках» с тем, чтобы «современем. . . написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» (XIV, 256), и получил его. По настороженно-скептическому свидетельству Н. М. Языкова, в декабре 1831 года «Пушкин только и говорит, что о Петре. . . Он много, дескать, собрал и еще соберет новых сведений для своей истории».[12] В феврале 1832 года Пушкин реально приступает к работе в архивах и почти одновременно получает доступ к богатой петровскими материалами библиотеке Вольтера (см.: XV, 5, 13—15). «С зимы 1832 года, — писал П. В. Анненков, опираясь на рассказы современников Пушкина, — он стал посвящать все свое время работе в архивах. . . Он предался новой работе своей с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1832».[13] Мы можем сейчас только догадываться, какой след оставили эти занятия в бумагах Пушкина: и подготовительный текст «Истории» известен далеко не полностью, а записи, которые Пушкин делал до составления свода, практически неизвестны. Допуская, что одновременно с увлеченными поисками и изучением документальных источников Пушкин пытался представить себе первые строки будущего труда, отыскивал тон будущего повествования, мы отчасти исходим из того, что известно сейчас о ходе работы Пушкина над другим историческим сочинением — «Историей Пугачева».

К эпохе Пугачева Пушкин обратился в первые месяцы следующего, 1833 года — сначала в связи с задуманной им повестью из времен пугачевщины, а потом как к предмету самостоятельных исторических разысканий. Прежде чем погрузиться в изучение архивов пугачевской поры, поэт знакомился с временем и местом событий по печатным источникам. На этой стадии работы, задолго до того, как вполне определились очертания будущего труда, а может быть, и до того, как замысел истории окончательно отпочковался от мысли о повести, из-под пера Пушкина вышел набросок «Между недовольными Яицкими казаками» (IX, 435) — первый, еще очень неполный и несовершенный очерк биографии Пугачева. Фактическая

---

[8] См.: Соловьева О. С. «Езерский» и «Медный всадник». История текста. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. III. М.—Л., 1960, с. 279—283.

[9] См. мотивировку Ю. Г. Оксмана в кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т., т. 6. М., Гослитиздат, 1962, с. 540. Ср. частично отменяющую «Разговор» заметку Пушкина «О статьях кн. Вяземского», которая была опубликована в «Литературной газете» (1830, № 10, цензурное разрешение от 14 февраля).

[10] Подробнее см.: Петрунина Н. Н. Две «петербургские повести» Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. X. М.—Л., 1982, с. 150.

[11] Пушкин. Полн. собр. соч., т. XI. [Л.,] Изд. АН СССР, 1949, с. 455 (далее ссылки на это издание даются в тексте).

[12] Языков Н. М. Письмо к А. М. Языкову от 22 декабря 1831 года. — Вестник Европы, 1897, кн. 12, с. 603.

[13] Анненков П. Материалы для биографии А. С. Пушкина. СПб., 1855, с. 359.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

сторона очерка очень скоро, уже при первом обращении Пушкина к документам Военной коллегии, обнаружила свой предварительный характер,[14] но и тип повествования и интонационный строй раннего фрагмента в основных своих чертах родственны позднейшему тексту «Истории».

Творческая история исследования о Пугачеве показывает, что самая мысль о том, что на пороге систематической работы по изучению эпохи петровских преобразований Пушкин мог набросать несколько начальных строк замышлявшегося труда, не противоречит существующим представлениям о приемах работы поэта-историка. Но, разумеется, сам по себе этот факт еще ничего не доказывает. Он оставляет без ответа главный вопрос — вопрос о том, предусматривал ли замысел «Истории Петра» описание событий, происходивших более, чем за полвека до рождения царя-преобразователя.

Тема избрания Романовых на царство впервые появилась у Пушкина задолго до возникновения фрагмента «Москва была освобождена». В начале июня 1825 года Пушкин писал А. А. Дельвигу: «Видел ли ты Н. ‹иколая› М. ‹ихайловича›? идет ли вперед История? где он остановится? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные! 6 Пушкиных подписали избирательную грамоту! да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я. . .» (XIII, 182). Слова эти интересны в двух отношениях. Во-первых, они показывают, что еще при жизни Карамзина Пушкин связывал свои представления о конце его труда с «избранием Романовых». Карамзину не суждено было довести «Историю» до конца. Смерть остановила его на описании сумятицы междуцарствия, на 1611 годе. Перечень содержания последней главы и оглавление изданного посмертно XII тома «Истории» кончаются рубрикой: «Убиение Ляпунова. Последствия. Состояние России».[15] К той исторической грани, на которой пресеклась работа Карамзина, особо привлекал внимание Д. Н. Блудов в заметке «От издателей», предварявшей первое издание XII тома «Истории». «Повествование о бедствиях царствования Василия Шуйского и последовавшего за оным междоцарствия, — читаем здесь, — прерывается в 1611 году. Как нам кажется, сие не ослабляет и может быть еще усиливает впечатление, производимое описанием тогдашнего ужасного состояния России».[16] Междуцарствие и вошло в общее сознание как тот рубеж, на котором остановился Карамзин. Нетрудно заметить, что отрывок «Москва была освобождена» как бы подхватывает нить карамзинского повествования.

С другой стороны, письмо к Дельвигу — первый из дошедших до нас текстов, где размышления об истории дома Романовых сплетаются воедино с воспоминаниями о славном историческом прошлом и о нынешнем упадке рода Пушкиных.[17] Среди последующих упоминаний об избрании Романовых ближайшие по времени — в разговоре русского с испанцем (условно присоединяемом к повести «Гости съезжались на дачу»; конец 1829—начало 1830 года), в «Опровержении на критики» (1830), в «Моей родословной» (1830) — связаны как раз с темой причастности рода Пушкиных и — шире — древней русской аристократии к утверждению царствующей ныне династии, с картиной последовавшего упадка старых боярских родов.

В ряду пушкинских вариаций на эту тему наибольший интерес представляет для нас черновик «Езерского» (апрель—сентябрь 1832 года). Речь идет о том самом черновике поэмы, который в рабочей тетради Пушкина следует за наброском «Москва была освобождена» и отделен от него лишь фрагментом ранней редакции «Пиковой дамы». Строфы «Езерского» писались в тетради ПД 842 в пору углубленных исторических штудий и размышлений Пушкина, и характерно, что избрание Романовых предстает здесь уже не с точки зрения потомка древнего боярского рода, отодвинутого ходом времени с авансцены исторической жизни, не сквозь призму семейных его воспоминаний, но с точки зрения общенациональных интересов:

Когда ж средь Думы величавой [18]
Принял Романов свой венец
И под отеческой державой
Русь отдохнула наконец. . .

(V, 399)

Примечательно и другое: в последнем из цитированных стихов при описании страны, оправляющейся от бедствий междуцарствия, Пушкин воспользовался близким вариантом формулы, найденной в работе над отрывком «Москва была освобождена», где эта формула читается: «Отечество отдохнуло» (XI, 222).

---

[14] См.: Петрунина Н. Н. «История Пугачева». От замысла к воплощению. — Русская литература, 1974, № 3, с. 182—183.

[15] Карамзин Н. М. История государства Российского, т. XII. СПб., 1829, с. 293 (I пагинации) и 243 (II пагинации).

[16] Там же, с. VII.

[17] Можно думать, что к середине 1825 года эта тема была затронута поэтом в составе записок, уничтоженных им в 1826 году. См.: Левкович Я. Л. Незавершенный замысел Пушкина. — Русская литература, 1981, № 1, с. 127.

[18] Текст цитирован с учетом исправления, сделанного О. С. Соловьевой по рукописи. См.: Соловьева О. С. Указ. соч., с. 280.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

По времени написания набросок «Москва была освобождена» очень недалек от черновика «Езерского» из тетради ПД 842. Тем более важно подчеркнуть, что уже в этом черновике поэма изображает ход исторических событий существенно точнее, чем исторический фрагмент. Если там «Отечество отдохнуло» и приступило к избранию нового царя, то в «Езерском» стабилизация легитимной верховной власти представлена как необходимый шаг к тому, чтоб «Русь отдохнула». С этого времени восшествие на трон Михаила Романова неизменно предстает у Пушкина как важный рубеж отечественной истории — событие, положившее конец терзавшим Русь смутам и междоусобицам. В черновой редакции «Путешествия из Москвы в Петербург», писанной в декабре 1833—марте 1834 года, сразу после завершения «Истории Пугачева», появились известные слова Пушкина — вывод из его жизненного опыта и исторических изучений: «. . .со времен возведения н‹а престол› ‹?› Романовых. . . правительство у нас всегда впереди на поприще образованности и просвещения» (XI, 223). Еще более полно и определенно пушкинская концепция отечественной истории и взгляд его на избрание Романовых как на веху, стоящую на грани двух периодов исторического развития страны, выразилась в знаменитом письме поэта к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года. «Пробуждение России, — писал здесь Пушкин, — развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история? . .» (XVI, 172).

Та роль, которую отводил Пушкин восшествию Михаила Федоровича на русский престол в своих представлениях об исторической жизни страны, уже достаточно проясняет возможное место этой темы в «Истории Петра».

В цитированной выше докладной записке, поданной в июле 1831 года на имя гр. А. Х. Бенкендорфа, поэт писал: «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу современем исполнить давнишнее мое желание написать Историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» (XIV, 256). Данное здесь определение хронологических границ будущего труда Пушкин позднее существенно дополнил и уточнил в другом документе, дошедшем до нас в числе материалов к «Истории Петра». Речь идет об «Очерке введения» — важной части подготовительного свода. Из «Очерка» видно, что введение к «Истории» было задумано как всесторонняя картина допетровской Руси.

И. Л. Фейнберг, много сделавший для изучения «Истории Петра», по существу прошел мимо этого обстоятельства. Сосредоточив внимание на анализе подготовительного, погодного свода, исследователь недооценил удельного веса и принципиальной важности, которые получала в составе пушкинского замысла панорама «кануна Петровской эпохи».[19] И даже задавшись целью уяснить, «какие стороны пушкинского труда остались неосуществленными или недоработанными»,[20] Фейнберг не учел прямых свидетельств на этот счет, содержащихся в «Очерке введения».

«. . .Одна только история народа может объяснить истинные требования оного» (XII, 18), — писал Пушкин в 1836 году. Но уже в первые месяцы 1833 года, на время оставив «Историю Петра» ради изучения пугачевщины, Пушкин был убежден, что «полное понятие о внутреннем управлении Яицких казаков, об образе жизни их и проч. необходимо для совершенного объяснения Пугачевского бунта» (IX, 380). Свой труд о народном возмущении XVIII века он начал с XV столетия, с первых поселений казаков на Яике, прослеживая истоки будущего взрыва в истории отношений казаков с русским правительством, с одной стороны, во внутренней эволюции, которую претерпели казачьи вольности с середины XVI века до 1770-х годов, — с другой. «Очерк введения» к «Истории Петра» не оставляет сомнений, что в этом труде Пушкин ставил задачу еще более широкого охвата и всестороннего анализа сложившихся к концу XVII века институтов, норм государственной и народной жизни, с особым вниманием присматриваясь к тому, что в недалеком будущем стало объектом петровских преобразований.

«Очерк» делится на две неравные части. Его открывает план — перечень тех аспектов, тех категорий социальной, экономической, культурной жизни допетровской Руси, которые, по замыслу Пушкина, должна была охватывать вводная часть «Истории». За планом следует сжатая программа изложения, уточняющая и конкретизирующая план. В программе два параграфа. Предметом первого из них являются события внешнеполитической жизни, очерк внешних отношений России XVII века (что соответствует рубрике плана «Россия извне»), второй посвящен внутреннему положению страны («Россия внутри»).

Однако (и это оставалось до сих пор неосмысленным) прежде чем приступить к разработке первого пункта своего плана — к характеристике внешней политики, Пушкин набрасывает общую картину состояния страны после воцарения Романовых. Первый параграф программы введения он начинает словами: «Россия, долго терзаемая междоусобиями и притесняемая хищными соседями, отдыхала

[19] Фейнберг Илья. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 7-е, М., 1979, с. 147.

[20] Там же, с. 146 и след.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

под управлением Романовых» (X, 290). Эти слова не только возвращают нас к исторической эпохе, знакомой по фрагменту «Москва была освобождена». «Россия. . . отдыхала» — новый вариант формулы, сложившейся в историческом наброске 1832 года, усвоенной «Езерским» и три года спустя вновь появившейся в начальных строках введения к «Истории Петра». В свете всего, что сказано выше, это вряд ли можно счесть случайным совпадением. Думается, что «Очерк введения» не только достаточно определенно свидетельствует о связи между фрагментом «Москва была освобождена» и «Историей Петра», но и раскрывает характер этой связи.

Итак, в 1832 году, в самом начале длительной полосы исторических изучений, Пушкин набросал несколько строк — начало будущей «Истории». Что дает это обстоятельство исследователю «Истории Петра»?

Прежде всего, оно уточняет нынешние представления о ходе работы Пушкина над его историческим замыслом и — шире — о творческом процессе Пушкина-историка. Историк в Пушкине всегда взаимодействовал с художником, и самое существование фрагмента «Москва была освобождена» наводит на мысль, что одновременно с формированием концепции, параллельно с разработкой документальной основы «Истории» поэт посредством своеобразной «пробы пера» уяснял себе другие стороны будущего труда — такие, как строй речи, характер соотношения рассказа с документальным материалом, степень фактической детализации, темп повествования. Для Пушкина с его абсолютным чувством гармонической соразмерности такой опыт, предпринятый на ранней стадии исторических штудий, мог иметь особое значение, способствуя осознанию разных (в том числе художественных) задач, которое затем обеспечивало «точность прицела» в процессе изучения отдельных документов, а позднее определяло принципы создания предварительного текста.

Еще более существенны вопросы, которые возникают в связи с тем, что ранний фрагмент «Истории Петра» привлекает внимание к некоторым сторонам пушкинского замысла, отраженным в «Очерке введения» и до сих пор недостаточно изученным. Анализ этой сложной и специальной проблемы не входит в задачу настоящего сообщения. Заметим лишь, что набросок «Москва была освобождена» позволяет подчеркнуть, что Пушкин, если не буквально, то по существу, мыслил свой труд как продолжение «Истории» Карамзина.

И последнее. В собраниях сочинений Пушкина отрывок «Москва была освобождена», безусловно, следует печатать в разделе прозы исторической. Сложнее определить его место в томе, посвященном «Истории Петра». Для этого необходимо произвести анализ всех дошедших до нас материалов, связанных с работой Пушкина над «Историей», определить время их возникновения и, создав основу для хронологического расположения текстов, найти место фрагмента в составе тома. Задачу эту должно разрешить новое академическое издание сочинений Пушкина.

О. Б. Лебедева, А. С. Янушкевич

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ЖУКОВСКОГО 1830—1840-х ГОДОВ

Одним из характерных и недостаточно изученных моментов творческого развития В. А. Жуковского являются его стихотворные переложения западноевропейской прозы. Среди них такие важные для поэта произведения, как «Двенадцать спящих дев» (1810—1817), «Неожиданное свидание» (1831), «Ундина» (1833—1836), «Капитан Бопп» (1843). Хронология этих опытов, их источники и характер поэтической обработки свидетельствуют о неслучайности этого процесса в творческой эволюции поэта, взаимосвязи их с размышлениями Жуковского о сближении поэзии и прозы, о «безрифменной поэзии».

Архив поэта дает возможность убедиться в этом, предоставляя новые факты оригинальной поэтической обработки произведений западноевропейской прозы.

1

В одном из многочисленных списков Жуковского 1840-х годов (здесь же находится дневниковая запись от 8(20) октября 1841 года),[1] в ряду произведений, намеченных к работе или выполненных, встречаем название «Falkenburg». Появление в списке этого произведения далеко не случайно: еще в дневнике 1833 года (запись от 27 января) Жуковский писал о чтении произведения с таким названием: «Читал Радовица. Потом повесть Фалкенбург».[2] Библиотека поэта (собрание Науч-

[1] ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 40, л. 1.

[2] Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903, с. 254.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ной библиотеки Томского университета) позволяет выяснить, о какой повести идет речь.

В библиотеке поэта находятся многочисленные издания немецких сказаний, историй, легенд, в том числе семь изданий «Рейнских сказаний». Пометы в них — свидетельство глубокого интереса Жуковского к ним на протяжении почти целого десятилетия. В одном из сборников: «Sagen aus den Gegenden des Rheins und des Schwarzwaldes. Gesammelt von D. Aloys Schreiber» (Heidelberg, 1829) на с. 149—163 находится повесть «Falkenburg», отмеченная в оглавлении особым значком — крестиком.

Однако знакомство с повестью не ограничивалось ее чтением. Через несколько дней (1—3 февраля 1833 года) Жуковский набрасывает 67 стихов, которые являются поэтическим переложением самого начала сказания.[3] Произведение получает название «Эллена и Гунтрам». Приводим этот отрывок, ранее не публиковавшийся.[4]

Эллена в сумерках сидела
За самопрялкой у окна;
В окно задумчиво глядела
Работу позабыв она.
Перед окном дорога вьется.
Она глядит, вдруг видит: там
Пыля, на вороном несется
Коне жених ее Гунтрам.
Эллена, вскрикнув, покраснела,
Из замка выбежать хотела
Навстречу милому она;
Заторопилась, заспешила
И самопрялку уронила
И видит нить перервана.
И душу злое предвещанье
Невольно возмутило в ней,
И отуманилось сиянье
Ее лазоревых очей;
Не разогнал ее печали
И вид младого жениха;
Была грустна, была тиха
И перлы слез в глазах сверкали.
Не унывай, сказал Гунтрам,
Недолго быть в разлуке нам.
Отдав фальцграфу долг вассала,
Я возвращусь, путь недалек.
Неделя самый длинный срок.
Эллена грустно промолчала.
Ночь подоспела той порой;
Гунтрам с невестою простился,
Сел на коня, поехал, скрылся;
И долго с тайною тоской
Эллена у окна стояла
И взор на небо устремляла,
На коем звезды перед ней
В обычной тишине своей
Воспламенялись как лампады,
Но сердцу грустному отрады
Не принесла их тишина.
В свой терем возвратясь, она
Всю ночь ту плакала, молилась
И к утру лишь утомлена,
Смятенным, тяжким сном забылась.
Прошла неделя, но Гунтрам
Не возвратился по условью.
Напрасно волю дав мечтам,
С нетерпеливою любовью
Эллена под окном сидит
И на широкий путь глядит —
Конь вороной там не пылит
И нет Гунтрама. Обещанью
Он против воли изменил:
В Бургундию фальцграфом был
Он послан. Кончив все, к свиданью
С невестой, напоследок в свой
Обратный путь Гунтрам пустился.

II

Давно был вечер. В лес густой
Заехавши, в потемках сбился
Гунтрам с дороги. Тщетно он
Найти свободный путь старался.
Непроходим со всех сторон
Был лес и только что сгущался.
Вот наконец взошла луна,
И просветлела понемногу
Густого леса глубина;
В кустах заглохшую дорогу
Сквозь сумрак разглядел Гунтрам.[5]

Для понимания характера работы поэта, творческого начала в переложении текста обратимся к соответствующему отрывку прозаического сказания «Falkenburg»:

Die schöne Liba sass am Spinnrocken, und schaute manchmal durch das Erkerfenster der Falkenburg hinaus auf den Weg, der aus dem Eichenwald führte. Sie war mit Guntram verlobt, einem jungen Ritter aus der Nachbarschaft, und hing an ihm mit treuer Liebe. Guntram vollte an das Hoflager des Pfalzgrafen ziehen, um dort sein Lehen zu empfangen, und noch vorher von seiner Braut Abschied nehmen. Eine Stunde mochte sie so gesessen haben, als er, auf seinem Grausehimmel, das Thal heraufsprengte. Sie warf in der Freude die Spindel aus der Hand, und wollte ihm entgegeneilen, verwickelte sich aber in das Gespinnst, und eh' sie sich noch losmachen konnte, trat Guntram schon zur Thüre herein. Liba wurde in diesem Augenblicke von einer Bangigkeit ergriffen, welche sie nicht zu meistern musste, und Guntram hatte Mühe, sie durch Worte

[3] На этот набросок обратил внимание еще А. Н. Веселовский, следующим образом характеризуя его: «. . .отрывок, всего 67 стихов, какой-то немецкой пьесы с действующими лицами Элленой и Гунтрамом» (Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». Пг., 1918, с. 362).

[4] У И. А. Бычкова в описании бумаг Жуковского приводится всего лишь четыре начальных строки (Отчет ИПБ за 1884 г. СПб., 1887, с. 105).

[5] ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 37, л. 24 об.—25 об. Нумерация стихов принадлежит Жуковскому.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

und Liebkosungen in etwas zu beruhigen. Er schied, mit dem Versprechen, in vierzehn Tagen wieder bey ihr zu seyn, und trug ihr noch viele Grüsse an ihre Mutter auf, die in der Kirche war.

Guntram hatte den festen Vorsatz, so bald als möglich zurückzukommen, denn auf der Falkenburg blieben sein Herz und seine Gedanken zurück; allein es geschah nicht, wie er wünschte und dachte. Der Pfalzgraf wollte eben, als er dort anlangte, eine Gesandtschaft nach Burgund schicken, und wählte unter andern dazu auch Guntram, denn er besass eine einnehmende Gestalt und adeliche Sitten. Sechs Wochen gingen über der Reise hin; auf dem Heimwege verirrte sich Guntram mit seinen Gefährten in einem dicken Walde; die Nacht brach ein, und der Ritter sah sich zuletzt von den übrigen getrennt, und musste den Weg in der Finsterniss und durch das Gestrüpp auf gut Glück suchen. Endlich vernahm er das Rauschen eines Bachs, und ritt darauf zu.[6]

Перевод: Прекрасная Либа сидела за прялкой и иногда смотрела через эркер Фалкенбурга на дорогу, которая вела из дубовой рощи. Она была обручена с Гунтрамом, молодым рыцарем из соседней области, и испытывала к нему верную любовь. Гунтрам хотел отправиться ко двору фальцграфа, чтобы там получить свое ленное поместье, а перед этим проститься со своей невестой.

Она просидела так около часа, когда он на своем вороном коне проскакал через долину. Она от радости выронила из рук веретено и хотела бежать ему навстречу, но запуталась в пряже, и прежде чем смогла высвободиться, Гунтрам уже вошел в дверь. Либу в это мгновение охватил страх, который она не знала, как преодолеть, и Гунтрам с трудом успокоил ее немного словами и ласками. Он простился с обещанием через четырнадцать дней снова быть у нее и передал еще много приветов для ее матери, которая была в церкви.

Гунтрам имел твердое намерение вернуться как можно скорее, потому что в Фалкенбурге остались его сердце и его мысли; однако получилось не так, как он желал и думал. Когда он прибыл к фальцграфу, тот как раз хотел отправить посольство в Бургундию, и среди других для этого также выбрал Гунтрама, потому что у него была привлекательная внешность и благородные манеры.

Шесть недель длилось путешествие; на обратном пути Гунтрам со своими спутниками заблудился в густом лесу; спустилась ночь, и рыцарь в конце концов оказался в одиночестве и должен был наугад искать дорогу в темноте, пробираясь через валежник. Наконец он услышал журчанье ручья и поскакал к нему.

Сравнение текста отрывка рейнского сказания и поэтического переложения, соответствующего ему, позволяет говорить о некоторых особенностях его поэтики. Поэт не изменяет принципиально самого сюжета (пожалуй, единственное отступление от источника — замена имени героини). Он, правда, опускает некоторые детали, связанные с путешествием Гунтрама. Зато текст переложения насыщается психологическими деталями при описании состояния героини. То, о чем в сказании говорится буквально в одном предложении, у Жуковского получает развитие на протяжении всей первой части. Можно без преувеличения сказать, что вся эта часть посвящена Эллене,[7] в то время как в сказании о ее прототипе Либе после отъезда Гунтрама уже не упоминается.

Создавая свою стихотворную повесть, о чем свидетельствует деление повествования на части, Жуковский прежде всего стремился к обогащению характеров героев и углублению мотивировок их поступков. Повествование в сказании достаточно динамично и остросюжетно, а Жуковский с самого начала как бы замедляет его, фиксируя внутренние побуждения героев, психологическую подоплеку событий. Его в большей степени интересует не само событие, а состояние, ему предшествующее.

«Фалкенбург» в этом отношении давал интересный материал для стихотворного переложения. История пребывания Гунтрама в таинственном замке, его невольное приобщение к зловещим тайнам, обручение с умершей, но живущей как призрак дочерью хозяина замка Эрлиндой, возвращение в Фалкенбург к Либе, свадьба с ней, заканчивающаяся гибелью героя — все эти события, окутанные атмосферой сказочной фантастики и романтической тайны, привлекли Жуковского.

Рейнское сказание, включающее в себя поэтические вставные истории, песни, оказалось созвучно настроениям «русского балладника». Обратившись к его переложению, Жуковский пытается воссоздать романтическую атмосферу действия. Работая над экспозицией (а первая часть выполняла именно эту функцию), он не случайно углубляет именно характеристику Эллены. В «Фалкенбурге» о переживаниях героини не говорится почти ничего, Жуковский же сразу заостряет ситуацию, внося в экспозицию важный момент, отсутствующий в сказании, — высокую любовь героини, ее страдания. Важное значение в переложении имеет и провиденциальный мотив: «злое пред-

[6] Sagen aus den Gegenden des Rheins und des Schwarzwalds. Gesammelt von D. Aloys Schreiber. Heidelberg, 1829, S. 149—150.

[7] Видимо, неслучайно поэт в начале работы и называл свое переложение просто «Эллена» (Дневники В. А. Жуковского, с. 255).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

вещанье» и сопутствующие ему переживания углубляют драматизм действия. Сама система поэтической выразительности (анафорическое «и», повторение отдельных мотивов, насыщенная глагольность, глагольные рифмы) способствует этому. Такая экспозиция становится точкой отсчета для осмысления дальнейших событий. Вся история Гунтрама, его муки и сомнения на этом фоне обретают большую психологическую мотивировку.

Вторая часть переложения только начата. Ее одиннадцать стихов своеобразно передают соответствующий отрывок сказания. Жуковский опускает все то, что связано непосредственно с сюжетным действием: совершенно исчезает из переложения упоминание о спутниках Гунтрама, о журчании ручья. Зато краткое сообщение о том, как Гунтрам оказался в густом лесу, как спустилась ночь, поэт распространяет, передает сложности поиска пути. Характерно, что важный для Жуковского мотив пути-дороги обретает здесь хотя и вполне конкретный в данной ситуации, но во многом символический для дальнейшего повествования смысл. «. . .В потемках сбился Гунтрам с дороги. Тщетно он Найти свободный путь старался», «заглохшую дорогу Сквозь сумрак разглядел Гунтрам» — все эти детали как бы предсказывают дальнейшую судьбу героя: его измену Либе-Эллене, «заколдованный круг» жизни в лесном замке, попытки вырваться на свободу, путь через темный лес и встречу с ведьмами, возвращение к любимой, закончившееся гибелью героя.

Появление в этих стихах постоянной спутницы баллад Жуковского — луны, отсутствующей в сказании, стремление в небольшом отрывке передать изменения, происходящие в природе, позволили поэту и начало второй части драматизировать и обогатить психологическими наблюдениями. В этом смысле вторая часть своим мироощущением продолжает настроение предчувствия, какого-то душевного смятения, наметившееся в первой части. Даже общее движение времени внутренне закрепляет эту связь: «Эллена в сумерках сидела» — «Ночь подоспела той порой» — «И к утру лишь, утомлена. . .» (I часть) и «Давно был вечер» — «Вот наконец взошла луна, И просветлела понемногу Густого леса глубина» — «Сквозь сумрак разглядел Гунтрам» (II часть).

Показательно, что стихотворный размер (четырехстопный ямб) Жуковский использует в переложении уже как закрепленную им самим традицию стихотворной повести и баллады. «Эллена и Гунтрам» в этом отношении продолжает такие опыты Жуковского, как «Суд в подземелье», «Плаванье Карла Великого», «Роланд-оруженосец» и др. По точному замечанию С. Матяш, «в этом периоде (1831—1833). . . сохраняет свои позиции только универсальный четырехстопный ямб».[8] Чередование женских и мужских окончаний создает особый прерывистый ритм, как бы соответствующий изменениям психологического состояния героини — от надежды к сомнению и тревоге.

Таким образом, обращение к «рейнскому сказанию»,[9] «Фалкенбургу», можно считать одним из характерных опытов переложения прозаического текста в стихотворную повесть. Этот опыт важен и интересен как для понимания общего характера эстетики поэта 1830—1840-х годов, так и для осмысления его пути к «Ундине».

2

Созданию «Эллены и Гунтрама» предшествует большая работа Жуковского по выработке новых принципов поэтики баллады и повести. В той же тетради, где находится рукопись переложения «Фалкенбурга», расположены следующие произведения, датированные самим автором:

31 октября 1832 года	«Плаванье Карла Великого»
4 ноября	«Роланд-оруженосец»
8—12 ноября	«Нормандский обычай»
2—3 декабря	«Братоубийца»
3 декабря	«Наль и Дамаянти» (начало)
5—6 декабря	«Рыцарь Роллон»
7 декабря	«Царский сын и поселянка»
8 декабря	«Старый рыцарь»
8—9 января 1833 года	«Уллин и его дочь»
10—12 января	«Элевзинский праздник»
13 января	«Орел и голубка»
14—17 января	«Элевзинский праздник» (окончание), наброски для стихотворения «Картина жизни»
1—3 февраля	«Эллена и Гунтрам»

[8] Матяш С. А. Метрика и строфика В. А. Жуковского. В кн.: Русское стихосложение XIX века. М., 1979, с. 74.

[9] К переложению «рейнских сказаний» Жуковский обращался и позднее.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Прежде всего поражает удивительная по своей интенсивности работа Жуковского. Поэт «переводил с каким-то лихорадочным спехом»,[10] пробуя различные лиро-эпические жанры. Баллада, стихотворная повесть, драматическая повесть, басня, стихотворение под условным, но характерным названием «Картина жизни» и, наконец, стихотворное переложение прозаического сказания — такова жанровая палитра этих поисков.

Об их интенсивности свидетельствуют и многочисленные списки задуманных переводов и переложений, расположенные на верхней и нижней крышке переплета тетради. Здесь встречается упоминание «Германа и Доротеи» Гете, «Ундины» Ламотт-Фуке, «Песни о колоколе» Шиллера, «Макбета» и «Отелло» Шекспира и т. д. Но особенно настойчиво (трижды) повторяется название повести Людвига Тика «Der blonde Eckbert» («Белокурый Экберт»).[11]

Интерес Жуковского к этому произведению проявился еще в 1817 году. В письме к Д. В. Дашкову от конца 1817 года в связи с проектом издания «собрания переводов из образцовых немецких писателей» [12] Жуковский говорит о ряде произведений из «Фантазуса» Тика, называя и повесть «Der blonde Eckbert».

Материалы архива Жуковского позволяют говорить, что мысль о переводе повести Тика не покидала его и позднее. В Онегинском собрании рукописей поэта хранится черновой автограф стихотворного переложения этой повести (более 50 стихов), который выглядит так:

БЕЛОКУРЫЙ ЭКБЕРТ

2 февр.

Некогда в темной долине лесистого Гарца жил рыцарь,
Был он лет сорока, сухощав и бледен, и кудри
Светлых волос покрывали его широкие плечи;
Все от того называли его белокурым Экбертом.
Жил он в замке своем с молодою женой, как отшельник
В дикой степи; друг друга любили они, но чуждались
Света и редко захаживал гость в их пустыню. Один лишь
Был у Экберта друг; назывался он Вальтер; в соседней
Области замок имел он и будучи страстный охотник
Часто с своей арбалетой ходил в ту долину, где жили
Рыцарь Экберт и его молодая жена. Принимали
Вальтера с лаской сердечной они и он оставался
Дней по нескольку с ними; с утра уходил на охоту,
К ночи ж назад возвращался и длились нередко
Их разговоры до света. — Была глубокая осень.
С Бертой своею Экберт и гость их Вальтер сидели
Раз у огня; дрова трещали; пламя, блескучий
Свет разливая, на своде палаты играло; угрюмо
Черная ночь смотрела в окна и ветер холодный
Дождь отрясая с деревьев, как крыльями птица ночная,
В стекла стучал. Бывают в жизни минуты, когда нам
Страшно становится тайну от друга иметь и невольно
Сердце свое ты пред ним обнажаешь; в такие минуты
Все исчезают преграды и две сливаются жизни
Разом в одну; но случается часто и то, что в ужас
Нас самих откровенность наша приводит и дружбу
Губит доверенность. Как бы то ни было, в эту минуту
Внутренний голос шептал неотступно Экберту: откройся
Другу вполне. Послушай, Вальтер, сказал он, давно уж
Мы с тобою друзья, а все еще многое в нашей
Жизни прошедшей до сих пор осталось тебе не открыто.
Это лежит у меня на сердце как камень; мне должно,
Вальтер, я чувствую, должно это тяжкое бремя
Сбросить с себя. Жена теперь же тебе откровенно
Все расскажет, что с нею случилося в жизни. — Я буду
Слушать охотно — Вальтер сказал, поглядев со вниманьем
Берте в лицо. Была уже полночь; месяц ущербный
Бледно светил в туманном круге, и дымом прозрачным
Мчались мимо его облака, наводя на окрестность

[10] Веселовский А. Н. Указ. соч., с. 362.

[11] ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 37. Все даты у Жуковского даны по новому стилю. Кстати, в списках Жуковский дает немецкое название повести «Der blonde Eckbert» и «Tieck. Eckbert», а также русский перевод его: «Белокурый Экберт». Это же название дал своему переводу и А. А. Шишков (см.: Московский вестник, 1830, ч. 2, с. 119—150).

[12] Русский архив, 1868, № 4—5, с. 842.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Сумрак тревожный, сменяемый часто неверным сияньем.
Волю мужа я рада исполнить, — с приметным волненьем
Берта сказала. Ты, Вальтер, нам друг, ты живое участье
Примешь в нашей судьбе. И как ни похожа на сказку
Будет повесть моя; но знать ты должен, что все в ней
Чистая правда! Слушай! Я дочь родителей бедных. . .[13]

Сравним с текстом источника — повестью Л. Тика:

In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden Eckbert nannte. Er war ohngefähr vierzig Jahr alt, kaum von mittler Grösse, und kurze hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen, eingefallenen Gesichte. Er lebte sehr ruhig für sich und war niemals in den Fehden seiner Nachbarn verwickelt, auch sah man ihn nur selten ausserhalb den Ringmauern seines kleinen Schlosses. Sein Weib liebte die Einsamkeit eben so sehr, und beide schienen sich von Herzen zu lieben, nur klagten sie gewöhnlich darüber, dass der Himmel ihre Ehe mit keinen Kindern segnen wolle.

Nur selten wurde Eckbert von Gästen besucht, und wenn es auch geschah, so wurde ihretwegen fast nichts in dem gewöhnlichen Gange des Lebens geändert, die Mässigkeit wohnte dort, und die Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. Eckbert war alsdann heiter und aufgeräumt, nur wenn er allein war, bemerkte man an ihm eine gewisse Verschlossenheit, eine stille zurückhaltende Melancholie.

Niemand kam so häufig auf die Burg als Philipp Walther, ein Mann, dem sich Eckbert angeschlossen hatte, weil er an diesem ohngefähr dieselbe Art zu denken fand, der auch er am meisten zugethan war. Dieser wohnte eigentlich in Franken, hielt sich aber oft über ein halbes Jahr in der Nähe von Eckberts Burg auf, sammelte Kräuter und Steine und beschäftigte sich damit, sie in Ordnung zu bringen, er lebte von einem kleinen Vermögen und war von Niemand abhängig. Eckbert begleitete ihn oft auf seinen einsamen Spaziergängen, und mit jedem Jahre entspann sich zwischen ihnen eine innigere Freundschaft.

Es gibt Stunden, in denen es den Menschen ängstigt, wenn er vor seinem Freunde ein Geheimniss haben soll, was er bis dahin oft mit vieler Sorgfalt verborgen hat, die Seele fühlt dann einen unwiderstehlichen Trieb, sich ganz mitzuteilen, dem Freunde auch das Innerste aufzuschliessen, damit er um so mehr unser Freund werde. In diesen Augenblicken geben sich die zarten Seelen einander zu erkennen, und zuweilen geschieht es wohl auch, dass einer vor der Bekanntschaft des andern zurückschreckt.

Es war schon im Herbst, als Eckbert an einem neblichten Abend mit seinem Freunde und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines sass. Die Flamme warf einen hellen Schein durch das Gemach und spielte oben an der Decke, die Nacht sah schwarz zu den Fenstern herein, und die Bäume draussen schüttelten sich vor nasser Kälte. Walther klagte über den weiten Rückweg, den er habe, und Eckbert schlug ihm vor, bei ihm zu bleiben, die halbe Nacht unter traulichen Gesprächen hinzubringen, und dann in einem Gemache des Hauses bis am Morgen zu schlafen. Walther ging den Vorschlag ein, und nun ward Wein und die Abendmahlzeit hereingebracht, das Feuer durch Holz vermehrt und das Gespräch der Freunde heitrer und vertraulicher.

Als das Abendessen abgetragen war und sich die Knechte wieder entfernt hatten, nahm Eckbert die Hand Walthers und sagte: «Freund, Ihr solltet Euch einmal von meiner Frau die Geschichte ihrer Jugend erzählen lassen, die seltsam genug ist». — «Gern», sagte Walther, und man setzte sich wieder um den Kamin.

Es war jetzt gerade Mitternacht, der Mond sass abwechselnd durch die vorüber flatternden Wolken. «Ihr müsst mich nicht für zudringlich halten», fing Bertha an, «mein Mann sagt, dass Ihr so edel denkt, dass es unrecht sei, euch etwas zu verhehlen. Nur haltet meine Erzählung für kein Märchen, so sonderbar sie auch klingen mag.

Ich bin in einem Dorfe geboren, mein Vater war ein armer Hirte». . .[14]

Перевод: В одном из уголков Гарца жил рыцарь, которого обыкновенно звали Белокурым Экбертом. Он был лет сорока или около того, невысокого роста, короткие светлые волосы, густые и гладкие, обрамляли его бледное лицо со впалыми щеками. Он жил очень тихо, никогда не вмешивался в распри соседей и редко появлялся за стенами своего небольшого замка. Жена его столь же любила уединение, оба были сердечно привязаны друг к другу и только о том горевали, что бог не благословил их брака детьми.

Гости редко бывали у Экберта, а если и бывали, то ради них не делалось почти никаких изменений в обычном течении его жизни, умеренность господствовала в доме, где, казалось, сама бережливость правила всем. Экберт только тогда бывал весел, когда оставался один, в нем заме-

[13] ПРИИ, ф. 244 (архив А. Ф. Онегина), № 27767, CXCVIII б. 38, л. 1, 3, 3 об., 4.

[14] Ludwig Tieck's Schriften, Bd. 4. Berlin, 1828, S. 144—146.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

чали какую-то замкнутость, какую-то тихую, сдержанную меланхолию.

Чаще всего приходил в замок Филипп Вальтер, человек, к которому Экберт был душевно привязан, находя образ мыслей его весьма сходным со своим. Вальтер жил по-настоящему во Франконии, но иногда по полугоду и более проводил в окрестностях замка Экберта, где собирал травы и камни и приводил их в порядок; у него было небольшое состояние, и он ни от кого не зависел. Экберт нередко сопровождал Вальтера в его уединенных прогулках, и взаимная дружба их крепла с каждым годом.

Бывают минуты, когда нам мучительно иметь тайну от друга, даже такую, которую прежде тщательно старались скрыть; душа чувствует тогда непреодолимое влечение открыться близкому человеку, посвятить его в свое самое сокровенное и тем сильнее привязать его. В такие мгновенья взаимно узнают друг друга чуткие души, и нередко случается, что один вдруг отступает в страхе перед приязнью другого.

Туманным осенним вечером Экберт сидел с женою и другом у пылающего камина. Пламя ярко освещало комнату, играя на потолке, сквозь окна глядела темная ночь. Деревья на дворе стряхивали с себя холодную влагу. Вальтер жаловался, что ему далеко возвращаться, и Экберт предложил ему остаться у него, чтобы провести часть ночи в откровенной беседе и отдохнуть затем до утра в одной из комнат замка. Вальтер согласился, подали вина, ужин, подложили дров, и разговор друзей стал живее и откровеннее.

После ужина, когда слуги убрали со стола и удалились, Экберт взял Вальтера за руку и сказал:

— Друг мой, не угодно ли вам выслушать рассказ моей жены о ее приключениях в молодости, которые довольно странны.

— Очень рад, — отвечал Вальтер, и все трое придвинулись к камину.

Это было ровно в полночь, месяц то прятался, то вновь выглядывал из-за бегущих облаков.

— Не сочтите меня навязчивой, — начала Берта, — муж мой говорит — ваш образ мыслей так благороден, что несправедливо было бы что-либо таить от вас. Только, как ни странен будет рассказ мой, не примите его за сказку.

— Я родилась в деревне, отец мой был бедный пастух. . .[15]

Рукопись, где обнаружен этот текст, представляет собой небольшую тетрадочку, заполненную только до четвертого листа. Основанием для ее датировки является запись Жуковского: «Начал пить воду 13 ноября». Ниже чернилами написана другая дата: «2 февр<аля>». Два слоя рукописи (карандашный и чернильный) дают основания думать, что поэт обращался к переложению повести дважды в период с 13 ноября 1832 года по 2 февраля 1833 года.[16]

Таким образом, переложение тиковского «Белокурого Экберта» неразрывно связано с работой Жуковского над «Элленой и Гунтрамом». Во время небольшого перерыва от работы над переводами из Уланда (с 12 ноября по 2 декабря 1832 года) Жуковский осуществил первый, карандашный, набросок переложения, а в период создания «Эллены и Гунтрама» возвратился к нему, перебелив его чернилами.

Заслуживает внимания и следующий интересный факт: переложение «Белокурого Экберта» как бы «прослаивается» рукописью еще одного наброска. На л. 1 об.—2 Жуковский, прервав работу над повестью Тика, набрасывает следующий текст:

Был вечер тих, и море голубое
Лежало гладкою равниной; свежий
Благоуханный воздух не струился,
Не наводя на зеркало [волны?].
Дышало все прохладой растворенной,
Очаровательно сверкали звезды,
С своими белыми скалами Мальта
Казалась облачком, меж двух лазурных,
В одну слиянных бездн, висящим. Словом,
То был один из тех невыразимых
Чудесных вечеров, когда душа
Томится беспокойным наслажденьем.
И в этот вечер, прелести его
Не чувствуя, на крепостном валу
Стояли офицеры гарнизона
Валетты. Тот, куря, смотрел угрюмо
На море и пускал клубами дым,
То вдруг бледнел, то вдруг, забыв
сигару,
Держал ее перед открытым ртом
И думал; тот стоял, подняв руки
На грудь, и мрачный взор его, упертый
в землю,

[15] Перевод А. А. Шишкова. Он достаточно точно передает текст повести Тика и интересен для сравнения с переложением Жуковского (Московский вестник, 1830, ч. 2, с. 119—121).

[16] Аргументы в пользу именно такой датировки следующие: 1) характер бумаги — на такой бумаге, белой, линованной, Жуковский писал именно во время заграничного путешествия 1832—1833 годов; 2) настойчивое упоминание повести Тика в списках этого периода; 3) наконец, запись «начал пить воду» вполне соответствует поездке Жуковского 13 ноября 1832 года в Верне — небольшой городок на швейцарско-французской границе, знаменитый серными источниками и лечебными минеральными водами, находящийся в нескольких километрах от Веве, где жил в это время поэт. Эти поездки и даже пешие прогулки затем будут регулярно продолжаться, но первое посещение источников Верне произошло именно 13 ноября (См.: Дневники В. А. Жуковского, с. 246).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Был неподвижен; тот в тревожных
мыслях
С движеньем судороги часто тер
Рукою лоб и вздрагивал, как будто
Ужасное что вспомнил. Все они
Тот вечер провели у командира
Станлея Ральфа, коменданта
Валетты и стоявших в Мальте войск.
Потом сошлись на бастионе, чтоб
свободно
Поговорить о том, что в этот день
Случилось. — Я, сказал один
из офицеров,
Предвидел это все с тех самых пор,
Как Виллис Франк был переведен в роту
К Мажанди. Франкова жена прелестна.
Мы знаем все, каков Мажанди.
Франк горяч
И честью дорожит. Чему ж
Дивиться? Быть иначе не могло.
Вернон, ты заседал в суде военном.
Что говорил в свою защиту Франк?
Он не сказал ни слова. Преступленье
Доказано. На капитана поднял
Он руку. В этом нет сомненья.[17]

Источник этого текста установить не удалось, но в журнале «Телескоп» обнаружен прозаический аналог под названием «Военный суд на острове Мальте» с подзаголовком «Быль». В конце перевода указано: «Из „Naval and Military Magazine“».[18] Вот как выглядит это произведение в русском переводе (приводим только начало, соответствующее отрывку переложения Жуковского):

ВОЕННЫЙ СУД НА ОСТРОВЕ МАЛЬТЕ

Быль

В один прекрасный вечер, в августе, группа молодых офицеров, коих лица изображали живейшее беспокойство, собрались на большом плац-параде Валетты. Удивительный зной царствовал во все продолжение дня; и этой одной причины уже достаточно было, чтобы оправдать отчасти лихорадочный жар, пылавший на физиономиях лиц, кои составляли сию группу. Хотя прохладный ветерок, поднявшийся к вечеру с моря, проливал приятную свежесть на площадь, разнося на крыльях своих упоительное благовоние лимонных садов, никто, по крайней мере из англичан, не являлся насладиться удовольствиями прекрасной ночи; молодые офицеры одни виднелись на площади, столпившись вокруг одной из пушек, расставленных более для украшения, чем для обороны города.

Они только что оставили залу сира Ральфа Станлея, губернатора всех английских владений на Средиземном море, дабы на просторе излить свои чувствования, очевидно стесненные присутствием генерала.

— Я это знал наперед, говорил один из самых младших офицеров, я знал, что это так кончится. С самой минуты его ареста, или лучше со дня вступления его в роту Мажанди, я предсказывал гибельную развязку. У Франка Виллиса такая прелестная жена. . . а сердце так благородно. . . Он не мог ужиться с подобным человеком. . . Вы, Вернон, принадлежите к Военному совету; скажите, как Франк представил свое дело? Как он защищался?

— Он и не брался за это. Преступление его слишком очевидно: оно представлено ясно со всеми подробностями.[19]

Характерно, что в упоминавшихся уже списках предполагаемых переводов рядом с «Белокурым Экбертом» и «Фалкенбургом» (нижняя крышка переплета) есть и название «Военный суд». К стихотворным переложениям немецкой прозы Жуковский, по всей вероятности, добавляет переложение произведения английской литературы. Характер этой рукописи, ее связь с переложением «Белокурого Экберта» позволяет думать, что это переложение было сделано одновременно с другими. Таким образом, три наброска свидетельствуют о своеобразном творческом эксперименте Жуковского конца 1832—начала 1833 года по переложению западноевропейской прозы на язык поэзии.

Сравнение переложений «Белокурого Экберта» и «Военного суда» с их прозаическими эквивалентами дает возможность говорить об определенной типологической общности всех переложений. Так же, как и в работе над рейнским сказанием, Жуковский углубляет романтическую атмосферу действия, расширяя описания природы, подчеркивая таинственность происходящего. Повесть-источник окрашивается лирическим настроением. Сравним некоторые отрывки из точного прозаического перевода А. Шишкова и переложения Жуковского.

---

[17] ИРЛИ, ф. 244 (архив А. Ф. Онегина), № 27767, CXCVIIIб.38, л. 1 об.—2.

[18] К сожалению, этот английский журнал оказался нам недоступен. В СССР отдельные номера этого журнала есть только в Научной библиотеке Одесского университета (Воронцовское собрание), но в них ничего похожего на это произведение нет.

[19] Телескоп, 1834, ч. 19, с. 499—500. Автор перевода не указан.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Перевод Шишкова

В одном из уголков Гарца жил рыцарь. . .

Пламя ярко освещало комнату, играя на потолке, сквозь окна глядела темная ночь. Деревья на дворе стряхивали с себя холодную влагу.

Это было ровно в полночь, месяц то прятался, то вновь выглядывал из-за бегущих облаков.

Переложение Жуковского

Некогда в темной долине лесистого
Гарца жил рыцарь. . .
. . .пламя, блескучий
Свет разливая, на своде палаты играло;
угрюмо
Черная ночь смотрела в окна и ветер
холодный,
Дождь отрясая с деревьев, как
крыльями птица ночная,
В стекла стучал. . .
. . .Была уже полночь; месяц ущербный
Бледно светил в туманном круге и дымом
прозрачным
Мчались мимо его облака, наводя
на окрестность
Сумрак тревожный, сменяемый часто
неверным сияньем.

Сопоставление уже этих отрывков показывает характер работы Жуковского. Сокращая событийную основу, он концентрирует настроение, воссоздает за счет нагнетения экспрессивных эпитетов, сравнений общий романтический колорит.

Характерно, что эти же принципы Жуковский использует не только при переложении прозы на язык поэзии, но и при переработке песни, занимающей особое место в повести Тика. Жуковский, оборвав переложение на самом начале рассказа Берты, делает наброски перевода этой песни. Он не только увеличивает ее в объеме, но и пытается выразить особое таинственное и завораживающее чувство, подчеркивая это через обильное употребление анафор, систему внутренних рифм. Сравним эту песню у Тика и в переводах А. Шишкова и Жуковского.

Тик

Waldeinsamkeit,
Die mich erfreut,
So morgen wie heut
In ewger Zeit,
O wie mich freut
Waldeinsamkeit.

Шишков

Уединенье —
Мне наслажденье.
Сегодня, завтра,
Всегда одно
Мне наслажденье —
Уединенье.

Жуковский

Вечно светла ты, вечно светла ты,
пустыня лесная!
Душу чарует, душу врачует покой
твой глубокий.
Всякое горе, тревогу людскую очи-
стит долина.
Дни здесь приятны! О как ласкает
пустыня лесная!
Где ты, родная пустыня лесная? Да-
леко-далеко!
Горе в душу вина заронила глубоко,
глубоко.

Простенькая песня Тика об уединении-наслаждении у Жуковского превращается в своеобразную маленькую балладу о светлой, чарующей жизни в «пустыне лесной» и невозможности счастья для человека, отягощенного трагической виной. Тема вины-рока, господствующая в повести Тика и волновавшая Жуковского в 1830-е годы,[20] получает здесь дополнительную окраску.

В работе над былью «Военный суд» Жуковский, уделяя много внимания красотам тихого летнего вечера, оттеняет тем самым тревожно-гнетущее настроение «группы молодых офицеров». Да и саму эту группу он рисует более конкретизированно. Вместо слов «лица изображали живейшее беспокойство», «лихорадочный жар, пылавший на физиономиях» возникает живописная картина, полная психологических нюансов:

. . .Тот, куря, смотрел угрюмо
На море и пускал клубами дым,
То вдруг бледнел, то вдруг,
забыв сигару,
Держал ее перед открытым ртом
И думал; тот стоял, поднявши руки
На грудь, и мрачный взор его,
упертый в землю,
Был неподвижен; тот в тревожных мыслях
С движеньем судороги часто тер
Рукою лоб и вздрагивал, как будто
Ужасное что вспомнил. . .

[20] Об этом см.: Лебедева О. Б. Перевод В. А. Жуковским отрывка из трагедии З. Вернера «Двадцать четвертое февраля». — В кн.: Библиотека В. А. Жуковского в Томске, ч. I. Томск, 1978, с. 301—331.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Усложненный синтаксис фразы способствует изображению различных душевных состояний. Этому же способствует повторение отдельных слов, нагнетение эмоционально-экспрессивных эпитетов (угрюмо, мрачный, тревожный, судорожный, ужасный) и экспрессивно окрашенных глаголов. Психологическая конкретизация определяет у Жуковского углубление драматизма повествования.

Экспериментаторский характер переложений Жуковского неразрывно связан с его поисками в области стиха. Все три переложения, созданные почти одновременно, написаны различным стихотворным размером: «Эллена и Гунтрам» — четырехстопным ямбом, «Белокурый Экберт» — гекзаметром, «Военный суд» — белым пятистопным ямбом. Думается, что это разнообразие было неслучайно. От универсального четырехстопного ямба, связывающего переложение с балладными опытами, Жуковский идет к «безрифменной поэзии», проверяя возможности сказового повествовательного гекзаметра и белого пятистопного ямба для передачи прозы, ее ритма, обогащая ее достижениями поэзии. Этот процесс в эпоху расцвета русской прозы особенно интересен как оригинальный и творческий эксперимент Жуковского и свидетельствует о качественных изменениях в его поэзии, о тенденции к сближению поэзии и прозы.

3

Опыты Жуковского по стихотворному переложению западноевропейской прозы продолжались и в 1840-е годы. «Ундина» и «Капитан Бопп» — свидетельство движения от экспериментов 1830-х годов к творческим достижениям 1840-х. Многочисленные стихотворные повести Жуковского этой поры («Маттео Фальконе», «Две повести», «Выбор креста», «Наль и Дамаянти», «Рустем и Зораб») закрепили эту связь.

Среди рукописей поэта, относящихся к этому периоду, есть и неизвестные еще наброски, включенные в тетрадь с характерным названием «Повести в стихах». Наиболее интересный среди них — начало переложения повести Л. Тика «Die Elfen». Эта повесть, как и «Белокурый Экберт», предназначалась Жуковским для перевода еще в 1817 году.[21] Затем ее название (у Жуковского — «Альфы») неоднократно появлялось в списках произведений 1830-х годов. И только 4 мая 1845 года [22] Жуковский начал работу по стихотворному переложению этой повести из тиковского «Фантазуса». Поэт записал всего лишь 33 стиха и прервал, как и во многих других случаях, этот опыт. Вот как он выглядит:

Где Лилия? спросил отец. Она,
Сказала мать, в саду; играет с сыном
Соседа нашего Анзельма; этот
Мальчишка очень мил; он весел, жив,
Но не проказлив; с ним без опасенья
Мы Лилию оставить можем. Дети,
(В окно тут закричала мать) я в поле
Иду с отцом; а вы играйте здесь;
Но вам и по лугу побегать можно
И в роще погулять; лишь далеко
Не уходите. Слышите ли? — Слышим! —
Сказал Руфин (так мальчик назывался).
Отец и мать ушли; а дети скоро,
Оставив садик, выбежали на луг,
Разостланный ковром перед пригорком,
На высоте которого стоял
Веселый домик мельника Мартына.
Он в этом домике уже тому лет шесть
С своею доброю женою Дорой
И с дочкой Лилией, тогда еще
Младенцем в колыбели, на житье
Приехал из соседней скучной
Безлюдной, полудикой стороны.
А край, в котором мельник жил,
Прекрасен был; подумать было можно,
Что небо ласково его
Лелеяло; над ним оно почти
Всегда безоблачно сияло;
Когда и темные сводило тучи,
То ненадолго, только для того,
Чтоб напоить поля дождем, как
Поят своих детей, их обновляя жизнь.
И над ними все было. . .[23]

Для сравнения приведем соответствующий отрывок повести Тика: «Wo ist denn die Marie, unser Kind?» fragte der Vater.

«Sie spielt draussen auf dem grünen Platze», antwortete die Mutter, «mit dem Sohne unsers Nachbars».

«Dass sie sich nicht verlaufen», sagte der Vater besorgt; «sie sind unbesonnen».

Die Mutter sah nach den Kleinen und brachte ihnen ihr Vesperbrod. «Es ist heiss!» sagte der Bursche, und das kleine Mädchen langte begierig nach den roten Kirschen. «Seid nur vorsichtig, Kinder», sprach die Mutter, «lauft nicht zu weit vom Hause oder in den Wald hinein, ich und der Vater gehen aufs Feld hinaus». Der junge Andres antwortete: «O, sei ohne Sorge, denn vor dem Walde fürchten wir uns, wir bleiben hier beim Hause sitzen, wo Menschen in der Nähe sind».

Die Mutter ging und kam bald mit dem Vater wieder heraus. Sie verschlossen ihre Wohnung und wandten sich nach dem Felde, um nach den Knechten und zugleich auf der Wiese nach der Heuernte zu sehen. Ihr Haus lag auf einer kleinen, grünen Anhöhe, von einem zierlichen Stakete umgeben, welches auch ihren Frucht- und Blumengarten umschloss, das Dorf zog sich etwas tiefer hinunter, und jenseits erhob sich das gräfliche Schloss. Martin hatte von der Herrschaft das grosse Gut gepachtet und lebte mit seiner Frau und seinem einzigen Kinde vergnügt, denn er

[21] Письмо к Д. В. Дашкову от 1817 года. — Русский архив, 1868, № 4—5, с. 842.

[22] Дата указана самим поэтом (ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 53, л. 51).

[23] ГПБ, ф. 286, оп. 1, ед. хр. 53, л. 51.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

legte jährlich zurück und hatte die Aussicht, durch Thätigkeit ein vermögender Mann zu werden, da der Boden ergiebig war und der Graf ihn nicht drückte.

Indem er mit seiner Frau nach seinen Feldern ging, schaute er fröhlich um sich und sagte: «Wie ist doch die Gegend hier so ganz anders, Brigitte, als diejenige, in der wir sonst wohnten. Hier ist es so grün, das ganze Dorf prangt von dichtgedrängten Obstbäumen, der Boden ist voll schöner Kräuter und Blumen, alle Häuser sind munter und reinlich, die Einwohner wohlhabend, ja mir dünkt, die Wälder hier sind schöner und der Himmel blauer, und so weit nur das Auge reicht, sieht man seine Lust und Freude an der freigebigen Natur».[24]

Перевод: «Где же, Мария, наше дитя?» — спросил отец. — «Она играет на зеленой лужайке с сыном нашего соседа», — ответила мать. — «Как бы они не заблудились, — сказал озабоченно отец, — они неосмотрительны».

Мать посмотрела на малышей и вынесла им полдник. «Жарко!» — сказал мальчик, а девчушка жадно потянулась к спелым вишням. «Будьте осторожны, дети, — сказала мать, — не убегайте далеко от дома, не ходите в лес, мы с отцом идем в поле». Маленький Андрес ответил: «О не беспокойтесь, мы боимся леса, мы будем возле дома, вблизи людей».

Мать пошла и скоро вышла вместе с отцом. Они заперли дом и направились в поле, чтобы присмотреть за работниками и одновременно на лугу посмотреть на сенокос. Их дом стоял на маленьком зеленом холме, окруженный аккуратным забором, который ограждал их цветник и фруктовый сад; деревня спускалась по склону холма, а на другой стороне возвышался графский замок. Мартин арендовал у хозяина большое имение и жил со своей женой и единственным ребенком в достатке, поэтому он откладывал каждый год деньги и хотел своим трудом стать состоятельным человеком, поскольку земля была плодородна, а граф его не угнетал.

Идя с женой на свои поля, он радостно посмотрел вокруг и сказал: «Насколько же здесь другая местность, Бригитта, чем та, в которой мы жили раньше. Здесь так зелено, вся деревня утопает в пышных плодовых деревьях, земля покрыта прекрасными травами и цветами; все дома новые и чистые, жители состоятельны, мне кажется даже, что леса здесь красивее, а небо голубее, и насколько хватает глаз, везде радует щедрая природа».

Сравнение текста Жуковского с повестью Тика дает основание говорить о некоторых новых тенденциях переложений. Если в 1830-х годах поэт стремился к концентрации основного настроения и создавал повести настроения, то в 1840-е годы очевидна попытка выявить эпическую природу повествования. Сохраняя основные моменты сюжета, Жуковский стремится к объективизации повествования. Это достигается за счет определенной детализации, а также переложения прямой речи в авторское описание. Описательное начало занимает важное место в переложениях Жуковского этого периода. В соотношении с уже известными произведениями и другими материалами архива и библиотеки поэта эти переложения помогают выявить характерные особенности поэтической эволюции Жуковского, его движение от лирики к поэтическому эпосу.

[24] L. Tieck's Schriften, Bd. 4. Berlin, 1828, S. 365—366.

К. В. Малиновский

ЗАПИСКА ЯКОБА ШТЕЛИНА О ПРУТСКОМ ПОХОДЕ ПЕТРА I

Почти двести лет прошло с первой публикации «Подлинных анекдотов о Петре Великом» Якоба Штелина, однако и поныне не утихают споры по поводу достоверности материалов, собранных в этой книге. У той части исследователей, которые в своей работе ставили во главу угла архивные материалы, происхождение сведений Штелина не вызывало сомнений. Другая же часть, подходившая к штелинской публикации с предубеждением, связанным с фигурой самого издателя, считала ее вымыслом Штелина.

Однако все дискуссии велись исключительно на основе многократно переиздававшегося перевода книги Штелина на русский язык, и ни один из критиков до сего дня не обращался к многочисленным материалам Штелина по этой теме, собранным в архиве.[1] Работа в течение многих лет над архивом Якоба Штелина дает нам основание высказать свою точку зрения по данному вопросу и познакомить специалистов с обнаруженными нами неизвестными документами.

[1] ГПБ, ф. 871, ед. хр. 18—23.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Отражая огромный интерес к фигуре Петра I, имевший место в России и в Западной Европе в середине XVIII века, Штелин собрал множество рассказов о нем от лиц, которые знали царя или оказывались свидетелями различных моментов его жизни. «Этот сборник анекдотов любопытен потому, что по нем историку можно следить, как слагаются легенды о замечательных людях и как в том часто участвуют даже их современники, иногда даже не подозревая, что в своих рассказах примешивают они более вымыслов и забывают истину».[2] В этой оценке П. П. Пекарского точно указано на значение книги и роль Штелина, который только зафиксировал существовавшую в обществе устную традицию и отразил взгляды российского общества середины XVIII века на личность Петра I. Очевидно, что при записи рассказов Штелин полностью полагался на источники информации и не ставил перед собой цели критического осмысления и проверки услышанного. Не случайно начиная с момента появления его книги в 1785 году и по настоящее время исследователи обнаруживают в ней различные неточности. Анекдоты о Петре I — это не стенограмма слышанных Штелином рассказов, а, по современной терминологии, их литературная запись. Штелин добросовестно передавал то, что слышал, и всегда указывал на источник информации. Перед списком авторов, помещенным в конце книги, Штелин замечает: «Даже если теперь остались в живых лишь немногие, которые лично знали Петра Великого, и, может быть, больше никого, кто может похвастаться общением с этим великим монархом, так ведь живы еще гораздо больше тех, которым перечисленные мною для подтверждения рассказанных анекдотов мужи, общавшиеся с Петром Великим, и из чьих уст я собирал анекдоты, были знакомы столь же хорошо, как мне, а может быть и лучше».[3]

Поэтому необоснованными представляются попытки некоторых исследователей, в частности С. А. Фейгиной [4] и Н. И. Павленко,[5] обвинить Штелина в том, что он сочинял приводимые в книге факты. При этом оба автора ссылаются на бездоказательное утверждение Н. Г. Устрялова: «Нет сомнения, что в сих анекдотах много истинного, по крайней мере в главной идее; но много и ложного: как профессор аллегории, Штелин не мог удержаться, чтобы не раскрасить слышанного им, верил всему, что рассказывали, даже пускался и на выдумки».[6] Но так как и С. А. Фейгина и Н. И. Павленко анализируют только сюжеты из книги «Подлинные анекдоты о Петре Великом», не сличают сохранившиеся штелинские рукописи с опубликованным текстом и пренебрегают имеющимися подготовительными материалами Штелина по данной теме, то их источниковедческая база оказывается недостаточной. Подготовительные материалы содержат и «Pro memoria» — первые краткие, в одно предложение пометки об услышанных анекдотах,[7] и «Анекдоты, которые еще не записаны подробно» [8] — заметки в один абзац, фиксирующие основное содержание анекдота с дополнительными пометками на полях, и подробные черновые заметки, также с отдельными добавлениями, уточнениями и исправлениями стилистического характера, и окончательные варианты анекдотов. Так, например, анекдот «Первоначальная любовь Петра Великого к картинам и введение гравировального искусства»[9] в черновике называется «Любовь и вкус Петра Великого к картинам».[10] Черновой текст содержит на полях ряд уточнений, характерных для работы Штелина над своими материалами в целом. В числе целей первой заграничной поездки Петра I он указывает изучение не только судостроения и судовождения, но и коммерции, сообщает имя приглашенного в Россию гравера Пикарта — Петер, подчеркивает, что тот исполнял красивые виды Москвы.[11] Перечисляя лиц, представленных на гравюре, изображающей осаду Азова (ее автор, правда, не Пикарт, а его отчим А. Схонебек), Штелин добавляет А. С. Шеина (называя его ошибочно Шейниным), П. И. Гордона, Ф. А. Головина, замечает, что Пикарт привлекал к гравированию умелых русских учеников [12] и т. п. Приведенные примеры доказывают стремление Штелина к возможно более точному рассказу не только в целом, но и в деталях. И не его вина, что в большинстве случаев он не располагал материалами для проверки и вынужден был довольствоваться услышанным.

---

[2] Пекарский П. История императорской Академии наук в Петербурге, т. 1. СПб., 1870, с. 559.

[3] Originalanekdoten von Peter dem Großen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskau und Petersburg vernommen und der Vergessenheit entriseen von Jacob von Stählin. Leipzig, 1785, S. 386. Далее: Originalanekdoten. . . Здесь и в дальнейшем все переводы выполнены автором статьи.

[4] Фейгина С. А. О подлинности письма Петра I с берегов Прута. — Советские архивы, 1970, № 4, с. 117—118.

[5] Павленко Н. И. Три так называемых завещания Петра I. — Вопросы истории, 1979, № 2, с. 129—144.

[6] Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого, т. I. СПб., 1858, с. LVIII—LIX.

[7] ГПБ, ф. 871, ед. хр. 18, лл. 36—37 об.

[8] Там же, лл. 111—116 об.

[9] Originalanekdoten. . . S. 98.

[10] ГПБ, ф. 871, ед. хр. 19, л. 223.

[11] Там же.

[12] Там же, л. 223 об.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Упомянутые подготовительные материалы убедительно доказывают добросовестность Штелина, о чем совершенно справедливо писал уже М. П. Погодин, обнаруживший архив Штелина: «Н. Г. Устрялов в достойном всякого уважения труде своем бросил тень подозрения на этого почтенного труженика, оказавшего множество услуг разного рода нашему образованию. Невежественные борзописцы ухватились за его устройство фейерверков и иллюминаций, за сочинение аллегорических рисунков со стихами, которое на него возлагалось по службе в Академии при и.[мператрицах] Анне и Елизавете, и начали глумиться над профессором аллегории. Устрялов, исчисляя источники для истории Петра Великого, по поводу изданных Штелиным анекдотов сказал, что он пускался и на выдумки: „В своем месте мы укажем его ошибки и обличим подлоги". Нет, скажу я решительно, приписывать Штелину выдумки и подлоги — грех: он мог ошибаться, но никогда не выдумывал и не обманывал. Перебрав многие сотни всяких его бумаг, я пришел к убеждению, что это была воплощенная немецкая точность, даже относительно ничтожнейших безделиц. Можно ли поверить, чтоб он позволил себе выдумки о важнейших, исторических предметах?» [13]

Добросовестность Штелина подтверждается исследованием и других его материалов, например записок по истории изящных искусств в России,[14] истории Российской Академии наук [15] и т. д.

Разбирая сюжет «Удивительная любовь Петра Великого к государству своему и отечеству», рассказывающий о письме Петра I с берегов Прута в Сенат, С. А. Фейгина и Н. И. Павленко стремятся доказать, что письмо сочинено Штелином. Аргументация Павленко сводится к следующему: «Если согласиться с точкой зрения о достоверности письма, то придется признать, что сколько-нибудь убедительное объяснение элементарным просчетам или несуразностям, вытекающим из текста письма, невозможно дать. И напротив, все неувязки отпадают, если исходить из противоположной посылки: перед нами — фальсификация. Тогда все становится на свои места. Логика рассуждений такова: Петр не был автором письма; из двух возможных авторов, упомянутых выше, Щербатов отпадает как человек, имевший профессиональную подготовку историка, для пера которого данная подделка была бы слишком грубой. Значит, автор — Штелин».[16] Тенденциозность и бездоказательность этого утверждения настолько очевидны, что нет необходимости опровергать его. Более убедительную точку зрения, на наш взгляд, высказала Е. П. Подъяпольская в исследовании «К вопросу о достоверности письма Петра I с берегов Прута»: «М. М. Щербатов (1733—1790), при жизни которого вышло несколько изданий „Анекдотов" Штелина на трех языках, не опровергнул ссылки Штелина на свое имя и тем самым подтвердил свою причастность к анекдоту о прутском письме. Щербатов не мог не знать „Анекдотов": рекомендуя книгу Штелина к печати в 1780 г., он считал одним из ее достоинств то, что „. . .все эти анекдоты подтверждены свидетельскими показаниями очевидцев, от которых вы получили эти анекдоты"».[17]

Анекдот «Удивительная любовь Петра Великого к государству своему и отечеству» можно условно разделить на три части. Первая, содержащая общие рассуждения о подъеме России при Петре I и отречении от престола Алексея Петровича, без сомнения принадлежит Штелину, ибо все эти сведения были хорошо известны ему самому. Подобные же мысли о прогрессе России в первой четверти XVIII века имеются и в ряде его записок об искусствах в России, и в его письмах.[18] Вторая часть — история написания письма и доставки его в Петербург — может быть приписана скорее Щербатову, так как Штелин не знал подробностей Прутского похода. Не случайно он заменяет точную дату письма многоточием, указывая лишь 1711 год, что также свидетельствует в пользу Штелина, ибо если бы он сочинил все сам, то мог спокойно проставить любую приблизительную дату. Само письмо на немецком языке выглядит достаточно убедительно и по слогу не может быть сочинением Штелина, о чем мы можем заявить со всей ответственностью на основании многолетней работы над штелинскими текстами. Достаточно сравнить стиль письма со стилем предшествующей части анекдота в первом немецком издании книги. Кроме того, не известно ни одного случая сочинения Штелином каких-либо апокрифов. В заключение анекдота Штелин пишет: «Оригинал вышеупомянутого письма находится в Кабинете Петра Великого при императорском дворе в Петербурге среди многих других собственноручных писем монарха и показан различным знатным особам высочайше назначенным управ-

[13] Погодин М. П. Два слова за Штелина. — В кн.: Погодин М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. 1672—1689. М., 1875, с. 229.

[14] ГПБ, ф. 871, ед. хр. 5—7.

[15] Там же, ед. хр. 1, 2.

[16] Павленко Н. И. Указ. соч., с. 138.

[17] Подъяпольская Е. П. К вопросу о достоверности письма Петра I с берегов Прута. — В кн.: Исследования по отечественному источниковедению. М.—Л., 1964, с. 314—318.

[18] Например, в записках о живописи в России (ГПБ, ф. 871, ед. хр. 6, лл. 22 об.—26) и в письме к А.-Л. Шлецеру (там же, ед. хр. 290, л. 14).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ляющим этого Кабинета князем Михаилом Михайловичем Щербатовым».[19]

В первом издании на немецком языке этот анекдот заканчивается ссылкой: «Автор: князь Михаил Михайлович Щербатов, камергер и герольдмейстер при правительствующем сенате»,[20] которую можно толковать только однозначно. Именно такие ссылки делает Штелин после каждого анекдота как в книге, так и в своих черновых материалах к ней. Однако при переводе на русский язык эта конкретная ссылка претерпела существенную трансформацию. Так, в издании 1793 года [21] в конце анекдотов указывается: «Известно сие от. . .», а в последующих изданиях, например 1801 года,[22] ссылка редуцируется до лаконичного и неопределенного «от. . .» (в рассматриваемом анекдоте — «от князя Щербатова»), что дает Н. И. Павленко возможность строить различные версии о достоверности анекдота.

Вряд ли можно подвергать сомнению тот факт, что М. М. Щербатовым было обнаружено письмо Петра I с берегов Прута, о чем сообщает и Штелин. Но у нас нет доказательств того, что обнаруженный документ был автографом Петра I. Речь могла идти о списке. Однако в этом случае правомерно поставить вопрос о том, была ли это копия действительно существовавшего некогда письма, или это был апокриф, который мог быть сочинен уже при жизни Петра I кем-либо из его окружения, например тем же П. П. Шафировым, одним из авторов «Гистории Свейской войны». Но не может быть сомнений, что Штелин имел русский текст и добросовестно перевел его.

Обнаруженный нами архивный документ позволяет выяснить некоторые подробности происхождения анекдота о письме Петра I с берегов Прута. Среди подготовительных материалов Штелина находится письмо А. А. Нартова к Штелину на русском языке, в котором он рассказывает эпизод о составлении Петром I указа в Сенат: «По изустным преданиям от находившихся при Петре Великом приближенных, в том числе был собственный его механик А. Нартов, который тоже сказывал, повествуется: якобы государь положа твердое намерение с армиею своею при Пруте храбро пробиться сквозь многочисленное войско турецкое, будучи оным со всех сторон окружен, и опасаясь несчастного приключения, накануне такого предприятия в предосторожность написал в Сенат своеручной Указ, изъявляющий горячейшую любовь его к Отечеству своему, и безпримерный великий дух, превышающий его выше смертных; какого примера ни в древних, ни в новых деяниях не находится, и который доказывает, что он государство свое любил паче, нежели самого себя. Сие повеление якобы состояло в том, чтоб в случае несчастного плена его, не почитали бы уже его более с того часа государем своим, но избрали бы на место его главою своею достойнейшаго; и по присылаемым из плена подписанным рукою Его указам не только никакого исполнения не чинили, да и оным бы не верили. Из сего доказывается, что Петр Великий лутче желал всякое несчастие претерпеть сам один, нежели что либо уступить от Отечества своего неприятелю и общую пользу предпочитал самому себе. О сем слышал я неоднократно от отца моего А. Нартова, при Петре Великом неотлучно 22 года бывшаго, котораго сей монарх любил, тоже слышал я и от г. сенатора князя Михаила Михайловича Щербатова, которому вверена была архива Петра Великаго для разбора. Но послан ли был такой Указ, и существует ли он где в хранилищах, того сказать не могу, а надлежит осведомиться о сем полутче у князя Щербатова».[23] Далее в письме Нартов рассказывает другой эпизод — о работе Петра I в токарной мастерской. Судя по титулу Штелина на адресе письма («Его превосходительству господину Штелину, действительному статскому советнику е. и. в.»),[24] оно написано не ранее 1775 года, когда Штелину был пожалован этот чин.

Из письма Нартова следует, что сведения об этом эпизоде из жизни Петра I Штелин получил от Нартова, а позднее также и от Щербатова, обратиться к которому ему рекомендовал Нартов. От Щербатова же, вероятно, происходят и те дополнительные подробности, которые появились в опубликованном тексте. Не случайно Штелин указывает на Щербатова как на автора анекдота.

Полистный просмотр всех шести дел, содержащих материалы о Петре I, показал, что, кроме цитированного письма А. А. Нартова к Штелину, не сохранилось никаких других документов, черновиков или чистовых записей, относящихся к анекдоту «Удивительная любовь Петра Великого к государству своему и отечеству». Упомянутые дела датируются 1736—1783 годами.[25] Сведения о письме Петра I с берегов Прута Штелин получил от Щербатова не позднее 1784 года, ибо в 1785 году в Лейпциге вышло первое

[19] Originalanekdoten. . . S. 53—54.
[20] Ibid., S. 54.
[21] Подлинные анекдоты о Петре Великом, слышанные из уст знаменитых особ в Москве и Санктпетербурге и извлеченные из забвения Яковом фон Штелиным, ч. 1, 2. М., 1793.
[22] Полное собрание анекдотов о Петре Великом. . . собранных на немецком языке господином Штелином. . . с приобщением многих новейших анекдотов, выбранных из разных иностранных и российских писателей, ч. 1, 2. М., 1801.
[23] ГПБ, ф. 871, ед. хр. 18, л. 23.
[24] Там же, л. 24 об.
[25] Там же, л. 34.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

издание его книги на немецком языке, куда уже вошел указанный анекдот.

Не меньший интерес представляет черновик дополнения письма Штелина к Щербатову на французском языке, датированный декабрем 1780 года: «Ваше превосходительство припомнит, я в этом ничуть не сомневаюсь, о своем чтении моих 110 анекдотов о Петре Великом, которые я имел честь передать Вам несколько лет тому назад.

С недавнего времени я переписываю их начисто, потому что есть несколько господ и иных любопытных, среди них несколько иностранцев, которые просят посмотреть или перелистать их у меня. Все бранят меня за то, что, скрывая их у себя, я лишаю публику, любопытную до всего, что касается Петра Великого, его интересных свойств, которые характеризуют героя в таких подробностях и до такой степени.

Несколько известных книгопродавцев из Амстердама, Лейпцига и Берлина, которые, вероятно, услышали разговоры о них, прислали мне свои предложения напечатать их за их счет и расплатиться со мной деньгами или экземплярами книги. До сих пор я всегда морочил им голову отговоркой, что это сочинение еще не переписано начисто для печати.

Что до меня, если я решусь, наконец, напечатать их, у меня не будет никакой иной цели, кроме той, которую я указал в предисловии с самого начала, — побудить многих других русских патриотов и почитателей Петра Великого подражать мне на пользу ему и превзойти меня, собирая тысячи других анекдотов, когда они слышат рассказы своих отцов, дедушек, и родителей и современников Петра Великого, которые постепенно стираются из памяти и ускользают из знания потомства, как множество других, исчезнувших вместе с их очевидцами, из которых в наши дни мало кто еще жив, и последние из них тут и там умирают на наших глазах. Подобным способом и подражая мне, они смогут вполне составить еще второй, третий и, может быть, несколько томов интересных анекдотов, вырвать их из рук забвения и сохранить сокровище, всегда ценное для Отечества и восхитительное для Европы. Однако я не решусь никоим образом издать публично мой первый том, прежде чем я не узнаю дружеское мнение Вашего превосходительства, беспристрастное и искреннее, по этому вопросу. Вот о чем просит Вас мое доверие и ныне ожидает как доказательство Вашей дружбы, которую я ценю с таким уважением, как Вы меня знаете».[26]

Вопреки тому, что писал сам Штелин о причинах, побудивших его к собиранию рассказов современников о Петре I, — стремление сохранить от забвения свидетельства современников о царе и побудить других русских патриотов последовать его примеру и продолжить начатую им работу, — Н. И. Павленко произвольно утверждает: «Маленького человека снедала мечта прославиться анекдотами о человеке великом».[27] Однако приведенное выше письмо, как и многие сотни просмотренных штелинских документов — его переписка и заметки по различным вопросам, — позволяют утверждать противоположное: нет ни одного случая, чтобы у него проскользнуло желание личной славы. Зато Штелин неоднократно подчеркивал, что его цель — забота «о славе России».[28]

Помимо вышеприведенных материалов существует еще один документ о знакомстве М. М. Щербатова со штелинскими Анекдотами о Петре I. В подготовительных материалах к Анекдотам имеется записка Штелина об ознакомлении графа Н. И. Панина и князя М. М. Щербатова с этой рукописью. В ней Штелин пишет: «Уже за несколько лет до того (до просмотра Анекдотов Паниным в 1783 году, — *К. М.*) камергер, тайный советник и сенатор Мих.‹аил› Мих.‹айлович› Щербатов, знаменитый своей Российской историей, выпросил на несколько дней для прочтения французский перевод этих анекдотов. Его превосходительство вернул его мне в назначенное время в сопровождении своей записки, в которой он выражает свое свидетельство о них следующими словами. . .» [29] и далее многоточие. К сожалению, записки Щербатова среди штелинских бумаг до настоящего времени найти не удалось. Однако в заметке «Попутное свидетельство российского императорского премьер-министра об этих Анекдотах» Штелин также сообщает о том, что давал их на просмотр князю Щербатову, который настоятельно советовал ему опубликовать их. В заключение Штелин пишет: «Еще в одном из своих писем ко мне из Москвы от 1 июня 1780 года Его превосходительство упоминает их в следующих словах: „Насколько я вспоминаю этот труд, в нем много очень остроумных анекдотов, которые показывают истинный характер этого великого человека, все сносившего ради блага своих подданных, что все эти анекдоты подтверждены показаниями очевидцев, от которых вы их записали, и сие мне кажется достаточным, чтобы не пренебрегать изданием этой книги, за которую интересующиеся историей будут вам благодарны и из которой сами государи

[26] Там же, ед. хр. 283, л. 1.

[27] Павленко Н. И. Указ. соч., с. 138.

[28] Например, письмо Штелина к Шлецеру (ГПБ, ф. 871, ед. хр. 290, л. 14); Stählin Jacob von. Vorrede zu den Nachrichten von der Musik in Rußland. — In: M. Johann Joseph Haigold's Beylagen zum Neuveränderten Rußland. Zweiter Theil. Riga u Leipzig, 1770, S. 41.

[29] ГПБ, ф. 871, ед. хр. 18, л. 41 об.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

смогут черпать наставления для своего поведения».[30]

Таким образом очевидно, что Штелин дважды знакомил Щербатова с этим своим трудом — вначале с черновыми заметками, а затем с окончательным вариантом рукописи перед сдачей ее в печать. Следовательно, Щербатов лучше, чем кто-либо другой из современников Штелина, был знаком с этой его работой и безусловно одобрял ее, что подтверждают и приведенные документы. Заканчивая рассмотрение связей Штелина со Щербатовым, нельзя не упомянуть о письме последнего к Петру Штелину по случаю смерти его отца, в котором Щербатов прямо пишет о своем глубоком уважении к Я. Штелину.[31]

Изложенные выше факты, на наш взгляд, показывают, что утверждения о недостоверности анекдота «Удивительная любовь Петра Великого к государству своему и отечеству» являются недостаточно обоснованными.

Специалистам, которые в будущем обратятся к исследованию «Подлинных анекдотов о Петре Великом», следует учитывать, что переводы этой книги на русский язык, выполненные в конце XVIII—начале XIX века, неудовлетворительны по точности передачи штелинских текстов. Поэтому пользоваться можно или штелинскими автографами или, в крайнем случае, первым изданием книги на немецком языке 1785 года. Кроме того, переиздания Анекдотов после 1793 года начинают обрастать многочисленными апокрифами. Если немецкое издание 1785 года содержит 116, русское издание 1793 года — 142 штелинских анекдота, то русское издание 1801 года насчитывает уже 176 анекдотов, часть которых не имеет никаких ссылок на источник происхождения и не относится к штелинскому собранию.

Данные заметки не претендуют на исчерпывающую полноту исследования затронутых вопросов. Их цель — показать целесообразность обращения к архивным материалам Якоба Штелина, в том числе и по данной теме, и предостеречь от поспешных и необоснованных выводов о работах Штелина, о чем писал уже М. П. Погодин более ста лет назад.

[30] Originalanekdoten. . . S. 381—382.
[31] ГПБ, ф. 871, ед. хр. 798.

З. И. Власова

К ВОПРОСУ О ТРАДИЦИИ В ФОЛЬКЛОРЕ

(«СТАРИНА О БОЛЬШОМ БЫКЕ» В СВЕТЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ)

Проблема традиций в жизни народов и в различных сферах человеческой деятельности все активнее привлекает в последние годы внимание специалистов общественных наук. Дискуссия по узловым проблемам теории культурной традиции состоялась в начале 1981 года в журнале «Советская этнография». Завершая дискуссию, главный редактор журнала К. В. Чистов заметил, что «разработка основных проблем теории традиции имеет фундаментальное значение для целого ряда общественных наук».[1]

Однако сами традиции, даже наиболее устойчивые, не остаются неизменными во временном процессе. «Динамика культурной традиции — это постоянный процесс преодоления одних видов социально организованных стереотипов и образование новых», — отметил Э. С. Маркарян.[2] Постепенное и незаметное накопление новых элементов внутри той или иной традиции приводит, по законам диалектики, к полному ее качественному изменению и образованию новой традиции. Но и в новой традиции долгое время будут наличествовать элементы той традиции, в недрах которой она возникла.

Художественное сознание прошлых поколений нельзя полностью обнаружить в фольклорном произведении, но элементы его будут присутствовать в нем в той или иной степени значимо. Необходимо поэтому учитывать роль фольклорной традиции в каждом конкретном случае, а также те исторические события прошедших веков, которые так или иначе могли повлиять на сознание творцов устного народного эпоса, и те наслоения, которые неизбежно привносятся в фольклорное произведение в процессе его длительного существования в веках, т. е. следы новых традиций, накладывающиеся на старые. Учет взаимодействия всех факторов — фольклорно-традиционных, исторических, этнографических — даст возможность в достаточной мере полно понять смысл того или иного произведения фольклора. Особенно показательны

[1] Чистов К. В. Традиции, «традиционные общества» и проблема варьирования. — Советская этнография, 1981, № 2, с. 105—107.
[2] Маркарян Э. С. Узловые проблемы теории культурной традиции. — Советская этнография, 1981, № 2, с. 81.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

в этом отношении эпические жанры. «Старина о большом быке» — одно из тех фольклорных произведений, которые нельзя понять без выявления исторических напластований. Оно представляет до настоящего времени в некотором роде загадку для исследователей. Его относят то к былинам, то к скоморошинам, то к шуточным и сатирическим песням. Сюжет его уникален и пока не имеет комментария, удовлетворительно объясняющего содержание. Единственная попытка принадлежит Б. Н. Путилову. Определяя особенности текста, он пишет: «Редкая былина. Сюжет в известных вариантах излагается не вполне четко и требует некоторого разъяснения. К тому же, былина содержит какие-то намеки, понятные в прошлом, но ставшие непонятными позднее. . . Неясно, почему заступниками наказываемых выступают купцы Строгановы. Во всяком случае, эта подробность ведет скорее к концу XVII—началу XVIII века».[3] Ответить на эти вопросы помогает анализ соотношения в произведении различных традиций. Рассмотрим вначале сюжет «Старины» в целом и его варианты.

«Старина о большом быке» (таково народное название этого произведения) известна в двух вариантах, записанных А. Ф. Гильфердингом в 1871 году в Олонецкой губернии.[4] Фрагменты ее встречаются в XIX веке значительно раньше, но записывались и позднее в виде отдельных песен и припевок на территории русских центральных и поволжских губерний.[5] Последние фрагментарные записи этого произведения относятся к 1950—1960-м годам.[6] Значительный фрагмент в 45 стихов был записан в составе плясовой песни в Пермской области.[7]

Рассмотрим сюжет произведения в его основных композиционных частях по вариантам Гильфердинга. Один из них — ошевенский (записан в селе Ошевенском Каргопольского района Архангельской области — по современному административному делению) — более полон по сравнению с другим, кенозерским. Каждый текст начинается запевом. В кенозерском запев представляет имитацию музыкального наигрыша: «Ай диди диди диди диди диди!» Затем следует обращение к слушателям с перечислением сословий и возрастов, обычное в эпических произведениях, исполняемых профессиональными певцами-сказителями:

Князи, послушайте,
Да бояры, послушайте,
Да вы все, люди земские,
Мужики вы деревенские,
Да солдаты служивые,
Да ребятушки маленькие,
Не шумите, послушайте.
Да старушки вы старенькие,
Не дремлите, послушайте.
Молодые молодушки,
Не прядите, послушайте,
Да красные девушки,
Да не шейте, послушайте.

Заручившись вниманием слушателей, певец заявляет о теме, называя свое произведение в одном случае «старинушкой про большого быка», в другом — «хорошенькой пословицей». В обоих случаях подчеркивается, что тема — бык:

Да как тот ли великие бык,
Да как степи рукой не добыть,
Промежду рогп косая сажень,
На рогах подпись княжеская:
Василья Богдановского,
Да еще Рободановского.

Запев, обращение к слушателям и заявка темы составляют эпический зачин старины. За ним следует экспозиция, характеризующая героя, и завязка действия; в характеристике насмешливо подчеркнута пресыщенность князя Афанасия Путятинского, по другому варианту — Кутятина:

Да как наш-от великие князь,
Афанасий Путятинской

---

[3] Былины в двух томах, т. 2. М., 1958, с. 502—503.

[4] Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, т. 3. Изд. 4-е, М.—Л., 1951, №№ 297, 303.

[5] Стахович М. А. Собрание русских народных песен. СПб., 1852, с. 10. Текст М. И. Семевского из Псковской и записи Г. Н. Потанина в Самарской губерниях см. в кн.: Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях. . ., т. I, вып. 1. СПб., 1898, №№ 1013, 1016, 1018; Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. Вып. II, ч. 2. М., 1929, № 1863.

[6] Народные песни. Записаны О. А. Славяниной. Брянск, 1973, № 6; Старинная севская свадьба. Записи и свод О. А. Славяниной. М., 1978, № 226.

[7] Власова З. И., Мартынова А. Н. Современный репертуар одного района. — В кн.: Русский фольклор, вып. IX. М.—Л., 1964, с. 252—253. Название «бычок» сохранилось также в соседней с Пермской — Уфимской губернии. Так называется популярная плясовая песня-скоморошина, хотя в ней нет ни одного стиха о большом быке. Однако название указывает, видимо, на то, что сюжет был известен и здесь, но постепенно забыт, след его присутствия в песне сохранился только в названии ее. См.: Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке Мензелинского уезда Уфимской губернии Н. Пальчиковым. СПб., 1888, с. 276. Отголосок сюжета зафиксирован также в районе Прикаспия: запись В. С. Кирюхина 1967 года в селе Раздолье бывшего Кизлярского округа. См.: Русская песня в Дагестане. Махачкала, 1975, № 136.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Да не ест он гусятинки,
Да не белые лебедятинки,
Да не серые утятинки,
Не индейской курятинки.
Да свинина отъелася,
Баранины не хочется.
Захотелосе говядинки,
Да уроcлой телятинки.

Князь собирает «почестный пир» и на пиру ищет охотника украсть для него быка, принадлежащего Василию Рободановскому, тоже князю:

Да как сам-то похаживаёт,
Да как сам-то покрякиваёт,
Бородой-то потряхиваёт.
Да как сам выговариваёт:
— Да как есть ли у меня на дворе
Да такие люди надобные.
Да сходили бы на барский двор,
Да на поместьё дворянское
По того ли по большого быка,
По быка Рободановского.

Увод быка служит началом и завязкой действия. Его (увод) совершает некий Зеновей:

Да как он вор догадлив был,
Быку липовы лапотци обул,
Наперёд он пятами повернул,
Да как так-то быка увёл.

Далее описываются убой и свежевание быка, осуществляемые Алешей-мясником, у которого «кулаки мясны» и «клепики востры». Сняв шкуру, Алеша завертел ее трубой и понес кожевеннику Митьке. Шкура так тяжела, что ее едва можно «на плечо воротить». Сверток падает, обрывок веревки, которым он перевязан, лопнул, шкура развернулась. Сбегаются люди, свидетели происшествия. Мясник и кожевенник схвачены, избиты кнутом и проведены по торговым рядам, а затем оштрафованы на «двесте с рублем да двесте с полтиною». Далее следуют аналогичные эпизоды, показывающие причастность к разделу быка других лиц и точно такое же их наказание. В ошевенском варианте таких эпизодов три, в кенозерском — два. Разные лица, все мелкий ремесленный люд и торговцы-разносчики, каждый в соответствии со своим делом, «были к быку» — по формуле этой «Старины»:

Эпизод I

Да к тому ли к большому быку. . .
Да были два те харчевничка,
Да молодые-те поспешнички,[8]
Да как губки обрезывали,
Да бедёрки обрезывали,
Да как сделали студеньцу
Молодую да с прорезью,[9]
Да на здоровье и с лёгостью.

Эпизод II

К тому ли к большому быку. . .
Да была Марья харчевенка,
Молодая поспешенка,
Да кишочки обрезывала,
Да как их-то начинивала
Толоконцем да крупочкой,
Да лучком да и перечком,
Выносила на базар продавать.

Студень и пирожки из свежей телятины на торгу идут «с легостью». Их пробуют расхаживающие по торгу бояре и дворяне, и «гости» (т. е. купцы), хвалят и спрашивают, откуда такой студень, такие вкусные пирожки, «не того ли большого быка?» За провокационным вопросом следует расправа. Харчевников и Марью-пирожницу бьют кнутом, проводя по торговым рядам, и штрафуют на двести с рублем и на двести с полтиною. Однако и на этом дело о большом быке не закончилось. Виновным грозит чуть ли не смертная казнь: «Пришлось бы головы отстать», «головой вершить», если бы не «заступы крепкие» в лице «гостей Строганова». В обоих вариантах об этих «добрых людях, заступах крепких» говорится с благодарностью.

Важен для понимания произведения в целом и третий эпизод, имеющийся в обоих вариантах (в кенозерском варианте эпизод с харчевниками утрачен). В нем появляется новое действующее лицо:

Да к тому ли к большому быку. . .
Да был некаков волынщичёк,
Да молодой-от гудошничёк.
Да он дру́гом пузырь доступил,
Да как сделал волыночку
Да на новую перегудочку.
Да как стал он на рынок гулять,
Да как стал он в волынку играть.

На торгах волынщика подходят послушать бояре и гости торговые, удивляются и восхищаются игрой и спрашивают, откуда такой большой пузырь, «не того ли большого быка?» Волынщика постигает такое же наказание, а затем его также выручают «люди добрые, гости Строганова».

[8] Поспешник — помощник, пособник (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 3. М., 1955, с. 340). Слово, редкое для XIX века, сохранилось в произведениях фольклора. Ср.: «Гвоздари, бочкари, скоропоспешнички» в приговорах дружки на свадьбе.— Этнографическое обозрение, 1907, № 1—2, с. 129.

[9] Прорезь, прорость — жир внутри мяса хорошо упитанных животных. (Даль В. И. Толковый словарь. . . т. 3, с. 505, 506). Эта деталь показывает, что бык был хорошо упитанным, а студень из него вкусным. Б. Н. Путилов в данном случае ошибается, комментируя этот факт и называя студень «протухшим».

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

После взимания многочисленных штрафов бык обошелся виновным дорого, а потерпевший владелец получил значительную сумму:

Да как кажная косточка
Да как стала-то в пять рублей,
Да как кажное рёбрышко
Да как стало-то в семь рублей,
Оприче становых костей,
Ровно тысяча семьсот рублей.

Понятным становится загадочный поначалу запев первого варианта, в котором говорится, что «все... разбежалися... со того со двора со боярского», т. е. вся челядь Путятинского убежала от него, опасаясь расправы. В этих, по существу, заключительных, а не начальных стихах — итог всей истории.

Сопоставление вариантов, которое здесь опускаем, убеждает, что ошевенский вариант не только полнее излагает факты, но почти не искажает исторические имена: Строганов, Рободановский. Второй вариант имеет больше признаков территориальной отдаленности. На Кенозере имена воспринимались как далекое эхо: «люди строганые», «Богданович-Рободанович»; вместо «подпись княжеская» — «подпись книжная». Очевидно, в Каргополье, где находится село Ошевенское, сюжет оказался сохраннее вследствие историко-культурного положения края. Каргополь в XVI веке был главным торговым портом Московской Руси на севере, регулярно поддерживал административные и торговые отношения с Москвой, тогда как в глухих деревнях Карелии условия были иными: здесь, видимо, не слыхали о Строгановых и Ромодановских, с большим опозданием узнавали и о важных событиях государственной жизни Московии и о многом другом.

Рассмотрим, что дают фрагменты для более полного представления о сюжете. В пермском фрагменте имеется запев и обращение к слушателям, составляющие эпический зачин. В нем же заявлена и тема быка. Обращения к разным социальным и возрастным категориям слушателей утрачены: остались только «люди старенькие», но маловероятно, чтобы певец обращался к одним старикам. Путятинский-Кутятин изменился в Потапьевича, к нему по традиции добавлен Терентьевич: «Уж я буду вам рассказывати... про того сына Терентьевича, Про другого-то Потапьевича». Упоминается Романов — видимо, искаженный отзвук фамилии «Рободановский». Пермский фрагмент дает описание боярского двора в соответствии с эпической традицией: двор «на семи верстах», «подворотенка — рыбий зад».[10] Далее следует эпизод, отсутствующий в вариантах Гильфердинга:

Из тоё же новой горенки
Выбегала красна девица-душа,
Она кликала Сеньку-слугу:
«Ох, ты, Сенька ли Сенька-слуга,
Ты поди-кося скоренько сюда,
Ишо вот тибе чарочка винца,
На закусочку кишошной пирожок.
Ты беги, Сенька, во торжищо,
Да купи, Сенька, мочалищо,
Вот такое увесистое,
Привяжи, Сенька, быка к столбу,
Ко колечушку серебряному».

Зеновей, Зенька превратился на Урале в Сеньку. О его прошлом не упоминается (у Гильфердинга он разбойничал на Волге). В эпизоде с убоем быка в уральском фрагменте на первом плане не шкура, а бычий пузырь:

Вот и стали быка свежевать,
Вот и вынули пузырь из быка,
Положили на носёлочки,
Понесли его во торжечки.
За пузырь стали дорого давать,
Ох и дорого — семь рублей.

Затем идет эпизод с волынщиком, остальные, видимо, утрачены. Действие заканчивается расправой с игроком:

Взяли, взяли — изломали игрока,
Завязали ему руки и глаза,
Уложили под лавку спать
И засыпали мякиною глаза
Да заставили не едши плясать.
Не поешь — дак и не спляшется.

О денежном штрафе не упоминается, и в этом существенная особенность.

Сопоставление уральского фрагмента с волжским и брянским показывает большую их близость между собой и дает основание для предположения, что на Урале существовала самостоятельная версия с другой трактовкой сюжета и отдельных его эпизодов. По сравнению с северными вариантами в пермском больше искажений и пропусков в сохранившейся части сюжета; в то же время отдельные мотивы разработаны более детально. Тот факт, что сохранился лишь фрагмент в 45 стихов, а не весь сюжет, объясним в какой-то мере поздним временем записи: почти через сто лет после того, как Гильфердинг обнаружил «старину» в Олонецком крае. Самое существенное различие между северными вариантами и пермским фрагментом заключается в центральном образе — он назван «тпрутька-бычок»:

Ах, ты, тпрутенька, тпрутенюшка-бычок,
Да ты Романов телятничек,
Ох, не ты ли, тпрутька, по торгу ходил?
И не ты ли землю рогом рыл?

Волжский фрагмент сохранил мотив, который мог иметь место и в перм-

[10] Искажение: должно быть — зуб. Так называлась моржовая кость, которую использовали для украшения хоромных строений.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ском, — украденного бычка показывают купцам:

Повели бычка во терём,
Напоили бычка киселем
Бычурычка напивается,
Рога его раздуваются.
Купцы братцы по сеничкам
Что по сеничкам сеням расхаживали,
Сини полы разворачивали,
На бычурычку поглядывали.
Как зарезали бычурычку,
Вынули требушечку,
Повесили на цепушечку.
Откуда ни взялся Стенькин брат,
Отхватил требушины шмат.
Завязали ему руки назад,
Заставили речи говорить.[11]

Общим с пермским фрагментом здесь оказывается и персонаж — бычок, и удалец Стенька; новое лицо — его ловкий брат, пойманный на воровстве; его заставили «речи говорить». Этому же наказанию подвергается волынщик в пермском фрагменте старины. Возможно, что в том и другом случае речь идет о скоморохе, которого интересно было послушать и который умел поговорить.

К вариантам Гильфердинга близок только один фрагмент из Псковской губернии. Он был доставлен Шейну М. И. Семевским из Опочецкого уезда. В этом песенном отрывке 50 стихов и два сюжетных эпизода. В первом эпизоде Васильюшка Путятинской, лежа с похмелья в постели, посылает «скорую слугу» на рынок за свежей «бычачинкой»:

«Походи по рынку, по дворам,
Поцепи быка веревкой за рога,
Доведи быка к болотийцу,
Привяжи быка к сосоночке. . .
Хорошенько с быка кожу сними,
Половину на куски разруби,
А другую на поварню отошли,
Прикажи мати нажарить, наварить,
Чтоб до свету артель накормить,
Чтобы не было пеняльщиков,
А после того жалальщиков;
Во дворе попу не сказывали б».

Второй эпизод более обстоятельно рассказывает о старушке-харчевнице. Имя ее не названо, но передан ее разговор с боярами на торгу:

Была баба шельмица,
Была старая харчевница,
Ничаво-то ена не взяла, —
Только бычьи рожки да ходилочки.
Хорошо баба выпаливала,
Чередно яну выскабливала,
Ету стюдиньку наваривала,
По ночовочкам разливывала,
На боярушек вынахывала,
А боярушки откухывали,
Калачом яну закусывали,
Ету стюдиньку похваливали:
«Хороша твоя, бабушка,
Хороша твоя стюдинька!»
— «На здоровье вам, боярушки. . .
На здоровье, мои батюшки,
Со великою со сытностью,
Што со вашего-ж со добрыих».[12]

Самое начало псковского фрагмента сохранило элементы скоморошьего балагурства:

С винца голова весела,
Со пива просыпаться тяжело!
Со колачика шейка бела,
Со попряничка румяньица,
Со киселенька поектанийце,
С толоконца порыганийце.

Фрагменты из Рязанской и Самарской губерний соединены с игровой песней, а курский — с масленичной припевкой. В плясовой из Ряжского уезда лишь упомянут «бынюшка Ромодановский».

Брянский фрагмент близок волжскому и пермскому не только сходными мотивами и образной стороной повествования, но и лексически:

Прибег Сенькин брат,
Уловил требушины шмат,
А за им у погоню гнать!
Завязали ему руки назадь,
Положили под лавку лежать,
Стали у яво расспрашивати,
А он стал рассказывати:
Как у нас-то худые времена. . .[13]

Далее следуют обычные образы плясовых песен-небылиц.

К камско-волжской версии можно отнести и фрагмент М. А. Стаховича, совпадающий с уральским по зачину «Уж ты, тпруська, ты тпруська-бычок» и строкой: «Уж и стали мы бычка свежевать».

Рассмотренные фрагменты представляют обломки не дошедшей до нас полностью версии, восходящей, видимо, к центральной русской эпической традиции. О существовании такой версии говорит и наличие других мотивов, и иной характер наказания виновных («изломали игрока, засыпали мякиною глаза, заставили не едши плясать» или «заставили речи говорить»), и, наконец, несколько иной образ животного персонажа: из большого быка северной старины он превратился в «бычурычку», которого надо поить киселем, чтобы он выглядел внушительнее в глазах купцов. Развитие действия в произведениях этой центрально-русской версии, насколько позволяют судить фрагменты, отличается большим динамизмом и стремительностью. Быстрый ритм стиха и плясовой напев исключают возможность использования

[11] Шейн П. В. Указ. соч., № 1018.

[12] Шейн П. В. Указ. соч., № 1016.

[13] Народные песни. Записаны О. А. Славяниной, № 6.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

общих эпических мест и повторения одинаковых формул. Можно полагать, что сюжет о большом быке оказался в основе двух версий и видоизменялся в течение столетий в зависимости от условий бытования: на севере он подвергся воздействию эпической традиции; на Урале и на Волге он имел вид веселой скоморошины и дошел до нас в составе плясовых песен (одна из них — о женитьбе Ивана Грозного). Возможно, последние ближе к исконной художественной природе текста. Развлекательный характер сюжета соответствовал форме плясовой песни.

Рассмотрим имеющиеся в текстах реалии, чтобы приблизительно определить рамки эпохи, нашедшей отражение в «Старине о большом быке».

Важное положение в государстве занимает князь Василий Рободановский. Его богатство и могущество в какой-то мере символизирует эпический бык необычной величины: почти в полтора человеческих роста («У него степи рукой не добыть», т. е. хребта), с огромной головой («Промежду роги косая сажень»). О могуществе Рободановского говорит жестокость наказания и огромный штраф за посягательство на его собственность. Рободановский (по другому варианту — Рободанович) — это незначительно измененная в устной традиции фамилия известных в русской истории бояр Ромодановских. На протяжении столетий они занимали высокие должности в государстве, что легко устанавливается по именному указателю к «Истории России» С. М. Соловьева.[14] При княжении Ивана III боярин И. В. Ромодановский был послом в Крыму; его брат Василий — главный боярин в Литве при дочери Ивана III Елене, бывшей замужем за литовским князем Александром. При Грозном другой И. В. Ромодановский участвовал в походе на Казань и ее взятии. В последний период царствования Грозного Ромодановские подверглись опале. Но они состояли в близком родстве с князем Д. М. Пожарским и с воцарением Романовых снова служат рындами (телохранителями), стольниками, окольничими, воеводами. Так, при дворе Михаила Федоровича боярин Василий Ромодановский-Большой был стольником, а Василий Ромодановский-Меньшой служил рындой. Василий, как видно уже из этих немногих примеров, — имя, постоянно встречающееся в роду этой боярской и княжеской фамилии.

Путятинский (по другому варианту — Кутятин) — также незначительно измененная историческая фамилия. В древней Руси существовало имя — Путята. Известен летописный факт из времен Владимира, заставившего русичей принять христианскую веру. Дядя князя, по имени Путята, крестил новгородцев, прибегая к жестоким мерам; древняя пословица гласит: «Путята — мечом, а Добрыня — огнем».

С XV века известен на Руси княжеский род Путятиных. Его представители служили воеводами, наместниками, послами, в XVIII веке из Путятиных вышли сенаторы, адмиралы, губернаторы. Другая ветвь — графский и дворянский род, но фамилия иная — Путята. В XVII веке Путяты служили по Новгороду, их род внесен в V и VI части родословной книги Новгородской губернии. Образ князя Путятинского нужен был в «Старине о большом быке», чтобы намекнуть на неприязненные отношения в боярской среде. Возможно, что исключительное положение Ромодановских не только при царском дворе, а вообще в государстве вызывало особо острую зависть и неприязнь, и этим фактом воспользовались слагатели «старины». Воровской увод знаменитого на всю Москву быка, совершенный как бы из пустого каприза князя Путятинского, — это намеренная хорошо обдуманная попытка нанести ущерб не только материальный. Ведь если бы все дело было в сортах мяса, то достать телятины в Москве для богатого князя не составило бы труда и без воровства. Чем обстоятельнее мотивируется просьба увести быка с чужого двора, тем очевиднее для слушателей, что за ней скрывается иная цель. Она остается неизвестной до конца, так как суть старины — не в боярских распрях.

Фамилия Строгановых, на первый взгляд, не нуждается в комментариях. Однако упоминание ее в эпическом по складу произведении озадачивало исследователей: «Неясно, почему заступниками выступают купцы Строгановы», — писал Б. Н. Путилов, что мы уже отмечали в начале статьи.

Напомним, что особые права Строгановы получили в период царствования Ивана Грозного. Кстати, в старине действуют не сами Строгановы, а «гости Строганова», т. е. их доверенные лица в роли купцов — «гостей», а это существенная для эпохи деталь. По данным 1681 года, при дворе и хозяйстве одного Г. Д. Строганова из общего числа — сто один человек «„людей дворовых и приказных и рядовых“. . . занятых только обслуживанием торговли», половина была «в отъезде на торгу» по различным городам.[15]

В 1558 году Г. А. Строганов получил дарственную царскую грамоту на камские земли и полное освобождение от всех государственных платежей на двадцать лет. Льготы были даны не только самому Строганову с братом, но и рабо-

[14] Соловьев С. М. История России с древнейших времен, кн. III. М., 1960, с. 155; кн. V, с. 263; см. также именной указатель к 6-му тому.

[15] Введенский А. А. Дом Строгановых в XVI—XVII веках. М., 1962, с. 238.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

тавшим на него людям, и тем, кто «неписьменные и нетяглые . . . придут к нему жить в город и на посад и около города на пашни, на деревни и на починки».[16]

В 1564 году новая грамота еще более укрепила независимое положение Г. А. Строганова в государстве: «Его городка людей и деревенских не судити ни в чем; и праветчиком, и доводчиком, и их людем не въезжати ни по что; а ведает и судит Григорий своих слобожан сам во всем».[17] Такие же привилегии имели Строгановы сольвычегодские. «В числе этих привилегий было право неподсудности местным властям всех их людей. Строгановы судили на местах сами», — пишет А. А. Введенский.[18] Благодаря такому исключительному положению люди, находящиеся на службе у Строгановых, в том числе и торговые «гости», и приказчики, нередко вели себя вызывающе и позволяли ряд «незаконных действий» и себе и своим людям.

После смерти Г. А. Строганова его брат, сын, племянники получили новые грамоты, подтверждающие их прежние права и привилегии и продлевающие срок их действия еще на тридцать лет вместе с пожалованием новых земель. Десятилетия, составившие полвека исключительного положения, привели к тому, что у Строгановых возникла особая репутация. У них находили возможность укрыться от преследований закона бродячие, беглые и разного рода пришлые люди, в том числе из камской и волжской вольницы, так как Строгановы, постоянно расширяя добычу соли, железа, пушнины и увеличивая торговлю, остро нуждались в рабочих руках. Все возрастающее население края нуждалось также в постоянной защите от набегов соседних племен.

Особое положение Строгановых и способы найма и вербовки рабочей силы нашли, по-видимому, отражение в «Старине о большом быке». Заплатить огромный по тому времени штраф в 200 рублей вряд ли смогли бы люди, промышлявшие торговлей пирожками или студнем. Стряпчие, служившие у Строгановых, к примеру, получали жалованье, считавшееся большим, — 30 рублей в год. Но даже и для них штраф был бы непомерно велик. Скорее всего, «гости» Строганова внесли за виновных нужную сумму (возможно, товаром) и заключили кабальный договор с пострадавшими на много лет вперед. Ведь достаточно было приказчикам или гостям Строганова признать избитых своими людьми, т. е. находящимися на службе у Строгановых, как они оказывались вне досягаемости для государственного суда и правежа. Вот почему заступничество Строгановых и их людей — это «заступы крепкие». Перед ними бессильно даже могущество Ромодановских. Не менее крепкой оказывалась впоследствии и кабала, но это уже другой вопрос, не относящийся к содержанию «Старины».

Особые привилегии Строгановых прекратились, точнее, изменились при царствовании Романовых, когда они получали блага иного рода: дворянское звание, титулы и различные высокие государственные посты. Можно полагать, что в «Старине о большом быке» отразились события второй половины XVI—начала XVII века, когда Строгановы, находясь на Урале и в Сольвычегодске, посылали в Москву для товарообмена и торговли доверенных людей, купцов и приказчиков для совершения от своего имени торговых сделок и для вербовки нужных им людей для переселения на Урал.[19]

* * *

Отношение слагателей и певцов «Старины» к ее персонажам поможет нам установить хотя бы приблизительно среду, в которой это произведение могло воз-

[16] Соловьев С. М. Указ. соч., кн. III, с. 689.

[17] Пермская летопись В. Н. Шишонко. Период I. Пермь, 1881, с. 51—54.

[18] Введенский А. А. Указ. соч., с. 277.

[19] Именно так понял эпизод с «гостями Строганова» В. Я. Евсеев: «Видимо, уральские горнозаводчики Строгановы купили у Ромодановского крепостных»; им же допущено произвольное истолкование факта кражи: «Большой бык русской былины-скоморошины, шуточной песни, перешел от сельской общины во владение князя Рободановича (Рободановского): „На рогах была подпись-то книжная, Того Василия Богдановича, Самого де Рободановича". Известные князья Ромодановские уже в XVI в. беззастенчиво распоряжались имуществом сельских общин в своих вотчинах. Варианты русской былины о большом быке красноречиво повествуют о том, как Рободанович расправился со своими крепостными-общинниками за попытку вернуть себе большого быка» (Евсеев В. Я. Исторические основы карело-финского эпоса, кн. I, Л., 1957, с. 147, 148). Евсеев либо не учел содержание старины в его конкретных моментах, либо невнимательно его прочел. Рободанович наказывает не своих крепостных, а людей вольных: кожевенника, мясника, торговцев, волынщика. Это даже не люди Путятинского, а только «поспешники» тех, кто осуществил увод быка. Нет оснований полагать, что бык принадлежал раньше тем, кто его уводит, иначе зачем было Путятинскому собирать пир? Для крепостных? Более близок к истине, на наш взгляд, в истолковании завязки Б. Н. Путилов: «Возможно, что в начальных эпизодах былины отразились характерные для XVI—XVII веков боярские распри, возникавшие на почве столкновения корыстных интересов» (Былины в двух томах, т. 2, с. 502).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

никнуть и исполняться, вызывая интерес у слушателей.

На службе у Путятинского находится некий Зеновей. К нему у певцов «Старины» отношение восхищенно уважительное. Он «на ножку скор, на походку легок». Прежде чем послать его по боярскому делу, девушка выносит ему рюмочку винца и на закусочку «кишошной пирожок» (пермский фрагмент). Это свободный, а не крепостной человек. В прошлом он «часто по Волге ходил, Много-то сел там громил Да и тем голову кормил». На службе у князя он проявляет ловкость и находчивость: он придумал остроумный способ увести быка в лаптях, надетых пятками наперед.[20] Привязав быка к дереву, Зеновей с веселой беспечностью представляет будущие пересуды: «Да как кто-то быка-та увел? Да и тот-то безвестно ушел!» И тут же проницательно замечает: «Да как кто с быка кожу сдерет, Да и тот с концом пропадет!»

Ему действительно удается уйти безвестно, тогда как все, прикосновенные к разделу быка, жестоко поплатились. Расправа вызвала такой страх, что все поместье Путятинского опустело. Судьба самого князя певцам-слагателям безразлична, речь идет лишь о его челяди:

Да все-то теперь разбежалися,
Да все-то теперь роскучалися
И со того со двора со боярского,
Да со того поместья государского.

В отношении Зеновея допустимо предположение, что как раз он мог иметь связи с людьми Строганова и помог выручить виновных. Его образ достоверен и имеет близкие параллели в биографиях некоторых, служивших у Строгановых людей. Так, Потап Прокопьев из рода Игольнишниковых, четыре поколения которых служили Строгановым, бежал из пермских вотчин, примкнул к Разину, был атаманом в Поволжье, а после поражения восстания поступил послушником в строгановский Спасо-Пыскорский монастырь, через пять лет стал священником и прославился яркими обличительными проповедями. Тогда он был приглашен Строгановыми протопопом в их вотчинную соборную церковь Орла-городка на Каме.[21]

Отношение к разным представителям городских ремесел в былине явно сочувственное, отмечается их высокий профессионализм. С несомненной симпатией говорится о некоем волынщичке, молодом гудошничке, который «другом пузырь доступил» (достал через друга). Сделав из бычьего пузыря волынку, он наигрывает на ней новые для торжка мелодии. В кенозерском варианте волынщик ласково назван Васенькой, Васильюшком, он «пощалкивал на новую переладочку». Наиболее интересен образ игрока-гудошника в пермском фрагменте. Он не пытается купить дорогой и хороший по величине пузырь («За пузырь стали дорого давать: ох и дорого — семь рублей!»), не пытается достать его через друга, а действует в духе представителя камской вольницы:

Ниоткуль взялся детинчищо
Да и схватил пузырипчищо,
Да и сделал игру по себе,
Стал по городу поигрывати.

Его схватили и избили: «изломали игрока» — с осуждением сообщается в песне. Кроме того, его заставили «не едши плясать». В лице детины-волынщика соединены два типичных для скомороха ремесла: он игрок и плясун. В волжских фрагментах он, видимо, был известен как краснобай, там его «заставили речи говорить». Несомненно, перед нами образ скомороха. Слагатель-певец, объединяя себя со скоморохом в заключительных стихах, говорит с явным сочувствием к нему: «Не поешь — дак и не спляшется, И в игру не сыграется». Это заключение имеет двоякий смысл: не только характеризует знакомое певцу состояние острого голода, когда не до пляски и не до игры, но и содержит намек, что игрока и плясуна всегда следует сначала угостить.

В «Старине о большом быке» имеются упоминания еще об одной группе персонажей: это посетители торга, люди, которые «пробаяли» про бычью шкуру. Среди посетителей торга некие гости, бояре-дворяне, ежедневно там бывающие. Они «подхаживают», «подкушивают» студенцу, пробуют пирожки и «подхваливают», слушают новую перегудочку волынщика и неизменно задают один вопрос: «Не того ли большого быка, Да быка Рободановского?» Вопрос звучит провокационно. За ним следует как следствие наказание виновных. Можно полагать, что это не простые посетители торга, а специальные люди. Они приглядываются к торговле, слушают толки и доносят — это тоже черта эпохи. Глагол «подслушивают» не употребляется певцами, он возникает как непроизнесенная рифма к глаголам «подхаживают», «подкушивают», «подхваливают». В самой последовательности событий и действий автор-певец поневоле заставляет угадывать то, о чем прямо сказать было опасно. Умолчания в сюжете рассчитаны на догадку слушателей, хорошо осведомленных и разбирающихся в существующих порядках.

Очевидно, что симпатии слагателей «Старины» на стороне мелкого ремесленного люда. Как бы между строк вырисовывается картина нелегкой жизни город-

[20] Не этот ли способ воровского увода отразился в пословице: «Хлыновцы корову в сапоги обули», возникшей также в эпоху русского средневековья, когда Вятка называлась Хлынов (Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957, с. 340).

[21] Введенский А. А. Указ. соч., с. 240—241.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ских низов, их заботы и ухищрения, чтобы как-то прокормиться, уцелеть. Мы вправе предположить, что «Старина о большом быке» возникла в городской или посадской демократической среде, в городских низах. Ее слагатели хорошо знакомы с условиями быта и труда городских ремесленников, с их заботами о том, «чем голова кормить». Им известны и закулисные делишки бояр, вроде тайной организации увода чужого быка. Однако симпатии авторов на стороне таких тружеников, как кожевенники, харчевники, торговки, а восхищение и уважение певцов старины отдаются бывалому удальцу с Волги и скомороху-волынщику.

Приблизительно определив эпоху и социальную среду, в которой возникло произведение, обратимся к композиционно-образной его стороне. Почему в центре повествования именно бык, а не какое-либо другое животное? Насколько типичен и типичен ли такой персонаж для русского эпоса и других фольклорных жанров? Истоки образа ведут в глубокую древность. Культ быка существовал в древней Вавилонии и Египте, на острове Крит и у шумеров, в древней Греции и других странах Средиземноморского региона, а также в странах Скандинавии и у народов Кавказа, в странах Средней и Западной Европы, словом, у всех тех народов, которые занимались земледелием и скотоводством. В древнейших преданиях и легендах образ быка имеет мифические черты. Следы этого культа в сильно трансформированном виде сохранились во множестве и у русского крестьянства.

* * *

Обнаружение истоков образа, выявление его наиболее ранних форм раскрывает одну из существенных черт творческого метода фольклора. Историческая действительность, отражаясь в фольклоре, принимает сложные и многообразные традиционные формы художественного выражения, привычные и понятные для народного сознания. Начальные этапы формирования этих традиционных форм художественного сознания восходят к ранним стадиям развития человеческой культуры. Выявление истоков традиции ни в коей мере не отрицает значения позднейших исторических периодов для ее развития. Каждый период истории человечества в целом и отдельного народа создает свою почву для дальнейшего существования и развития художественных традиций — об этом достаточно говорилось в специальных теоретических трудах. Об этом следует напомнить при анализе образно-композиционной структуры «Старины о большом быке». Основа ее сюжета — убой быка и последовательное наказание всех лиц, прикосновенных к его уничтожению. Компоненты, составляющие основу сюжета, возникли и существовали в эпохи, предшествовавшие изображенной в произведении. Наказание за убой быка — это лишь рудимент обычаев того далекого от нас времени, когда бык был священным животным, которое нельзя убивать. Запрет на убой быков возник в эпоху развитого скотоводства и земледелия. Элементы запрета сохранились в обряде афинских буфоний (дословно — быкоубийств), описанном академиком И. И. Толстым.[22] Обряд совершался в античных Афинах в июне и был посвящен Зевсу. На алтарь сыпали зерна или клали овощи. Предназначенный в жертву бык съедал их и якобы за это был обречен. Избирались водоносицы, приносящие воду для натачивания топора. Один жрец брал топор и ударял быка, другой резал его. Из шкуры делалось чучело и запрягалось в плуг, чтобы боги, покровительствующие пахоте, не думали, что понесли урон. Мясо быка съедали за общей жертвенной трапезой. Затем судили всех участников быкоубийства, начиная с девушек-водоносиц. Устанавливалось, что их вина меньше вины точильщика, а его вина меньше вины жреца, ударившего быка. В конце концов выяснялось, что виноват нож или топор, и его топили в море. «Принесение в жертву быка было широко известно в ареале Средиземноморья, где издревле существовал культ быка, некогда в форме почитания промыслового дикого животного, а впоследствии — одомашненного быка-производителя у скотоводов и быка-пахаря у земледельцев. Ранний эпос народов Средиземноморья. . . и предметы древнего изобразительного искусства позволяют проследить сложные переходы от охотничьего культа к скотоводческому и земледельческому. Наиболее архапчным в „бычьих“ культах было поедание на коллективной трапезе мяса быка, убитого по особому ритуалу», — пишет Р. С. Липец, специально изучавшая этот материал.[23]

А. С. Фаминцын, исследуя вопрос о божествах древних славян, обратил внимание на существование у славян жертвоприношения богам быков и других животных.[24] Особая скотоводческая братчина существовала у восточных славян и после принятия христианства. В жертву приносились также быки, но трапеза происходила уже в Ильин день или в день Флора и Лавра — покровителей домашних животных. Этнографы XIX века А. Я. Ефименко, Н. А. Богословский, Н. Н. Харузин и другие обнаружили и описали «общественные пиры, носившие

[22] Толстой И. И. Обряд и легенда афинских буфоний. — В кн.: Толстой И. И. Статьи о фольклоре. М.—Л., 1966, с. 80—96.

[23] Липец Р. С. Образ древнего тура и отголоски его культа в былинах. — В кн.: Славянский фольклор. М., 1972, с. 103.

[24] Фаминцын А. С. Божества древних славян. СПб., 1884, с. 53—56.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

несомненные следы языческих жертвоприношений», и отметили широкое их распространение в Олонецкой, Архангельской, Новгородской, Псковской, Вологодской и других губерниях, куда обряд скотоводческой братчины был занесен из Новгорода.[25] В самом Новгороде для совершения обряда объединялись несколько улиц, а за пределами города — несколько деревень. Обряд заключался в следующем: крестьяне вскладчину покупали и выкармливали бычка на общественных лугах. Иногда его выращивал какой-то один хозяин. В Орловской губернии брали бычка от первого отела и растили на воле. Он гулял по лугам и хлебам, а на потраву не обращали внимания.[26] В Олонецкой губернии выбирали быка только красного цвета, чтобы была ясная погода при сенокосе и жатве. Мясо быка делилось на части: лучшие отдавали в церковь, остальное варили и съедали за общим столом. К этому дню варили также пиво, брагу, медовые напитки. С ильинским быком связаны некоторые поверья: кости его приносят счастье, облегчают роды; охотники и рыболовы считали, что кость ильинского быка утраивает добычу.

В Нижегородской, Костромской, Пермской, Вологодской губерниях жертвоприношения молодых бычков совершались в день Флора и Лавра.[27] Пережитки этого обряда наблюдали еще в начале XX века Б. М. и Ю. М. Соколовы в Вологодской губернии. «Нас поразило широкое распространение в Белозерском и Кирилловском уездах одного типичного обычая, думается нам, явного пережитка язычества, — сообщали они. — В храмовый праздник, 8-го сентября, к церкви с. Пречистого приводят „обещанный“ скот. На паперти, в особо для этого устроенном месте, одного быка торжественно закалывают; мясо варят и тут же угощают им нищую братию. Остальных быков продают съезжающимся к этому дню мясникам. Деньги идут в пользу церкви и духовенства. Подобный же обычай наблюдается в Печенгском приходе».[28]

Летние и осенние празднества с жертвоприношением бычков в некоторых местностях связаны с легендами о том, что прежде жертвенные животные, быки и лани, сами приходили к храму. Такую легенду сообщают и Соколовы. По мнению академика И. И. Толстого, подобные легенды выявляют в празднествах культ диких быков.[29]

С культом быка связаны некоторые святочные и весенние календарные обычаи, имеющие магический смысл. Во время святок ряженые водят бычка по домам, запрягают в плуг (магическая пахота). Н. А. Бернштам обнаружила на севере святочную игру, которая называется «убивать быка».[30] Ряженье в шкуру быка, маски в виде бычьей головы, исполнение эротических песен — все это подтверждает, как показывает Р. С. Липец, связь обрядов с культом плодородия, воплощенном в диком быке-туре, его силе производителя. Когда обряд прикрепился к быку-пахарю, это была коренная модификация обряда.[31]

В поселке Завод Михайловский Чайковского района Пермской области, где сохранился и был записан фрагмент «Старины о большом быке», существовала песня о быках с эротическими намеками. Вариантов к ней обнаружить не удалось, она исполнялась как игровая на святочных вечеринках и, видимо, представляет часть того святочного репертуара, который существовал, когда было принято наряжаться в шкуру быка и маску в виде бычьей головы. Приведем эту песню полностью, как ее спела М. Ф. Девятова (именно от нее был записан и текст о бычке):

Было у тетушки,
У любезной бабушки
Пять быков.

[25] Ефименко А. Артели в Архангельской губернии. — В кн.: Сборник материалов об артелях в России, вып. 2. СПб., 1874, с. 172—174; Харузин Н. Н. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой губернии. — В кн.: Олонецкий сборник, вып. 3. Петрозаводск, 1894, с. 339—341; Седов В. В. К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде. — В кн.: Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. Вып. 68, М., 1957, с. 28—30.

[26] Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению этнографии, т. 2, СПб., 1869, с. 32.

[27] См., например: Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1876, с. 453; Малахов М. В. Быкобой у пермяков в день св. Флора и Лавра. — В кн.: Записки Уральского общества любителей естествознания, вып. I. Екатеринбург, 1888, с. 83.

[28] Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы. М., 1915, с. XL.

[29] Толстой И. И. Чудо у жертвенника Ахилла на Белом острове. — В кн.: Толстой И. И. Указ. соч., с. 22—23. Культ дикого быка с чертами мифологическими нашел отражение в руне о большом быке карело-финского эпоса. См.: Калевала. Петрозаводск, 1940, с. 134—136; Сампо. Сборник карело-финских рун. Петрозаводск. 1940, часть I, руна 22; часть II, руна 10.

[30] Архив Института этнографии АН СССР, Ленинградское отделение, колл. 1, оп. 2, л. 16, № 876 (д. Сухой Наволок); там же, тетр. 2, л. 9, № 885 (д. Выгостров); там же, л. 3, № 881 (д. Колежмо), л. 37, № 941 (д. Варзуга) и др.

[31] Липец Р. С. Указ. соч., с. 104—107.

lib.pushkinskijdom.ru

Приезжали к тетушке,
Ко любезной бабушке
Пять купцов.
— Продай, продай, тетушка,
Любезная бабушка,
Черного быка!
— Был бык черной,
Ходил повечорно —
Того не продам,
Того для себя!
Было у тетушки,
У любезной бабушки
Четыре быка.
Приезжали к тетушке,
Ко любезной бабушке
Четыре купца.
— Продай, продай, тетушка,
Любезная бабушка,
Красного быка!
— Был бык красной
Коло девок ласков —
Того не продам,
Того для себя!

Далее упоминаются: «бык пестрый, коло девок вострый», «бык сивой — любил девок силой» и «бык белой — девкам брюшко делал».[32]

Если даже в XIX и начале XX века во многих губерниях России сохранялись в христианизированном виде следы специальных скотоводческих братчин — общинных празднеств, посвящаемых жертвоприношению быков, то в период средневековья, надо думать, эти обряды были повсеместными и, вероятно, менее христианизированными, с элементами языческих представлений. А. Н. Попов, исследовав в середине прошлого века ряд письменных памятников, полагал, что в XIII—XVI веках на братчинные пиры приглашались скоморохи. Пиры сопровождались музыкой, плясками, песнями, гаданиями и какими-то представлениями в масках.[33]

Это наблюдение очень важно для понимания некоторых особенностей песен, связанных с темой раздела быка и раздачей его частей, — песен, не имеющих никакой связи с рассмотренной выше «Старины о большом быке», кроме мотива раздачи мяса. Может быть, неслучайно и такое совпадение: в областях, где были записаны варианты или фрагменты «старины», зафиксированы также и христианизированные пережитки скотоводческих братчин: на севере и западе, на Урале и в Поволжье, в Олонецкой, Архангельской, Пермской и Орловской губерниях. В последней записан не только фрагмент «бычка» в 25 стихов, но и свадебная припевка о разделе бычка, которая поется во время «перезвы», т. е. приглашения родных новобрачной в дом их молодого зятя:

Ой, тпруська, ты тпруська, бычок.
Молодая ты телятинка,
А телячия опоина.
А давайте бычка свежевать:
Кому сальца, кому ребрышко,
Кому правое стегонышко.[34]

Как известно, карело-финская руна о большом быке также связана со свадебным обрядом: гигантского быка режут к свадьбе. В Эстонии руна о большом быке исполнялась «в качестве трудовой песни при толоках или помочах. . . но, как и у финнов, также в качестве свадебной песни», — пишет В. Я. Евсеев.[35]

Из рассмотренного материала явствует, что образные истоки «Старины о большом быке» достаточно древни и глубоко традиционны. Но что за слагатели-певцы могли дерзнуть в развлекательных целях использовать древний и священный ритуал?

Справедливость предположения, что скоморохи были обязательными участниками сельских празднеств и братчин, подтверждается указами, ограничивающими их действия. Жителям деревень и посадов можно было приглашать скоморохов на свои празднества, запрещалось лишь устраивать представления против воли поселян. Именно скоморохи были той социальной группой в среде простого народа, которая менее всего могла разделять свойственные народу религиозные предрассудки. Как представители постоянно обличаемой и запрещаемой церковью профессии они оказывались в антагонистическом по отношению к церкви положении. Церковники прибрали к рукам выгодный для них обычай скотоводческих братчин, скоморохи имели моральное право и могли высмеивать его. Общие социальные интересы и положение изгоев сближали их с разбойничье-воровской казачьей вольницей, камской и волжской. Выразители социального протеста в его примитивных формах, представители «отреченной» профессии, они поэтизировали в своих песнях «вольных» и «догадливых» молодцев. Положение изгоев, проклинаемых церковью и светскими властями, лишало скоморохов каких-либо иллюзий, религиозных предрассудков, вызывало пренебрежение к общественным моральным нормам и принципам. Известны случаи, когда бродячие певцы используют форму колядок в качестве песенного зачина. Песня «Рыболовщики», воспевающая ловкость, воровство и безнаказанность, начинается с традиционного обращения к хозяину:

[32] Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР, разряд V, колл. 229, п. 3, ед. хр. 3, запись А. Н. Мартыновой.

[33] Попов А. Пиры и братчины. — Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым, кн. 2. М., 1854, с. 19—41.

[34] Старинная севская свадьба, № 226.

[35] Евсеев В. Я. Указ. соч., с. 147.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Благослови, сударь хозяин, благослови, господин,
Поскакати, поплясати, про все городы сказати,
Про все было уезды, про все низовые,
Про все низовые, остродемидовые.[36]

В конце колядки обычно поется припевка, содержащая намек на угощение или прямо требующая его: «Подайте лепешку в заднее окошко!» или: «Кишки да желудки в печке сидели, на нас глядели!» и пр. Запев былины «Иван Гостиный сын» напоминает эти припевки колядовщиков:

Нашему хозяину честь бы была,
Нам бы, ребятам, ведро пива было.
Сам бы испил, да и нам бы поднес.[37]

Для творчества скоморохов, дошедшего до нас в виде отдельных фрагментов и мотивов, рассыпавшихся формул и прибауток, видимо, были в какой-то мере характерны переделка и переработка традиционных сюжетов и формул. Именно скоморохи могли брать в качестве сюжетной основы определенную последовательность каких-то элементов обряда и использовать песни и припевки, которые пелись при обрядовом делении «обетного» мяса или во время самой братчины. Шуточные тексты песен, по-видимому, уже переделок, с указаниями на разные черты характера или поведения жителей той или иной деревни или волости были записаны во второй половине XIX века в Тульской и Владимирской губерниях.[38]

В рассмотренной выше старине наказаны в определенной последовательности все, имевшие отношение к разделу быка. Можно допустить, что, как и в обряде афинских буфоний, в русском ритуале праздничных быкоубийств существовал определенный порядок. Позднее, под влиянием усилившихся запретов церковных и светских властей на все виды народных развлечений этот ритуал был заменен церковным обрядом освящения животных и был постепенно забыт. Окончательный запрет был выражен в указе царя Алексея Михайловича 1648 года. Указ запрещал все виды народных развлечений и разнообразной деятельности скоморохов: «. . .чтоб. . . скоморохов с домрами и с гуслями и с волынками и со всякими играми, и ворожей, мужиков и баб, к больным и ко младенцом и в дом к себе не призывали, и в первой день луны не смотрили, и в гром на реках и в озерах не купалися, и с серебра по домом не умывалися, и олово и воску не лили, и зернью и карты и шахматы и лодыгами не играли, и медведей не водили и с сучками не плясали, и никаких бесовских див не творили, и на браках песней бесовских не пели и никаких срамных слов не говорили, и по ночам на улицах и на полях богомерзких и скверных песней не пели, и сами не плясали и в ладони не били, и всяких бесовских игр не слушали. . . а которые люди от того ото всего богомерзкого дела держаться, и тебе б, по Государеву указу, тем людем чинить наказанье: где такое в Ирбитской слободе бесчиние объявится или кто на кого такое бесчиние скажет, и ты б тех людей велел бить батоги».[39]

Существование этого указа, требовавшего жестоко наказывать за игру на народных инструментах, в том числе и на гудках и на волынках, позволяет допустить, что «Старина о большом быке» возникла до указа 1648 года, так как в ней волынщика наказывают не за саму игру, — ее свободно слушает на торжке каждый, — а за причастность к разделу быка: игрок воспользовался большим бычьим пузырем, чтобы сделать «игру по себе», т. е. иметь инструмент, соответствующий его музыкальным способностям.

Элементы сюжета, этнографические и фольклорно-традиционные в своих истоках, оказались развитыми на основе конкретных событий и нравов эпохи, отразившихся в былине в наиболее существенных для ее слагателей чертах. «Эпос подобен таким слоям земли, в которых имеются отложения различных геологических эпох», — заметил В. Я. Пропп.[40]

Можно ли отнести к жанру былин «Старину о большом быке»? В ней нет типичных для былины эпических героев,

---

[36] Соболевский А. И. Великорусские народные песни, т. VI. СПб., 1900, № 449.

[37] Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности. Былины, т. I. М., 1897, с. 35. Ср.: Камская вольница. Исторический фольклор Прикамья. Собрал и составил И. Зырянов. Пермь, 1977, №№ 1, 34.

[38] В каждой из песен сообщается, что крестьяне купили быка, освежевали его и раздают:

Архипу губка: ходит жена ступкой;
Дьякону шейка: ходит попрошайкой;
А дьячку коленца: бьет жену поленцем;
Попу-то бабки: лошади гладки

(Соболевский А. И. Указ. соч., т. VII, № 378).

Или:

Герасиму-то печень, —
Он и сам мужик увечен. . .
Петру требуху, —
Он ходит в терюху (дерюге)

(Шейн П. В. Указ. соч., № 1014, ср. № 1015).

[39] Акты исторические, т. IV. СПб., 1842, № 35.

[40] Пропп В. Я. Об историзме русского фольклора и методах его изучения. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1968, № 339, вып. 72, с. 13.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

за исключением разве самого быка. Но эпичность его описания можно подвергнуть сомнению, если допустить, что перед нами не бык, а тур. «Тур отличался от домашнего быка большей величиной, мускулистым сложением, высотой в холке, длиной ног. . . Это было стройное животное. . . с широко расходящимися рогами. . . Мощь его была такова, что он легко поднимал на рога коня вместе с всадником», — сообщает Р. С. Липец.[41] Рога тура имели в длину три четверти метра, вмещали до полутора ведер жидкости, в битвах служили сигнальным инструментом. Возможно, неоднократно подчеркнутая в произведении деталь «Между рогами косая сажень» не случайное преувеличение. В «старине» все персонажи реальны, как и бытовая обстановка эпохи, и нравы общества. Странно, что только бык изображен несколько гиперболически. Но если поставить на место быка тура, учитывая его описание, данное учеными, то становится реальным и этот персонаж. По мнению ученых, последние туры исчезли именно в XVI веке.[42] Может быть, на дворе у Ромодановских был именно тур, тогда уже очень редкое животное, и именно поэтому его рога необычной для быка длины украшала княжеская надпись.[43] Тогда более понятной становится зависть других бояр, ведь достать тура было, видимо, почти невозможно. Не поэтому ли и возникает угроза смертной казни для виновных — ведь никакой штраф не может восполнить ущерб, нанесенный уничтожением столь редкого животного. Если допустить, что в былине изображен тур, то в содержании этого эпического произведения по существу не остается эпических персонажей. В нем нет элементов гиперболизации, столь свойственной поэтике былин. Зато в форме произведения выдержаны законы эпического жанра: вступление с вежливым обращением к слушателям, завязка, соотнесенность всех частей повествования с развитием действия, развязка. Применяются общие места и формулы, позволяющие замедлять действие, обставить его поэтическими подробностями, характеризующими людей, нравы, социальную среду. Общим местом, трижды повторенным, стало описание наказания. Этот композиционный прием по-своему подчеркивает нравы эпохи:

Да Алёши-то Мясникову,
Да как Митьки-то кожевникову,
Да как кожи по рядам провели,
Да кожи те кнутом набили,
Да как справили двести рублей,
Да по двести с полтиною,
Да еще не покинули,
Кабы не люди добрые,
Не заступы те крепкие
Да не гости-те Строганова,
Да лише только головы отстать.

(Ошевенский вариант) [44]

Используются в композиции произведения повторяющиеся формулы: «Да как сам-то похаживает, / Да как сам поговаривает»; «На ножку скор, на походку легок»; «были к быку», «скочить за Москва-реку».

Некоторые сюжетно-композиционные и лексические формулы оказываются общими с эпикой сборника Кирши Данилова: описание двора и усадьбы, использование мотива угощения, за которым скрывается злой умысел: грабеж, воровство, увод. В песне «Усы» из сборника Кирши Данилова просьба об угощении — предлог, за ней следует требование принести деньги.[45] В былине о большом быке мотив угощения возникает дважды, и каждый раз в его основе обман. Сначала князь Афанасий Путятинский затевает пир, на котором, по существу, дает задание украсть быка у Рободановского. Второй раз угощение как композиционный прием используется при описании сцен на торжище, где гости пробуют и хвалят студень и пирожки с потрохами с тайным намерением выяснить, не приготовлены ли они из того «большого быка». Отменные качества блюд убеждают в справедливости их предположения. Кстати сказать, и в сборнике Кирши Данилова толокно не однажды фигурирует как любимая еда простонародья. Буквально совпадает с песней «Усы» формула «голова кормить» и др. Сходство словесных и композиционных формул говорит о том, что изображалась одна эпоха, одни и те же нравы и черты быта. Структура произведения (например, запев в виде музыкального наигрыша: «Ай диди диди диди диди диди!»), несомненные симпатии к таким персонажам, как игрок-гудошник, ловкий Зеновка с Волги и другие, отмеченные ранее особенности позволяют предположить, что «Старина о большом быке» возникла в среде, близкой к городским низам, скорее всего — в среде скоморохов. Этот вывод подтверждается и близостью отдельных формул и лексики с некоторыми про-

[41] Липец Р. С. Указ. соч., с. 84. Неясно, почему из круга привлекаемых автором былин выпала «Старина о большом быке».

[42] Среди различных печатей, описанных строгановскими архивистами, упоминается также «бык с рогами» (В в е д е н с к и й А. А. Указ. соч., с. 9). Возможно, что в данном случае имеет место и простое совпадение.

[43] В период различных «бычьих» культов было распространено почитание рогов быка, которые всячески украшались и даже покрывались позолотой. Надпись на рогах, возможно, дань традиции.

[44] Г и л ь ф е р д и н г А. Ф. Указ. соч., № 303.

[45] Б о г о с л о в с к и й П. С. Песня об «Усах» из сборника Кирши Данилова и Камская вольница. Пермь, 1928.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

изведениями из сборника Кирши Данилова, составителем которого, как это убедительно показал А. А. Горелов, был скоморох.[46]

Некоторые лексические пласты, сохранившиеся в языке произведения, также позволяют отнести его к XVI—началу XVII века: оприче — кроме; торг; торжище; харчевники; гудошник; поспешники; вязиво, вязивце — веревка, а также некоторые грамматические формы: великие бык, двесте с рублем, люди-ты, из тоё горенки, головой вершить, головы отстать, и др. Наряду с этим в язык былины проникает более поздняя лексика — XVIII—XIX веков (солдаты, служивые, рынок и пр.) и черты северно-русского говора: шестьсот рублёв, становых костьёв, степи рукой не добыть, роскучиться (разойтись), набить спину, слупить кожу, на слых выговаривать и др. Наблюдаются изменения, вносимые в текст скорее всего исполнителем-певцом в присутствии «барина» — А. Ф. Гильфердинга. Так, окончание стиха «солдаты служивые» явно требует рифмы — «ребятишки сопливые», но певец спел «ребятушки маленькие». В заключительных стихах не передана собирателем (не уловлена?) диалектная форма «дак»:

Записано

Да к тому ли к большому быку,
Да к быку Рободановскому
Да как кажная косточка
Да как стала-то в пять рублей. . .

Должно быть

Дак тому ли большому быку,
Дак быку Рободановскому
Да как кажная косточка
Да как стала-то в пять рублей. . .

Подобные изменения текста при длительной, столетия продолжающейся жизни фольклорного произведения неизбежны. Важно, что они долгое время не затрагивают основного смысла, а касаются сначала отдельных языковых форм, особенностей речи, чтобы сделать смысл более понятным той среде, в которой исполнялось произведение. Они не затрагивают и композиционной стройности произведения, не нарушают его художественного единства. Единство поэтики, поэтической системы произведения, по мысли В. Я. Проппа, — важнейший признак жанра.[47] В «Старине о большом быке» такое единство сохранено. В то же время это произведение, при выдержанной былинной форме, не имеет типичного для былины содержания: его герои — представители городских низов, сюжет прозаичен. По-видимому, это фольклорное произведение принадлежит к тем эпическим образованиям, сущность которых достаточно точно определила Л. А. Астафьева: «Произведения, представляющие собой переходную ступень между былиной и балладой, отразили тот этап жизни эпоса, когда новые условия и новое жизненное содержание привели его к качественным изменениям. Содержанием его становятся не обобщенные явления целой эпохи, а отдельные события общественной и частной жизни».[48]

К этим произведениям переходного типа относится, безусловно, и рассмотренная нами «Старина о большом быке». В ней прослеживается сложность и многосоставность содержания при ясно выраженных чертах определенной эпохи. Это особенность произведений фольклора вообще, а эпических в особенности. Традиционные поэтические приемы, традиционные элементы содержания, объединенные новым, отвечающим более современным задачам замыслом, помогают творцам фольклора создать новое самостоятельное произведение, но в нем проступают пласты художественного сознания предшествующих эпох.

---

[46] Горелов А. А. Кем был автор сборника «Древние российские стихотворения». — В кн.: Русский фольклор, вып. VII. М.—Л., 1962.

[47] Пропп В. Я. Указ. соч., с. 7.

[48] Астафьева Л. А. Определение жанровых границ русского героического эпоса и его классификация. — В кн.: Фольклор. Издание эпоса. М., 1977, с. 119.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

К БИОГРАФИИ МЕЛЕТИЯ СМОТРИЦКОГО

Творчество белорусско-украинского писателя конца XVI—первой трети XVII века Мелетия (в миру Максима Герасимовича) Смотрицкого — выдающееся явление литературы и науки восточных славян. Сын ректора Острожской коллегии, ученого и писателя Герасима Даниловича Смотрицкого, Мелетий еще при жизни снискал громкую славу полемиста и филолога не только в Речи Посполитой, но и далеко за ее пределами.

Его сочинения, и в первую очередь «Фринос» (1610), в котором автор в поэтической форме народного «голошения» изобразил трагическое положение православной церкви, персонифицированной в аллегорическом образе плачущей матери, разоблачил лицемерие и продажность униатов как прямых последователей и проводников экспансионистских идей Рима на территории Белоруссии и Украины, современники сравнивали с творениями Иоанна Златоуста. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого на протяжении двух столетий была самым авторитетным пособием по языковедению. Она дважды (в 1648 и 1721 годах) перепечатывалась с некоторыми изменениями в Москве. Она стала образцом для русских языковедческих трудов, а также для сербской, хорватской, румынской и болгарской грамматик.[1] Напомним, что М. В. Ломоносов назвал ее, наряду с «Арифметикой» Магницкого, «вратами» своей учености.

Однако современникам Смотрицкий был более известен как писатель-полемист, чем автор «Грамматики». Его перу принадлежит около пятнадцати (сохранившихся до нашего времени) полемических сочинений, десять из которых написаны в защиту православия.

Сломленный церковно-религиозной борьбой физически и морально, Смотрицкий в 1627 году тайно, а в 1628 году открыто переходит на сторону униатов. Этот перелом в жизни Смотрицкого значительно повлиял на характер дореволюционных исследований творчества писателя, отсюда тенденциозность в методологическом подходе к тому или иному периоду его деятельности.

Советское литературоведение, вооруженное марксистско-ленинской методологией, смогло преодолеть тенденциозный подход к творчеству Смотрицкого, дать объективную оценку обоим периодам его деятельности. Однако, на наш взгляд, не всегда оправданно пересматривается фактический материал. Так, если во многих дореволюционных исследованиях считалось, что М. Смотрицкий умер в 1633 году, то начиная с 1966 года, а именно с монографии Е. С. Прокошиной,[2] в белорусском литературоведении общепринятой датой стал 1630 год. Об этом свидетельствуют и статьи в БелСЭ и КЛЭ, и главы, посвященные Мелетию Смотрицкому в «Гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры» и в «Истории белорусской дооктябрьской литературы».[3]

На первый взгляд может показаться, что автором монографии «Мелетий Смотрицкий» найден сенсационный в своем роде фактический материал. Е. С. Прокошина пишет: «. . .родился в м. Смотричь в Подолии в 1572 г. Биографы указывают на различные годы с 1577 по 1579, не ссылаясь при этом ни на какие свидетельства. Между тем имеется сообщение Іерофея в „Записке о Дерманском монастыре", которое заставляет пересмотреть даты жизни М. Смотрицкого. Іерофей приводит надпись на сохранившемся портрете Смотрицкого: „М. Смотрицкий, архиепископ иерапольский, архимандрит Дерманский, преставился року 1630 от рождества своего в 58 лет". Об этом же имеется запись в монастырской книге. Отсюда следует, что годом рождения Смотрицкого нужно считать 1572-й. Это предположение подтверждается и фактами его жизни и деятельности».[4] Кроме того, в монографии неоднократно цитируется сочинение Якоба Суши «Савл и Павел» (Рим, 1666),

---

[1] Подробнее об этом см.: Німчук В. В. Граматика М. Смотрицького — перлина давнього мовознавства. — В кн.: Мелетій Смотрицький. Граматика. Київ, 1979, с. 92—111.

[2] Прокошина Е. С. Мелетий Смотрицкий. Минск, 1966.

[3] БелСЭ, т. IX, 1973, с. 610; КЛЭ, т. IV, 1967, стлб. 748; Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, т. I. Мінск, 1968, с. 308; История белорусской дооктябрьской литературы. Минск, 1977, с. 190.

[4] Прокошина Е. С. Указ. соч., с. 36. Там же ссылка на место хранения рукописи: «Рукопись находится в филиале ЦГИА г. Львова, ф. 201, оп. 48, д. 3039, л. об. 10».

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

где имеется указание на то, что Смотрицкий умер 27 декабря 1633 года. Возникает закономерный вопрос, почему Е. С. Прокошина доверяет рукописи Иерофея (рукопись второй половины XIX века), но не верит младшему современнику Смотрицкого Я. Суше (родился в Минске в 1610 году — умер 4 марта 1687 года) — известному доктору теологии, который преподавал богословие и философию во многих городах Белоруссии, в том числе и в Минске. Более того, говоря, что предыдущие исследователи «не ссылаются при этом ни на какие свидетельства», Е. С. Прокошина зачеркивает тем самым достижения литературоведения прошлых столетий, в том числе богатые фактическим материалом работы М. Вишневского, М. Кояловича, А. Брюкнера, К. Еленевского, С. Голубева и др.

При проверке архивных данных оказалось, что ссылка на опись и дело — ошибочные. С помощью сотрудников архива удалось найти «Книгу Дерманского монастыря».[5] В «Книге» действительно имеются данные, кто и когда был настоятелем Дерманского монастыря: «1627, Мелетий Смотрицкий архиепископ Полоцкий. . . преставился року 1630 от рождества своего в 58 лет». И далее: «1634, Іоанн Дубович, архимандрит Дерманский, ученый и писатель, подобный предыдущему».[6] Необходимо заметить, что автору монографии следовало указать на публикацию «Записки» Иерофея Л. Рафальским, которая не вызвала в свое время никаких комментариев.[7]

Для установления истины пришлось проверить как одну, так и вторую дату. Действительно, в письме-копии Анны Ходкевич униатскому митрополиту Иосифу Вельямину Руцкому говорится, что она сделала запись и приложила свою печать 5 февраля 1634 года, рекомендуя Иоанна Дубовича на должность настоятеля Дерманского монастыря.[8]

Дальнейшие поиски привели в рукописный отдел Научной библиотеки АН УССР им. В. Стефаника. В «Каталоге ордена Базилианов» говорится, что 11 августа 1633 года у Смотрицкого заболела селезенка и он перед смертью, 8 ноября того же года, пожелал, чтобы Анна Острожская (она же Ходкевич), жена виленского воеводы, была опекуншей монастыря, что 14 декабря Смотрицкий был соборован и в скором времени умер.[9] В этом деле, как и во многих других документах, есть известие о том, что на похоронах произнес речь Войцех Кортисций. 29 января 1634 года это «Слово» было напечатано в Вильне.[10]

Кроме того, в филиале ЦГИА УССР г. Львова находятся и многие другие документы, которые доказывают неправомерность пересмотра даты рождения и смерти Мелетия Смотрицкого. Так, среди копий писем и заметок киевского униатского митрополита Иосифа Руцкого, которые хранятся в конгрегации de propaganda fide в Риме, находится его письмо в Рим от 12 февраля 1634 года, где впервые говорится о смерти Смотрицкого[11] (в более ранних письмах 1628—1633 годов таких сведений нет), более того, имеется письмо к Смотрицкому, датированное 7 июня 1631 года.[12] Естественно, что если бы Смотрицкий умер в 1630 году, то такого письма не последовало бы. В другом деле, в одном из писем от 5 июля 1632 года, Руцкий пишет о том, что Смотрицкий болен и проводит свое время в молитвах и чтении книг.[13]

После смерти Смотрицкого униатский митрополит Руцкий написал окружное послание «с извещением об обстоятельствах, предшествовавших и сопровождавших смерть Мелетия Смотрицкого», датированное 16 января 1634 года, где он писал: «Прошу, абы килка экземпляров (извещения, — *В. К.*) братия переписали и на Руси послано яко напрудшей было. Также в Жировицком монастыру светое Троицы з пилностью вшелякою по латине абы преложено, и тых, до ведомости которых належит, донесено было пилне, и повтуре прошу».[14]

Вопрос о дате рождения Мелетия Смотрицкого тоже до конца не выяснен. Не сохранилось ни одного документа, достоверно свидетельствующего об этом событии. На наш взгляд, первая половина 1577 года наиболее соответствует реальности. Смотрицкий в письме к римскому папе Урбану VIII писал: «. . .in schismate velut ex necessitate natus, in eodem

---

[5] Филиал ЦГИА УССР, г. Львов, ф. 201, оп. 4б, д. 3093. Приношу благодарность украинскому ученому В. А. Борису за помощь в переводе документов с латинского языка.

[6] Там же, лл. 8 об.—10 об.

[7] Историческая записка о Дерманском монастыре. — Волынские епархиальные ведомости, 1873, № 8, часть неофициальная, с. 292—293 (Статья принадлежит перу покойного преосвященного Іерофея и доставлена в редакцию коллежским советником Л. Рафальским).

[8] Филиал ЦГИА УССР, г. Львов, ф. 129, оп. 1, д. 1272.

[9] Рукописный отдел Научной библиотеки АН УССР им. В. Стефаника, ф. 3, д. № 378, л. 256.

[10] Widok Potyczki Wygraney. . . Meletivsa Smotrickie(go) archiepiskopa hierapolitanskiego. . . Przez x. Woyciecha Kortiscivsa, dnia 29 stycznia r. p. 1634. Wilna, [1634]. Один из экземпляров этого издания хранится в научной библиотеке Вильнюсского университета (шифр: III/5117).

[11] Филиал ЦГИА УССР, г. Львов, ф. 201, оп. 4б, д. 2907, л. 133.

[12] Там же, л. 207.

[13] Там же, д. 2913, л. 101.

[14] Киевские епархиальные ведомости, 1877, № 3, отд. 2, с. 70.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

per annos 50 ex voluntate volutatus».[15] Руцкий же «разрешил от схизмы» Смотрицкого в июне 1627 года.[16] А «послания Смотрицкого, — говорит Суша, — были получены в октябре 1627 года и прочитаны в торжественном собрании в присутствии самого папы и многих царственных особ. Затем они были отправлены конгрегации и здесь также произвели всеобщую радость».[17]

Таким образом, годом рождения Мелетия Смотрицкого следует считать начало 1577 года, а смерти — 27 декабря 1633 года.

В. Г. Короткий

[15] Vita M. Smotriscii, auctore Iacobo Susza, 1864, s. 72 (Цит. по: Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники, т. I. Киев, 1883, с. 92).

[16] Еленевский К. Мелетий Смотрицкий. — Православное обозрение, 1861, № 6—8, с. 280.

[17] Там же, с. 281.

ОБ АВТОРСТВЕ «АВВАКУМОВСКОГО СКИТНИКА»

В 1963 году одновременно были опубликованы две работы Л. Б. Светлова, посвященные анонимному произведению XVIII века «Жизнь некоторого мужа и перевоз куриозной души его чрез Стикс реку».[1] Это сочинение, впервые появившееся под таким заглавием в 1780 году, затем неоднократно переиздавалось и под другими названиями: «Житие господина N. N., служащее введением в историю его в царстве мертвых» и «Жизнь некоего Аввакумовского скитника, в Брынских лесах жительствовавшего, и куриозный разговор его души при перевозе через реку Стикс». В литературе оно известно под сокращенным обозначением «Аввакумовский скитник».

Еще в результате разысканий библиографов XIX века было установлено, что это сочинение является памфлетом на реальное лицо, на купца Василия Анисимовича Чупятова, и первоначально распространялось в рукописи. Вскоре конкретный повод его возникновения был забыт, и оно стало перепечатываться как сатира на последователей старой веры вообще. Элемент сатиры на старообрядчество, впрочем, содержался и в авторском замысле памфлета, затрагивавшего общие религиозные вопросы. Это обстоятельство и позволило А. С. Пушкину назвать «Аввакумовского скитника» «феологическим памфлетом».[2]

«Аввакумовский скитник» четко распадается на две части. В первой — повествовательном вступлении — рассказывается, по какому поводу и кем была написана вторая часть произведения, имеющая форму «разговора в царстве мертвых» между душой купца-«скитника», Меркурием, Хароном и Миносом. Как явствует из текста, сочинителем «разговора» был молодой друг купца, которого тот считал своим преданным учеником в старой вере. Вместе с этим лицемерным молодым другом он разбирал сочинения разных духовных писателей, а тот набожно вздыхал при поучениях своего наставника, ругал согласно с ним табак и кофе, красные компании и проклинал масонов. Но однажды наставник застал его в гостях за чашкой кофе и с трубкой в зубах, после чего скончался от потрясения. Явившись по смерти своей ученику во сне, он приказал ему составить свое жизнеописание и поведать, что произошло с его душой на том свете.

Авторство «Аввакумовского скитника» приписывалось А. В. Олсуфьеву, Д. И. Фонвизину, М. Д. Чулкову, и наконец было признано, что его сочинил малоизвестный литератор середины XVIII века С. П. Колосов.

Основанием для такого вывода послужила рукописная копия «Жития господина N. N.», приобретенная в конце XIX века тульским коллекционером С. А. Петровским. Согласно описанию С. А. Петровского, копия была изготовлена в XVIII веке и имела записи прежних владельцев («другим почерком», как замечает он). Первая запись раскрывала адресат памфлета, его автора и дату создания: «Здесь описан Ржевы Володимеровой купец Василий Анисимов сын Чупятов, который после совершенно с ума сошел, покойным сенатским протоколистом Стефаном Прокофьевичем Колосовым в 1766 г.». Второе пояснение касалось собственно биографии Чупятова: «Свойства Ржевы Володимеровой купца Василия Анисимова сына Чупятова, жившего во второй половине осмнадцатого века, который наконец совершенно в уме помешался и из совершенного раскольника

[1] Светлов Л. Б. 1) М. Д. Чулков — автор памфлета «Жизнь некоторого мужа». — Русская литература, 1963, № 2, с. 188—197; 2) Русский антиклерикальный памфлет XVIII в. — Вопросы религии и атеизма, вып. 11. М., 1963, с. 373—394.

[2] Пушкин. Полн. собр. соч., т. XVI. М.—Л., 1949, с. 127—128; Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. V. СПб., 1880, с. 184.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

преобразился в щеголя, обрил себе бороду, отрастил волосы и ходил в немецком уже платье, обвешанный дурацкими знаками, воздыхая о Марокской принцессе, на которой возмечтал жениться, имев от роду около 60 лет».[3] В настоящее время след рукописи С. А. Петровского утерян и нельзя проверить, принадлежат ли эти две записи одному лицу.

Опираясь на указание второй записи о Чупятове — «живший во второй половине осмнадцатого века», — Л. Б. Светлов приходит к заключению, что она была сделана много десятилетий спустя после создания памфлета и является мистификацией, повторяющей автокомментарий Г. Р. Державина к оде «Вельможа», где имя Чупятова было впервые печатно упомянуто. Этот вывод не вполне корректен, поскольку тексты — державинский и надписи — не совпадают по содержанию. В «Объяснениях» Державина (опубликованы в 1834 году) Чупятов назван гжатским купцом, ничего не говорится о щегольстве Чупятова, да и сумасшествие его расценивается как мнимое, с целью прикрыть злостное банкротство.[4] Кроме того, ссылка на вторую половину XVIII столетия в этом контексте не имеет оттенка временной удаленности. Она могла быть сделана и человеком самого начала следующего столетия.

Дело в том, что свидетельство Державина лишь один из многих рассказов о Чупятове, представленных в устной (зафиксирована мемуарами XVIII века), рукописной и печатной традиции. Я. К. Грот в комментариях к «Полному собранию сочинений» Державина привел воспоминания о Чупятове С. А. Порошина, А. В. Храповицкого, С. Н. Глинки, П. А. Плавильщикова, В. В. Пассека.[5] Л. Н. Майков обнаружил и напечатал прошения Чупятова и его письма к невесте от 1765—1766 годов, расходившиеся в списках и сохранившиеся до нашего времени в рукописных сборниках.[6] Отклик на смерть Чупятова, умершего в 1792 году, появился в журнале «Дело от безделья» в виде стихотворения «Стихи на смерть мужа, веровавшего по-старому, а обманывавшего людей по-новому».[7] Собственно намек на то, что Чупятов из старообрядца преобразился в щеголя, содержится в самом тексте «Аввакумовского скитника», где Минос приказывает на него «французский кафтан надеть, волосы завязать в кошелек и напудрить, сколько можно поболее, шляпу загнуть по-французски и заткнуть в нее предолгую курительную трубку».[8]

Любой из перечисленных источников сведений о Чупятове, тем более их совокупность, содержит достаточно сведений, чтобы на их основании можно было составить вторую запись на списке С. А. Петровского. Поэтому появление в свет державинских «Объяснений» на свои сочинения не может служить объективным основанием для датировки этих помет.

Весьма приблизительными являются и другие аргументы Л. Б. Светлова против авторства С. П. Колосова. Доказательством не может служить и чье-либо умолчание о принадлежности ему «Аввакумовского скитника», будь то Н. И. Новиков (который, видимо, совсем не знал Колосова, умершего до 1773 года, и не включил его в «Опыт словаря русских писателей», вообще весьма неполный), или рецензент «Санктпетербургских ученых ведомостей», отметивший выход второго издания книги «Китайский мудрец». Она представляет перевод сочинения Роберта Додсли «Экономия человеческой жизни», очень популярного среди русских масонов, с приложением извлечений из сборника «Esprit, maximes et principes» Ж.-Ж. Руссо. Перевод был сделан Колосовым с языков подлинника, с английского и французского. В связи с тем, что Колосов владел английским языком, укажем на англицизм в тексте «Аввакумовского скитника» — «трехфутовая лошадка».[9] Масонский характер «Китайского мудреца», вопреки мнению Л. Б. Светлова, никак не противоречит содержанию «Аввакумовского скитника», где осмеиваются внешние проявления благочестия, приверженность старообрядцев не к существу религии, а к религиозной казуистике. Отметим также, что раскольник, против которого направлен памфлет, особенно яростно нападает на масонов, «отсылая их без допросу во ад».

Доказывая авторство М. Д. Чулкова, Л. Б. Светлов ссылается на четыре случая заимствования из текста «Аввакумовского скитника» в сочинениях, несомненно принадлежащих Чулкову, — «Пересмешнике» (ч. III, 1766), «И то, и се» (1769), «Парнасском щепетильнике» (1770), «Словаре русских суеверий» (1782). В этих заимствованиях обращает на себя внимание следующая особенность: все они представляют не точную цитату, а свободный пересказ одного и того же места из вступительной части «Аввакумовского скитника», а именно, описания бороды и платья раскольника, «кавалера алого козыря» (определенная правительственным

---

[3] Русский архив, 1893, № 2, с. 165.

[4] Державин Г. Р. Полн. собр. соч., т. III. Изд. 2-е, СПб., 1870, с. 516.

[5] Там же, т. I, с. 440.

[6] Майков Л. Н. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий. СПб., 1889, с. 356—368. Список в сборнике конца XVIII века. — ИРЛИ, ф. 265, оп. 3, № 9, л. 557 и далее; Л. Б. Светлов указывает подобный список в ГБЛ (собр. Н. С. Тихонравова, № 131).

[7] Дело от безделья, 1792, ч. IV, октябрь, с. 235—239.

[8] Жизнь некоторого мужа. . . СПб., 1780, с. 32—33.

[9] Там же, с. 8.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

указом одежда раскольников). В первых трех случаях это описание отнесено к некоему малорослому пожилому человеку, который воображает, что он нравится женщинам; кроме того, он еще и сочинитель песен, опер и комедий в стихах, надоедающий всем чтением своих глупых творений.[10] Можно, конечно, предположить, что эти приноровления метили в того же Чупятова. Однако ни в одном известии о Чупятове нет даже намека на его литературные занятия. Скорее всего, Чулков приноровил заимствования из «Аввакумовского скитника» к какому-то из своих литературных противников, действительно известному в литературной среде. Похожее описание старого волокиты по имени Горбатыниус встречается и в «Адской почте» Ф. А. Эмина, выходившей одновременно с «И то, и се».[11] Что же касается «Словаря русских суеверий» (переизданного в 1786 году под названием «Абевега русских суеверий»), где в статье «раскол» использован, также без ссылки, текст «Аввакумовского скитника», то он по своему типу и замыслу представляет полностью компилятивное издание. Сюда Чулков включил выборку сведений из самых разных источников, начиная с «Синопсиса».

Заимствования из чужих произведений — характерное явление в литературе XVIII века. Они встречаются и у крупных, и у второстепенных писателей. Чулков на этом фоне не только не был исключением, но и превосходил своих современников в умении приспособить заимствованное к собственным литературным целям. Главное его сочинение «Пересмешник» почти полностью представляет собой переработку ходячих мотивов и сюжетов. Пожалуй, наиболее показательным для этой особенности его литературной манеры является роман «Похождение Ахиллесово под именем Пирры» (1769). В основе романа лежит текст остававшейся к этому времени еще неизданной стихотворной трагедии В. К. Тредиаковского «Деидамия» (впервые 1775), которую Чулков пересказал прозой, даже не упомянув о своем источнике.

Л. Б. Светлов не оспаривает датировку «Аввакумовского скитника», данную в списке С. А. Петровского. Из содержания ясно, что поводом для памфлета послужил короткий отрезок биографии Чупятова между 1761 и 1766 годами, непосредственно после его разорения из-за пожара складов на Пеньковом буяне. Имеющиеся в тексте реалии не выходят за пределы 1766 года. На этом основании еще В. Б. Шкловский в книге «Чулков и Левшин» высказал убедительное предположение, что источником ограниченных реминисценций у Чулкова были рукописные списки «Аввакумовского скитника». Во-первых, это был основной способ распространения памфлетной литературы в XVIII веке, а во-вторых, именно в 1765—1766 годах весь Петербург развлекался чупятовским сватовством к племяннице Прокофия Демидова.

Не исключено, что памфлет и возник в кругу знакомых Чулкову мелких литераторов 1760-х годов. Любопытно, во всяком случае, объявление, помещенное в 43-й неделе журнала «И то, и се». Оно извещало всех занимающихся переводами, что некий переводчик завершил перевод «отборных мнений» Ж.-Ж. Руссо. В 1773 году, как мы видели, избранные «мысли» Руссо в переводе С. П. Колосова появились в приложении к «Китайскому мудрецу».

Довольно сильным аргументом против авторства Чулкова является пропуск «Аввакумовского скитника» в автобиблиографии, приложенной Чулковым к переизданию «Записок экономических. . .» в 1790 году. Этот подробнейший список включает опубликованные (как за подписью, так и анонимно), неопубликованные, незавершенные и вовсе утраченные автором к 1790 году сочинения. Стараясь как-то объяснить пропуск, Л. Б. Светлов предположил, что Чулков не упомянул об «Аввакумовском скитнике» из страха испортить свои отношения с Голиковыми и другими крупными купцами, среди которых были и старообрядцы. Но остается непонятным, почему Чулков не боялся приводить заимствованную из того же сочинения сатирическую характеристику раскольника в произведениях, которые были известны как заведомо ему принадлежащие? Кроме того, если в момент создания памфлета Чулков был придворным лакеем и нуждался в покровительстве, то к 1790 году он стал материально вполне независимым человеком, помещиком и надворным советником.

Таковы те внутренние противоречия, которые содержатся в аргументации Л. Б. Светлова. Разумеется, он прав, полагая, что свидетельство былого владельца списка «Аввакумовского скитника» может иметь лишь косвенное значение для его атрибуции. Однако существенно, что устная традиция, зафиксированная в этой записи, все же связывает памфлет не с Чулковым, а с другим лицом.

Это подтверждает также рукопись, поступившая в Древлехранилище Рукописного отдела Пушкинского Дома из коллекции В. В. Величко (№ 15). Рукопись является беловой копией повести «Анисимыч, или новый Дон-Кишот. . .», с незначительной позднейшей правкой поверх текста. Повесть, в свою очередь, представляет беллетризованное сатирическое жизнеописание В. А. Чупятова. Она датирована 1793 годом, что совпадает с датировкой бумаги. В самом начале второй части повести ее анонимный автор вводит

[10] Пересмешник, ч. III. М., 1884, с. 200—201; И то, и се, 1769, неделя 39, с. 3—4; Парнасский щепетильник, 1770, № 1, с. 30—31.

[11] Адская почта, 1769, ноябрь, с. 304; декабрь, с. 344.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

следующее рассуждение от лица своего героя, Анисимыча: «Жизнь мою старались описать знатные писатели. Но я их неправду уличу. Первый из них К. живого перевозил меня во ад и выдал книжку под именем „Жизнь некоторого мужа и перевоз куриозной его души чрез Стикс реку". Г‹осподин› Ч. описывал меня некстати, сказал сицевыми словами, что будто я был столб старинного правоверия и кавалер алого козыря, волосы стриг под гребенку, бороду имел осьмиугольную, а в усах было 48 волосов, кафтан носил коришневый, сшитый в скобку, на руке носил перстень, который в древности не уступал Кремлю городу и в котором будто бы заделана была искусно часть ногтя с указательного перста протопопа Абакума, и что я узнавал по шапкам, кому быть одесную и кому ошую».

Названный здесь господин Ч., несомненно, М. Д. Чулков, поскольку следующий далее текст представляет краткий пересказ, своеобразное резюме, соответствующего места из «Пересмешника»; впрочем, он весьма близок и к тексту, появившемуся в «Парнасском щепетильнике». Первый же из «знатных писателей», автор «Аввакумовского скитника», копиистом, перебелявшим авторский текст, был четко обозначен буквой К., и думаем, эта литера должна была обозначать С. П. Колосова. Лицо, которое позднее исправляло ошибки в рукописи переписчика, поставило горизонтальные черточки вверху и внизу буквы К. Из получившегося незавершенного начертания не вполне ясно, каков был смысл такой правки — превратить литеру К. в литеры Б, В или вообще убрать ее из текста. Несомненно только одно, что автор повести «Анисимыч», современник Чулкова и Чупятова, хорошо знавший рукописную и печатную литературу о Чупятове (это явствует из текста повести), не считал Чулкова автором «Аввакумовского скитника».

Все перечисленные факты заставляют более осторожно отнестись к вопросу об авторе «Аввакумовского скитника», чем это сделано в статьях Л. Б. Светлова, и не считать этот вопрос окончательно решенным.

В. П. Степанов

ЕЩЕ РАЗ О «ПУТЕШЕСТВИИ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ» А. Н. РАДИЩЕВА И «ДОРОЖНИКЕ» И. Ф. ГЛУШКОВА

В третьем номере журнала «Русская литература» за 1980 год была опубликована статья Л. В. Милова «„Дорожник" Ивана Глушкова. (К вопросу о прижизненном отклике на «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева)», в которой ее автор, сопоставляя тексты обоих произведений, стремится доказать, что «Дорожник» Глушкова был полемически направлен против «Путешествия» Радищева.

Прежде всего надо сказать, что еще в 1927 году Г. П. Любомиров осторожно высказал мысль о зависимости «Дорожника» Глушкова от «Путешествия» Радищева (о чем в статье Л. В. Милова не упомянуто).[1] Однако ни один из исследователей Радищева эту мысль не поддержал, так как представленный Любомировым материал не был достаточно убедительным.

Мы далеки от намерения утверждать, что Глушков не был знаком с творчеством Радищева и его знаменитой книгой. Вполне возможно, что Глушков читал «Путешествие из Петербурга в Москву». Однако тезис статьи Л. В. Милова о полемике между Глушковым и Радищевым вызывает возражения.

Логика рассуждений Л. В. Милова такова: раз описывается почтовый тракт Санкт-Петербург—Москва, то в работе Глушкова должны быть переклички с книгой Радищева. Вся статья посвящена выявлению сходных тем, сюжетов, описаний. Однако «государева дорога» описана частично или полностью по крайней мере в десяти произведениях — Г. Миллера, М. Щербатова, А. Храповицкого, Н. Озерецковского, У. Кокса, М. Гладковой, А. Пушкина, И. Дмитриева, П. Якушкина, и все они упоминали те же самые достопримечательности, что и Радищев и Глушков. Похожие мотивы, темы и сюжеты, общие композиционные приемы, характерные для путевых заметок вообще, автор пытается трактовать как полемические выпады Глушкова против Радищева.

Какие же конкретно аргументы приводит Л. В. Милов? Прежде всего автор пытается доказать, что посвящение «Дорожника» императрице Елизавете Алексеевне может считаться началом полемики с книгой Радищева. Но известно, что в России сложилась определенная система канонических правил, переступить которые авторы путевых записок не имели права. Так, обязательным было посвящение их какому-либо лицу: В. Н. Зиновьев посвятил свои путевые записки С. Р. Воронцову, русскому послу в Англии, И. И. Дмитриев — московскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну, А. Н. Радищев — А. М. Кутузову, и т. д. Вполне естественно, что «Дорожник», написанный

[1] Учен. зап. Саратовск. ун-та, 1927, т. 6, вып. 3, с. 317—330.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

специально к коронационным торжествам, был посвящен новой русской императрице. Нет никаких оснований считать посвящение «Дорожника» члену царской семьи началом полемики с книгой Радищева.

Продолжая развивать свой тезис, Л. В. Милов видит полемику в противопоставлении идиллико-сентиментальных картин сельского труда у Глушкова и подневольного крепостного труда у Радищева. Однако сентиментальные картины крестьянской жизни — традиционное явление в литературе путешествий того времени, и в этом смысле книга Глушкова ничем не выделяется из ряда себе подобных.

Самым важным доказательством Л. В. Милов считает описание Твери: «. . .наиболее значительным проявлением элементов своеобразной скрытой полемики является противопоставление главе „Тверь“ радищевского „Путешествия“ материалов одноименного очерка в „Дорожнике“» (с. 152), т. е. оды «Вольность» и «Письма некоторой девицы» из города Твери. Возразить на такой аргумент можно словами самого автора статьи: «„Философия“ письма „некоторой девицы“ несоизмерима с высочайшим политическим и социальным пафосом „Вольности“» (с. 153).

Совершенно справедливо Л. В. Милов указывает на источники, которыми пользовался Глушков при написании «Дорожника». Это «Краткое известие о начале Новагорода» Г. Ф. Миллера, «Путешествие ее императорского величества в Полуденный край России», «История Российская» В. Н. Татищева. Однако автор не сослался на работу Я. Л. Барскова, который еще в 1938 году установил, что эти же источники послужили Радищеву для написания «Путешествия из Петербурга в Москву».[2]

Для того чтобы выводы звучали убедительнее, Л. В. Милов проводит сравнительный анализ текстов, выстраивая их таким образом, чтобы они свидетельствовали о том, что Глушков заимствовал их из произведения Радищева. Однако сам автор вынужден признать, что фактических данных о тракте Санкт-Петербург—Москва у Радищева чрезвычайно мало: «В начале произведения есть описание состояния тракта и несколько попутных замечаний. Есть в „Путешествии“ заметки о Бронницком холме, несколько замечаний о Валдае. Вот, пожалуй, и все» (с. 156). В итоге Л. В. Милов приходит к тому, что «текст „Путешествия“ Екатерины II является исходным для обоих интересующих нас текстов» (с. 159). Если развить это положение дальше (чего автор статьи не делает), то закономерно придем к выводу: некоторые тематические и текстуальные совпадения у Радищева и Глушкова объясняются их общими источниками (работы Г. Миллера, А. Храповицкого, В. Татищева).

К высказанным возражениям по существу вопроса добавим несколько уточнений. Удивляет, что при безусловно основательном изучении «Дорожника» автор не знаком со всеми изданиями этого произведения: в статье упоминается о первом и втором издании (СПб., 1801; СПб., 1802), в то время как их было три. Третье издание вышло на немецком языке в 1805 году.[3] Перевод на немецкий язык сделал коллежский советник Вегенер, один из директоров Санктпетербургского банка. В предисловии к изданию на немецком языке сказано, что этот перевод сделан в январе 1804 года в Санкт-Петербурге со второго издания книги. Для немецких читателей издание было снабжено целым рядом подстрочных примечаний.

В конце статьи Л. В. Милов, найдя среди списков чиновников Мануфактур-коллегии имя Ивана Фомича Глушкова, робко задает вопрос (с. 160): «Не он ли автор Дорожника?» Однако утвердительный ответ на этот вопрос дан Н. М. Коншиным еще в 1848 году.[4] Чтобы рассеять все сомнения, обратимся к биографии этого забытого литератора, тем более что до сих пор никто подробно не писал о его жизни и литературном творчестве.

Родился Иван Фомич Глушков в середине июня 1775 года в купеческой семье, проживавшей в Твери.[5] 5 июля 1789 года поступил на службу «архитекторским учеником» к тверскому губернскому архитектору. 3 июля 1790 года перешел в Тверское главное народное училище учителем, а оттуда 29 июля 1793 года переведен в школу солдатских детей при Вышневолоцкой конторе водяной коммуникации. 24 октября того же года Глушков определен в ту же контору канцеляристом, где стал губернским регистратором (28 января 1794 года), и 28 июля 1798 года из Вышневолоцкой конторы «за болезнию» уволен. Он перебрался в Санкт-Петербург и через год, 7 сентября 1799 года, устроился чиновником Мануфактур-коллегии, где занимался вопросами снабжения армии сукном и каразеей. 31 декабря

[2] Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. I. М.—Л., 1938, с. 482, 484, 485.

[3] Taschenbuch auf der Reise von St. Petersburg bis Moskwa nebst einem anhange über die Landesüblichen Reisearten und ihren Kosenbelauf aus dem Russischen. Mit Kupfern. Leipzig und St. Petersburg, 1805. Сведения об этом издании имеются в «Систематическом обозрении литературы в России» А. Штроха и Ф. Аделунга (т. 2. СПб., 1811, с. 103, № 451) и в «Index locupletissimus librorum» (B. 5. Leipzig, 1835, S. 400).

[4] Московские ведомости, 1848, № 83, 10 июля, с. 728.

[5] Там же. Однако согласно формулярным спискам Глушков родился в 1774 году. См.: ЦГАДА, ф. 177 (Мануфактур-коллегия), оп. 14, № 382, л. 78 об.; № 968, лл. 7 об.—8.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

1799 года получил чин коллежского регистратора. Видимо, в это время он начал работу над «Дорожником», в котором ощущается хорошее знание экономики и путей сообщения в государстве. Видимо, он воспользовался, среди прочих источников, материалами Вышневолоцкой конторы и Мануфактур-коллегии. Во втором издании книги, вышедшем в 1802 году, Глушков писал: «Дорожник писан в 1801 году по случаю высочайшего путешествия в Москву».[6] Эта работа скромного чиновника не осталась незамеченной, и 26 февраля 1802 года последовал «высочайший указ»: «По высочайшему повелению И. Ф. Глушков пожалован в губернские секретари с определением на секретарскую вакансию», а 18 июня 1803 года за подписью министра внутренних дел Кочубея последовал новый указ о награждении Глушкова чином коллежского секретаря.[7] С 1804 по 1806 год, после закрытия Мануфактур-коллегии, Глушков, видимо, был причислен к герольдии. С 1806 по 1809 год Глушков служил столоначальником в хозяйственной экспедиции комиссариатского отделения Адмиралтейств-коллегии.[8] В это время он женился на Александре Ивановне Лапшиной. В семье Глушковых было четыре сына: Иван (1809), Василий (1814), Фома (1823), Александр (1826).[9] В 1810 году он перешел столоначальником второго отделения водяных сообщений Главного управления водяных и сухопутных сообщений, где прослужил до 1827 года и «происходил чинами» титулярного советника (1812), коллежского асессора (1815), надворного советника (1818), коллежского советника (1821).[10] В январе 1815 года Глушков получил потомственное дворянство, и его семья была внесена в родословную книгу Тверской губернии.[11] В 1827 году он получил место правителя канцелярии при генерал-губернаторе Белорусско-Витебской губернии Н. Н. Хованском, где 21 мая 1828 года получил чин статского советника.[12] За годы службы Глушков был удостоен орденов Владимира 4 и 3 степени (1810, 1821), Анны 2 класса с алмазами (1819), Станислава 2 степени (1834) и награжден именными значками за 25 и 30 лет беспорочной службы. После выхода в отставку в 1838 году Глушков поселился в родном городе Твери, где и скончался 12 июня 1848 года. Некролог о нем в газете «Московские ведомости» написал директор тверских училищ, хороший приятель А. А. Дельвига, Е. А. Баратынского, А. С. Пушкина писатель Николай Михайлович Коншин.

С. Н. Травников

[6] Глушков И. Ручной дорожник... СПб., 1802, с. 82.

[7] ЦГАДА, ф. 177, оп. 14, № 1526, лл. 3 об.—4; № 1530, лл. 2—6.

[8] Адрес-календарь на 1809 год, ч. I. СПб., 1809, с. 193.

[9] Чернявский М. П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии. Тверь, 1869, л. III, № 263; Приложение — Тверь, [187?], с. 42 (№ 263).

[10] Адрес-календарь на 1812 год, ч. I. СПб., 1812, с. 521; ...на 1815 год, ч. I. СПб., 1815, с. 619; ...на 1818 год, ч. I. СПб., 1818, с. 738; Список чинам, в гражданской службе состоящим, на 1823 год, ч. 2. СПб., 1823, с. 461.

[11] Чернявский М. П. Указ. соч., л. III, № 263.

[12] Список чинам, в гражданской службе состоящим, на 1835 год, ч. 2. СПб., 1835, с. 454.

«ГЕНЕРАЛ КУТУЗОВ» И УБИЙСТВО ПАВЛА I

Читатели документальной повести Н. Я. Эйдельмана «Апостол Сергей» встретились на ее страницах с одним любопытным эпизодом, доселе неизвестным ученым. Речь идет о событиях, которые разыгрались в стенах Михайловского замка накануне убийства Павла I.

«„На тот свет идтить — не котомки шить“, — пишет Н. Я. Эйдельман, — последняя историческая фраза Павла I (не считая препирательств с ворвавшимися убийцами). Царь закончил ею свою беседу с генералом Кутузовым вечером 11 марта 1801 года. Беседа была о смерти. Павел предчувствовал. Кутузов знал. После разговора царь отправился к себе — „на тот свет идтить“, а Кутузов пошел играть в карты с генералом Кологривовым, который сохранял верность императору. Ночью, посреди партии, Кутузов открыл часы, понял, что дело сделано, и объявил Кологривова арестованным».[1]

О каком Кутузове здесь идет речь? Откуда в книге появились эти сведения?

В основу своего повествования Н. Я. Эйдельман положил два отрывка из разных источников. Эпизод последней беседы Павла с Кутузовым заимствован из воспоминаний декабриста М. И. Муравьева-Апостола, а сцена ночного ареста Кологривова — из мемуаров полковника Саблукова. «Этого же числа, вечером, — рас-

[1] Эйдельман Натан. Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле. М., 1975, с. 46; изд. 2-е, М., 1980, с. 43—44.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

сказывал о событиях 11 марта 1801 года Матвей Муравьев-Апостол, — Павел долго беседовал с М. И. Кутузовым. Наконец, между ними разговор зашел о смерти. „На тот свет идтить — не котомки шить", — были прощальными словами Павла I Кутузову».[2] «Генерал Кологривов, который командовал гусарами и был верный и преданный слуга императора, — вспоминал Н. А. Саблуков, — в этот вечер был у себя дома и играл в вист с генерал-майором Кутузовым, который служил под его начальством. Ровно в половине первого той ночи Кутузов вынул свои часы и заявил Кологривову, что он арестован и что ему приказано наблюдать за ним».[3]

Читая эти два отрывка, соединенные воедино легким пером Н. Я. Эйдельмана, нетрудно заметить, что в первом названы инициалы собеседника Павла, в то время как во втором они перед фамилией карточного партнера генерала Кологривова отсутствуют, зато указаны его военный чин и место службы.

Обратимся к «Камер-фурьерскому журналу». Там записаны имена тех, кто 11 марта 1801 года ужинал в Михайловском замке, и среди девятнадцати царских сотрапезников значатся: «генерал-от-инфантерии Кутузов» и «фрейлина Кутузова 2-ая».[4]

Генерал-от-инфантерии Кутузов — это будущий герой Отечественной войны 1812 года, победитель Наполеона Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Фрейлина Кутузова 2-ая — его дочь. Вот как сам М. И. Кутузов рассказывал об этом ужине графу Ланжерону: «Мы ужинали вместе с императором; нас было 20 человек за столом; он был очень весел и много шутил с моей старшей дочерью, которая в качестве фрейлины присутствовала за ужином и сидела против императора. После ужина он говорил со мной... это было за полтора часа до его кончины».[5]

Герой саблуковских записок, служивший в Лейб-гвардии гусарском полку под начальством А. С. Кологривова и арестовавший своего начальника, был, как сказано выше, генерал-майором. Такой чин М. И. Кутузов имел еще при взятии Измаила и во время мартовских событий, будучи полным пехотным генералом, уж никак не мог находиться в подчинении шефа Лейб-гвардии гусарского полка генерал-лейтенанта А. С. Кологривова — инспектора кавалерии литовской и лифляндской инспекций.[6] Последний, по сравнению с М. И. Кутузовым — шефом Псковского мушкетерского полка, литовским военным губернатором, управляющим и по гражданской части, инспектором инфантерии литовской, украинской, брестской и днестровской инспекций, главнокомандующим армией под Владимиром на Волыни, — занимал более скромное служебное положение.[7]

Но кто же тогда арестовал генерала Кологривова за карточным столом?

Анонимный редактор сборника «Цареубийство 11 марта 1801 года», в котором опубликованы выдержки из саблуковских записок, полагал, что речь в них идет об Александре Петровиче Кутузове.[8] Однако он служил не в Лейб-гвардии гусарском, а в Измайловском полку; генерал-майором стал только в 1813 году, а во время убийства Павла I был всего лишь подпоручиком.[9]

В списке участников заговора, помещенном в записках М. А. Фонвизина, упоминается «Кавалергардского полка полковник Голенищев-Кутузов»,[10] который как будто ни по своему чину, ни по месту службы тоже не подходит в персонажи саблуковских записок. Однако среди офицеров, служивших в Кавалергардском полку во время мартовских событий, вообще нет полковника с такой фамилией, но есть генерал-майор П. В. Голенищев-Кутузов, 16 марта 1801 года назначенный полковым командиром.[11] Очевидно, именно его и имел в виду М. А. Фонвизин, когда по ошибке назвал полкового командира полковником. До своего назначения командиром Кавалергардского полка, генерал-майор Павел Васильевич Голенищев-Кутузов служил под начальством А. С. Кологривова в Лейб-гвардии гусарском полку. Именно он и арестовал своего шефа в ночь с 11 на 12 марта 1801 года.[12]

---

[2] Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания и письма. Пг., 1922, с. 31.

[3] Из записок Н. А. Саблукова. — В кн.: Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1908, с. 92—93.

[4] Камер-фурьерский церемониальный журнал. Январь—июнь 1801 г. СПб., 1901, с. 221.

[5] Из записок Ланжерона. — В кн.: Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 195.

[6] Манзей К. История Лейб-гвардии гусарского его величества полка. 1775—1857 гг., ч. III. СПб., 1859, с. 5, 13—14.

[7] М. И. Кутузов. Документы. т. I. М., 1950, с. 399, 495, 512, 518, 603, 607.

[8] Из записок Саблукова, с. 92.

[9] Русский биографический словарь. Кнапп — Кюхельбекер. СПб., 1903, с. 625; Зноско-Боровский 1-ый Н. А. История Лейб-гвардии Измайловского полка. 1730—1880. СПб., 1882, с. 272.

[10] Из записок Фонвизина. — В кн.: Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 202.

[11] Манзей К. Указ. соч., с. 35.

[12] Дополнительные примечания князя А. Б. Лобанова-Ростовского к записке Коцебу. — В кн.: Цареубийство 11 марта 1801 года, с. 419, 421; Добошанский А. П. В. Голенищев-Кутузов. — В кн.: Сборник биографий кавалергардов. 1801—1826. СПб., 1906, с. 11.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Итак, не станем гадать, куда пошел М. И. Кутузов после ужина у Павла и откуда П. В. Кутузов пришел к Кологривову играть в карты, но путь от Михайловского замка до кологривовского дома, соединивший героев этих двух эпизодов в одно лицо, мифический «генерал Кутузов» проделал лишь на страницах повести Н. Я. Эйдельмана.

М. М. Сафонов

КОГДА И ГДЕ РОДИЛСЯ НЕКРАСОВ?

Некрасов родился 28 ноября 1821 года. Эта дата не вызывает сомнения с тех пор, как обнаружилось метрическое свидетельство.[1] Вместе с метрикой был обнаружен формулярный список А. С. Некрасова, относящийся к декабрю 1821 года. Здесь также значился сын Николай.[2]

До публикации названных документов вопрос о дате рождения Некрасова не считался вполне уясненным.[3] И выписку из метрической книги, и формулярный список А. С. Некрасова подготовил к печати А. В. Попов — исследователь, склонявшийся к пересмотру установившейся датировки.[4]

Известны высказывания Некрасова о том, что годом его рождения на самом деле был 1822-й. Например, в письме к брату Федору от 26 февраля 1873 года Некрасов писал: «Эх! с ноября пошло мне на шестой десяток!» [5] Тот же год рождения назван и в нотариальном свидетельстве, составленном 5 января 1877 года за подписями А. Н. Ераков, А. М. Унковского, М. Е. Салтыкова и Е. А. Романовского — с указанием на то, что Некрасову к этому времени исполнилось 54 года.[6] Что же касается 1821 года, то в этом году родилась, как известно, сестра Некрасова Елизавета. Таковы были наблюдения А. В. Попова. Когда обнаружилось метрическое свидетельство с датой — 1821 год, А. В. Попов прекратил свои разыскания.

Подлинных метрических книг с записью о рождении не сохранилось. Но их заменяет метрическое свидетельство. Достоверность этого документа подтверждается упомянутым выше формулярным списком А. С. Некрасова от декабря 1821 года, где названы — без указания возраста — трое детей: Андрей, Елизавета и Николай.[7] В более позднем списке, датированном 8 мая 1823 года, записана еще одна дочь — Анна. Указан возраст: Андрею — 3 года, Елизавете — 2, Николаю — $1^1/_4$, Анне — 4 месяца.[8] В обоих списках сведения о Некрасове согласуются с данными метрики.

Некрасов отмечал свои годовщины по произвольной дате рождения. Он знал о дате, проставленной в метрике, но настаивал на своей. 1822 год рождения фигурирует и в первой некрасовской биографии 1869 года,[9] и в собственноручной некрасовской записи в альбоме М. И. Семевского в 1873 году,[10] и в биографии, составленной Н. В. Гербелем в том же году по указаниям Некрасова,[11] и в относящейся к этому времени автобиографической заметке Некрасова (XII, 11), и в биографии, написанной П. В. Быковым по сведениям, сообщенным Некрасовым.[12] И лишь незадолго до

---

[1] См.: Попов А. Когда и где родился Некрасов? — Лит. наследство, т. 49—50, 1946, с. 607, факсимиле (свидетельство о рождении и крещении Некрасова, выданное из Подольской духовной консистории 18 октября 1832 года).

[2] Там же, с. 609, факсимиле.

[3] Традиционная датировка — 1821 год — восходит к некрасовской биографии, помещенной в книге: Некрасов Н. А. Стихотворения. Посмертное издание, т. I. СПб., 1879, с. X. Ср.: Современный календарь на 1891 год, с. 28 (здесь указан 1822 год).

[4] См.: Попов А. В. В котором году родился Некрасов. — Документальный фонд музея-квартиры Н. А. Некрасова в Ленинграде (далее: МКН), ф. 2, п. 8, ед. хр. 60/3.

[5] См.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем, т. XI. М., 1952, с. 240. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

[6] См.: Ломан О. В. Зинаида Николаевна Некрасова — жена и друг поэта. — В кн.: Некрасовский сборник, VI. Л., 1978, с. 71—72.

[7] Лит. наследство, т. 49—50, с. 609.

[8] ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 107. Судя по приведенному формулярному списку, Е. А. Некрасова стала матерью трижды на протяжении неполных двух лет, дважды из них — в 1821 году. Возраст детей в этом списке указан по данным на март. Это явствует из сравнения со сведениями о Николае из формулярного списка от декабря 1821 года.

[9] Портретная галерея русских деятелей. 100 биографий, т. 2. СПб., 1869, с. 292.

[10] Знакомые. Альбом М. И. Семевского. . . СПб., 1888, с. 51.

[11] Гербель Н. В. Христоматия для всех. Русские поэты в биографиях и образцах. СПб., 1873, с. 536.

[12] Быков П. В. Н. А. Некрасов. — Живописное обозрение, 1876, № 13, с. 194.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

смерти Некрасов назвал 1821 год (XII, 14).[13]

По поводу даты, проставленной в метрике, Некрасов однажды заметил, что метрика — вообще документ ненадежный. В доказательство он привел случай с его братьями, из которых один записан родившимся в марте, другой — в июне того же года.[14]

В самом деле, бумаги Некрасовых изобилуют фактическими неточностями. Причиной была небрежность А. С. Некрасова, а иногда и его стремление в чем-то «улучшить» свою биографию. Так, в черновом формулярном списке от сентября 1850 года отец Некрасова — без каких-либо оснований — пишет о том, что его предки были столбовыми дворянами и имели фамильный герб.[15] Свою жену Елену Андреевну А. С. Некрасов называл Александрой,[16] и это неофициальное имя ввел в свидетельства о рождении детей.[17]

Указания на возраст детей отличались такой же небрежностью. Несовпадение в датах рождения зафиксировано в бумагах, относящихся к Елизавете (1821 и 1822),[18] Анне (1822 и 1825),[19] Константину (1824 и 1825),[20] Федору (1825 и 1827).[21] В этом ряду Некрасов — не исключение (1821 и 1822).[22] Нет расхождений лишь в указаниях на возраст первого сына — Андрея (1820).[23]

До середины 1838 года возраст Некрасова исчислялся устойчиво, по семейному календарю. Смежные даты рождения сестер не допускали перестановок. Перемена произошла, по-видимому, в том же году, по прибытии Некрасова в Петербург. Некрасову шел семнадцатый год. Его первое выступление в печати — в октябрьской книжке «Сына отечества» за 1838 год — было отмечено примечанием редактора (Н. А. Полевого): «Первый опыт юного, 16-тилетнего поэта».[24] Несколько позже Некрасов писал, что этим примечанием он «был очень доволен».[25] Свой первый день рождения в Петербурге семнадцатилетний Некрасов отметил, по-видимому, как «16-тилетний поэт». По крайней мере, когда ему исполнилось восемнадцать, его считали семнадцатилетним. Так, в рецензии на его стихи, вышедшие отдельной книгой в начале 1840 года, говорилось: «Кто в семнадцать лет *может* писать такие прекрасные стихи, тот в двадцать пять *должен* сделаться поэтом в высоком смысле этого слова».[26]

При поступлении в университет в 1839 году Некрасов представил метрическое свидетельство. Через два года, по отчислении из вольнослушателей, он забрал свои документы[27] и в дальнейшем к ним, вероятно, не обращался. Условная дата рождения укоренилась.

В 1873 году для получения наследства от родственницы понадобилось свидетельство о рождении. По этому поводу Некрасов писал брату Федору: «. . .я свое метрическое свидетельство затерял» (XI, 278). Была получена новая копия.[28] В ней

---

[13] См. также: Николай Алексеевич Некрасов. СПб., 1877. (Серия «Русская библиотека», вып. VII), с. III.

[14] Незнакомец [Суворин А. С.]. Заметка. — Новое время, 1878, 8 (20) янв., № 669. В метрической книге Петропавловской церкви села Аббакумцево за 1827 год действительно записано, что у помещика Некрасова 19 марта родился сын Федор, а 2 июня — Владимир (МКН, ф. 2, п. 2, ед. хр. 8 — выписка из указанной метрической книги). В записи о рождении Владимира А. С. Некрасов, вероятно, отождествлен с одним из двух его братьев, живших в том же селе.

[15] ГБЛ, ф. 195, ед. хр.М.5769.3.3.

[16] Уменьшительное от «Елены» в огласовке «Лёна» известно и как уменьшительное от «Александры». Отсюда, по-видимому, и произошла замена «Елены» на «Александру». Изначальное имя Некрасовой было «Юльенна» (см. формулярный список А. С. Закревского. — ЦГИА, ф. 1284, оп. 2, 1815 г., кн. 11, ед. хр. 312).

[17] См.: Евгеньев (Максимов) В. Николай Алексеевич Некрасов. М., 1914, с. 20 (свидетельство о крещении Елизаветы, выданное из церкви 36-го егерского полка 29 апреля 1823 года); ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 117 (свидетельство о крещении Андрея, выданное оттуда же и тогда же); ед. хр. 120 (свидетельство о рождении и крещении Константина, выданное из Подольской духовной консистории 18 октября 1832 года). В свидетельстве о рождении и крещении Некрасова (см. выше) слово «Александра» написано более темными чернилами поверх первоначального «Елена» или «Алена» (ГБЛ, ф. 195, ед. хр. М.5769.1.1).

[18] ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 208 (прошение в Ярославское дворянское депутатское собрание от 4 февраля 1832 года); ср.: Гос. архив Ярославской обл., ф. 79, оп. 6, ед. хр. 2843, л. 231 (формулярный список А. С. Некрасова, составленный не позднее июля 1838 года).

[19] Там же.

[20] Там же; ср. также ед. хр. 120.

[21] Там же.

[22] Там же; ср. также ед. хр. 107.

[23] Там же, ед. хр. 107, 208.

[24] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем в 15-ти т., т. I. Л., 1981, с. 645.

[25] Там же.

[26] Русский инвалид, 1840, 13 июня, № 130.

[27] См.: Рейсер С. Некрасов в Петербургском университете. — Лит. наследство, т. 49—50, с. 361 (расписка Некрасова в «Альбуме вольнослушающих университетские лекции. . .»).

[28] ГБЛ, ф. 195, ед. хр. 5769.1.2.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

значился подлинный год рождения. Но изменять своей давней привычке Некрасов не захотел — весомых причин для этого не было, и это было уже нелегко. Однако дата официального документа побуждала Некрасова к объяснениям. А. С. Суворин со слов Некрасова записал: «Насчет года рождения должно заметить следующее: 1821 год поставлен в метрике, но мать говорила, что он родился в 1822 году».[29]

Трудно представить себе, что мать не помнила года рождения сына. Произвольная дата рождения, надо полагать, появилась не по внушению матери — тем более что после отъезда из Ярославля Некрасов с матерью не встречался.

* * *

В начале 1870-х годов в одной из биографических справок Некрасов назвал своей родиной Ярославль.[30] Позднее, незадолго до смерти, он отказался от этой версии, указав на «какое-то» еврейское местечко в Винницком уезде Подольской губернии, где его отец «стоял тогда с своим полком» (XII, 14).

Разноречивые указания Некрасова расходятся с данными метрического свидетельства, выданного по «справке, чиненной с хранящимися в консисторском архиве. . . села Сениок метрическими книгами».

Биографы были поставлены перед выбором между сведениями, полученными из метрики, и указаниями Некрасова. Выбор был сделан в пользу позднейшей некрасовской версии о «каком-то» местечке. А. В. Попов отнесся с полным доверием к сказанному Некрасовым о квартирах полка. Было предпринято разыскание, в результате которого выяснилось, что 36-й егерский полк, где служил А. С. Некрасов, в 1821 году размещался в местечке Немиров. Отец Некрасова жил «при полку» — так сказано в его формулярном списке от декабря 1821 года. Значит, пришел к заключению А. В. Попов, Некрасов родился в том же местечке.

Этот вывод был принят безоговорочно. Всюду в справочниках указывается Немиров. Школа в Немирове носит имя Некрасова. На здании бывшей казармы, где ныне расположена эта школа, на мемориальной доске написано: «В этом доме. . . родился Некрасов».

Недавно в одной из статей о Некрасове было осторожно замечено, что вопрос о месте рождения нуждается в дополнительных разысканиях — с должным вниманием к метрическому свидетельству. Автор статьи не опровергает доводов, приведенных А. В. Поповым, но считает их «не окончательными», представляющими собой в общем выводе «лишь гипотезу, хотя и убедительную».[31]

Думается, что аргументы А. В. Попова недостаточны и для гипотезы. Сведение о том, что А. С. Некрасов жил «при полку», вовсе не означает, что при отце находилась семья. Если дети жили с отцом, это обычно записывалось особо: «Живут при нем» (см., например, упомянутый выше формулярный список А. С. Некрасова от 8 мая 1823 года). Данные метрического свидетельства были отвергнуты без исследования. А. В. Попов их счел изначально ошибочными, совмещающими разные сведения: «. . .по трафарету церковной записи соединили с рождением то, что относилось к моменту крещения. . .» [32] Достоверность церковной записи была оспорена лишь потому, что эта запись противоречила сообщению самого Некрасова.

Где же родился Некрасов? Вчитаемся в выписку из метрической книги. За полуграмотным написанием, сделанным в родительном падеже, скрывается обозначение села, называвшегося Спинькй.[33] В этом селе, как сказано в записи, отец Некрасова был «посессором» (т. е. помещиком-арендатором).[34] То же название встречается и в бумагах деда Некрасова — А. С. Закревского.[35] У А. С. Закревского было пять дочерей.[36] В прошении в Сенат, датированном 6 октября 1823 года, А. С. Закревский писал, что с весны 1818 года он взял в субаренду в Волынской губернии имение Голотки, и почти сразу же был вовлечен помещицей в тяжбу; затем, «чрез трехлетнее содержание оной» (тяжбы), т. е. в 1821 году, должен был, «непзбежно оставив Волынскую губернию, для пропитания с пятью дочерьми (т. е. и с замужней Еленой, — *Б. З.*) переселиться в Подольскую губернию». Прошение отправлено из «Балтского повета Подольской губернии селения Сеньки».[37]

Вернемся к свидетельству о рождении Некрасова. Дата рождения в нем указана верно. Сведения о месте рождения получают частичное подтверждение в данных, почерпнутых из прошения А. С. Зак-

---

[29] Новое время, 1878, 8 (20) янв., № 669.

[30] Гербель Н. В. Указ. соч., с. 536. См. также: XII, 11 (здесь — Ярославская губернпя).

[31] Подолинний А. Де народився Некрасов? — Україна, 1978, № 3, с. 15.

[32] Попов А. Когда и где родился Некрасов, с. 608.

[33] Подолинний А. Указ. соч., с. 15.

[34] Лит. наследство, т. 49—50, с. 608.

[35] ЦГИА, ф. 1405, оп. 21, ед. хр. 744 («Дело титулярного советника Закревского об арендном имении с помещиком Обремским»).

[36] Там же, ф. 1284, оп. 2, 1815 г., кн. 11, ед. хр. 312.

[37] Там же, ф. 1405, оп. 21, ед. хр. 744.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ревского.[38] У нас, таким образом, нет оснований считать метрическую запись недостоверной.

То, что Некрасов писал о себе, в противоречие с метрической записью, было, на наш взгляд, невольной контаминацией рассказов, слышанных от родителей. Полк отца действительно занимал квартиры в одном из еврейских местечек. Но это местечко — Немиров — входило в состав не Винницкого, как пишет Некрасов, а Брацлавского уезда (или повета — по старой терминологии). В Брацлаве родилась мать Некрасова. В Брацлавском городовом магистрате, которому был подчинен и Немиров,[39] ее отец был секретарем до 1812 года. В Винницком повете А. С. Закревский с 1812 по 1815 год исполнял обязанности земского комиссара.[40] В том же повете в местечке Юзвин его дочь обвенчалась с А. С. Некрасовым.[41]

Среди страниц некрасовской биографии самой неясной является первая. Здесь важно каждое упоминание, имеющее крупицу реальности. В тенденциозных и во многом недостоверных мемуарах Г. Квятковского о Некрасове заслуживает внимания рассказ о З. Порчинском. Последний будто бы утверждал, что помнил Некрасова, когда тот был совсем еще маленьким. «. . .Можно ли было предположить, что Некрасов, этот сынок Ануси Закржевской, этот трехлетний Колька, станет затем великим поэтом!» — воскликнул будто бы старый Порчинский, встретившись с мемуаристом в Одессе.[42] Мать Некрасова здесь ошибочно названа именем ее сестры и — нарочито — не по фамилии мужа. Однако с семейством Некрасовых и Закревских Порчинский все-таки мог быть знаком, ибо, как выяснилось, он был помещиком в селе Когутовка, а это последнее находилось недалеко от Синьков.[43] Некрасов назван в воспоминаниях трехлетним. Действительно, он прожил в Подолии до трех с половиной лет.[44]

Синьки не назывались местечком, так как село не имело базара.[45] Здесь, во владении графов Потоцких, проживали по преимуществу украинцы.

Священником в Синьках был И. В. Филипский, получивший этот приход в 1814 году.[46] Крещение Некрасова происходило 7 октября 1824 года в деревянном старинном храме,[47] «заодно» с крещением Константина.[48] Некрасову было почти три года.[49]

В одной из заметок Некрасов писал: «Я помню себя с трех лет» (XII, 20). О жизни в Подолии он забыл — и поэтому своей подлинной родиной он считал Ярославский край.

Б. Л. Бессонов

---

[38] Недостает лишь документальных данных о том, в каком именно месяце 1821 года состоялось переселение в Синьки. В начале осени Е. С. Некрасовой в Синьках еще не было: 6 сентября этого года в церкви 36-го егерского полка состоялось крещение ее дочери Елизаветы (Евгеньев (Максимов) В. Указ. соч., с. 20).

[39] ЦГИА, ф. 1347, оп. 64, ед. хр. 2154 («Дело Еврейского общества Брацлава, Тульчина и Немирова с титулярным советником Закревским»).

[40] Там же, ф. 1284, оп. 2, 1815 г., кн. 11, ед. хр. 312.

[41] См.: Оберучев К. К биографии Н. А. Некрасова. — Киевская старина, 1903, кн. 1, с. 180.

[42] Kwiatkowski Henryk. Przyczynek do wspomnien o Niekrasowe. — Kraj, 1883, 4 (16) grudnia, No 49.

[43] Гульдман В. К. Поместное владение в Подольской губернии. Каменец-Подольск, 1903, с. 596.

[44] Переезд Некрасовых в Грешнево состоялся не ранее лета 1825 года. См. рапорт Подольского губернского прокурора министру юстиции Д. И. Лобанову-Ростовскому от апреля 1825 года (ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 222).

[45] Село сохранило свое название. Ныне оно входит в состав Ульяновского района Кировоградской области (см. об этом в цитированной статье А. Подолинного).

[46] Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, вып. IX. Каменец-Подольск, 1901, с. 93—94.

[47] Там же.

[48] ЦГАЛИ, ф. 338, оп. 1, ед. хр. 120; ср.: Лит. наследство, т. 49—50, с. 607.

[49] Не только Некрасов, но и его брат и сестра, родившиеся в Подолии, были крещены не сразу после рождения: Елизавета не ранее чем на девятом месяце, Константин — на шестом.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

НЕОСУЩЕСТВЛЕННОЕ НАМЕРЕНИЕ Н. В. ГОГОЛЯ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

Н. В. Гоголь интересовался Симбирским краем. Этому способствовало знакомство с братьями Языковыми и Киреевскими, с А. С. Хомяковым и П. В. Анненковым. Симбирские корреспонденты Гоголя сообщали ценные этнографические, фольклорные и статистические материалы, которые писатель использовал в своих произведениях. Он заставил в «Мертвых душах» заехать Чичикова в Симбирскую губернию к Беспечнову, использовал симбирский материал при обрисовке образов Абакума Фырова, Тентетникова и Селифана.[1]

Гоголь дважды собирался побывать в Симбирске. Первый раз — в начале 1841 года. Поэт Н. М. Языков сообщал сестре: «Гоголь обещался приехать пожить в Симбирске, чтобы получить истинное понятие о странах приволжских».[2] Однако это обещание осталось невыполненным.

Второй раз намерение побывать в Симбирске писатель имел весной 1850 года. Жена А. М. Языкова, проживающего в Симбирске брата поэта, получила из Москвы письмо, в котором говорилось: «Гоголь берет подорожную в Симбирск и надеется на будущей неделе быть у Вас в пятницу. . . Гоголь едет к Вам с большим удовольствием и везет вторую часть „Мертвых душ“».[3] Но и на этот раз по каким-то причинам поездка не состоялась — о ней нет воспоминаний ни самого Гоголя, ни Анненкова, ни каких-либо третьих лиц, современников, близко знавших обоих писателей, да и современников вообще.

Несмотря на это, ульяновские краеведы продолжают утверждать, что Н. В. Гоголь приезжал в село Чириково Симбирской губернии.[4] Откуда же берет начало эта легенда?

Симбирский краевед Д. И. Сапожников в 1899 году писал в журнале «Русский архив»: «Усадьба Анненкова окружена большим тенистым запущенным садом, где находится двухэтажная беседка, в которой, по местному преданию, жил Гоголь, когда он гостил в Чирикове у Анненкова. . . Марьин бугор окружен дубами, посаженными Анненковым и Гоголем, который очень любил эту рощу, в предсмертном письме к Анненкову напоминал о ней и просил ее не рубить».[5]

Последнее, или «предсмертное», письмо написано Н. В. Гоголем матери около 10 февраля 1852 года и в нем не содержится какого-либо обращения к Анненкову.[6] У П. В. Анненкова есть упоминание о том, что Н. В. Гоголь взял с него «честное слово беречь рощи и леса в деревне».[7] Однако Павел Васильевич не объясняет в связи с чем его знакомый призвал его заботиться о лесах. Может быть, Анненков рассказывал ему о своем имении? Да и трудно сказать даже о какой деревне идет речь. Во всяком случае, выдержка из анненковских мемуаров не является еще доказательством пребывания Н. В. Гоголя в Чирикове.

В наше время первым о посещении Н. В. Гоголем Чирикова упомянул ульяновский литературовед К. А. Селиванов.[8] Причем, он не указывал год «приезда» автора «Мертвых душ» в Симбирскую губернию. До сих пор продолжают выходить книги, в которых говорится о пребывании Н. В. Гоголя в имении П. В. Анненкова. Не приводя каких-либо доказательств, их авторы датируют это событие 1850-м или 1851-м годом.[9] Кстати, ни один из них не указывает «точную дату»:

---

[1] Бейсов П. С. Гоголь в Симбирске. — Ульяновский комсомолец, 1952, 5 марта.

[2] Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя, т. IV. М., 1898, с. 42.

[3] Иващенко А. Новый документ о Гоголе. — Лит. газ., 1939, № 38.

[4] Ныне Цильнинский район Ульяновской области.

[5] Сапожников Д. И. Вновь найденные рукописи А. С. Пушкина. — Русский архив, 1899, кн. 1, № 2, с. 337.

[6] Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. XIV. Л., 1952, с. 30.

[7] Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 545.

[8] Селиванов К. А. Замечательные места Ульяновской области. Ульяновск, 1946, с. 55.

[9] К первой группе изданий относятся: Селиванов К. А. Литературные места Ульяновской области. Саратов, 1969, с. 130; Ермолаев А. Д. Ты идешь по родному краю. Саратов, 1968, с. 235; Бейсов П. С. Гоголь в Симбирске. — Ульяновский комсомолец, 1952, 5 марта. Ко второй группе изданий относятся: Гриценко Н. П. Очерки по истории города Симбирска-Ульяновска и Ульяновской обл., ч. 1 (1648—1861). Ульяновск, 1948, с. 235; Кузминский Н. А. Край наш родной. Саратов, 1982, с. 93; Блохинцев А. Н. И жизни след оставили своей. Саратов, 1980, с. 136.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

месяц и день, ограничиваясь упоминанием времени года.

Восемьдесят лет живет легенда о посещении Н. В. Гоголем села Чирикова, и, чтобы она не обрастала дальнейшими «подробностями», нужно поставить точку. Хотелось бы надеяться, что авторы публикаций будут более старательно относиться к своим обязанностям. История русской литературы — наука, и строится она на непреложных фактах и их доказательствах, а не на «местных преданиях» или легендах, какими бы заманчивыми они ни были.

А. М. Авдонин

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Л. И. Емельянов

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФАКТ И ЕГО КОНТЕКСТ

(О ВЫПУСКАХ СЕРИИ «КОНТЕКСТ»)

«Контекст», литературно-теоретический ежегодник Института мировой литературы АН СССР им. А. М. Горького, начал выходить девять лет назад. Издание сразу же стало весьма популярным, приобрело устойчивый научный авторитет. В восьми его выпусках, вышедших за это время, было напечатано большое количество исследований по самым разным вопросам литературной науки, осуществлен целый ряд публикаций, имеющих важное методологическое и историко-литературное значение. Многие из его материалов получили в свое время широкий научно-общественный резонанс, вызвав ряд оживленных и несомненно плодотворных творческих дискуссий, и это также в немалой степени свидетельствует о высокой эффективности издания, о том, что в сфере его интересов пересекаются важнейшие линии развития нашего литературоведения.

«Контекст» — издание в некотором роде необычное: соединяя в себе черты различных академических изданий, оно не примыкает ни к одному из них.

Это не серия так называемых тематических сборников, в основе которых обычно лежит какая-нибудь одна проблема. Проблематика каждого выпуска «Контекста», как правило, весьма разнообразна, чтобы не сказать пестра; в этом смысле он ближе к изданиям типа «Материалы и исследования».

Но, с другой стороны, это и не «Материалы и исследования», поскольку нельзя не заметить, что, при всем своем проблемно-тематическом разнообразии, каждый выпуск, как и все издание в целом, имеет в виду (по крайней мере в теории) некую единую цель, которая, собственно, определяет и выбор проблем, и конкретные аспекты их изучения. Цель эта весьма отчетливо сформулирована в предисловии к первому выпуску. «Мы нуждаемся, — пишут авторы предисловия, — в оперативных откликах-исследованиях, квалифицированных ответах на наиболее общие вопросы теоретического характера. Эти вопросы возникают в ходе самого широкого взаимодействия литературы и жизни, в контексте социальной, исторической действительности и современной идеологической борьбы, откуда и название нашего выпуска: „Контекст“».[1] «. . .Это ответы в пути, — поясняют они свою мысль несколько дальше, — на вопросы движущиеся, меняющиеся, ориентация в текущих теоретических делах. Выбор и оценки диктуются тем, что представляется в данный момент наиболее существенным».[2]

В центр внимания, таким образом, выдвигаются не вообще и не просто наиболее важные теоретические проблемы, а прежде всего такие, которые имеют особое значение именно сегодня, в данный момент, в сегодняшней, сугубо конкретной научной ситуации. Эта программа предусматривает не только основную направленность исследований, но и самый их жанр. «Целью авторов было наметить направление решений, предложить идею, кратко сформулировать по отношению к новым или неоправданно остававшимся в тени вопросам точку зрения марксистско-ленинской эстетики».[3]

Программа, как видим, весьма широкая и ответственная. Однако, признавая ее неоспоримые достоинства, нельзя все же не обратить внимания на одну ее довольно-таки настораживающую особенность, а именно на тот очевидный факт, что серьезнейшие и ответственнейшие задачи, выдвигаемые перед изданием, находятся в определенном несоответствии с предлагаемыми средствами их реализации.

Взять, например, такую задачу, как «ориентация в текущих теоретических делах». Задача сложная. «Текущие теоретические дела» — это, собственно, сегодняшний день науки, т. е. все то, что составляет предмет ее особого интереса в данный момент и требует сосредоточенного, углубленного изучения. Это могут быть совершенно новые вопросы, связанные с какими-то новыми этапами в развитии науки; это могут быть вопросы, по выражению авторов предисло-

---

[1] Контекст-1972. Литературно-теоретические исследования. М., 1973, с. 4.

[2] Там же, с. 10.

[3] Там же.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

вия, «неоправданно остававшиеся в тени»; наконец, это могут быть многие «старые» проблемы, возвращение к которым очень часто диктуется прямой научной необходимостью. Словом, «текущие дела» — это лишь сегодняшняя конкретизация дел общих, вопросов многообразных и сложных. А потому и «ориентация» в этих делах вряд ли может быть чем-нибудь иным, кроме как глубоким и всесторонним изучением, исследованием этих самых вопросов. Что же касается всякого рода «ответов в пути», «откликов-исследований», «кратких формулировок» и т. п., то они могут лишь популяризировать результаты исследований, но целям «ориентации» служат лишь в очень незначительной степени.

Следует однако подчеркнуть, что реальная практика «Контекста» оказывается намного шире его сформулированных установок. Подавляющее большинство статей, опубликованных на его страницах, — это именно исследования. Конкретные, обстоятельные, исходящие не только из трезвого учета реального состояния той или иной проблемы, но и из учета того обширного философско-методологического «контекста», в котором она объективно существует, но который выявить в полном объеме бывает подчас далеко не просто.

Наглядный тому пример — обсуждение на страницах «Контекста» проблем структурализма и семиотики. Проблемы эти, как известно, возникли в нашем литературоведении в конце 60-х годов и сразу же приобрели весьма острый характер. Ибо довольно скоро обнаружилось, что дело не только и даже не столько в структурализме и семиотике самих по себе, сколько в тех общих философско-методологических принципах, которые лежат в их основе и которые в практике структурно-семиотических исследований призваны активно и, что называется, по всему фронту противостоять принципам «традиционного» литературоведения. Стало ясно, что структурализм и семиотика выступают не просто как некие специальные способы анализа, направленные на уяснение некоторых специфических сторон литературы, а как своего рода универсальные методы, которые к этим специфическим сторонам сводят самую специфику литературы. «Литературоведение должно стать наукой!» — заявляли структуралисты, стремясь утвердить ту мысль, что подлинной наукой литературоведение может стать только в том случае, если откажется от своих традиционных методов (якобы субъективных и описательных по самой своей природе) и возьмет на вооружение методы точных наук. По существу это была целая система, охватывающая так или иначе весь комплекс вопросов, связанных с изучением специфики художественного творчества, а потому и критика ее тоже должна была принять комплексный характер.

Такою и была критика структурализма в «Контексте». В статьях М. Б. Храпченко, Ю. Я. Барабаша, Н. И. Балашова, Н. К. Гея со всею убедительностью было доказано, что методологические принципы структурализма в самом своем существе связаны с совершенно определенным подходом к коренным проблемам художественного творчества, эстетики и философии, что они опираются в истории науки на вполне определенные традиции и имеют достаточно четко выраженную идеологическую направленность. В контексте этих коренных проблем, в свете их марксистско-ленинского понимания и были рассмотрены «претензии структурализма на общее изменение научного климата в литературоведении, на философскую значимость и универсальность».[4]

Обобщая методологический опыт структурно-семиотических исследований, М. Б. Храпченко видит одну из наиболее характерных их особенностей в том, что в их практике «реальные свойства литературы и искусства в значительной мере трансформируются. Представления об их главенствующих чертах складываются в таких случаях не на основе обобщения живых процессов развития художественной культуры, а в соответствии с особенностями и возможностями новых способов исследования; вольно или невольно происходит своеобразное приспособление объекта изучения к исследовательскому методу».[5]

Формы такого «приспособления» как раз и анализируются в статьях названных авторов. Формы эти весьма разнообразны, но условие, которое делает каждую из них возможной, в сущности, одно — игнорирование действительной специфики литературы. Оно проявляется и в подмене системного изучения структурным (см. статью М. Б. Храпченко «Размышления о системном анализе литературы» — «Контекст-1975»), и в отождествлении художественного образа со знаком (Н. К. Гей. «Знак и образ» — «Контекст-1973»; М. Б. Храпченко. «Природа эстетического знака» — «Контекст-1976»), и в попытках свести специфику художественного процесса к научному моделированию (М. Б. Храпченко. «Литература и моделирование действительности» — «Контекст-1973»).

Исключительно важными представляются наблюдения и выводы Ю. Я. Барабаша и Н. И. Балашова, касающиеся генезиса и эволюции структурализма. Возникнув как своего рода синтез различных символистско-формалистических направлений первой четверти XX века,[6]

[4] Балашов Н. И. К критике новейших тенденций в литературоведческом структурализме. — В кн.: Контекст-1973. М., 1974, с. 138.

[5] Храпченко М. Б. Литература и моделирование действительности. — Там же, с. 11—12.

[6] Барабаш Ю. Я. Алгебра и гармония. — В кн.: Контекст-1972.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

структурализм, как показывают исследователи, не только не преодолел философско-методологической ограниченности этих направлений но, напротив, в ходе своей дальнейшей эволюции довел содержавшиеся в них противоречия до крайних степеней. С особой наглядностью этот процесс раскрыт на примере так называемого «литературоведческого неоструктурализма». Характеризуя одну из двух основных тенденций литературоведческого неоструктурализма, а именно философскую, Н. И. Балашов пишет: «Если в идеалистической философии начала века развитие науки трактовалось как процесс, обнаруживший исчезновение материи, вещей в себе, то на рубеже 70-х годов в *новейшем* структурализме его развитие трактуется как процесс, отделивший науку в ее абстрактном выражении — эпистему — не только от вещей в себе, но и от явлений, от феноменов. Знание будто бы имеет чисто формально-логическую ценность и не ведет к постижению чего-либо, кроме себя самого, ибо исследование „означающего" в знаке не приводит к постижению „означаемого", к содержанию, но каждое „означаемое" в одном знаке выступает лишь как „означающее" в следующем: и так до бесконечности — без выхода от знаков не только к сущностям, но и к явлениям. То есть самодовлеющая структурная эпистема не только дематериализуется, но и „дефеноменологизируется"».[7] Нетрудно заметить, что эта философская тенденция новейшего структурализма представляет собою одновременно и его идеологический «паспорт», ибо, как совершенно справедливо замечает Н. И. Балашов, «отделение знака от действительности включает в себя и отделение знака от человека, т. е. ведет к дегуманизации литературоведческого структурализма».[8] Дегуманизация же науки, как известно, есть одна из форм отрицания ее партийности.

Одна из характернейших примет нашего времени — интенсивное взаимодействие наук. Триумфальные успехи научно-технической революции, во многом подготовленные именно этим взаимодействием, подняли идею взаимодействия на методологический уровень, и нет ничего удивительного в том, что и литературоведение стало искать методологических союзов с гораздо более широким кругом наук, чем это было прежде. Результатом таких поисков были не только попытки применить в изучении литературных явлений методы некоторых естественных наук, но и резкое расширение самого проблемно-тематического диапазона исследований. Проблемы системного и структурно-семиотического анализа, проблемы интерпретации и психологии художественного творчества в свете данных современной биологии и психологии, вопросы социологии искусства и общей культурологии — таков далеко не полный перечень проблем, которые в условиях методологически санкционированного взаимодействия наук приобрели и особое значение, и особое звучание. К тому же, обсуждение всех этих проблем в сильнейшей степени осложнялось тем обстоятельством, что в связи едва ли не с каждой проблемой литературоведению постоянно приходилось обращаться к собственной своей истории, так сказать, заново поднимать свои архивы. Ибо многое из того «нового», что предстояло ему освоить в новых методологических условиях, нередко оказывалось для него лишь «хорошо забытым старым» (например, рекомендации современной культурологии в их соотнесенности с исходными принципами так называемой культурно-исторической школы, современная теория психологии художественного творчества в свете известных эстетико-психологических штудий А. А. Потебни и т. п.).

Следуя своей принципиальной установке быть в курсе всех «текущих теоретических дел», «Контекст» весьма широко отразил и эту сторону современной научной жизни. Среди материалов этой группы нужно особо выделить статьи: «Научно-техническая революция и искусство» А. Г. Егорова («Контекст-1973»), «Внутренние свойства и функции литературных произведений» М. Б. Храпченко («Контекст 1974»), «Феноменология литературы Р. Ингардена» К. М. Долгова («Контекст-1972»), «Проблемы раннего русского формализма» А. С. Мясникова («Контекст-1974»), «Литература—природа—культура» Я. Е. Эльсберга («Контекст-1972»), «Материалы для построения современной теории художественного стиля» А. Ф. Лосева («Контекст-1975»), «Конструктивные принципы древнерусского календаря» А. Н. Зелинского («Контекст-1978»), «Литературоведение и филология в научном наследии А. А. Потебни» О. П. Преснякова («Контекст-1977»). Сюда же я отнес бы и статью М. М. Бахтина «К методологии литературоведения» («Контекст-1974»). Хотя основные ее положения высказаны были автором более сорока лет назад, «оркестрованы» они, однако, в статье таким образом, что методологическая их актуальность становится более чем очевидной. Мысль о «диалогическом» характере художественного познания, о соотношении понятий «произведение» и «текст» и отсюда о гносеологической природе интерпретации, об образе «автора» и о природе художественного символа — все это актуальнейшие проблемы сегодняшнего литературоведения, и хотя, вероятно, далеко не все решения, предложенные выдающимся советским ученым, могут быть приняты современной наукой, общая ме-

[7] Балашов Н. И. Указ. соч., с. 139—140.

[8] Балашов Н. И. Указ. соч., с. 162.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

тодологическая их перспективность не подлежит сомнению.

В этой связи необходимо коснуться еще одного момента. Говоря в названной статье о «границах текста и контекста», М. М. Бахтин подчеркивает, что «каждое слово (каждый знак) текста выводит за его пределы. Недопустимо замыкание анализа (познания и понимания) в один данный текст. Всякое понимание есть соотнесение данного текста с другими текстами и переосмысление в новом контексте (в моем, в современном, в будущем)».[9]

Эта, быть может, несколько эссеистски выраженная мысль нашла отражение в одной из программных задач, сформулированных в уже цитировавшемся мною предисловии к первому выпуску «Контекста». «. . .Понятие *контекст*, — отмечают авторы предисловия, — имеет некоторое отношение и к решению ключевых проблем теории в том их виде, как они представлены марксистско-ленинской наукой о литературе. Дело в том, что при всем различии своих школ современное буржуазное литературоведение на Западе тяготеет к понятию „текст", стремится вычленить его, обособить, отделить и представить как единственную реальность, достойную изучения».[10]

Задача активного противостояния этой методологии и выдвигается перед «Контекстом» как одна из главных: «Марксистско-ленинская эстетика видит в каждом произведении не абстрактно положенный перед нею текст и не порыв потусторонних „экзистенций", а всю совокупность выраженных в нем реальных отношений, получающих всякий раз единственное неповторимое лицо и склад. Раскрыть эту художественную идею, понять ее значение и место в составе других духовных и материальных интересов общества и народа — остается постоянной целью нашей теории».[11]

С понятием «контекст», таким образом, связывается прежде всего стремление следовать определенному методологическому принципу, предусматривающему анализ литературных явлений в системе их многообразнейших связей с конкретной исторической действительностью. Проще говоря, «контекст» в данном случае — это все то, что мы включаем в понятие «историзм». Исследовать литературное произведение в конкретных условиях его возникновения и функционирования, выявить причины и следствия его включения в историко-литературный процесс — это и значит исследовать его в контексте. В контексте места и времени. В контексте социального и культурно-исторического развития. Чем полнее и конкретнее будут изучены условия, в которых протекает литературное творчество, тем нагляднее раскроется его органическая связь с реальной действительностью, его живая наполненность конкретным историческим содержанием.

В соответствии с этой задачей весьма значительное место в «Контексте» отведено исследованиям конкретно-аналитического и историко-литературного характера. Это статьи В. В. Кожинова, С. Г. Бочарова, Я. Е. Эльсберга, И. Ф. Бэлзы, А. В. Чичерина, О. П. Сороки, Н. Ф. Ржевской, В. И. Сахарова и др.

К числу наиболее заметных творческих удач следует, на мой взгляд, отнести статью С. Г. Бочарова «О смысле „Гробовщика" (К проблеме интерпретации произведения)». Особая методологическая ценность ее видится мне в том, что исследователю удается достичь редкого по своей органичности единства в анализе формальных и содержательных сторон знаменитого пушкинского шедевра, продемонстрировать образец такого анализа, при котором «смысл» произведения становится как бы показателем самой его формы, а форма воспроизводит «графику» смысла («Контекст-1973»).

Значительный методологический интерес представляют статьи В. В. Кожинова, в особенности же две — «О принципах построения истории литературы (методологические заметки)» («Контекст-1972») и «Типология и своеобразие (Еще раз о построении истории русской литературы)» («Контекст-1975»).

В обеих статьях, как о том говорят и сами их названия, ставится первостепенной важности и, надо сказать, первостепенной же и трудности вопрос о принципах построения истории литературы, о тех критериях, из которых мы должны исходить, определяя характерные черты направлений, возникающих, сосуществующих или последовательно сменяющих друг друга в истории литературы и прежде всего — русской литературы XVIII—XIX веков. Вопрос этот, как известно, неоднократно обсуждался, в том числе на страницах «Русской литературы»,[12] в ходе обсуждения было высказано немало серьезных, хотя подчас и прямо противоположных суждений, и поскольку едва ли не во всех случаях мысли, изложенные В. В. Кожиновым в названных статьях, явились своего рода отправным пунктом, то и я позволю себе здесь остановиться на них по возможности подробнее.

Первую из указанных статей В. В. Кожинов начинает с напоминания, что наиболее распространенная в нашем лите-

[9] Контекст-1974, М., 1975, с. 206—207.

[10] Контекст-1972, с. 4.

[11] Там же, с. 5.

[12] См., например: Фридлендер Г. М. Русский реализм (некоторые спорные проблемы и очередные задачи изучения). — Русская литература, 1973, № 3; Макогоненко Г. П. Проблемы Возрождения и русская литература. — Там же, № 4.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ратуроведении схема развития русской литературы выработана «в основном на материале французской литературы», и совершенно справедливо отмечает, что с применением этой схемы к конкретным фактам русского историко-литературного процесса связан целый ряд серьезнейших противоречий. Наиболее из них парадоксальное — тот очевидный факт, что ни один из крупных русских писателей XVIII века (это признают все) не укладывается в рамки направления, к которому волею упомянутой схемы он отнесен. «Отнеся того или иного русского писателя к классицизму, либо просветительскому реализму, либо романтизму, — пишет В. В. Кожинов, — исследователи все же видят его подлинное стремление преодолеть „ограниченность" этих направлений. В результате, — вполне резонно замечает он, — складывается несколько странная картина развития литературы. Русские писатели обращаются к классицизму или романтизму как бы лишь за тем, чтобы нарушать их принципы и переплетать их с принципами иных направлений».[13]

Преодоление этих противоречий В. В. Кожинов совершенно справедливо связывает с необходимостью отказа от традиционной схемы, с необходимостью возможно более полного учета реальной специфики русского историко-литературного процесса. Эту цель он и ставит, предлагая свой взгляд на развитие русской литературы XVIII—XIX веков, свою «модель» историко-литературного процесса.

Центральным пунктом концепции В. В. Кожинова, своего рода ее «гвоздем», является мысль о том, что «время от Феофана Прокоповича до Пушкина — это время перехода от средневековой к новой литературе».[14] Мысль, сама по себе достаточно известная и особых возражений не вызывающая. Однако в интерпретации В. В. Кожинова она, оказывается, заключает в себе целый ряд значений и смыслов, которые заставляют отнестись к ней уже с определенной настороженностью.

Прежде всего, — и к этому-то как раз и стремится подвести В. В. Кожинов — отсюда должно следовать, что названный период был в истории русской литературы не просто «переходным» периодом, а собственно тем, что в истории английской, французской и испанской литератур получило вполне определенное название — Ренессанс. Это и есть главный тезис В. В. Кожинова: конец переходного периода — первая треть XIX века — должен рассматриваться именно как «русский Ренессанс», поскольку и со стороны исторических условий, в которых развивалась тогда русская литература, и со стороны ее социально-эстетических задач она, как считает В. В. Кожинов, тождественна англо-романской литературе эпохи Возрождения.

С известными оговорками (хотя в них-то, быть может, как раз и заключена суть дела) можно, по-видимому, принять и эту мысль. В самом деле, наверно в истории любой литературы есть такие периоды, которые являются периодами относительного расцвета, эпохами особо значительного художественного прогресса. Однако В. В. Кожинов дорожит более всего не этой стороной своей гипотезы, а главным образом тем, что постулируемый им факт существования «русского Ренессанса» дает ему легкую возможность сконструировать совершенно особую, если можно так выразиться, «ренессансоцентрическую» систему истории новой русской литературы. Суть ее в том, что «нормальный» (т. е. западноевропейский) тип литературного процесса предусматривает совершенно определенную последовательность смены различных литературно-эстетических направлений. Он, этот тип, свидетельствует, в частности, что «в любой западноевропейской литературе классицизму и последующим направлениям предшествует эпоха Возрождения, создающая все основные предпосылки дальнейшего развития».[15] А поскольку, по мысли В. В. Кожинова, «русский Ренессанс» — это первая треть XIX столетия, то и русский классицизм, и просветительство, и сентиментализм, и романтизм «обязаны» были возникнуть никак не раньше второй трети этого века.

Можно было бы сразу же заметить, что, отвергая традиционную схему развития русской литературы на том основании, что она выработана на материале французской литературы, В. В. Кожинов оказывается и сам не чужд ее влияния — ведь его утверждение относительно того, что русский классицизм, сентиментализм и т. п. могли возникнуть лишь *после* «русского Ренессанса» (т. е. после Пушкина и Гоголя), тоже исходит из западноевропейской «нормы». Однако все же посмотрим, нет ли здесь каких-нибудь особых оснований к тому, чтобы сделать столь важное исключение.

Обосновывая свою историко-литературную «модель», В. В. Кожинов прежде всего стремится доказать, что в период, предшествующий «Ренессансу», в русской литературе не было ни собственно классицизма, ни просветительства, ни сентиментализма, ни романтизма, а была лишь более или менее внешняя их имитация, поскольку, в силу неорганичности их для русской литературы, произведения, создававшиеся в их духе, принципиальным образом отличались от своих западных оригиналов. И, надо отдать ему должное, эту часть своей задачи он решает достаточно убедительно. Тут на него, что называется, работают даже самые противоречия критикуемой им традиционной историко-литературной схемы, ибо, как об этом говорили многие, после-

[13] Контекст-1972, с. 301—302.
[14] Там же, с. 289.
[15] Там же, с. 280.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

довательными классицистами, сентименталистами или романтиками не были ни Ломоносов, ни Державин, ни Карамзин, ни Жуковский.

Однако здесь обнаруживается одна в высшей степени знаменательная деталь: «очистить» XVIII век от классицизма, сентиментализма и проч. В. В. Кожинову, оказывается, нужно не только и даже не столько для того, чтобы подчеркнуть самобытность русского литературного развития, сколько для того, чтобы доказать, будто русский XVIII век в гораздо большей степени связан с веком предыдущим, нежели с XIX-м, и потому должен рассматриваться в качестве периода, которому в истории западноевропейской литературы соответствует эпоха Средневековья. В подтверждение этой мысли В. В. Кожинов приводит целый ряд соображений, но ни одно из них нельзя признать сколько-нибудь основательным.

Представив, таким образом, XVIII век как своего рода продолжение Средневековья и устранив из него все то, чего «не могло быть» до эпохи Возрождения (т. е. классицизм, сентиментализм, просветительство и романтизм), В. В. Кожинов переходит затем к третьей части своей задачи — к обоснованию той мысли, что все «постренессансные» направления, которые традиционная схема неоправданно, по его мнению, отнесла к XVIII веку, в действительности возникли в русской литературе (как и во всякой «нормальной» литературе) лишь во второй трети XIX века. Задача, скажем прямо, весьма деликатная: ведь исследователю предстоит убедить нас, ни много ни мало, в том, что в русской литературе, в активе которой были уже и Пушкин, и Грибоедов, и Гоголь, в литературе, буквально выстрадавшей свой великий реализм, вдруг создались условия, когда «наконец-то» смогли заявить о себе все те направления, которым не удалось по-настоящему развиться в «предвозрожденческий» период. Требуется доказать, что, скажем, ранний Достоевский и ранний Л. Толстой — фигуры, более характерные для «настоящего» сентиментализма, нежели Карамзин и Дмитриев, что подлинное русское просветительство — это революционные демократы и Салтыков-Щедрин, а славянофилы, народники и зрелый Достоевский выражают сущность романтизма в гораздо большей мере, чем, так сказать, «профессиональные» романтики 10—20-х годов XIX века — Рылеев, Марлинский, Кюхельбекер.

Это самое В. В. Кожинов и делает.

Но ради чего же? Для того, чтобы выявить своеобразие русского литературного процесса? Но ведь как раз оно-то и не берется в расчет, ибо и в данном случае русский процесс подгоняется под западноевропейскую «норму» и даже еще более последовательно, чем это допускалось отвергаемой В. В. Кожиновым традиционной схемой.

Выше уже отмечалось, что применительно к русской литературе термин «Ренессанс» можно было бы принять, лишь вкладывая в него определенного рода оценочный смысл. Однако исключительно при этом условии. Во всех же остальных случаях термин этот оказывается настолько «маркированным», настолько связанным с множеством совершенно определенных историко-литературных «контекстов», что нужно либо отыскать все эти «контексты» (или, по крайней мере, их аналоги) в русском историко-литературном процессе, либо отказаться от самого термина.

Статья В. В. Кожинова, как уже говорилось, вызвала в научной печати довольно широкий отклик. На страницах «Вопросов литературы», «Русской литературы» и того же «Контекста» был опубликован целый ряд статей, в которых как раз и указывалось на необходимость более широкого и полного учета своеобразия русского литературного процесса.[16] Говорилось о «синтетическом» характере русского реализма, как и вообще новой русской литературы, о некоем особом «сквозном действии», характерном для нее в предпушкинский период, о многом другом, что, по мнению исследователей, указывает на особый характер русского литературного развития, который, собственно, и должен предостеречь от всякого рода произвольных параллелей и аналогий.

В. В. Кожинов — нельзя не отдать ему должного — в статье «Типология и своеобразие» («Контекст-1975») отвечал своим оппонентам весьма находчиво и изобретательно, и хотя концепция его, на мой взгляд, не стала более убедительной, нельзя все же не признать, что проблемы он затронул действительно актуальные и действительно весьма слабо разработанные.

В этой связи необходимо коснуться еще одного момента, который в плане интересующей нас проблемы имеет принципиальное значение. Речь идет «об изучении общего и особенного в литературе, о типологии и своеобразии»,[17] а, говоря конкретнее, — о том, что следует понимать под типологией и что — под своеобразием.

«Нет сомнения, — справедливо считает В. В. Кожинов, — что конечная цель изучения истории русской литературы состоит в познании ее своеобразия, ее неповторимого существа. Нужно прямо сказать, что всякого рода сравнительные методы исследования — это весьма дале-

---

[16] См., например: Фридлендер Г. М. Указ. соч.; Макогоненко Г. П. Указ. соч.; Тимофеев Л. И. Вопросы решенные и нерешенные. — Вопросы литературы, 1974, № 8; Эльсберг Я. Е. О синтезе традиций в русском реализме. — В кн.: Контекст-1974.

[17] Контекст-1975, М., 1977, с. 262.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

кое от совершенства орудие познания».[18] «Однако. . . — тут же оговаривается он, — наука о литературе вынуждена пока двигаться, так сказать, обходными путями, раскрывая особенное и своеобразное на фоне, *в контексте общего и типологического*, сравнивая и сопоставляя *разные явления одного порядка*, чтобы выявить специфику каждого из них» (курсив мой, — *Л. Е.*).[19]

Здесь сразу же возникает вопрос: на основании каких показателей мы будем выделять «разные явления одного порядка» и какие из них следует считать тождественными именно в *типологическом* плане?

В истории культуры разных народов есть, как известно, великое множество явлений, отмеченных чертами более или менее определенного взаимного сходства. Дело, однако, в том, что с точки зрения природы, характера, типа этого сходства все эти явления далеко не одинаковы. Есть сходство и сходство. Скажем, вот перед нами два одинаковых сюжета, вернее, один и тот же сюжет, использованный в литературе или фольклоре двух разных народов. Чем и как мы должны объяснить этот факт? Очевидно, что в нашем распоряжении имеются лишь две возможности: 1) доказать (в том случае, если это доказуемо), что сюжетное тождество есть следствие тождества социально-исторических ситуаций, в которых эти сюжеты возникли, 2) признать, что сюжет перешел от одного народа к другому в процессе их культурного общения, иначе сказать, был заимствован. О типологическом сходстве в точном смысле этого слова мы, таким образом, имеем право говорить лишь в первом случае.

Следует различать, по крайней мере, два ряда культурно-исторических феноменов, относительно которых возможности типологического изучения будут далеко не одинаковыми. К одному следует отнести явления, связанные с наиболее общими закономерностями развития человеческой культуры. Синкретический характер искусства на ранних стадиях культуры, определенная последовательность в возникновении таких форм искусства, как эпос, лирика и драма, миф и сказка, сказка и роман, развитие тенденции к творческому синтезу и т. п. — все это закономерности, характеризующие историко-культурный процесс каждого народа, и лишь они воплощают типологическое сходство в его, так сказать, наиболее «чистом» выражении.

Второй ряд — это явления, в которых у каждого народа названные закономерности материализуются и конкретизируются, и «состав» их, этих явлений, зависит прежде всего, если не исключительно, от характера тех конкретных исторических условий, в которых культура данного народа существует и развивается. Конкретные представления о задачах и средствах искусства в каждую данную эпоху, различные «школы», стили, требования вкуса, ориентированные на ту или иную социальную среду, многообразные формы и направления общественной мысли и т. д— все это образует тот особенный, неповторимый облик, в котором выступает национальный культурный процесс. Возможности типологического изучения этих феноменов в решающей степени ограничены тем обстоятельством, что ни один из них не может рассматриваться как нечто стадиально-обязательное, закономерно наличествующее в истории каждой культуры. Потому, собственно, хотя многие из них могут обнаруживать черты известного взаимосходства, было бы глубоким заблуждением видеть в них «разные явления одного порядка» и помещать их в «контекст типологического». Природа сходства их не типологическая, а исключительно историческая.

В пределах именно этого, второго ряда следует, как мне представляется, рассматривать и такие явления, как «классицизм», «сентиментализм», «просветительство» — словом, все составные той традиционной схемы, которая издавна применяется в изучении истории русской литературы XVII—XIX веков. Не заключая в себе ничего стадиально-обязательного, они способны характеризовать только тот историко-литературный процесс, в пределах которого они возникли. Что же касается русской литературы, то вопрос о тех сторонах, которыми она соприкасалась, скажем, с тем же классицизмом, есть вопрос не о «русском классицизме» и даже не о «национальном своеобразии русского классицизма», а вопрос о национальных причинах, побуждавших ее в определенные периоды использовать в своей практике и теории те или иные рекомендации западноевропейского (главным образом французского) классицизма.

То же самое нужно сказать и о возможности типологического сопоставления двух «Ренессансов» — европейского и русского. Европейский Ренессанс представлял собою сложнейший и в своем роде уникальный культурно-исторический комплекс, нерасторжимо и органически связанный с совершенно конкретными, по своему сочетанию тоже уникальными историческими условиями. Русская литература (точнее, то, что В. В. Кожинов предлагает считать русским Ренессансом) — также. И если даже какие-то отдельные черты в этих двух уникальных комплексах оказываются действительно в чем-то сходными, то это еще не резон, чтобы отождествлять названные комплексы типологически.

Таким образом, вопрос об отношении литературного факта к его культурно-историческому контексту — это прежде

[18] Там же.
[19] Там же.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

всего вопрос об объективных связях данного факта со всею совокупностью конкретно-исторических условий, в которых он возник. И здесь особенно важно иметь в виду именно объективный характер этих связей. Ибо есть контекст реальный, действительный, который один только и способен объяснить объективную специфику данного литературного факта, и, с другой стороны, есть контекст лишь возможный, в лучшем случае лишь более или менее вероятный. И, устанавливая первый, в сущности, очень легко перейти грань, за которой начинается и уже властно ведет своими путями второй.

Именно эту грань и переходит, на мой взгляд, В. В. Кожинов, конструируя для «русского Ренессанса», а затем и для почти всех известных в истории русской литературы направлений совершенно особый культурно-исторический контекст, который зиждется на некоей обманчивой типологии и уже по одному этому дает весьма превратное представление о своеобразии русского историко-литературного процесса.

Говоря о «Контексте», нельзя не упомянуть еще об одном его разделе — разделе публикаций. Он присутствует в каждом выпуске и содержит целый ряд материалов, которые, несомненно, привлекут внимание и историков литературы, и теоретиков. Среди этих материалов следует особо выделить Заключительное слово А. В. Луначарского на семинаре в Институте красной профессуры 5 июня 1920 года, письма М. Горького, статьи А. Грамши, «Записи о творчестве» М. Пришвина, отрывки из «Листов дневника» Н. Рериха. Для нас они — тоже своего рода «контекст». Исторический и методологический. Контекст наших сегодняшних размышлений о литературе, об ее истории и методах ее изучения.

Завершая этот краткий обзор, я хотел бы вернуться к тому, с чего он был начат. А начат он был с попытки определить «жанр» «Контекста». Теперь, я думаю, этот вопрос можно снять, ибо приходится признать, что жанр «Контекста» — это контекст, и это отнюдь не тавтология, а простая констатация того очевидного факта, что внежанровость есть тоже в своем роде «жанр». И дело не в том, по какому принципу группируются в издании материалы, а в том, каковы они сами, эти материалы. Материалы «Контекста» интересны и значительны — и этого вполне достаточно.

«Контекст» существует девять лет. Сегодня это одно из самых серьезных научных изданий, имеющее свой творческий облик, свои традиции и прочную научную репутацию. И остается лишь выразить уверенность, что тот небольшой перерыв, который наступил в его работе в последние два года, — всего лишь творческая пауза, которая не изменит в будущем его «статуса» ежегодника.

И. Ф. Петровская

ТРУДЫ ПО ГЕНЕАЛОГИИ КАК ИСТОЧНИК БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ XIX—НАЧАЛА XX ВЕКА И ИХ ОКРУЖЕНИИ

Несмотря на значительные достижения советской биобиблиографии, есть несколько групп источников биографических сведений, которые недостаточно известны и потому мало используются.

Лишь частично освещены в современной русской печати такие средоточия биографической информации, как публикации некрологов, именные указатели к журналам, сборникам документов и некоторым другим изданиям. И вовсе неудовлетворительно — работы по генеалогии.

Составитель капитального труда «Русские биографические и биобиблиографические словари» (М., 1955) И. М. Кауфман не касается родословий даже в предисловии. В замечательной книге П. Н. Беркова «Библиографическая эвристика» (М., 1960), где несколько страниц специально посвящено разного рода источникам биобиблиографических разысканий, они также не упоминаются. Лишь часть и названа в книге «Справочники по истории дореволюционной России» (Изд. 2-е, М., 1978), причем создатели ее не ставили задачей детально их аннотировать. Литературу по генеалогии рассматривает А. И. Аксенов в обстоятельной статье «Очерки истории генеалогии в России» в сборнике «История и генеалогия» (М., 1977). Однако он обращает внимание лишь на те работы, которые интересны для истории науки «либо своим содержанием и формой родословных, либо приемами и методами их изучения».[1] Только некоторые труды называет О. В. Петрова, также не имевшая целью полный их учет.[2]

[1] История и генеалогия. С. Б. Веселовский и проблемы историко-генеалогических исследований. М., 1971, с. 58.

[2] Петрова О. В. 1) Генеалогия и поиск документов личного происхожде-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Генеалогия дореволюционной эпохи была, как известно, в основном классовой, дворянской. Существует немного родословий представителей других социальных слоев. Ведущие генеалоги и генеалогические организации утверждали преданность монархическому строю и историческую значимость дворянства как его оплота. Однако генеалогические труды охватывают лиц различного общественного положения.

Неоднозначность состава дворянства обусловилась, в частности, тем, что права высшего состояния в большом количестве получали лица иных сословий — достигшие определенного чина на военной или гражданской службе или пожалованные орденом (любой степенью ордена Владимира и Георгия, первой — высшей — степенью других российских орденов). До 1845 года в потомственные дворяне зачислялись все, получившие первый офицерский чин или чин 8-го класса (коллежский ассесор) на гражданской службе; с 1845 года — чин 8-го класса на военной службе (майор или капитан-лейтенант) и 5-го класса на гражданской (статский советник); с 1856 года — 6-го класса на военной (полковник или капитан I ранга), 4-го класса на гражданской (действительный статский советник — чин, равный генерал-майору). С 1825 по 1845 год дворянство по чинам и орденам получили примерно 20 000 человек.[3] Нельзя забывать, что чины присваивались не только чиновникам административного аппарата, но и преподавателям высших и средних учебных заведений Министерства народного просвещения и других ведомств, ученым, инженерам и иным специалистам, состоявшим на государственной службе; повышались они в основном по выслуге лет.[4]

Принадлежность к дворянству известных лиц часто не принимается нами во внимание в соответствии с образом их жизни и собственным их восприятием этого («проническое отношение к благородству своего происхождения» было свойственно, например, П. И. Чайковскому, который «не упускал случая поглумиться над гербом и дворянской короной своей фамилии»[5]). Тем не менее сведения о них и их семьях могут содержаться в сословных справочниках.

Советские историки подчеркивают значение генеалогии для исследования исторического процесса в той или иной области (закрепощение крестьян, складывание буржуазии, культурная преемственность и др.). Этому посвящен названный сборник «История и генеалогия», говорилось о том и ранее.[6] Отмечается и большая ценность генеалогии при изучении социальных, в том числе духовных, условий жизни и творчества конкретных лиц.[7] В 1920-е годы утверждалось значение генеалогии для генетики человека, проблемами которой тогда занималась выделившаяся в самостоятельную науку евгеника. Об этом писал в специальной главе своей книги «Вспомогательные исторические дисциплины» А. М. Большаков,[8] генеалогические материалы печатал «Русский евгенический журнал». Не отвергается этот аспект и ныне.[9] Изучение биографий в связи с окружением и происхождением привлекало внимание психологов (в области психологии характеров, психологии творчества и т. д.), предполагалось даже создание Биографического института.[10] О. В. Петрова в указанных статьях обращает внимание на исключи-

---

ния XIX—начала XX века. — Сов. архивы, 1973, № 2, с. 33—38; 2) О родословных справочниках с рукописными дополнениями и исправлениями генеалогов. — Археографический ежегодник за 1976 г., с. 217—221.

[3] Корелин А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861—1904 гг. Состав, численность, корпоративная организация. М., 1979, с. 26.

[4] Например, академики А. Н. Веселовский, Л. Н. Майков, В. О. Ключевский были тайными советниками (чин 3-го класса, равный генерал-лейтенанту и вице-адмиралу). Кроме того, выдающиеся деятели отечественной культуры занимали и руководящие должности. Поэт И. Ф. Анненский, как окружной инспектор Петербургского учебного округа, был действительным статским советником; крупнейший археограф А. Ф. Бычков, директор Публичной библиотеки, — действительным тайным советником (чин 2-го класса, равный адмиралу).

[5] Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского, т. 3. М.—Лейпциг, 1903, с. 9.

[6] См.: Зимин А. А. Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в работе историков. — В кн.: Труды научной конференции по вопросам архивного дела в СССР, т. 1. М., 1965, с. 129—130.

[7] См.: Аксенов А. И. Генеалогия. — Вопросы истории, 1972, № 10, с. 206—208.

[8] Большаков А. М. Вспомогательные исторические дисциплины. Изд. 4-е, Л., 1924, с. 184—185.

[9] См.: Елпатьевский А. В. О документальных источниках современных историко-биографических и генеалогических исследований. — Археографический ежегодник за 1971 г., с. 75. См. в этой статье также перечень других советских работ, касающихся генеалогии.

[10] См.: Рыбников Н. А. 1) Биографический институт. М., 1918 (издание Педагогического музея Учительского дома в Москве); 2) Биографии и их изучение. М., 1920; Рыбникова М. А. Биографический институт. — В кн.: Рыбникова М. А. Горбовская хроника по архиву семьи Щукиных. М., 1919.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

тельную ценность генеалогических работ при описании архивных фондов личного происхождения [11] и при поиске документов, которые могли передаваться по наследству.

Все это справедливо. Но, кроме того, изданные генеалогические труды являются биографическими справочниками, полезными в самых разнообразных случаях. В них содержатся биографические сведения примерно о 100 000 или больше лиц, живших и действовавших в России.

Настоящая статья вызвана желанием помочь исследователям, библиографам, архивистам при розыске информации о лицах, которые не упоминаются в достаточно известных справочных пособиях, а также при необходимости уточнить имеющиеся сведения. В соответствии с заглавием, в статье пойдет речь не о всех вообще работах генеалогов, а лишь о таких трудах, которые позволяют достаточно быстро навести биографическую справку, причем только о тех, которые охватывают XIX—XX века.

Наиболее ценны в указанном смысле более или менее законченные родословия (перечни всех членов рода за определенный отрезок времени). Кроме родословий, полезны и своды сведений об отдельных представителях родов, особенно если они охватывают много фамилий.

Применялись три способа составления родословий. Я имею здесь в виду преимущественно поколенные росписи, т. е. списки всех членов рода или одной его ветви в хронологической последовательности «колен» с указанием родителей (обычно путем отсылки к порядковому — по росписи — номеру отца). Они наиболее насыщены биографическими сведениями, да и наиболее употребительны. Родословные таблицы, т. е. графические изображения разветвлений рода, называются в статье лишь при наличии в них хотя бы дат жизни упоминаемых лиц. Не учитываются родословные «древа» (графические изображения в обратной хронологической последовательности в виде дерева с ветвями и плодами), в которых, как правило, показывались только имена отпрысков.

Поколенные росписи, кроме установления родственных связей, сообщают годы или полные даты рождения и смерти (первую почти всегда, вторую реже), данные о служебном положении (нередко все сведения послужного списка), имении, образовании и участии в общественной жизни, девичьи фамилии жен, сведения о мужьях женских представительниц рода. Весьма содержательны, даже с бытовыми подробностями, справки в генеалогических трудах конца XIX—начала XX века, когда генеалогия поднялась до уровня самостоятельной научной дисциплины. В это же время стали обязательны ссылки на источники сообщений.

Самый распространенный вид родословий — так называемое нисходящее мужское, когда указываются потомки по мужской линии, а для женщин — только муж, без называния их детей. Нередко к таким родословиям прилагались и генеалогические сведения о породнившихся фамилиях, о потомках женских представительниц рода. Проследить одновременно развитие нескольких фамилий или нескольких ветвей одной фамилии удобнее в родословной таблице, для этого они большей частью и составлялись.

Сначала генеалогов интересовали преимущественно роды, ведшие начало от владетельных князей и вообще древнейшие. Этот интерес сохранился и позже, но все же к XX веку генеалогия заметно «демократизировалась». В это время и древние фамилии нередко привлекают внимание не столько происхождением, сколько значением в новой истории страны (такова, например, фундаментальная работа Б. Л. Модзалевского о Раевских).

Издавались как сборники родословий, так и труды, целиком посвященные одной фамилии (отдельно и в периодике). Поколенные росписи некоторых родов неоднократно уточнялись и дополнялись. Целесообразно обращаться к позднейшему изданию. Но при этом нельзя забывать о наличии нескольких ветвей рода и однофамильцах. И самый обстоятельный генеалогический труд может не охватить всех носителей данной фамилии (хотя бы и дворян только), сведения о них могут находиться в другом издании.[12]

Имеются путеводители по родословиям. Все сборники генеалогических росписей, вышедшие до 1897 года, и почти все тогда же отдельно изданные родословия учтены в труде одного из ведущих русских генеалогов Л. М. Савелова «Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства» (Изд. 2-е, Острогожск, 1897; на обложке: 1898). Работа состоит из двух

[11] Родословные книги как пособия, позволяющие определить полные имена корреспондентов и адресатов семейной переписки по обозначенным авторами родственным связям, а также содержащие биографические справки о членах рода, широко применялись при обработке семейных и родовых архивов в отделе личных фондов ЦГИА СССР, когда им заведовал А. А. Шилов (1939—1941) и позже (в 1948—1958 годах), под руководством автора этих строк.

[12] Например, родословия разных ветвей Шереметевых (в современной печати часто встречается грубое искажение: Шереметьевы; так именовался совсем другой, мелкопоместный род) приложены к книгам: Барсуков А. П. Род Шереметевых. СПб., 1904, кн. 8 (графы Шереметевы; Шереметев П. С. Владимир Петрович Шереметев. М., 1913, т. 2 (потомки В. П. Шереметева, нетитулованные).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

частей. Во второй в алфавите фамилий перечислены роды, о которых говорится в учтенных изданиях, с соответствующими ссылками (более 11500 фамилий). Изданиям 1898—1904 годов и ранее пропущенным Савелов посвятил другую, менее известную работу «Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию российского дворянства. Первое дополнение с приложением списка печатных трудов и изданий Л. М. Савелова (1890—1904 гг.)» (М., 1904). В ней также есть алфавитный перечень фамилий. Вторым дополнением к основному указателю Савелова служит каталог «Библиотека Д. В. Ульянинского. Библиографическое описание», т. 3 (М., 1915), раздел «История российского дворянства. Генеалогия. — Геральдика». Ульянинский описал имевшиеся в его богатом собрании работы, вышедшие до 1913 года включительно, частично — за 1914 год. Сборники родословий им, за малым исключением, не расписаны, но в алфавите фамилий показаны отдельные издания, а также оттиски из периодики и сборников, в том числе вышедшие после 1904 года или пропущенные Савеловым. Третьим дополнением можно считать работу Е. Ф. Соллогуб «Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1905—1909 гг. Указатели» (М., 1912). В ней находится алфавитный перечень всех фамилий, встречающихся на страницах «Летописи» первых пяти лет ее издания.[13]

Позднее вышла работа И. М. Картавцова (о 90 родах) «Библиографические заметки по истории некоторых дворянских фамилий, поместных в Псковской губернии» (Сборник Псковской ученой архивной комиссии, 1917, вып. 1; отд. вып.: Псков, 1916). Он зарегистрировал некоторые не учтенные ранее родословия, а также упоминания в исторических журналах. Однако заметки эти не претендуют на полноту, и в них не точны библиографические ссылки. Л. М. Савелов много фамилий, не упоминаемых в его основном указателе и дополнении к нему, называет в издании «Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию тульского дворянства» (М., 1904). Но при этом он ссылается не на какие-либо пропущенные родословия, а на сборники документов раннего периода, статьи по частным вопросам и отдельные упоминания (в пофамильном перечне примерно 1500 фамилий).

В последние годы начал выходить во Франции фундаментальный труд Д. М. Шаховского «Общество и дворянство российское».[14] В нем даются указания на литературу о дворянских и некоторых других родах и — в едином алфавитном ряду — вновь составленные родословные росписи, доведенные до новейшего времени. Справочная ценность издания весьма велика. Однако нет уверенности, что оно будет закончено в обозримом будущем. Нельзя также считать имеющиеся ссылки исчерпывающими литературу вопроса, та или иная степень неполноты неизбежна для издания такого широкого охвата.[15] Составитель взял на себя грандиозную задачу указывать и сообщения об отдельных представителях родов (в энциклопедиях, словарях и др.). Здесь неполнота особенно заметна. Так, бросается в глаза, что нет ни одной ссылки на биобиблиографический словарь «Деятели революционного движения в России», хотя в нем говорится более чем о 40 дворянах только на А—Аск (в том числе из учтенных Шаховским фамилий) — участниках декабристского движения и движения 1860—1870-х годов (в словаре указано социальное происхождение). Кроме того, чтобы с успехом пользоваться этой работой (как, впрочем, и трудами Л. М. Савелова) в качестве биобиблиографического указателя, нужно иметь представление об упоминаемых трудах. В частности, Шаховским тщательно расписаны своды сведений о дворянах по губерниям, но далеко не все они содержат какие-либо биографические данные.

Основными ключами при поиске родословий остаются пока первые четыре из названных справочников. Дополнительные, как кажется, полезные сведения сообщаются в этой статье.

Из сборников родословий наиболее известны учтенные Л. М. Савеловым и расписанные по фамилиям в основном его

---

[13] В последующие годы (1910—1915) в «Летописи Историко-родословного общества» было напечатано лишь несколько родословий, захватывающих XIX—XX века и не указанных в алфавитном перечне Ульянинского: Бекович, Де Витте (1915), Пазухиных (1914, вып. 3—4), Савеловых и Савелковых (1914, вып. 1—2), Валевских, Головкиных, Корфов, Минихов, Разумовских — в работе С. В. Любимова «Русские титулованные роды, принявшие иностранное подданство» (1912, вып. 2). Можно отметить также семейные летописцы Бутурлиных (1914, вып. 3—4), Понофидиных и Текутьевых (1915).

[14] Шаховской Д. М. Общество и дворянство российское. (История. Библиография. Генеалогия). Ономастика. Ренн, 1978—1979, т. 1. А—Апл; т. 2. Апо—Аск. Фамилии расположены в последовательности французского алфавита (но и с русским их написанием); в т. 1 вошли, например, Ахлестышевы (Akhlestyšev). Ссылки на литературу даны на языке оригинала.

[15] Например, при всем обилии ссылок от фамилии Арсеньевы здесь не упомянута поколенная роспись псковской их ветви в Сборнике Псковской ученой архивной комиссии, 1917, вып. 1 (она не названа и в указателе И. М. Картавцова, так как обе работы опубликованы одновременно).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

указателе работы П. В. Долгорукова, В. В. Руммеля и В. В. Голубцова, А. Б. Лобанова-Ростовского, П. Н. Петрова.[16] В первой из них около 700 поколенных росписей, во второй — 130, в третьей — 224, Петров приводит исторические справки о составе 105 родов, живших в XIX веке, с приложением родословных таблиц некоторых из них. Расписана Савеловым и работа А. А. Бобринского «Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Всероссийской империи» ч. 1—2 (СПб., 1890), в которой нет полных поколенных росписей, но упоминаются виднейшие представители более 2000 родов со сведениями о службе и смерти в сражениях. В дополнительном указателе раскрыто, в частности, содержание такого крупного собрания родословий, как «Дворянский адрес-календарь» на 1898 и 1899 годы, изданный Н. В. Шапошниковым. Названы в указателях Савелова и родословные росписи из трехтомного труда Р. И. Ермерина, но недостаточно полно.[17]

Некоторые издания, учтенные Л. М. Савеловым, во втором его указателе по фамилиям не расписаны. Кроме того, после 1904 года вышло много весьма значительных родословных сборников. О них главным образом и хочется рассказать. Из отдельных родословий назову только те, которые не показаны ни в одном из основных отечественных указателей или неполно в них аннотированы. Нет возможности перечислить на журнальных страницах все фамилии, если в издании сотни и тысячи родословных, в таких случаях придется ограничиться его общей характеристикой. Но если в работе не более 20—25 росписей, представляется целесообразным поименовать их, поскольку это облегчит работу исследователя.

Наибольшее число поколенных росписей включают собрания генеалогических материалов по губерниям. Они охватывают не только жителей данной губернии или ее уроженцев, но все дворянские роды, члены которых когда-либо владели в ней недвижимым имуществом или просто были записаны в родословную книгу именно данной губернии. Упомянутые лица могли служить в столице или другом городе, жить в поместье другой губернии. Такие труды составлялись главным образом по губернским родословным книгам и другим материалам дворянских депутатских собраний. Эти органы дворянского самоуправления созданы в соответствии с Жалованной грамотой дворянству 1785 года, тогда же началось ведение ими родословных книг[18] и рассмотрение дел о причислении к дворянству. Занесение в родословную книгу какой-либо губернии было непременно нужно, чтобы пользоваться правами высшего сословия.

Первым сборником родословий, составленным по губернской дворянской родословной книге, явилась работа М. П. Чернявского по Тверской губернии[19] (расписана Л. М. Савеловым; в книге «Справочники по истории дореволюционной России» не учтена). В ней приведено 1429 родословных таблиц с датами жизни, в «Приложениях» сообщены сведения по истории родов, в том числе биографические справки о родоначальниках выслуженного дворянства XIX века. Г. А. Милорадович, выпуская значительно позже «Родословную книгу Черниговского дворянства», ошибочно назвал ее «первым опытом» издания, охватывающего все дворянские роды губернии.

Наиболее значительны родословные сборники по Тульской и Ярославской гу-

---

[16] Долгоруков П. В. Российская родословная книга, ч. 1—4. СПб., 1855—1857; Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий, т. 1—2. СПб., 1886—1887; Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга, т. 1—2. Изд. 2-е, СПб., 1895; Петров П. Н. История родов российского дворянства, т. 1. СПб., 1886.

[17] Ermerin R. I. Annuaire de la Noblesse de Russie. СПб., 1889, 1892, 1900, première année — troisième année. В 3-м выпуске помимо новых родословных помещены исправления и дополнения к прежде составленным. В примечаниях Ермерин сообщает генеалогические сведения о породнившихся фамилиях (названы в алфавитных указателях к 1-му и 2-му выпускам). Они Савеловым не учтены. В оглавлении 3-го выпуска (и, соответственно, у Савелова) пропущены Рауш фон Траубенберги.

[18] Книги состояли из шести частей: часть 1-я — дворянство «жалованное или действительное» (сюда, кроме «высочайше» пожалованных дворянством, вносились роды из присоединенных территорий, в отношении которых проверялась действительная принадлежность их к знати); часть 2-я — выслуженное на военной службе; часть 3-я — полученное по гражданским чинам или по орденам (в том числе по ордену за боевые заслуги); часть 4-я — иностранные роды (в том числе исконно русские, но доказывавшие свое происхождение от мифических выходцев из других стран); часть 5-я — титулованные роды (некоторые из них записаны в 4-й части); часть 6-я — древние роды (такие вносились и в 4—5-ю части). Нелогичность деления и случайность занесения в ту или другую часть не раз отмечались генеалогами.

[19] Чернявский М. П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу Тверской губернии с 1785 по 1869 г. Тверь, 1869; Приложения. Тверь, 1869. См. также: Колоколов И. Села Петровское-Знаменское и Никольское-Неверово Корчевского уезда. . . Тверь, 1906 (за XIX век: Барковы, Вилькинс, Змиевы, Костеревы).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

бернiям. В них использованы многочисленные архивные и печатные источники. Выявлялись все роды, когда-либо бывшие помещиками в этих краях. Прослежена их история и до 1785 года.

Особенно богато биографическими данными многотомное издание «Дворянское сословие Тульской губернии». В книге «Справочники по истории дореволюционной России» первая часть издания (т. 1—9), выпущенная М. Т. Яблочковым, не показана,[20] при описании следующих томов не проаннотированы именно генеалогические материалы. Между тем это продолжение, издававшееся после смертп Яблочкова В. И. Чернопятовым (с двойной нумерацией томов), — самое крупное собрание родословий. «Родословец» и «Родословец добавочный» [21] включают около 2000 поколенных росписей, всего называется в них более 3000 фамилий (включая упомянутые при указании браков). Кроме того, родословные находятся в последнем томе издания.[22] В росписях сообщаются не только даты рождения или обе крайние даты жизни, должность, чин, но и нередко подробные справки о прохождении службы, образовании, ученой степени, недвижимом имуществе. Дополнением к ним является «Выпись с метрических книг Петропавловской г. Тулы церкви о родившихся с 1780 по 1911 г.».[23]

В «Материалах для генеалогии Ярославского дворянства» И. Н. Ельчанинова (Ярославль, 1911—1916) более 300 поколенных росписей, в том числе фамилий, сыгравших заметную роль в отечественной истории.[24]

По архиву Самарского дворянского депутатского собрания начал составлять родословные А. А. Сиверс, но вышел лишь один выпуск его «Генеалогических разведок».[25]

В упомянутой «Родословной книге Черниговского дворянства» Г. А. Милорадовича (СПб., 1901, т. 1—2) около 1780 поколенных росписей XIX века с датами рождений и сведениями о прохождении службы. Известный «Малороссийский родословник» В. Л. Модзалевского [26] включает (в вышедших томах) 134 поколенные росписи родов, ведущих начало от казацкой старшины, в том числе и авторского рода. В «Родословнике» использованы материалы департамента герольдии Сената и местные архивы, печатные источники; сообщены данные послужного списка, сведения об имениях, часто очень подробные биографические справки. Дополнением к «Малороссийскому родословнику», а также к «Родословной книге Черниговского дворянства» является работа В. К. Лукомского и В. Л. Модзалевского «Малороссийский гербовник» (СПб., 1914). В ней указана литература о родах, внесенных в эти два издания.

---

[20] Первые тома с родословиями учтены Л. М. Савеловым. См. также: Дворянское сословие Тульской губернии. Тула, 1904, т. 7 (Ждановы, Ильины, Сомовы); 1905, т. 8 (Гвоздевы, Папоновы, Ртищевы, Чернопятовы, Шеины, Яблочковы); 1905, т. 9 (Бибиковы, Горяиновы, Павловы).

[21] Дворянское сословие Тульской губернии, т. 3 (12), ч. 1—6. Родословец. Материалы. М., 1908—1909; т. 8 (17). Родословец добавочный и указатель фамилий к нему и Родословцу. М., 1912.

[22] Там же, т. 12 (21). Генеалогические материалы. М., 1915. В этот том вошли издававшиеся и отдельными выпусками родословные Кривцовых, Крюковых, Ладыженских, Ромодановских-Ладыженских, а также Арбузовых, Ильиных, Картавцовых, Пушкиных, Телегиных, Юрьевых, записи об отдельных членах многих родов (в основном начала XX века). Приложен алфавитный указатель всех фамилий.

[23] Там же, т. 9 (18). Материалы культурно-бытовые и генеалогические. М., 1912. «Выпись» составлена в алфавите фамилий, в именной указатель к тому они не вошли.

[24] Ельчанинов И. Н. Материалы для генеалогии Ярославского дворянства. Ярославль, 1911, вып. 1 (Васютины, Горяиновы, Ельчаниновы, Кафтыревы, Коковцевы, Малыгины, Мурановы, Мусины-Пушкины, Опочинины, Ратьковы-Рожновы, Рыкачевы, Селифонтовы, Сукины, Тихменевы, Томанские, Тютчевы, Ураковы); 1913, вып. 2 (Б—Г; в том числе подробная родословная Бестужевых); [1914], вып. 3 (выходил 18 тетрадями, в основном А—Г и несколько других фамилий, см. их полный перечень: Библиотека Д. В. Ульянинского, т. 3, с. 1301—1302); 1914, вып. 4 (Годлевские, Голицыны, Горбатовы, Готовцевы, Грековы, Грязевы, Гуляковы, Гущины, Давлексеевы, Давыдовы, Даниловы, Данс, Дебольские, Дейер, Дементьевы, Ермоловы, Изъедиповы, Качаловы, Лаптевы, Лаптевич, Орловы-Давыдовы, Хлоповы, Юреневы); 1916, вып. 8 (Дезидерневы, Деевы, Демидовы, Демич, Денисовы, Денисьевы, Дмитриевы, Дмитриевы-Мамоновы, Дорохотовы, Доводчиковы, Шубины, Шубины-Поздеевы, Ярославовы); 1916, вып. 9 (Астафьевы и Остафьевы, Грязновы, Грязново, Грязные, Новиковы, Тарбеевы).

[25] Сиверс А. А. Генеалогические разведки. СПб., 1913, вып. 1 (Аксаковы, Булгаковы, Жемчужниковы, Мертваго, Михайловские, Мухановы, Неплюевы, Осоргины, Пыхачевы, Тургеневы, Чарыковы, Чегодаевы, Шишковы, Шошины, Юрасовы; генеалогические сведения о породнившихся родах — Аржевитиновых, Татариновых, Тимашевых, Уссаковских).

[26] Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник, т. 1, А—Д. Киев, 1908; т. 2, Е—К, 1910; т. 3, Л—О, 1912; т. 4, П—С, 1914. Рукопись пятого тома (Т—Я и дополнения) — в БАН УССР.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Под редакцией Л. М. Савелова было начато издание «Родословной книги дворянства Московской губернии» (т. 1. Дворянство жалованное и выслуженное. А—И. М., 1914). В вышедшем томе более 1400 росписей родов, записанных в книгу до 1900 года. Указаны даты жизни, служебное положение, имения, более подробно охарактеризованы родоначальники. Сведения архива дворянского депутатского собрания дополнены по печатным источникам и церковным записям. Издан «Алфавитный указатель утвержденных Правительствующим Сенатом дворянских родов, внесенных в дворянскую родословную книгу Орловской губернии с показанием родословий каждого рода включительно по 1900 г.», а также четыре дополнения к нему 1910—1913 годов. Здесь родословия более 1850 родов (два-три поколения) с датами рождения. В списках дворян Астраханской губернии указан состав семьи, возраст главы семьи, его чин, должность, место службы, пребывание в учебном заведении, имущество и доход.[27]

По губернским родословным книгам и другим материалам дворянских депутатских собраний издано еще около 30 справочников о дворянских родах губерний. Подавляющее большинство их учтено в книге «Справочники по истории дореволюционной России». Но они другого характера. В некоторых указаны члены семей (два-три поколения), но без дат жизни и других биографических данных (по Астраханской, Волынской, Киевской, Новгородской, Подольской губерниям, Ставропольской, Терской и Кубанской областям), в других указаны имения и количество крепостных (по Пензенской и некоторым уездам Петербургской губернии,[28] Кавказской области). Несколько изданий содержат перечни биографических документов из архивов депутатских собраний (Владимирского, Московского, Тульского), другие — лишь списки фамилий с датами признания в дворянстве или даже без них. Все эти труды при биографических разысканиях могут играть роль указателей к архивным фондам депутатских собраний.[29]

В пофамильных перечнях у Савелова и Ульянинского не отражен еще ряд сборников родословий. Среди этих сборников и отдельно изданных росписей труды, завоевавшие признание тщательностью и научной добросовестностью, и менее серьезные. Однако замечания по работам, ставшим мишенью насмешек генеалогов (Ф. С. Аргутинского-Долгорукого, Л. Лыщинского), относятся к измышлениям авторов о происхождении их родов,[30] а не к сведениям XIX—XX веков.

До XX века доведены родословия 21 фамилии в труде Г. А. Власьева «Потомство Рюрика»,[31] такое же количество

---

[27] В книге «Справочники по истории дореволюционной России» не учтены: Продолжение алфавитного указателя лиц, сопричисленных к дворянским родам, прежде внесенным в родословную книгу дворянства Орловской губернии с 1901 г. [Орел, 1913]; Алфавитный указатель дворянских родов, утвержденных Правительствующим Сенатом, вновь внесенных в дворянскую родословную книгу Орловской губернии с 1901 г. [Орел, 1910]; Продолжение. . . [Орел, 1912]; Список потомственных дворян Астраханской губернии, составленный по самым последним переменам к 1 января 1900 г. [Астрахань, 1900].

[28] Не учтены в книге «Справочники по истории дореволюционной России»: Список потомственных дворян по Новоладожскому уезду С.-Петербургской губернии. . . СПб., 1908; Список потомственных дворян по Ямбургскому уезду С.-Петербургской губернии. СПб., 1901; Список потомственных дворян С.-Петербургского уезда. . . на 1911 г.; Список потомственных дворян Петроградского уезда. . . на трехлетие 1917—1919 гг. В этих списках указано местонахождение имущества названных лиц, количество земли, оценка.

[29] Не все архивы дворянских депутатских собраний сохранились. Частично их материалы отражены (в той или иной форме повторены) в архивном фонде департамента герольдии Сената (ЦГИА СССР). Там имеются и копии родословных книг до середины XIX века. См. подробнее: Рудаков В. Е. Архив департамента герольдии Правительствующего Сената. Владимир, 1908. Об оформлении дел о дворянстве и других материалах этого департамента см. также: Малкова З. И., Плюхина М. А. Документы высших и центральных учреждений XIX—начала XX века как источник биографических сведений. — В кн.: Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX—начала XX в. Л., 1967, с. 213—215, 223—225.

[30] Л. Лыщинский вывел свою генеалогию от библейского Ноя, в числе предков назвал великих князей русских, императоров византийских и германских, королей шведских, польских, прусских, английских и др.

[31] Власьев Г. А. 1) Потомство Рюрика, т. 1. Князья черниговские. СПб., 1906, ч. 1 (Болховские, Бунаковы, Горчаковы, Елецкие, Звенигородские, Кольцовы-Мосальские, Мосальские, Мосальские-Рачко, Огинские, Одоевские, Пузыны, Сатины); 1906, ч. 2 (Барятинские, Мышецкие, Оболенские, Репнины-Оболенские, Тюфякины-Оболенские); 1907, ч. 3 (Волконские, Долгоруковы, Щербатовы); т. 2. Князья владимиро-волынские. Пг., 1918, вып. 1 (Друцкие); 2) Родословные таблицы. Приложение к 1-й части первого тома книги «Потомство Рюрика». СПб., 1906; Родословные таблицы. Приложение ко 2-й части первого тома книги «Потомство Рюрика». СПб., 1906; Родо-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

росписей в «Родословном сборнике» Ф. С. Долгорукого и его работе о Долгоруковых и Аргутинских-Долгоруких.[32] В результате тщательнейших разысканий составлены «Родословные разведки» Н. Н. Кашкина.[33]

204 фамилии со сведениями о двухчетырех поколениях называет К. А. Губастов в работе «Генеалогические сведения о русских дворянских родах, происшедших от внебрачных союзов» (СПб., 1909).[34] Биографические данные об отдельных представителях 760 родов находятся в книге С. Васильевича (С. В. Любимова) «Титулованные роды Российской империи» (СПб., 1910).[35]

Родословные росписи, составленные В. С. Арсеньевым, С. В. Любимовым и др., печатали «Труды» и «Известия» губернских ученых архивных комиссий.[36] Есть еще издания, включающие сведения о нескольких родах каждое.[37]

В указатели Савелова и Ульянинского не вошли работы об отдельных дворянских фамилиях, напечатанные позже их составления, пропущены некоторые ранние. Среди этих работ вновь составленные полные росписи и сообщения, только дополняющие прежние издания.[38]

словные таблицы. Приложение к 3-й части первого тома книги «Потомство Рюрика». СПб., 1907.

[32] Долгорукой Ф. С. [Аргутинский-Долгоруков] 1) Родословный сборник. СПб., 1913, вып. 1 (Бенкендорф, Бобринские, Воронцовы, Демидовы, Клейнмихель, Кропоткины, Куракины, Лорис-Меликовы, Мурузи, Мусины-Пушкины, Мятлевы, Орбелиани, Орловы, Рибопьер, Салтыковы, Святополк-Мирские, Тархановы, Шуваловы); 2) Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские. СПб., 1913, ч. 2 (смешанное родословие, называются дети и внуки княжон). Резко отрицательная оценка последней работы С. Н. Тройницким (Гербовед, 1913, окт., с. 170—173), вследствие которой ее не включил в свой каталог Д. В. Ульянинский, относится к сообщениям о начальной истории Аргутинских-Долгоруких.

[33] Кашкин Н. Н. Родословные разведки. Под ред. Б. Л. Модзалевского. СПб., 1912—1913, т. 1—2 (Вындомские, Кашкины, Ртищевы).

[34] Работа не издана (машинопись), но имеется в Государственной исторической библиотеке в Москве и библиотеке ЦГИА СССР в Ленинграде. Среди упомянутых Востоковы, Вревские, Герцены, Жуковские, Краевские, Левицкие, Репинские, Треповы и др.

[35] Не включены бароны Великого княжества Финляндского. Пропущено несколько фамилий из числа имевших иностранные титулы — по сравнению с официальным изданием «Списка титулованным родам. . .» (СПб., 1892). Это последнее издание тоже имеет неточности и ошибки (см.: Рудаков В. Е. Указ. соч., с. 37). Сведения, приведенные в указателях титулованных родов, бывают весьма нужны, например, при датировании писем и упоминаний (в соответствии с титулованием и временем присвоения данного титула).

[36] Известия Тамбовской ученой архивной комиссии, 1906—1909, вып. 51—53 (Бюцовы и Бицовы, Волжины, Губле, Кенсона, Санти, Шаблыкины. Росписи этих родов неоднократно дополнялись); 1915, вып. 56 (Чичерины); 1917, вып. 57 (Бланк, тамбовская ветвь); Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии, 1915, кн. 1—2 (Назаровы, Соловьевы, Ханджери, Черкасовы); Труды Ставропольской ученой архивной комиссии, 1915, вып. 7 (Дондуковы-Изъединовы, Дондуковы-Корсаковы, Тюменевы); Сборник Псковской ученой архивной комиссии, 1917, вып. 1 (Арсеньевы, Костровы, Мусоргские, Юреневы); Труды Курской ученой архивной комиссии, 1911, вып. 1 (курская ветвь Савеловых).

[37] Агафонов Н. Я. Казань и казанцы. Казань, 1907, вып. 2 (дворяне Износковы и Манасенны, купцы Каменевы и Котеловы); Лыщинский Л. Род дворян Лыщинских. СПб., 1907 (смешанное родословие, с указанием потомства и по женской линии, поэтому включены: Волковы, Лаские, Муравьевы, Салтыковы, Фриши); Любимов С. В. Опыт исторических родословий: Гундоровы, Жижецкие, Несвицкие, Сибирские, Зотовы и Остерманы. Пг., 1915; Селиванов А. В. Родословная книга. Составлена В. П. Селивановым в 1818 г. Рязань, 1914 (с данными по 1913 г., включая роды: Дубенские, Подкользины, Татариновы); Чернопятов В. А. Несколько родственных фамилий XVIII и XIX стол.: Браше, Ержемские, Крубер, Лазовские, Ловейко, Рюдигер, Шлиппе. М., 1909.

[38] Муравьев М. В. Родословец. — Сборник Новгородского общества любителей древностей. 1909, вып. 2 (Базанины); Родословная графов Бобринских. Изд. 3-е, Смела, 1901; Н. Б. Историческое сведение о семье Бунге в России. Киев, 1901; Роспись 40 книгам Архива князя Воронцова. М., 1897 (в приложении родословия Воронцовых и Воронцовых-Дашковых); Пушкин и его современники. Пг., 1913—1915, вып. XVII—XVIII, XIX—XX (Ганнибалы); Инвалидный дом графов Зубовых. Пг., 1915 (в приложении родословная таблица рода Зубовых); Родовой листок дворян Лихаревых. СПб., 1914—1918; Модзалевский Б. Л. Род и потомство Ломоносова. — В кн.: Ломоносовский сборник. СПб., 1911 (потомки дочери по женской, в основном, линии: Раевские, Орловы, Волконские, Яшвили); Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX ст. Линевского ар-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Д. В. Ульянинский учитывал и родословия недворянских родов, но назвал не все.[39] Есть родословная великого актера М. С. Щепкина, [40] было издано еще несколько родословных росписей, таблиц и генеалогических справок о представителях купечества, интеллигенции.[41]

В советское время составлены родословные росписи и таблицы Пушкиных, Толстых, Салтыковых, Блоков, Добролюбовых и родственных им фамилий.[42]

В «Русском евгеническом журнале» напечатаны две поколенные росписи обычного типа (родов Бэр и Витте) и несколько статей, целью которых было не перечисление всех вообще членов рода с биографическими о них сведениями, а выявление в известном роду замечательных чем-либо лиц и выяснение ведущих черт их характера и их действий, установление родства между разными выдающимися деятелями отечественной истории. [43] В приложении к некоторым статьям даны генеалогические таблицы.

Совершенно полным собранием русских генеалогических трудов не располагает ни одна библиотека. Имеющиеся крупные фонды дополняют друг друга. Существенным прибавлением к фондам ГПБ и ГБЛ является собрание библиотеки ЦГИА СССР, наследовавшей библиотеку департамента герольдии Сената.[44] В ряде хранящихся там книг имеются поправки В. К. Лукомского, Н. Н. Кашкина и других генеалогов.

хива. СПб., 1891 (в приложении поколенная роспись Манасеиных, включая 1890-е годы, и нескольких родов XVIII века; то же в книге «Подробная опись 27 рукописям второго. . . собрания Линевского архива» (СПб., 1892)); Винклер П. П. Родословия русского дворянства. Дворяне и графы Путятины. СПб., 1895; Селиванов А. В. Материалы для истории рода рязанских Селивановых, ч. 3. Рязань, 1915; Родословная дворян Смольяниновых (Ветви рязанская и костромская). [Б. м., 1890-е годы], литограф. изд.; Хроника рода Тройницких. 1912—1914. Пг., 1915; Чернопятов В. И. Материалы к родословию и семейной хронике Чернопятовых XVI—XX вв. М., 1914 (это издание и родословная Чернопятовых в «Дворянском сословии Тульской губернии», т. 3 (12), ч. 6, взаимно дополняют друг друга).

[39] Библиотека Д. В. Ульянинского, т. 3. М., 1915, с. 1442—1450.

[40] Михаил Семенович Щепкин. 1788—1863. Записки его, письма, рассказы, материалы для биографии и родословная. Сост. М. А. Щепкин. СПб., 1914.

[41] Чулков Н. П. Московское купечество XVIII и XIX веков (генеалогические заметки). — Русский архив, 1907, № 12 (за XIX век: Алексеевы, Бахрушины, Боткины, Долговы, Мазурины, Шелапутины, Щукины); Гинзбург В. Родословная Лурье. Киев, 1912; Чакир Д. Г. Биографический очерк рода и фамилии Чакир. Кишинев, 1899. См. также примеч. 37.

[42] Модзалевский Б. Л., Муравьев М. В. Пушкины. Родословная роспись. Л., 1932 (включает все ветви, в том числе Шафериковых-Пушкиных и Внуковых-Пушкиных); Толстой С. Л., Цявловский М. А. Генеалогические таблицы. — В кн.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юбилейное издание. М.—Л., 1934, т. 46. (Толстые, Волконские, Горчаковы, Трубецкие. Ранее была издана работа: Модзалевский Б. Л. Род графа Л. Н. Толстого. — В кн.: Толстой. Памятники творчества и жизнь, т. 1. Пг., 1917); Макашин С. А. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина. — Звенья, 1950, сб. 3 (с родословными таблицами); Княжнин В. А. Александр Александрович Блок. Пб., 1922 (приложена родословная таблица: Блок, Бекетовы, Карелины); Рейсер С. А. Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. М., 1953 (с родословной таблицей: Добролюбовы, Покровские). Родословные росписи Мариных и Радищевых помещены в кн.: Марин С. Н. Полн. собр. соч. М., 1948.

[43] Серебровский А. С. Генеалогия рода Аксаковых. — Русский евгенический журнал, 1922, т. 1, вып. 1; Чулков Н. П. Род графов Толстых. — Там же, 1924, т. 1, вып. 3—4; Нелидова Ю. А. О потомстве барона Петра Павловича Шафирова. — Там же, 1925, т. 3, вып. 1; Чулков Н. П. Генеалогия декабристов Муравьевых. — Там же, 1927, т. 5, вып. 1; Рокицкий П. Ф. Бакунины. — Там же; Золотарев В. Родословные А. С. Пушкина, графа Л. Н. Толстого, П. Я. Чаадаева, Ю. Ф. Самарина, А. И. Герцена, князя П. А. Кропоткина, князя С. Н. Трубецкого. — Там же, 1927, т. 5, вып. 3—4; Нелидов Ю. А., Эссен Н. К. Предки и потомки академика Карла-Эрнста Бэра. — Там же, 1928, т. 6, вып. 2—3; Любимов С. В. Предки графа Витте. — Там же, 1928, т. 6, вып. 4.

[44] См. о ней: Каталог библиотеки гербового отделения Департамента герольдии Правительствующего Сената. Русский отдел. Пг., 1916; 1 дополнение. Пг., 1917. В дальнейшем были приобретены еще некоторые материалы.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Ю. К. Бегунов

ЛИТЕРАТУРА ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ НАУКЕ

В предыдущем обзоре «Изучение литературы Петровской эпохи за последнее десятилетие» мы уже рассматривали ряд актуальных проблем, связанных с изучением литературы Петровского времени в современной науке.[1]

Литература Петровской эпохи принадлежит новому времени, XVIII веку. Поэтому было бы неверно рассматривать ее как часть древней русской литературы.[2] От русской литературы XVII века и от древнерусской литературы конца X—XVI веков ее отличает тесная связь литературных явлений с петровскими преобразованиями во всех областях — политической, экономической и культурной. Резкая грань, положенная в истории России петровскими реформами, сказалась и на развитии литературы, чье движение вперед стало ускоренным, всеобщим, полным. Немалую роль в истории литературы стали играть интенсивные международные связи Русского государства, так как выход России на широкий простор европейской политики привел к расширению контактных связей литературы и взаимообмену с европейскими литературами. «Новые идеи», идеи «просвещенного абсолютизма» Петра I, сопутствовавшие появлению «новых вещей» в России, существенно обогатили отечественную литературу, повысили ее общественную роль, гражданственность, злободневность. Освобожденная от средневековой церковной идеологии, литература Петровского времени превратилась в мощную силу, влияющую на судьбы нации. Национально-патриотическая символизация государственных идей достигла в Петровскую эпоху такой высоты, какой не знало русское Средневековье за всю его историю. Это проявилось в невиданном прежде стремлении к свободному творчеству во всех жанрах, в стремлении к обновлению языка и преодолении диглоссии путем создания универсального русского литературного языка. Дальнейшая индивидуализация писательских стилей, приспособляемых ко всему нарождающемуся новому, сыграла значительную роль в становлении новой русской литературы и появлении недюжинных, самобытных писательских талантов с Феофаном Прокоповичем во главе.

Великого Петра дел славных
проповедник,
Витийством Златоуст, муз чистых
собеседник,
Историк, богослов, мудрец российских
стран —
Таков был пастырь стад словесных
Феофан, —

так писал о нем поэт В. И. Майков в 1777 году.[3]

Г. Н. Моисеева во введении к своей монографии «Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли XVIII века» справедливо пишет следующее: «Творчество Феофана Прокоповича — писателя, публициста и теоретика литературы — до настоящего времени не получило еще всесторонней оценки. Курс „Поэтики“, написанный им в 1705 г. и прочитанный студентам Киево-Могилянской академии, является „первым значительным памятником русской теории поэзии“. В вопросе о вымысле как способе обобщения действительности, в характеристике жанров, родов литературы и их стилистического воплощения он близко подошел к теоретическим основам классицизма, учитывая при этом лучшие достижения искусства поэзии барокко (в произведениях Торквато Тассо и Яна Кохановского). Если можно характеризовать эпоху, называя писателя, в творчестве которого она нашла наиболее полное выражение, то для начала XVIII в. нужно назвать именно Феофана Прокоповича. В его трудах оказались протянутыми нити от древнерусской литературы к литературе нового времени, от средневековой религиозной идеологии к раннему Просветительству. Связи эти были еще очень слабы, но они дали стимул для развития новых качеств русской литературы, получивших выражение в творчестве Ломоносова и Сумарокова — основоположников русского классицизма».[4] Внимание к творчеству Прокоповича не случайно. Исследованию творческого пути Феофана была посвящена кандидатская диссертация гродненской исследовательницы Т. Е. Автухович, недавно защищенная в Пушкинском Доме.[5] Трехтомное издание философских

[1] Русская литература, 1980, № 4, с. 208—225.

[2] См.: История русской литературы в 4-х т., т. I. Древнерусская литература. Литература XVIII века. Л., 1980, с. 408—445.

[3] Майков В. И. Избранные произведения. Л., 1966, с. 284—285. (Библиотека поэта, большая серия).

[4] Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века. Л., 1980, с. 16—17.

[5] Автухович Т. Е. Литературное творчество Феофана Прокоповича. Автореф. канд. дис. Л., 1981.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

сочинений Феофана Прокоповича, выпущенное Институтом философии АН УССР, — крупное событие в нашей науке.[6] Особый интерес для литературоведов представляет первый том с «Риторикой», изданной, к сожалению, в сокращении, без девятой книги, содержащей описание тропов и фигур красноречия; этот пропуск обесценивает издание. Интерес представляет и третий том, в котором содержатся избранные письма и некоторые исторические труды Феофана («Собрание от летописателей» и «Реэстр государей российских»), а также его вирши («Похвала Днепру», «Польский кант», «Жарт про Венеру» и др.). Подготовка полного комментированного издания сочинений Феофана Прокоповича — одна из актуальных задач современной науки о литературе.

Я. А. Матвишин написал общий очерк о Феофане, а Л. Л. Кутина охарактеризовала язык и стиль его сочинений; [7] остальная новейшая литература о Феофане указана в нашем предыдущем обзоре.[8]

Гавриил Бужинский, придворный проповедник, префект Синодальной типографии и переводчик, принадлежал к «ученой дружине» Феофана. Общий очерк его жизни и деятельности написан В. М. Ничик.[9] О Бужинском-писателе, чьи приемы работы над составлением 16-й редакции Жития Александра Невского восходили к древнерусской литературе, сообщил Ю. К. Бегунов.[10]

Стефан Яворский, местоблюститель патриаршего престола и протектор Московской духовной академии, был видным проповедником и поэтом. Важное замечание о нем имеется в интересной работе А. М. Панченко «Переход от древней русской литературы к новой».[11] «Я намерен, — заявляет исследователь, — взглянуть на переходный период в ценностном плане, в плане столкновения и смены культурных ценностей. Известная истина, согласно которой история литературы есть не только история достижений, но также история потерь, — эта истина, к сожалению, чаще всего лишь прокламируется, становясь красивым, но бесплотным трюизмом, и никак не учитывается в историко-литературных построениях».[12] А. М. Панченко здесь имеет в виду едва уловимый «дух эпохи», ее «ментальность». Под знаком «ментальности» проходит творчество всех выдающихся мыслителей времени, в том числе и Стефана Яворского. О нем как сторонниках петровских преобразований написали украинские исследователи И. С. Захара и В. Д. Литвинов.[13] В центре их внимания философские сочинения Стефана Яворского, отрывки из которых издаются ими в переводе с латинского на украинский язык. И. С. Захаре принадлежит также интересный разбор философских воззрений Стефана Яворского.[14] А. А. Морозов изучает метафору и аллегорию в его проповедях.[15] Кстати сказать, сочинения придворного проповедника Петровской эпохи, опубликованные в начале XIX века (Проповеди блаженные памяти Стефана Яворского,

---

[6] Феофан Прокопович. Філософські творп в трьох томах. Переклад з латинської мовп. Київ, 1979—1981. См. рец.: Буланина Т. В. Первое издание «Риторики» Феофана Прокоповича. — Русская литература, 1980, № 3, с. 230—232.

[7] Матвишин Я. А. Феофан Прокопович. — В кн.: Киевские математики-педагоги. Киев, 1979; Кутина Л. Л. Феофан Прокопович. Слова и речи. Проблема языкового типа. – В кн.: Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981, с. 7—46.

[8] Бегунов Ю. К. Изучение литературы Петровской эпохи за последнее десятилетие, с. 216—218.

[9] Ничик В. М. Гавриил Бужинский — русско-украинский мыслитель начала XVIII в. — В кн.: Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов (XVII—XVIII вв.). Киев, 1978, с. 95—115.

[10] Бегунов Ю. К. Древнерусские традиции в произведениях первой четверти XVIII в. об Александре Невском. — ТОДРЛ, т. XXVI, 1971, с. 72—84.

[11] Панченко А. М. Переход от древней русской литературы к новой. — В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980, с. 125—148. К ней примыкает другая работа того же автора: Панченко А. М. История и вечность в системе культурных ценностей русского барокко. — ТОДРЛ, т. XXXIV, 1979, с. 189—199.

[12] Панченко А. М. Переход от древней русской литературы к новой, с. 126.

[13] Захара І. С., Литвинов В. Д. Філософія в Києво-Могилянській академії. Стефан Яворський. — Філософська думка, 1971, № 3, с. 95—107. В таком же духе о Стефане Яворском как о представителе теократически настроенного духовенства, возражавшего не против реформ Петра I, а против его политики по отношению к церкви, писал американец Юрий Шерех. См.: Šerech J. Stefan Javorsky and the conflict of the ideologies in the age of Peter. — Slavonic and east european review, London, 1951, vol. 30, No 74, p. 40—62.

[14] Захара И. С. 1) Курс психологии Стефана Яворського. — В кн.: Від Вишенського до Сковороди. Київ, 1972, с. 88—96; 2) Философские взгляды Стефана Яворского. Автореферат канд. дис. Київ, 1977.

[15] Морозов А. А. Метафора и аллегория у Стефана Яворского. — В кн.: Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971, с. 35—44.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ч. 1—3. М., 1804—1805), с тех пор не переиздавались, они и по сей день не имеют научного, основанного на рукописях издания, в котором так нуждается современное литературоведение.

А. М. Панченко, характеризуя литературу и искусство Петровской эпохи как «окказиональные» (термин Юлиуша Хрошчицкого), в одной из своих последних работ пишет: «Искусство стало фейерверком, ослепительной и красивой, но мгновенной вспышкой, которая тут же гасла. Тогда думали, что настоящее искусство — в будущем. Средневековью с его ориентацией на вечность, на прошлое была одновременно присуща любовь к настоящему, к земной реальности. Петровская эпоха, начертавшая на своем знамени лозунг полезности, нетерпимая к созерцанию и богословствованию, — это, в сущности, эпоха мечтателей».[16]

Одним из таких мечтателей был публицист Иван Посошков, человек трудной и необычной судьбы. Ему принадлежит трактат «О скудости и богатстве» (1724), критикующий отрицательные стороны реформ. Книга была опубликована только через сто лет, но еще при жизни ее автора возбудила множество разговоров и толков; ее автор был заключен в тюрьму, где и погиб (1726). Подробный и содержательный анализ взглядов Посошкова принадлежит иркутскому исследователю Л. А. Петрову.[17] Он отмечает, что Посошков, участник кружка Авраамия, не был противником петровских реформ и должен считаться одним из передовых мыслителей своего времени. Краткую характеристику деятельности И. Т. Посошкова как решительного противника новой светской культуры дал В. И. Краснобаев.[18] Удивительной натяжкой страдает работа английского исследователя Л. Р. Левиттера: идеи Посошкова были идеями русского буржуа.[19]

Ораторская проза

Ораторская проза в двух ее жанровых разновидностях — учительной проповеди и торжественных словах — была ведущим жанром литературы Петровской эпохи. Н. Д. Кочеткова устанавливает основные темы и аспекты ораторской прозы Феофана Прокоповича и исследует зависимость стиля его произведений от риторической теории, не привлекая основной труд писателя — «Риторику» (1706).[20] Вместо «Риторики» — обращение к «Краткому руководству к риторике» (1743) Ломоносова и к сочинениям Сумарокова, в которых оба последних дают хвалебные отзывы о Феофане. «Решительный противник „великолепия“, — заключает Н. Д. Кочеткова, — Феофан был ближе Сумарокову, чем Ломоносову».[21] Своим исследованием Н. Д. Кочеткова продолжает линию, ранее наметившуюся в трудах А. Н. Соколова, Р. Лужного, Л. И. Кулаковой, В. П. Вомперского, А. А. Смирнова, которые рассматривали Феофана в ряду писателей предклассицизма.

В. П. Гребенюк посвятил панегирической литературе Петровского времени целую книгу.[22] Во вступительной статье «Панегирические произведения первой четверти XVIII в. и их связь с петровскими преобразованиями» (с. 5—38), коснувшись истории панегирика как литературного жанра на Руси, автор констатирует, что «в Петровское время панегирическая литература приобретает качественно новое значение: общественно-политическая и патриотическая направленность ее стала действенным орудием пропаганды реформ и устремлений Петра I, идеологического обоснования разумности и необходимости для страны всех его преобразований».[23] Это, естественно, сказалось и на художественной форме панегириков. К последним относятся не только похвальные слова и речи, но и описания триумфальных врат и программы панегирических пьес. В. П. Гребенюк далее кратко останавливается на деятельности таких проповедников, как Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский, Стефан Яворский, Феофилакт Лопатинский. Специальный раздел книги посвящен «Обзору произведений панегирического содержания первой четверти XVIII в.» (с. 39—132). Всего обстоятельно описано 49 панегирических произведе-

---

[16] Панченко А. М. История и вечность в системе культурных ценностей русского барокко, с. 199.

[17] Петров Л. А. Общественно-политическая и философская мысль России первой половины XVIII века. Иркутск, 1975, с. 36—40, 44—217 и гл. V.

[18] Краснобаев В. И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1972, с. 11—14.

[19] Lewitter L. R. Ivan Tikhomirovich Pososhkov (1652—1726) and «The spirit of capitalism».— Slavonic and east european review, London, 1973, vol. 51, № 125, p. 524—553.

[20] Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма. — В кн.: XVIII век, сб. 9. Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. Л., 1974, с. 50—80. Проповедям Феофана была посвящена диссертация американки Ольги Делла Кава (См.: Della Cava O. T. Sermons of Feofan Prokopovič: themes and style. PhD., Columbia university, New York, 1972).

[21] Кочеткова Н. Д. Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма, с. 60.

[22] Панегирическая литература Петровского времени. Изд. подг. В. П. Гребенюк. М., 1979.

[23] Там же, с. 10—11.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ний, из них 12 переиздаются в разделе «Тексты» (с. 135—300). Это серьезный вклад в будущее более широкое изучение ораторской прозы Петровского времени.

Термин «панегирическая литература» В. П. Гребенюк толкует весьма широко, однако отбор несколько субъективен и за пределами книги остаются жития (например, «Синаксарь» Гавриила Бужинского), службы, ектеньи, последования церковного пения, гравюры Петровского времени и листовки-конклюзии, а также рукописные панегирики Петровского времени, в том числе многочисленные сочинения Феофана Прокоповича, Гавриила Бужинского, Стефана Яворского, Феофилакта Лопатинского и др. 49 панегирических произведений это едва ли пятая часть всего, что дошло до нас в рукописной традиции, а ею В. П. Гребенюк не занимается. Осталось неперизданным очень интересное ораторское произведение 1717 года — «Слово в похвалу Санктпетербурга и его основателя государя императора Петра Великого» Гавриила Бужинского. На грани изобразительного искусства и литературы находятся петровские «конклюзии». Это тезисы или схоластические панегирики в лицах, это и программы диспутов слушателей духовных академий и программы школьных драм.[24] Некоторым стилистическим и композиционным особенностям киевских проповедей Феофана посвятила свою работу Т. Е. Автухович.[25]

Петровскую тему в ораторской прозе начала 1740-х годов проследила В. В. Почетная.[26]

Виршевое стихотворство

Виршевое стихотворство Петровской эпохи было продолжением силлабики западнического толка второй половины XVII века. Во вступительной статье к изданному «Библиотекой поэта» сборнику «Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.» (Л., 1970) А. М. Панченко дал сжатую, но точную характеристику стихотворства Петровской эпохи. Вирши пишут все: и черниговский архиерей Иоанн Максимович («Богородице дево» с 24 000 стихов. Чернигов, 1707), и учитель Леонтий Магницкий («Арифметика», 1703), и старообрядцы Андрей и Семен Денисовы, и поэты из народа, и придворные витии Стефан Яворский и Феофан Прокопович. Двое последних осознают, что поэзия и стихотворство — разные вещи. И если Яворский — новолатинский поэт (см., например, его «Элегию к библиотеке»), то Прокопович принадлежит к новой эпохе развития литературы, и его сближает с классиками только общая для всех метрическая система (см., например, его поэму «Епиникион»). А. М. Панченко справедливо отмечает обилие предшественниц оды — книжных панегирических песен в Петровскую эпоху (до 60 по разысканиям А. В. Позднеева). В комментарии каждому из поэтов посвящена краткая вступительная статья, сообщающая минимум необходимых сведений о нем. Чрезвычайной ценностью обладает текстовая часть книги, содержащая издание наиболее значительных стихотворных произведений переходного периода, и в том числе поэтических произведений Димитрия Ростовского, Стефана Яворского, Феофана Прокоповича, выголексинских старообрядцев и анонимных авторов. Среди издаваемых текстов нет, к сожалению, «Винограда Российского». А. М. Панченко в заключении к своей книге «Русская стихотворная культура XVII века» (Л., 1973) отмечает главную черту нового периода — «превращение писателя в частное лицо, не связанное „христианской свободой“» (с. 241). Литература перестает выполнять только практические функции, она должна и развлекать. В этом был смысл того переворота в литературном быту, который произошел при Петре I. Расцветают такие поэтические жанры, как элегия (Виллим Монс, Егор Столетов, Феофан Прокопович) и стихотворный панегирик, весьма близкий к проповеди (Стефан Яворский, Феофан Прокопович). «Если же прилагать к силлабике мерки поэтик, — пишет А. М. Панченко, — тогда окажется, что используемые жанры почти без исключений укладывают в разряд так называемых „силовий“ (silva). Это — стихотворения небольшого размера, которые сочинялись по конкретному поводу, „на случай“. Победа и возвращение из путешествия, брак, рождение ребенка, смерть и погребение — вот что было предметом силовий» (с. 240). Немецкий учитель Иоганн Вернер Паузе и пастор Глюк не чуждались этой традиции. Современный английский литературовед Г. С. Смит считает, вопреки В. Н. Перетцу, что их поэзия не повлияла на русскую версификацию.[27] Ему как бы возражает Г. Н. Моисеева, публикуя одно неизвестное стихотворение

[24] Алексеева М. А. Жанр конклюзий в русском искусстве конца XVII—начала XVIII в. — В кн.: Русское искусство барокко. Материалы и исследования. Отв. ред. Т. В. Алексеева. М., 1977, с. 7—29.

[25] В кн.: Веснік Беларускаго універсітета, 1979, сер. 4, філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогия, № 3, с. 11—16.

[26] В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 331—337.

[27] Smith G. S. The contribution of Glück and Paus to the development of Russian versification: the evidence of rhyme and stanza forms. — Slavonic and east european review, London, 1973, vol. 51, № 122, p. 22—35.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Паузе.[28] В числе новонайденных текстов — стихотворения «Красным и пригожим вдовушкам и девицам» и «Последование российских орлов. Соннет». Исследовательница считает, что опыты Паузе «в сложении русских тонических стихов отразили тот период в становлении литературы, когда литературные формы еще только вырабатывались. Но они сыграли свою роль в подготовке реформы русского стиха, осуществленной В. К. Тредиаковским в 1735 г.» (с. 222). Открытием неизвестной поэтессы Петровского времени завершились исследования А. В. Позднеева.[29] Еще свыше ста лет тому назад историк М. И. Семевский обнаружил в архиве Виллима Монса несколько книжных песен, посчитав их виршами самого Монса. В рукописных отделах библиотек и архивохранилищах А. В. Позднееву удалось обнаружить 29 списков песни «Ах, свет мой гор'ки». Судя по тексту, эта песня была написана женщиной, талантливой поэтессой. В старейших сборниках светских книжных песен им обнаружено до 70 песен, сочиненных женщинами, из них 22 московский исследователь атрибутирует «неизвестной поэтессе Петровского времени», в приложении к статье их тексты издаются по рукописям с разночтениями (с. 292—307).

А. А. Илюшин в интересной статье «Силлабическая система в истории русского стиха» [30] дал краткий очерк русской силлабической поэзии, существовавшей с середины XVII по середину XVIII века. Он не соглашается с мнением А. М. Панченко «касательно характера развития русской силлабики»,[31] в том числе и в Петровскую эпоху. «Кроме Медведева, Истомина, Белобоцкого, — пишет А. А. Илюшин, — в конце XVII в. активно работали и другие поэты-силлабисты, хорошо знавшие свое дело. Некоторые из них творили и в начале XVIII в. — время, которое считается самым „нелитературным" в истории русской литературы, но которое тем не менее не прошло для нее бесследно. Поток силлабики не иссякал. Он влился в расцветшую при Петре I школьную стихотворную драматургию, обслуживая жанр панегирической песни, а главное — та щедрая дань, которую отдали силлабике крупнейшие поэты эпохи: Феофан Прокопович, Кантемир и молодой («дореформенный») Тредиаковский».[32] «Настоящие силлабические октавы, отвечающие духу итальяно-польской просодии» у нас писал Феофан Прокопович. Причиной падения силлабики и ее отмены реформой В. К. Тредиаковского (1735) А. А. Илюшин не без основания считает крупные ритмические недостатки силлабики и, добавим, ее несоответствия духу формирующегося русского литературного языка.

Стихотворству Феофана Прокоповича посвящена рукопись Т. Е. Автухович, депонированная в 1979 году ИНИОН АН СССР (за № 4398). О месте и функции эпиграммы в латиноязычной поэзии Феофана написала Ф. И. Луцкая.[33]

Н. В. Понырко опубликовала шесть стихотворных произведений старообрядческих поэтов Выго-лексинского общежительства; [34] несколько раньше вирши Семена Денисова к «Винограду Российскому» были напечатаны в Англии Д. Салливеном и Ч. Л. Дрейджем.[35] Неизвестные стихи на смерть Петра I, напечатанные в Голландии на русском языке в 1725 году, опубликовали С. Р. Долгова и Е. П. Подъяпольская.[36] Неизвестные канты, среди которых немало произведений Петровского времени, издали по одному рукописному сборнику 1733 года английские исследователи А. Макмиллин и Ч. Л. Дрейдж.[37]

---

[28] Моисеева Г. Н. Неизвестные стихотворения Иоганна Вернера Паузе. — В кн.: Сравнительное изучение литератур. Сб. статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. Л., 1976, с. 219—222.

[29] Позднеев А. В. Неизвестная поэтесса Петровского времени. — В кн.: Русская литература на рубеже двух эпох (XVII—начало XVIII в.). Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1971, с. 277—307. Содержательные исследования А. В. Позднеева о книжной песне XVII—XVIII веков публиковались в 1950—1970-е годы на страницах ТОДРЛ, Учен. зап. МГПИ, «Československá rusistika», «Revue des études slaves», «Zeitschrift für Slawistik», во многих сборниках. В полном виде ценная докторская диссертация А. В. Позднеева, к сожалению, осталась неизданной.

[30] Илюшин А. А. Силлабическая система в истории русского стиха. — В кн.: Славянское барокко. Историко-культурные проблемы эпохи. М., 1979, с. 316—334.

[31] Речь идет об оценке творчества поэтов: Германа, Симеона Полоцкого, Медведева, Истомина, Белобоцкого.

[32] Илюшин А. А. Силлабическая система в истории русского стиха, с. 332—333.

[33] В кн.: Іноземна філологія, вип. 55, питання класичної філології, № 16, Львів, 1979, с. 104—112.

[34] Понырко Н. В. Выговское силлабическое стихотворство. — ТОДРЛ, т. XXIX. Л., 1974, с. 274—290.

[35] Sullivan J., Drage Ch. L. Poems in an unpublished manuscript of the Vinograd Rossijskij. — In: Oxford slavonic papers, Oxford, 1968, vol. 1 (new series), p. 27—48.

[36] Долгова С. Р., Подъяпольская Е. П. Неизвестные стихи на смерть Петра I. — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 296—299.

[37] Mcmillin A., Drage Ch. L. «Kuranty»: an unpublished Russian songbook of 1733. — In: Oxford slavonic papers, Oxford, 1970, vol. 3 (new series), p. 1—31.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Итак, изучение силлабики конца XVII—начала XVIII века вступило в решающую фазу, т. к. ее изучение идет бок о бок с исследованием других литературных жанров и «стиля эпохи». Накапливается материал для обобщений, на очереди — новые открытия и публикации источников.

Драматургия

Новые широкие перспективы в изучении истории ранней русской драматургии открывает пятитомное издание памятников в серии «Ранняя русская драматургия (XVII—первая половина XVIII в.)» (1972—1976).[38] Четыре тома из пяти содержат пьесы первой половины XVIII века. Это самый полный сводный корпус почти всех произведений ранней русской драматургии, насчитывающий около 140 названий. К сожалению, пропущена трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир». Хотя последняя и была написана украинцем на Украине, в Киеве, в 1705 году, она традиционно рассматривается и в истории украинской, и в истории русской драматургии.[39] Вызывает недоумение и принцип расположения текстов драм. Они группируются то по тематическому, то по жанровому, то по хронологическому признакам, то по репертуару данного театра.

Между тем современного историка литературы должна интересовать история отечественной драмы как рода литературных произведений в диалогической форме, предназначенных для сценического воплощения. Чтобы построить историю ранней драмы как непрерывный процесс, необходимо, во-первых, опираться на солидную источниковедческую базу, достаточно репрезентативную в историко-литературном отношении, во-вторых, правильно классифицировать ранние драматические произведения по жанрово-стилистическим признакам, в-третьих, не пренебрегать теорией драмы, изучив идейно-эстетические и философские основы разновидностей ранних русских драм. Чрезвычайно важно прибегать и к историческому методу, без которого невозможно теперь разобраться в сложных отношениях русской драмы с драмами европейскими и, в особенности, с польскими, украинскими и немецкими.[40] Существующие истории раннего русского театра и драмы (в том числе и драмы Петровского времени) недостаточны ввиду того, что они не опираются на весь добытый современной филологической наукой источниковедческий материал.[41] «Полной научной истории ранней русской драматургии так и не появилось до сих пор», — пишет А. С. Демин.[42] Прежнее представление о второстепенности ранней русской драматургии в настоящее время в значительной степени поколеблено благодаря новым исследованиям в этой области и публикациям первоисточников.

Залог будущих успехов — обобщающие историко-литературные и теоретические экскурсы в историю драматургии Переходного периода, вышедшие из-под пера научных сотрудников группы древнерусской литературы ИМЛИ АН СССР. Таковы вступительные статьи к четырем томам пятитомника.[43] Охарактеризовав

---

[38] См. рец.: Буланин Д. М., Буланина Т. В. Академическое издание памятников ранней русской драматургии. — Русская литература, 1978, № 2, с. 237—241.

[39] Из последних работ о ней см.: Автухович Т. Е. «Владимир» Феофана Прокоповича. — Весник Беларускаго університета, 1979, сер. 4, філалогія, журналістыка, педагогіка, псіхалогія, № 1, с. 13—17; Лелекина Н. А. О некоторых особенностях метафорических словосочетаний в трагедокомедии Феофана Прокоповича «Владимир». — В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка, вып. 1. Рязань, 1974, с. 101—106.

[40] См., например, образцовое применение сравнительно-исторического метода О. А. Державиной в исследовании пьес об Эсфири: Державина О. А. Русско-европейские литературные связи в области драматургии на рубеже XVII—XVIII веков (История Есфири на школьной сцене западноевропейского и русского театра). — В кн.: Славянские литературы. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 282—294.

[41] Ср.: История русского драматического театра в 7-ми т., т. I. От истоков до конца XVIII века. М., 1977; Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. Изд. 2-е. М., 1977. Ср.: Петровская И. Ф. Источниковедение истории русского дореволюционного драматического театра. Л., 1971.

[42] Демин А. С. Труды В. Н. Перетца по истории русского театра. — В кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII—начало XVIII в.). М., 1976, с. 184. Ср. также: Бегунов Ю. К. Проблемы изучения ранней русской драматургии. — Русская литература, 1981, № 2, с. 195—210.

[43] Державина О. А. Русский театр 70—90-х годов XVII в. и начала XVIII в. — В кн.: Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972, с. 5—56; Демин А. С. Эволюция московской школьной драматургии. — В кн.: Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974, с. 7—48; Елеонская А. С. Творческие взаимосвязи школьного и придворного театров в России. — В кн.: Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975, с. 7—46; Державина О. А., Демин А. С., Робинсон А. Н. Рукописная драма-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

первый русский театр как явление европейской культуры,[44] А. Н. Робинсон посвятил специальное исследование доминирующей роли русской драматургии и театра как видов искусства в эпоху петровских реформ.[45] Приводимый им материал, доказывающий новизну тем и идей драм, убедительно опровергает надоевший всем тезис о том, что в Петровскую эпоху было «не до литературы». К сожалению, в статье ничего не говорится ни о массовом театре, ни о народных тенденциях в интермедиях,[46] ни о своеобразных жанровых формах драм Петровской эпохи.

В центре внимания работ А. С. Демина — круг художественных представлений в литературе второй половины XVII—первой трети XVIII веков, в том числе и в драматургии.[47]

В специальной статье О. А. Державина рассмотрела пьесу Федора Журовского на смерть Петра I — «Слава печальная» — в контексте литературы 1720-х годов,[48] а А. С. Елеонская — драму Исаака Хмарного «Образ победоносия».[49] Публицистикой на сцене считает первые русские пьесы XVII—начала XVIII века А. С. Елеонская.[50] Панегирические пьесы Славяно-греко-латинской академии, прославлявшие победы русского оружия в Северной войне, носили в себе черты политической сатиры и имели агитационное значение.[51] Пьеса-моралите «Ужасная измена сластолюбивого жития с прискорбным и нищетным» (1701) подробно проанализирована А. С. Елеонской.[52] Московская исследовательница поставила и убедительно решила проблему комического в школьных пьесах конца XVII—начала XVIII века.[53] В другой своей работе она проследила эволюцию образа идеального государя (Алексея Михайловича, Петра I) в «Отце отечества».[54] В. П. Гребенюк обращает внимание на публичные зрелища Петровского времени и их связь с театром.[55] Ю. В. Стенник усмотрел в драматургии Петровского времени предпосылки трагедий и комедий А. П. Сумарокова.[56]

Традиционно считавшиеся «петровскими» пьесы «Акт о преславной палестин-

---

тургия и театральная жизнь первой половины XVIII в. — В кн.: Пьесы любительских театров. М., 1976, с. 7—52.

[44] Робинсон А. Н. Первый русский театр как явление европейской культуры. — В кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII—начало XVIII в.), с. 8—27.

[45] В кн.: Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII—XIX вв. М., 1978, с. 176—182.

[46] Восточнославянская интермедия обстоятельно изучена в работах польской исследовательницы Паулины Левин. См.: Левин П. Сценическая структура восточнославянских интермедий. — В кн.: Русская литература на рубеже двух эпох (XVII—начало XVIII в.), с. 105—127. Ср.: Lewin P. Intermedia wschodnioslowiańskie XVI—XVIII wieku. Wrocław—Warszawa—Kraków, 1967. См. также: Кузьмина В. Д. Старопольские и русские интермедии. К вопросу об их сравнительно-историческом изучении.— В кн.: Польско-русские литературные связи. М., 1970, с. 29—55.

[47] Демин А. С. Русская литература второй половины XVII—начала XVIII века. Новые художественные представления о мире, природе, человеке. М., 1977. См. рец.: Кузьмин А. И. Новое исследование русской литературы второй половины XVII—начала XVIII века. — Русская литература, 1978, № 2, с. 241—242; Лихачев Д. С. Русская литература переходного периода. — Вопросы литературы, 1977, № 10, с. 273—279. См. также: Демин А. С. Новые художественные представления о мире, природе, человеке в русской литературе второй половины XVII—начала XVIII в. Автореферат докт. дис. М., 1976.

[48] Державина О. А. Пьеса 20-х годов XVIII в. «Слава печальная» и литература этого периода.— В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 250—258.

[49] Елеонская А. С. Посмертный панегирик Петру I в стенах Славяно-греко-латинской академии. — Там же, с. 259—269.

[50] Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины XVII века. М., 1978, с. 232—258.

[51] Некоторые художественные особенности подобных драм обстоятельно рассмотрены Г. С. Баранковой. См.: Баранкова Г. С. Пьесы Славяно-греколатинской академии о Северной войне (о некоторых художественных особенностях). — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 270—278.

[52] Елеонская А. С. «Притча о богатом и Лазаре» на сцене Славяно-греко-латинской академии.— Учен. зап. Московск. пед. ин-та, 1971, т. 455, с. 79—93.

[53] Елеонская А. С. Комическое в школьных пьесах конца XVII—начала XVIII в. — В кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII—начало XVIII в.), с. 73—87.

[54] Елеонская А. С. Образ идеального правителя в русских пьесах второй четверти XVIII в. — В кн.: Искусство слова. Сб. статей к 80-летию члена-корр. АН СССР Д. Д. Благого. М., 1973, с. 39—48.

[55] Гребенюк В. П. Публичные зрелища Петровского времени и их связь с театром. — В кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII—начало XVIII в.), с. 133—145.

[56] Стенник Ю. В. Драматургия Петровской эпохи и первые трагедии Сумарокова (к постановке вопроса).— В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 227—249.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ских стран царице» и «Акт о Петре Златых Ключей» Л. А. Итигина датирует 1730-ми годами и связывает их с оппозиционным театром Елизаветы Петровны.[57]

Анализу языка и стиля светских переводных пьес Петровского времени посвятила ряд работ Е. Г. Ковалевская.[58] Краткий очерк истории русской комедии в Петровскую эпоху содержится в посмертно изданной книге П. Н. Беркова.[59] Литературному и общественно-политическому значению «Надгробной похвалы Петру Великому» (1725) посвятила свою работу М. В. Николаева.[60]

О работах московской исследовательницы Л. А. Софроновой по поэтике школьного театра, важного культурного феномена Петровской эпохи, следует сказать особо. Ведь Петр I хранил заветную мысль превратить школьный театр «благородных отроков великороссийских» из Московской духовной академии в массовый театр, способный стать проводником государственно-исторических идей; позднее такие же надежды связывались с театрами странствующих комедиантов Кунста и Фюрста. В этой связи заслуживает внимания предпринятая Л. А. Софроновой попытка «ввести театр в смысловое единство эпохи», обратившись к его поэтике. Монография Л. А. Софроновой — достойное продолжение работ члена-корр. АН УССР В. И. Резанова.[61]

Московская исследовательница устанавливает, что «русский школьный театр, как и польский, прошел путь от мистериальных диалогов к агиографическим трагедиям (характерным для него в меньшей степени, чем для польского), от них — к панегирику с ярко выраженным общественно-политическим содержанием, сочетавшим в себе элементы различных жанровых структур».[62] История школьной драмы в России, как известно, начинается декламациями и диалогами Симеона Полоцкого в 70-е годы XVII века, а кончается декламацией Мануила Базылевича 50-х годов XVIII века (см. главу «Краткая история и характеристика школьного театра», с. 27—54). Процесс взаимодействия школьной драмы с народной, что выразилось, например, во включении в «Стефанотокос» «спектакля в спектакле» — многочисленных интермедий из народной жизни, прошел для Л. А. Софроновой как для исследователя незамеченным. Отсюда и невнимание к взаимодействию поэтики школьной драмы с поэтикой народной драмы. Устойчивость жанровых форм, их видимая и мнимая статичность на протяжении десятилетий как будто бы способствует логизированному и формальному анализу поэтических ценностей. Но Л. А. Софронова не идет по этому обманчивому пути. Драмы Петровской эпохи ее интересуют с точки зрения философии искусства, «вечных тем и идей». Глубокое проникновение в поэтический мир школьной драмы — несомненное достоинство книги. Но есть и недостатки. Это — отсутствие видовой классификации школьных драм и невнимание к истории литературных форм школьной драмы в России. Отсюда и внеисторический, суммарный аспект исследования, за пределами которого осталось все своеобразие русской школьной драмы, не копировавшей ни польскую, ни украинскую школьные драмы. Историческая изменяемость элементов поэтики драмы в монографии не прослеживается. «Философию искусства» эпохи автор связывает исключительно с барокко (см. главу «Несколько замечаний о поэтике барокко» и заключение «Школьный театр и барокко», с. 228—240). Между тем с этим явлением дело обстоит гораздо сложнее.[63] Все богатство и разнообразие стилей и жанровых форм русской драматургии первой трети XVIII века нельзя свести только к барокко. Повествовательная или романическая драма, вроде «Акта о Петре Златых Ключей», лишь отчасти зависела от польско-украинских поэтик. То же самое следует сказать и об

---

[57] Итигина Л. А. К вопросу о репертуаре оппозиционного театра Елизаветы Петровны в 1730-е годы. — Там же, с. 321—331.

[58] Ковалевская Е. Г. 1) Речь персонажей и речевая характеристика героев. — Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им А. И. Герцена, 1971, т. 451, с. 151—167; 2) Стилеобразующая лексика интимных диалогов в светской переводной драме Петровской эпохи. — Там же, с. 168—185; 3) Лингвистическое исследование текстов русских драматических произведений конца XVII—первой четверти XIX в. Автореферат докт. дис. Л., 1971; 4) Интимные диалоги в переводных светских драмах Петровского времени (опыт стилистического анализа). — В кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII—начало XVIII в.), с. 119—132.

[59] Берков П. Н. История русской комедии XVIII в. Отв. ред. Н. Д. Кочеткова и Г. П. Макогоненко. Л., 1977, с. 6—23.

[60] Николаева М. В. Панегирическое действо на смерть Петра I. — В кн.: Rusycystyczne studia literaturoznowcze, t. 2. Katowice, 1979, s. 5—24.

[61] Софронова Л. А. 1) Поэтика школьного театра. — ТОДРЛ, т. XXXIV, с. 176—188; 2) Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII вв. Польша, Украина, Россия. М., 1981. О работах В. И. Резанова см.: Бегунов Ю. К. Проблемы изучения ранней русской драматургии, с. 199—200.

[62] Софронова Л. А. Поэтика славянского театра. . . с. 51.

[63] Бегунов Ю. К. Изучение литературы Петровской эпохи за последнее десятилетие, с. 222—225.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

интермедиях и циклах интермедий, включаемых в школьный спектакль. Трагедокомедия «Владимир» Феофана Прокоповича ориентируется не на одно только барокко: его художественная историко-философская основа значительно шире и богаче.

Историческое повествование и публицистика

Петр I живо интересовался прошлым своей страны, сам изучал и побуждал своих сподвижников изучать русскую историю, пристально следить за текущей политикой. Первая русская газета — «Ведомости» — была рупором идей эпохи. Считалось, что до 1714 года ее редактором был Ф. П. Поликарпов, с 1714 года — М. Аврамов, а с 1719 года — Б. Волков. Днепропетровский историк А. Г. Болебрух привел документы, показывающие, что указанные лица не могли быть ее редакторами и что газету редактировало правительство царя Петра.[64] В 1708 году Ф. П. Поликарпов, а в 1709 году Г. Г. Скорняков-Писарев предпринимают попытки написать обобщающие исторические сочинения. «История России» Федора Поликарпова была написана в 1715 году. О ней как памятнике латературы недавно написала Г. Н. Моисеева.[65] Окончательный вид основной редакции сохранился в рукописи БАН СССР (32.6.30).

О Ф. Поликарпове как переводчике «Географии генеральной» Бернарда Варения написала Э. В. Лукичева.[66] При ближайшем участии Петра А. В. Макаровым, П. П. Шафировым, Феофаном Прокоповичем и др. создавался «Журнал или Поденная записка» — хроника событий Северной войны; такие же журналы велись и при канцелярiях полководцев Б. П. Шереметева и А. Д. Меньшикова. Вице-канцлер П. П. Шафиров написал и напечатал «Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр Первый. . . к начатию войны против короля Карола XII шведского 1700 году имел» (1717). Американский историк В. Е. Батлер издал это сочинение в переводе на английский язык [67] и посвятил П. П. Шафирову несколько исследований как о дипломате и борце за усвоение в России европейской концепции международного права. «Рассуждение. . .» Шафирова было первым русским литературным произведением, переведенным на английский язык (1722). Историю царствования Петра I писали его современники один независимо от другого: А. И. Манкиев, Феофан Прокопович, Б. И. Куракин и Ф. И. Соймонов. В 1722 году Петр I велел своему кабинет-секретарю А. В. Макарову собирать все по истории России. Эта работа, продолжавшаяся до начала 1730-х годов, не пропала даром — она воплотилась в труды, многие из которых увидели свет через десятки лет после смерти Петра Великого. Впрочем, немало петровских «историй» по сей день еще остаются ненапечатанными, хранятся в рукописях государственных архивохранилищ и библиотек. Среди них и «История Свейской войны», рукопись Кабинета Петра Великого, отд. I (ЦГАДА). Исследование ее было недавно произведено Т. С. Майковой.[68]

Историческим сочинениям и публицистике Петровского времени посвятила свои исследования М. В. Николаева.[69]

---

[64] Болебрух А. Г. Кто редактировал «Ведомости»? — В кн.: Сборник научных статей аспирантов кафедр истории СССР и УССР и всеобщей истории. Днепропетровск, 1971, с. 126—133.

[65] Моисеева Г. Н. «История России» Федора Поликарпова как памятник литературы. — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 81—92.

[66] Лукичева Э. В. Федор Поликарпов — переводчик «Географии генеральной» Бернарда Варения. — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 289—296.

[67] Shafirov P. P. A Discourse concerning the just causes of the war between Sweden and Russia: 1700—1721. Ed. by W. E. Butler. New York, 1973; Butler W. E. 1) P. P. Shafirov and the Law of nations. — In: Shafirov P. P. A Discourse. . . p. 1—39, 2) Shafirov: diplomatist of Petrine Russia. — History today, 1973, vol. 23, № 10, p. 699—704; 3) P. P. Shafirov and the Law of Nations in Petrine Russia. — In: Study group on Eighteenth-century Russia. Newsletter, № 2, September 1974. Norwich, 1974, p. 5—8.

[68] Майкова Т. С. Петр I и «История Свейской войны». — В кн.: Россия в период реформ Петра I, с. 103—132. В настоящее время текст «Истории Свейской войны» подготовлен к печати научными сотрудниками Института истории СССР АН СССР.

[69] Николаева М. В. 1) Из публицистики Петровского времени. («Разыскное дело» царевича Алексея Петровича).— В кн.: XXIV Герценовские чтения. Филологические науки. Краткое содержание докладов 23.III—23.IV 1971 г. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1971, с. 48—49; 2) История об Азове и об Азовских походах.— В кн.: Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX веков (Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им А. И. Герцена, 1971, т. 414), с. 21—50; 3) «Предисловие» к петровскому переводу «Тестамента политического» кардинала Ришельс.— Filologia rosyjska. Gdańsk, 1973, № 3, с. 5—20; 4) «Тестамент» Петра I царевичу Алексею.— В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 93—111; 5) «История Петра Великого» в составе «Подробной летописи» и ее источники. — Filologia rosyjska, Gdańsk, 1975, № 4, с. 5—26.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Предметы ее исследований — малоизвестные рукописные «История об Азове и об Азовских походах», «История Петра Великого» в составе «Подробной летописи», «Речь Петра I перед Полтавской битвой» (1709), «Объявление сыну моему» Петра I (1 октября 1715 года), «Речь Петра I в сенате» (1721), «Предисловие к петровскому переводу „Тестамента политического" кардинала Ришелье» (1725), печатное «Объявление розыскного дела и суда. . . на царевича Алексея Петровича» (1718, 1720). Стоит сказать несколько слов о «Подробной летописи», в составе которой сохранилась «История Петра Великого». В XVIII веке она была издана по неисправному списку Николаем Львовым (Подробная летопись от начала России до Полтавской баталии, ч. 1—4. СПб., 1798—1799). М. В. Николаева изучила памятник по пяти рукописным спискам 40—60-х годов XVIII века, установила две редакции произведения; первая была составлена еще при жизни Петра I в 1724 году и изложение событий в ней было доведено до 1700 года, а вторая составлялась в 1740-е годы и была доведена до 1725 года. В ней звучит апология преобразований Петра I, когда понятия «общественное благо» и «благо личное» сливались в одно, единое понятие «пользы государственной». Традиция, идущая от древнерусских житий, соединяется здесь с новой традицией светской исторической апологии так, что элементы чудесного переплетаются в повествовании с рационалистическими элементами. Создается новый тип исторического повествования. Научное издание «Подробной летописи» на основе изучения истории ее текста неотложная задача науки.

Кроме печатного «Родословия» Феофана Прокоповича к историческим сочинениям относится и найденная Г. Н. Моисеевой «История о создании и взятии Царьграда» И. В. Паузе (1711), представляющая собою историю Константинополя с древнейших времен.[70]

В первой главе своей монографии Г. Н. Моисеева подробно рассматривает творческие истории создания крупнейших исторических памятников Петровской эпохи — «Истории России» Ф. П. Поликарпова (1708—1715), «Родословия великих государей царей и великих князей российских» и «Собрания от летописателей. . .» Феофана Прокоповича (1716—1719), «Истории Цареградской» И. В. Паузе (1711), «Историй» о разорении Иерусалима и взятии Царьграда (1713), «Келейного летописца» или «Хронологии» Димитрия Ростовского (1702—1709), «Истории Российской» В. Н. Татищева (1720—1750) с привлечением всех возможных рукописных списков этих сочинений.[71]

Соотношение «исторических» и «мифологических» элементов в ранних биографиях Петра I рассмотрела М. Плюханова.[72]

К послепетровскому времени относится труд обер-секретаря Сената И. К. Кириллова «Цветущее состояние Всероссийского государства» (1727), где сделана попытка увековечить в памяти потомков результаты петровских реформ.[73]

С исторической публицистикой Петровского и послепетровского времени тесно связаны так называемые завещания Петра I. В последнее время Н. И. Павленко удалось подвести некоторые итоги длительной полемики об их аутентичности.[74] Первое из них — «письмо» 1711 года с Прутского похода является «изобретением» Я. Штёлина; второе — предсмертные слова «Отдайте все. . .», придуманные в середине XVIII века автором «Записок о России при Петре Великом, извлеченных из бумаг графа Бассевича»; третье — фальшивка, сфабрикованная французским дипломатом шевалье Д'Еоном около 1757 года. Своеобразным продолжением труда С. Л. Пештича «Русская историография XVII века» следует считать обобщающий, итоговый обзор хода развития русской историографической мысли в первой четверти XVIII века, принадлежащий перу историка М. А. Алпатова. В трех из шести главах книги «Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII—первая четверть XVIII века» (М., 1976) — «Накопление знаний о Западной Европе в годы петровских преобразований», «Историческая мысль в Петровское время» и «Новый этап в истории западной исторической литературы о России» — рассматриваются «Журнал или Поденная записка. . .», «Краткий летописец от 1605 по 1703 г.», «История» Ф. Поликарпова, «Рассуждение. . .» П. П. Шафирова, «Летописец 1710 г.» Б. И. Куракина, сочинения Феофана Прокоповича, А. И. Манкиева, Генриха Гюссена и др. М. А. Алпатов анализирует источники под углом зрения определенной исторической теории, господствовавшей в то время в России. Здесь же рассматриваются и вос-

[70] Моисеева Г. Н. «История Царьградская» Иоганна Вернера Паузе — неизвестное сочинение начала XVIII века. — В кн.: Культурное наследие древней Руси. Истоки, становление, традиции. Сб. в честь акад. Д. С. Лихачева. М., 1976, с. 206—210.

[71] Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века, с. 19—125.

[72] В кн.: Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, с. 82—88.

[73] Изд. текста см.: Кириллов И. К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 1977.

[74] Павленко Н. И. Трп так называемых «Завещания» Петра I. — Вопросы истории, 1979, № 2, с. 129—144.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

приятие русскими Европы и европейских событий, и рецепция европейцами России и всего в ней происходящего.

Повести

Повествовательная литература рассмотрена нами в предыдущем обзоре.[75] В дополнение к нему назовем работы, которые вышли в свет недавно.[76] Любопытно, что Л. В. Соколова разделяет наш взгляд на расцвет повествовательной беллетристики в Петровскую эпоху. Тогда старые повествовательные тексты часто перерабатывались и переписывались и на их основе создавались новые рукописные произведения. Таковы литературные редакции XVIII века повестей об Акире Премудром, о Григории, папе Римском, о Бове, о Петре Златых Ключей, о Еруслане Лазаревиче, о Дмитрии Басарге, о Аполлонии Тирском.

Литература путешествий и мемуары

К повествовательной традиции примыкает литература путешествий. Путешествие в Переходную эпоху играло огромную социальную и общеобразовательную роль. Описания других стран: одни — традиционные, в жанре хождения, другие — новые — в духе статейных списков, путевых записок, мемуаров («Неизвестной особы», П. А. Толстого, Б. П. Шереметева, А. А. Матвеева, Б. И. Куракина) имели интересную литературную судьбу. Н. И. Прокофьев в своей работе показывает отличие новых путешествий от старых.[77] Если авторы хождений интересовались христианскими святынями и храмами, то путешественники нового времени «с увлечением рассказывают об экономике, культуре и искусстве, о музеях и технических новинках, о балах и маскарадах, о зоопарках и библиотеках, об уличных народных зрелищах» (с. 133). Приемы построения старых хождений использовались авторами новых путевых записок. В путевых записках с большей отчетливостью выражались индивидуальные особенности повествователя. Это бросается в глаза при сравнении дневников П. А. Толстого и Б. И. Куракина. Путешественники начала XVIII века — «птенцы гнезда Петрова» — учились литературе и сами формировали простой и ясный стиль литературы нового времени. Советскому историку И. С. Шарковой и польским исследователям Ф. Селицкому и М. Пржытулецкой принадлежат научные труды о двух из таких путевых записок. И. С. Шаркова издала (по рукописи ЛОИИ, ф. 36, оп. 1. д. 180) и исследовала «Записки» графа Андрея Матвеева о путешествии во Францию в 1705—1706 годах.[78] Ф. Селицкий издал в переводе на польский язык записки Б. П. Шереметева о путешествии по Европе в 1697—1698 годах.[79] В трех частях исследования изучены история рода бояр Шереметевых, жизнь и деятельность фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева (1652—1719) и, особенно, все то, что связано с Польшей; [80] исследование завершается обзором литературы русских путешествий и связанных с ними литературных особенностей дневника сподвижника Петра. М. Пржытулецка изучила полонизмы в путевом дневнике Б. П. Шереметева.[81]

М. Я. Билинкис, основываясь на работе Н. И. Прокофьева, прослеживает связь путевых записок с мемуарным жан-

---

[75] Бегунов Ю. К. Изучение литературы Петровской эпохи, с. 218—222.

[76] Михалина А. А. Проблемы датировки «Гистории о Франце Мемзонзилиусе». — В кн.: Источниковедение литературы Древней Руси. Л., 1980, с. 266—278; Соколова Л. В. Литературные обработки XVIII в. «Повести об Аполлонии Тирском». — Там же, с. 279—291; Апсит Т. Н. К вопросу о происхождении «Повести о Францеле Венециане». — В кн.: Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 1979, с. 68—77.

[77] Прокофьев Н. И. О традициях и новаторстве путевых записок Петровского времени. — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 129—138.

[78] Русский дипломат во Франции. (Записки Андрея Матвеева). Публ. подг. И. С. Шарковой. Под ред. А. Д. Люблинской. Л., 1972.

[79] Sielicki F. Podróż bojarzyna Borysa Szeremietiewa przez Polskę i Austrię do Rzymu oraz na Maltę 1697—1698. Z dziejów kontaktów kulturalnych Rusi Moskiewskiej z Polską i Zachodem. Wrocław—Warszawa—Gdańsk, 1975. Отклик см.: Баскаков В. Н. Памятники русской средневековой литературы в польских переводах и исследованиях. — ТОДРЛ, т. XXXIII, 1979, с. 450—453.

[80] Советская монография о Б. П. Шереметеве написана А. И. Заозерским. Отрывок из нее «Фельдмаршал Шереметев и правительственная среда Петровского времени» опубликован в кн.: Россия в период реформ Петра I, с. 172—198.

[81] Przytulecka M. 1) Uwagi językoznawcze na marginesie Notatki z podróży B. P. Szeriemietiewa. — Slavica Wratislaviensia, Wrocław, 1972, vol. 3, s. 27—37; 2) Polonizmy leksikalne w Dzienniku Podróży B. P. Šeremietiewa z lat 1697—1699. — Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, 1978, vol. 11, s. 121—142.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ром, который рождался в литературе нового времени в Петровскую эпоху.[82] Имеются в виду мемуары князя Б. И. Куракина,[83] в которых повествование ведется от первого лица. В отличие от этих мемуаров, путевые «Записки» князя Б. И. Куракина не воспринимались как мемуары, так как в центре внимания их автора — событие, а не личность.

Краткий обзор истории русской мемуаристики, начиная с Петровского времени, принадлежит новозеландской исследовательнице Ксении Гловацки-Прус.[84] Немецкий исследователь Клаус Дитрих Зееман в своей капитальной монографии «Древнерусская литература хождений» дал подробный обобщающий обзор произведений первой четверти XVIII века, написанных в традиционном древнерусском жанре.[85] Среди них сочинения старообрядца Лукьянова, Макария и Сильвестра, Андрея Игнатьева, Ипполита Вишенского, Варлаама Леницкого, Матвея Нечаева, Сильвестра и Никодима, Василия Григоровича-Барского, Дамаскина Птицкого. Всему труду придан теоретический аспект. Рассматривается судьба одного литературного жанра с древнейших времен и до первой четверти XVIII века включительно (с. 404—421). В справочном аппарате приводятся ценные сведения по библиографии исследований и о рукописных списках хождений (с. 424—428, 439—442, 446, 458, 461). Хождение 1701—1703 годов в Иерусалим калужского священника Иоанна Лукьянова имеет стилистическое сходство с Житием протопопа Аввакума. На это обратила внимание Н. В. Понырко; она же настаивает на тождестве Лукьянова со старообрядческим иноком Брынских лесов Леонтием.[86] Язык и стиль этого «Путешествия» охарактеризован С. Н. Травниковым.[87]

[82] Билпнкис М. Я. К вопросу о проблемах мемуарного жанра в русской литературе первой трети XVIII века. — В кн.: Проблемы эстетики и поэтики. Межвузовский сб. научн. тр., вып. 160. Ярославль, 1976, с. 3—10.

[83] Жизнь князя Б. И. Куракина, им самим написанная. — В кн.: Архив кн. Ф. А. Куракина, кн. I, СПб., 1890.

[84] Glowacki-Prus X. A brief survey of memoirs written in Russian from Peter the Great to S. T. Aksakov.— New Zealand slavonic journal, Wellington, 1974, vol. 12, p. 10—26.

[85] Seemann K. D. Die altrussische Wallfahrtliteratur. Theorie und Geschichte eines literarischen Genres. München, 1976, S. 366—403.

[86] Понырко Н. В. Сочинения старца Леонтия и школа протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, т. XXXIII, с. 156—163.

[87] Травников С. Н. Язык и стиль «Путешествия Иоанна Лукьянова». — Русская речь, 1979, № 1, с. 102—107.

Агиография, гимнография и легендарные сказания

В первой четверти XVIII века продолжала существовать древнерусская литературная традиция житий и служб святых и рассказов о «чудесах» (легендарных сказаний). Интерес к переписыванию старых и созданию новых произведений сохранялся в церковно-школьной, православной и старообрядческой среде;[88] рукописные сборники агиографических, гимнографических, легендарных произведений старой и новой традиции имели хождение как «народная книга» в крестьянской и городской среде по всей России на протяжении всего XVIII века. Новые жития и службы святых, написанные в духе прославления петровских преобразований, печатались и широко распространялись по всей России. К числу последних относится 16-я редакция Жития Александра Невского и «Служба благодарственная... на воспоминание заключенного мира между империей Российскою и короною Свейскою», составленные в 1724 году Гавриилом Бужинским и тогда же напечатанные. В соответствии с духом времени национальный герой Невской битвы представлен предшественником побед русских полководцев на берегах Невы в Северной войне, а Петр I подражателем и наследником дел Александра Невского. Анализ этих произведений как художественных был дан Ю. К. Бегуновым.[89] Три редакции «Службы благодарственной о великой победе под Полтавої» Феофилакта Лопатинского исследовал И. Ф. Мартынов.[90] О. А. Белоброва опубликовала и исследовала любопытное сочинение, рассказывающее о том, как Петр I повелел архимандриту Троице-Сергиевой лавры снять монастырские колокола и перелить их на пушки, но чудотворец Сергий «не позволил» этого сделать, «и великий государь в монастырь приходил, плакол, прощения просил у чюдотворца Сергия о изволнении своем».[91] Богатая и своеобразная литература вышла из среды после-

[88] Подробнее см.: Бегунов Ю. К. Рукописная литература XVIII века и демократический читатель (проблемы и задачи изучения). — Русская литература, 1977, № 1, с. 121—132.

[89] Бегунов Ю. К. Древнерусские традиции в произведениях первой четверти XVIII в. об Александре Невском.— ТОДРЛ, т. XXVI, с. 72—84.

[90] Мартынов И. Ф. Три редакции «Службы благодарственной о великой победе под Полтавой». — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 139—148.

[91] Белоброва О. А. Чудо 1701 г. с колоколами Троице-Сергиева монастыря. — ТОДРЛ, т. XXVI, с. 302—311.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

дователей «огнепального» протопопа Аввакума, старообрядцев. В Петровскую эпоху в Беломорских лесах возникли Выговский и Лексинский старообрядческие монастыри (в 1694 и 1706 годах) — своеобразные старообрядческие академии наук и искусств. Последние отпрыски рода князей Мышецких братья Андрей и Семен Денисовы-Вторушины прославились по всей России как выдающиеся старообрядческие писатели, составители «Поморских ответов», авторы стихотворного «Винограда Российского», многочисленных слов и посланий, стихов.[92]

Литературная деятельность выговцев стала в последнее время предметом специальных исследований Н. В. Понырко [93] и Д. Н. Брещинского.[94] Последние значительно расширили наши представления о закономерностях развития агиографического жанра в первой трети XVIII века, изучив жития Корнилия Выговского, Варлаама Керетского, инока Епифания, Кирилла Сунарецкого, боярыни Морозовой. Впервые на большом фактическом материале показан школьный характер выговской ораторской прозы, установлена ее зависимость от риторик XVII века, выяснены некоторые эстетические принципы Выговской литературной школы. Ю. А. Лабынцев охарактеризовал Выговский монастырь как книжно-рукописный центр. [95]

Московский старообрядческий писатель Симеон Моховиков, автор «Жития Максима Грека» (1720—1721) и составитель двух больших сборников, привлек к себе внимание И. В. Поздеевой.[96] В своей статье она анализирует состав найденного в 1971 году археографической экспедицией МГУ сборника 1715—1716 годов, содержащего «Сказание вкратце» о 133 богородичных иконах и «Лествицу о российских святых». В литературной деятельности Моховикова И. В. Поздеева усматривает попытку возрождения классических традиций древнерусской литературы.

В своей монографии «Древнерусская литература в художественном сознании и исторической мысли России XVIII века» Г. Н. Моисеева на большом фактическом материале с привлечением многих рукописных источников убедительно показывает, что своими корнями литература Петровского времени уходит в древнерусскую литературу. Поликарпов, Феофан Прокопович, Паузе, Димитрий Ростовский, Татищев во многом основываются на древнерусских летописях, Степенной книге, хронографах (см. гл. I, с. 19—47). Феофан Прокопович использует рассказы «Повести временных лет» и «Жития князя Владимира» для создания трагедокомедии «Владимир» (см. гл. II, с. 126—129). Традиции агиографии, гимнографии и ораторской прозы Древней Руси оказали воздействие на формирование эпической поэзии и торжественной лирики XVIII века (Феофилакт Лопатинский, Гавриил Бужинский, Феофан Прокопович). Вполне обоснован и конечный вывод исследовательницы: «В начале XVIII в. Россия смогла встать в один ряд с теми государствами Западной Европы, которые опередили ее в экономическом и культурном развитии... наряду с рецепцией западноевропейской культуры русская общественная мысль обращается к осмыслению опыта национального развития. В аспекте ренессансных и раннепросветительских идей XVIII в. рукописное наследие Древней Руси было включено в систему развития новых литературных жанров, возникших под влиянием эстетики классицизма: эпической поэзии и торжественной лирики, драматургии и историографии».[97]

Пародия и сатира

Всенародные торжества и всеобщее веселье были неотъемлемой частью культурного бытия Петровской эпохи, когда зрелища стали важнейшей формой художественной жизни. Фейерверки, иллюминации, торжественные шествия, маскарады, ассамблеи казались частью большого театрализованного представ-

---

[92] Подробнее см.: Зеньковский С. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. Мюнхен, 1970, с. 453—466; Crummey R. O. The old believers and the world of antichrist. The Vyg Community and the Russian state 1694—1855. Madison, 1970.

[93] Понырко Н. В. 1) Кирилло-Епифаниевский житийный цикл и житийная традиция в выговской старообрядческой литературе. — ТОДРЛ, т. XXIX, с. 154—169; 2) Выговская литературная школа в первой половине XVIII столетия. Автореферат канд. дис. Л., 1979.

[94] Брещинский Д. Н. Житие Корнилия Выговского как литературный памятник и его литературные связи на Выгу. — ТОДРЛ, т. XXXIII, с. 127—141.

[95] Лабынцев Ю. А. Польская литература и крупнейшая старообрядческая библиотека XVIII в. (Выговское общежительство и братья Денисовы). — В кн.: Федоровские чтения 1978. М., 1981, с. 197—201.

[96] Поздеева И. В. Вновь найденный сборник Симеона Моховикова с гравюрами Г. П. Теичегорского. — В кн.: Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв. (К 150-летию со дня рождения Д. А. Ровинского). М., 1976, с. 175—198.

[97] Моисеева Г. Н. Древнерусская литература в художественном сознании... с. 233.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ления, режиссером которого был сам Великий преобразователь. «На случай» сочинялись и литературные пародии. Одна из них — «Чин в князь-папы постановления» была издана по рукописи ЦГАДА (из Кабинета Петра I, ф. 9, оп. 1, № 67, лл. 44—46 об.).[98] Как продолжение скоморошьей традиции, широко использовавшей пародию и сатиру, рассматривает «Всепьянейший и всешутейший синод» Петра I американский исследователь Рассел Жгута.[99] К Петровскому времени относится пародия на военную бюрократию — «Ответ новогородцев Военной коллегии», написанная после 1721 года. В ней использован Указ 1721 года, в котором предписывалось «прислать в Военную коллегию со старых дел точные копии, а также сочинить о том и прислать экстракт». Новгородцы не понимают незнакомых слов и думают, что Военная коллегия это сестра всесильного временщика А. Д. Меньшикова, и называют ее «Милостивоя государыня Военная коллегия Варвара Даниловна», «Экстракт» толкуют как «Евстрат», «точные копии» — «точеные копья» и т. д.[100] Отметив, что литературный процесс в Петровское время стал ареной «борьбы идей», А. И. Кузьмин упоминает ряд народных произведений о Петре I и лубочных картинок, в которых содержалась критика отрицательных сторон реформ.[101] «Пародии, юмористика, демократическая рукописная сатира XVIII в., — справедливо писала В. Д. Кузьмина, — создавались на основе традиции, которая сформировалась в Древней Руси. Таковы народнйное „Завещание“ и „Глухой паспорт“, „Абшид серому коту“ и многие другие произведения».[102]

Разные темы и проблемы

В ряде современных проблемных и тематических исследований затрагивались отдельные стороны культурной и литературной жизни Петровской эпохи. Так А. И. Кузьмин проследил отражение военной темы в художественной и документальной прозе того времени.[103] Д. М. Шарыпкина заинтересовала «шведская тема» в русской литературе в связи с событиями Северной войны.[104] Образ Петра I, запечатленный классиками русской, польской и украинской литератур, привлек внимание польского исследователя В. Починайло.[105] Немецкая исследовательница Гудрун Циглер в духе традиционного Stoff- und Motivgeschichte рассмотрела приемы изображения Петербурга в русской литературе XVIII—XIX веков по модели, «заданной» Юргеном Палем.[106] Коснулась она, между прочим, и темы Петербурга в проповедях Феофана Прокоповича.[107] В. П. Гребенюк, О. А. Державина, А. С. Елеонская выступили со статьей, посвященной восприятию античного наследия в русской литературе XVII—начала XVIII века, в том числе в драматургии и ораторской прозе Петровской эпохи и у Феофана Прокоповича.[108] Американские и немецкие исследователи много пишут о начале просвещения и европейского образования в Петровскую эпоху. Но если американские ученые рассматривают просвещение односторонне, т. е. только как проникновение европейских просветительных

---

[98] См.: XVIII век, сб. 9, с. 24—27.

[99] Z g u t a R. Peter's «Most drunken synod of fools and jesters». — Jahrbucher für Geschichte Osteuropas, Wiesbaden, 1973, Bd. 21, H. I, S. 18—28.

[100] К у з ь м и н А. И. Юмор и сатира в эпистолярных произведениях рукописных сборников XVIII в. — В кн.: Литературные направления и стили. Сб. статей, посвященных 75-летию проф. Г. Н. Поспелова. М., 1976, с. 182—189.

[101] К у з ь м и н. А. И. Героическая тема в русской литературе. М., 1974. См. рец.: М о и с е е в а Г. Н. Книга о героическом характере русской литературы. — Русская литература, 1975, № 2, с. 249—252.

[102] К у з ь м и н а В. Д. Русский демократический театр XVIII века. М., 1958, с. 41—42.

[103] К у з ь м и н А. И. 1) Военная тема в литературе Петровского времени. — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 168—183; 2) Героическая тема в русской литературе, с. 22—47; 3) Развитие народно-героических тем и образов в русской литературе XI—середины XIX века. Автореферат докт. дис. Л., 1975.

[104] Ш а р ы п к и н Д. М. Шведская тема в русской литературе Петровской поры. — В кн.: Русская культура XVIII века и западноевропейские литературы. Сб. статей. М., 1980, с. 5—62.

[105] P o c z y n a j ł o W. 1) Piotr I i Petersburg w literaturze rosyjskiej roczatku XIX wieku. — Przeglad humanistyczny, Warszawa, 1976, № 6, s. 69—72; 2) Piotr I w poezji Puszkina, Mickiewicza i Szewczenki. — In: Studia polono-slavica-orientalia. Acta literaria, t. VI. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1980, s. 51—100.

[106] Z i e g l e r G. Moskau und Petersburg in der russischen Literatur (cs 1700—1850). Zur Geschichte eines literarischen Stoffes. München, Sagner, 1974. Ср.: P a h l Ju. Die Stadt im Aufbruch der perspektiwischen Welt. Berlin, 1953.

[107] Ibid., S. 26—30.

[108] Г р е б е н ю к В. П., Д е р ж а в и н а О. А., Е л е о н с к а я А. С. Античное наследие в русской литературе XVII—начала XVIII века. — В кн.: Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов. Загреб—Любляна, сентябрь 1978. М., 1978, с. 194—214.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

идей в Россию,[109] то немецкие исследователи изучают просвещение как сложный общественно-политический процесс, в который Россия и Европа были вовлечены «на равных».[110] Хельмут Грасхоф, Аннелиза Лаух и Уве Леман справедливо пишут о становлении способов изображения человека в эпоху борьбы нового со старым, т. е. в Петровскую эпоху.[111]

Международные связи

Международные связи литературы Петровского времени в семидесятые годы интенсивно изучались. Пушкинский Дом издал целый сборник статей «XVIII век, сб. 10. Русская литература XVIII века и ее международные связи» (1975), посвятив его памяти П. Н. Беркова.

Больше всего внимания уделялось первым по значимости русско-польским литературным связям. Краковский профессор Р. Лужны продолжил исследования П. Н. Беркова (Русско-польские литературные связи в XVIII веке. М., 1958). В специальной статье он прослеживает древнепольскую традицию в литературе русского просвещения.[112] Весьма полезен и сделанный им же обзор девяти изданий на польском языке в литературе эпохи Петра I.[113] Некоторый итог изучения литературно-общественных и научных связей России и Польши конца XVII—середины XVIII века подвела Г. Н. Моисеева в своем докладе VII Международному съезду славистов.[114] Паулина Левин проследила пути проникновения в русскую теоретическую мысль и в художественную практику эстетического наследия античности, переосмысленного представителями западноевропейского Возрождения и барокко.[115] Точнее, речь идет о художественной концепции польских теоретиков М. К. Сарбевского—Э. Тесауро, ставшей через Украину и Белоруссию известной в России в первой трети XVIII века. О некоторых итогах изучения проблемы «Польское барокко и Россия» сообщил А. В. Липатов.[116]

---

[109] Raeff M. 1) Origins of the Russian intelligentsia. New York, 1966; 2) Imperial Russia 1682—1825. The coming Age of modern Russia. New York, 1971; 3) The Enlightment in Russia and Russian thought in the Enlightment. — In: The Eighteenth century in Russia. Ed. by J. G. Garrard. Oxford, 1973, p. 25—47; Okenfuss M. J. 1) Education in Russia in the first half of the Eighteenth century. Ph. D. Harvard university, 1971; 2) The «Jesuit» origins of Petrins education. — In: The Eighteenth century in Russia, p. 106—130; 3) Russian students in Europe in the Age of Peter the Great. — In: The Eighteenth century in Russia, p. 131—145; Benson S. The role of western political thought in Petrine Russia. — Canadian-American slavic studies, Montreal, 1974, vol. 8, № 2, p. 254—273.

[110] Субъективизм и легковесность некоторых современных западных исследований особенно заметны на примере статьи американского историка Джона Крэйкрэфта, посвященной истолкованию снов Петра I и Екатерины I (См.: Cracraft J. Some dreams of Peter the Great. A biographical note. — Canadian-American slavic studies, Montreal, 1974, vol. 8, № 2, p. 173—197). Иначе, чем курьезной, ее не назовешь.

[111] Grasshoff H., Lauch A., Lehmann U. Humanistische Traditionen der russischen Aufklärung. Berlin, 1973. То же см. в журнале «Zeitschrift für Slawistik» (Bd. 18, 1973, H. 1, 3, 5; Bd. 15, 1970, H. 6, S. 812—836); См.: Грасхоф. Х. Значение общественно-воспитательной функции литературы для изучения русского просвещения. — В кн.: XVIII век, сб. 10, с. 54—58; Леман У. О некоторых особенностях русского просвещения. — Там же, с. 59—63.

[112] См.: XVIII век, сб. 10, с. 176—183.

[113] См.: Там же, сб. 9, с. 304—312.

[114] См.: VII Международный съезд славистов. История, культура, этнография и фольклор славянских народов. М., 1973, с. 438—451. См. также: Моисеева Г. Н. 1) Древнерусская литература и русская литература XVIII века в новых исследованиях польских ученых. — Русская литература, 1970, № 4, с. 178—183; 2) Проблемы становления новой русской литературы. — В кн.: Современная советская историко-литературная наука. Актуальные вопросы. Л., 1975, с. 115—129. Ср.: Lewin P. Literatura staropolska i literatury wschodnioslowiańskie. — In: Literatura staropolska w kontekście europejskim. Związki i analogie. Ed. by T. Michałowska and J. Slaski. Wrocław, 1977.

[115] Lewin P. 1) Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII w. (1722—1774) a tradycje polskie. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1972; 2) Барокко в литературно-эстетическом сознании преподавателей и слушателей русских духовных училищ XVIII века. — Wiener slavistisches Jahrbuch. Wien—Köln—Graz, 1977, Jhrg. 23, S. 180—198. Ср.: Липатов А. В. Польское Возрождение и Барокко в русских поэтиках XVIII века. — Русская литература, 1974, № 4, с. 202—204; Реферативный журнал. Серия 7. М., 1974, № 4, с. 142—145.

[116] Липатов А. В. 1) Формирование польского романа и европейская литература. Средневековье, возрождение, барокко. М., 1977, с. 3—6, 238—248; 2) Литературный облик польского барокко и проблемы изучения древнерусской литературы. — В кн.: Славянское барокко, с. 89—98.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Ряд статей был посвящен сопоставлению польского и русского театров, польской и русской драматургии. В общем, теоретическом плане этот вопрос был рассмотрен Б. И. Ростоцким.[117] Л. А. Софронова проследила реализацию принципов барокко в русской и польской драматургии XVII—XVIII веков.[118] Зрелищность, «театральность» спектаклей, характерные для барокко, были, по ее мнению, полностью присущи театрам Петровского времени. С. И. Николаев установил польский источник русской драмы «Дафна» (1709).[119] Переведенное с польского в конце XVII—начале XVIII века стихотворное сочинение «Златое иго супружества» издал А. М. Панченко.[120]

Русско-чешским связям посвящена работа А. С. Мыльникова, рассказывающая о деятельности русских переводчиков в Праге в 1716—1721 годах.[121]

Русско-югославянским литературным связям посвящена работа Малика Мулича.[122] Он публикует два рукописных стихотворных произведения, посвященных Петру I. Одно из них — анонимное «Песан цару Петру», найденное в тетрадке сербского монаха из монастыря Крки, а другое — латинская «Анаграмма» хорвата Павла Риттера-Витезовича и ее славянский перевод. В центре внимания М. П. Чигринского[123] две оды дубровницких поэтов Игнатия Градича «Северное пламя» (1710) и Степо Русича «Петар Алексеевич» (1711) и ода анонимного автора «Всеобщее счастье: обет Петра Великого, царя русского». В центре барочных произведений — образ Петра I, в них много аллегорий, имеющих целью показать, что победы Петра над Швецией и Турцией равнозначны торжеству сил добра над силами зла.

Русско-немецкие литературные связи Петровской эпохи после работ П. Н. Беркова[124] изучались Х. Грасхофом.[125] Ученый из ГДР отмечает и комментирует все факты откликов в Германии на события культурной и литературной жизни России в первой четверти XVIII века (см. с. 41—115 указ. книги). О гастролях труппы И. К. Эккенберга в России в 1719—1722 годах сообщила Л. Титова.[126]

Русско-английские литературные связи Петровской эпохи нашли отражение в работе Ю. Д. Левина «Английский журнал „Московит“ (1714)».[127] Она посвя-

---

[117] Ростоцкий Б. И. Создание национального театра как элемент формирования культуры славянских народов.— В кн.: Славянские культуры, с. 242—247.

[118] Софронова Л. А. 1) Театр и театральность в польской и русской культуре XVII—первой половины XVIII века. — Советское славяноведение, 1978, № 2, с. 72—82; 2) Некоторые черты художественной природы польского и русского театров XVII—XVIII вв.— В кн.: Славянское барокко, с. 171—218; 3) Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII вв. Польша, Украина, Россия. М., 1981.

[119] Николаев С. И. 1) Поэма С. Твардовского «Dafnis w drzewo bobkowe przemieniela się» в русском переводе начала XVIII в. (из истории польско-русских литературных связей). — Вестник Ленингр. гос. ун-та, 1977, № 8, история, язык, литература, вып. 2, с. 90—94; 2) Страничка из истории польско-русских литературных связей (судьба перевода «Дафны» С. Твардовского). — Русская литература, 1977, № 4, с. 117—122.

[120] Панченко А. М. «Златое иго супружества» и его источник.— ТОДРЛ, т. XXXIII, с. 308—337.

[121] Мыльников А. С. Русские переводчики в Праге. 1716—1721 гг. — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 279—288.

[122] Мулич М. Два рукописных стихотворных произведения южных славян, посвященных Петру I. — В кн.: XVIII век, сб. 9, с. 299—304.

[123] Чигринский М. П. К вопросу о русско-дубровницких историко-литературных связях эпохи барокко. Дубровницкие поэты о России и Петре I.— В кн.: Славянское барокко, с. 219—230.

[124] См.: Berkov P. N. Literarische Wechselbeziehungen zwischen Russland und Westeuropa im 18 Jahrhundert. Berlin, 1968. Ср.: Винтер Э. П. Н. Берков и «Материалы и исследования по истории Восточной Европы». — В кн.: XVIII век, сб. 10, с. 49—53. Посмертно сборники работ П. Н. Беркова о взаимоотношениях России с Западом выходили в свет в 1973 году в Англии (см.: Berkov P. N. Literary contacts between Russia and the West since the Fourteenth century. Collected studies. Preface by Todor Borov. London, 1973 (Variorum reprint), а в 1981 году — в нашей стране (см.: Берков П. Н. Проблемы исторического развития литератур. Статьи. Л., 1981).

[125] Grasshoff H. Russische Literatur in Deutschland im Zeitalter der Aufklärung. Die Propagierung russischer Literatur im 18 Jahrhundert durch deutsche Schriftsteller und Publizisten. Berlin, 1973. См. рец.: Гольдберг А. Л. Русская литература в освещении немецкой печати XVIII века. — Русская литература, 1975, № 2, с. 233—236; Ср.: Грасгоф Г. Русская культура и немецкая общественная мысль XVIII в. — В кн.: Славянские культуры, с. 331—334.

[126] Титова Л. Из истории театральной жизни в эпоху Петра I. — Советское славяноведение, 1972, № 5, с. 53—59.

[127] В кн.: Восприятие русской культуры на Западе. Очерки. Л., 1975, с. 7—31.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

щена восприятию России и событий русской истории в английской литературе первой четверти XVIII века. Это и панегирическая поэма Аарона Хилла о Петре I «Северная Звезда» (1718), и вымышленные беседы рассказчика с молодым «московитом» Плеско, касающиеся вопросов современной политики, общественной жизни, воспитания и т. п. в Англии и в России. Последние и были напечатаны в еженедельнике Сэмюэла Бакли «Московит», издававшемся в Лондоне с 5 мая по 2 июня 1714 года. Вопросы русско-английских культурных и литературных связей этого же периода рассматриваются в ряде работ английских историков М. С. Андерсона,[128] Э. Д. Симмонса,[129] А. Кросса,[130] М. Окенфуса,[131] а также в капитальном труде академика М. П. Алексеева «Русская культура и Англия».[132]

Процесс изучения литературы Петровской эпохи в настоящее время продолжается весьма интенсивно и плодотворно. Открываются все новые и новые рукописные тексты литературных произведений, выходят в свет публикации новых, дотоле неизвестных текстов. Наши представления об историко-литературном процессе первой четверти XVIII века уточняются, способствуя более глубокому и источниковедчески обоснованному представлению о его характере, движущих силах и конечных целях движения. Еще не вся литература Петровской эпохи поддается описанию как определенная система литературных родов и жанров, находящихся в состоянии подвижного равновесия. Но уже проступают контуры будущей литературы нового времени, у истоков которой стоял Петр I.

---

[128] Anderson M. S. Britain's discovery of Russia. 1553—1815. London—New York, 1958.

[129] Simmons E. J. English literature and culture in Russia (1553—1840). 2-nd ed. New York, 1964.

[130] Russia under western eyes. 1517—1825. Ed. with an introduction by A. Cross. London, 1971; Cross A. Anglo-Russian relations in the Eighteenth century. Exhibition devised and Catalogue compilled by Anthony Cross. 5—29 July 1977. Library concourse. University of East Anglia. Norwich. Ср.: Левин Ю. Д. Русские в Британии XVIII века. — Русская литература, 1981, № 4, с. 237—241.

[131] Okenfuss M. J. Russian students in Europe in the Age of Peter the Great. — In: The Eighteenth century in Russia, p. 131—145.

[132] Лит. наследство, т. 92 (в печати).

Марта Мезеш (*Венгрия*), *М. А. Туръян*

МИР ТУРГЕНЕВА *

Имя Тургенева стало известно и знаменито в Венгрии еще при жизни писателя: начиная с 50-х годов прошлого века оно завоевало здесь неслыханную популярность. Тургенев был признан — вслед за Пушкиным и Гоголем — «королем русской прозы». После смерти писателя венгерская печать отмечала, что почти все, им созданное, переведено на венгерский язык. По свидетельству известного современного исследователя Андраша Диоссеги, «духовное и художественное влияние» Тургенева охватило в венгерской литературе «три поколения».[1] Глубина и сила этого воздействия оказались таковы, что дали основание ученым выделить особую «тургеневскую линию» в венгерской литературе. Однако с конца XIX века ориентация и вкусы венгерских писателей заметно меняются: новая венгерская литература обратилась к иным принципам и методам художественного исследования, к художественному опыту Достоевского, Толстого, французских натуралистов. Фигура недавнего кумира — Тургенева — была отодвинута на второй план. Но влияние его не сошло на нет вовсе: притягательная сила тургеневской прозы, пустившей на венгерской почве глубокие корни, давала себя знать и в последующие годы.

Тем не менее всестороннее изучение этого влияния, не раз становившегося уже предметом исследования, требует дальнейших усилий. Назрела также настоятельная необходимость дать современному венгерскому читателю и целостное представление о личности Тургенева — с учетом исторической перспективы и новейших научных достижений. Эту потребность в значительной мере удовлетворила книга известной венгерской исследовательницы русской литературы Жужанны Зельдхейи «Мир Тургенева». Ее труд — по существу первая биографическая монография о русском

---

* Zöldhelyi Zsuzsa. Turgenyev világa. Budapest, «Európa», 1978, 339 p.

[1] Диосеги Андраш. Венгерские последователи Тургенева. — В кн.: Венгерско-русские литературные связи. М., 1964, с. 27.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

писателе на венгерском языке. (В 1964 году была издана небольшая книга о Тургеневе того же автора). Вышедшая в популярной серии «Мир писателя» в издательстве «Европа», она, однако, отвечает не только популяризаторским и просветительским задачам, но и отличается серьезными научными достоинствами, строгой и четкой научной мыслью. Это делает книгу Зельдхейи заметным явлением в венгерской русистике последних лет. Монографии предшествовал ряд работ исследовательницы о Тургеневе, хорошо известных специалистам — в частности и у нас в стране — и вошедших в научный оборот.[2]

Вначале — о самом жанре книги, о плодотворно преобразованном жанре научно-популярной биографии, с очень существенным акцентом на *мире* писателя, позволяющим традиционное биографическое повествование вплавить в предельно расширенный социальный, историко-культурный, интеллектуальный контекст эпохи, сделать образ времени столь же значимым, как и образ личности. Такой угол зрения в применении к Тургеневу представляется наиболее важным — прежде всего в силу особенной его судьбы, тесно связанной с жизнью не только русской, но и европейской. Именно это позволило Ж. Зельдхейи воссоздать в книге многогранный облик писателя, возникающий из переплетения событий личной и творческой жизни, его раздумий над проблемами острозлободневными, к которым он был так чуток, и «вечными» — из всего того, что донесла до нас его живая и взволнованная мысль, запечатленная в произведениях, письмах, разговорах, отраженная, подчас с парадоксальной противоречивостью, в восприятии современников.

Кроме того, следует учитывать, что венгерский читатель ориентирован на уже сложившуюся традицию понимания не только писательской, но и человеческой личности Тургенева — традицию подчас апокрифическую и, следовательно, нуждающуюся в существенных дополнениях и уточнениях. Таким образом, в книге Ж. Зельдхейи обнаруживается и своя «сверхзадача». Этим объясняется, очевидно, отчасти и принцип отбора и освещения материала. С одной стороны, автор очерчивает общий исторический и литературный фон современной Тургеневу эпохи, скажем, литературный быт Москвы 1840-х годов — периода становления и формирования Тургенева-писателя, или эпоху «мрачного семилетия», «шестидесятых годов», «немецкое море», революционную Европу или Париж времени Третьей республики и т. д. С другой — исследовательница подробно останавливается на таких специфических явлениях, «уловленных» Тургеневым в русской действительности, как «лишние люди» или «нигилизм» (им, как, например, и теме «Гамлеты и Дон-Кихоты», посвящены в книге отдельные главы). Явления эти, естественно, прежде всего соотнесены в книге с Тургеневым и проанализированы в их конкретно-художественном воплощении. Кроме того, автор останавливается и на расширительном их значении, существенно дополняющем историческую картину «вечно создающейся России» — и делает это, на наш взгляд, не случайно, так как круг этих проблем должен представлять для венгерского читателя двойной интерес. Не исключено, что не без влияния русского писателя в венгерской литературе прошлого века возникли свои Рудины и Базаровы. Существовала в венгерской литературе 1870—1880-х годов и проблема «нигилизма» — в частности, герой типа «венгерского Базарова» дал возможность таким писателям, как, например, Иштван Петелеи или Элек Гожду, выразить ощущение социальной тревоги и неблагополучия.

Вообще теме восприятия тургеневских традиций венгерской литературой, оценке его венгерскими писателями и критикой XIX—начала XX века, как и отношению Тургенева к свободолюбивой Венгрии, закономерно отведено в книге особое место. В тревожные для Венгрии июльские дни 1849 года русский писатель выразил свое отношение к трагическому исходу революционных событий, развернувшихся здесь, в словах, полных горечи и сочувствия. «Бедные венгры! — писал он Полине Виардо. — Честный человек, в конце концов, не будет знать, где ему жить: молодые нации еще варвары, как мои дорогие соотечественники, или же, если они встают на ноги и хотят идти, их раздавливают, как венгров. . .»[3]

Прослеживая этапы литературной биографии писателя, Ж. Зельдхейи подробно останавливается еще на одной, важной для Тургенева теме: его связях с западной и, в первую очередь, с французской культурой. Его личные и творческие взаимоотношения с Флобером, Золя, Мопассаном, Гонкурами, Генри Джеймсом, Теодором Штормом, Людвигом Пичем и другими освещены с привлечением обширного документального — эпистолярного, мемуарного — материала, в сочетании с тонким анализом сложной литературно-эстетической природы этих отно-

[2] Мы имеем в виду следующие статьи Ж. Зельдхейи: Стихотворения в прозе И. С. Тургенева в Венгрии. — Studia Slavica Hung., 1968, XIV, с. 393—404; «Таинственные повести» Тургенева и русская литература XIX века. — Там же, 1973, XIX, с. 347—364; Первые шаги Тургенева-новеллиста. (В поисках собственной манеры). — Там же, 1979, XXV, с. 452—464.

[3] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т., Письма в 13-ти т., т. I. М.—Л., 1961, с. 480.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

шений (см., например, о Тургеневе и Флобере). Многолетнее тесное общение Тургенева с французской культурой составило, по мысли исследовательницы, важную часть его художественного опыта. И, наконец, миссия «литературного посла России», добровольно взятая на себя Тургеневым в период его жизни за границей, удивительная широта и терпимость его взглядов открывают венгерскому читателю еще одну грань этой незаурядной личности.

Ж. Зельдхейи не только со всей возможной полнотой учитывает новейшие достижения тургеневедения (в первую очередь советского) — ее книга сама отличается новизной, оригинальностью взглядов и независимостью суждений по многим спорным вопросам тургеневского творчества. Прежде всего это относится к «таинственным повестям» и «Стихотворениям в прозе». Как своей статьей, предшествовавшей книге,[4] так и здесь Ж. Зельдхейи включается в не утихающие до сих пор споры об этих тургеневских циклах. Безусловно справедливой представляется данная ею общая оценка «таинственных повестей»: в отличие от высказывавшейся еще при жизни писателя точки зрения исследовательница рассматривает их не как свидетельство «упадка» художественного мастерства писателя, а как очень существенный этап его творческой эволюции. Она раскрывает закономерность их появления в атмосфере философских и литературных исканий времени — как в России, так и на Западе. «Таинственные повести», по ее мнению, демонстрируют одну из граней психологического метода Тургенева, наиболее сближающую его с кругом психологических интересов Достоевского и Толстого. Метод этот отличает прежде всего пристальное внимание писателя к «таинственным явлениям человеческой психики». При этом очень важно понимание автором самой природы интереса Тургенева к этим явлениям — интереса, далекого от какого бы то ни было «мистицизма», но, напротив, стимулированного открытиями в области естественных наук, философией позитивизма и литературной практикой французских натуралистов. Не случайно сам Тургенев называл свои произведения о «таинственном» «психофизиологическими этюдами». Совершенно закономерно в этом случае, наряду с Достоевским и Толстым, возникает рядом с Тургеневым и фигура В. Ф. Одоевского — исследовательница усматривает в их произведениях сходную основу фантастического, вытекающую из рационалистического философского мировоззрения обоих писателей. Аналитический дух, «фантастизм и анализ», по выражению Одоевского, — при других существенных различиях — роднят их «таинственные повести».

Отмеченные Ж. Зельдхейи связи бесспорны. Однако хотелось бы более четкой дифференциации в анализе художественной природы и философских источников различных типов «психологической фантастики», функции романтических мотивов и т. д. Иногда спорной представляется и классификация самих тургеневских «таинственных повестей», данная по принципу «условно-обобщенного» и «психологического» характера фантастики. Понятно, что все эти сложные и почти не разработанные наукой проблемы затронуты в книге лишь в общем виде — однако сама постановка их представляется чрезвычайно плодотворной. Тонко анализируя художественные, эстетические, стилистические особенности «таинственных повестей», исследовательница показывает, что они явились не только выражением определенных веяний эпохи, но и подготовили почву для развития различных тенденций в литературе конца века — как реалистических, так и символистских. Прежде всего эту преемственность усматривает Ж. Зельдхейи в «малой» прозе В. Брюсова.

Новые художественные поиски Тургенева, совпавшие с некоторыми важными моментами эволюции русской литературы конца XIX века, нашли также свое выражение и в «Стихотворениях в прозе». Ж. Зельдхейи видит источник возникновения этого уникального жанра в тургеневском творчестве не столько в сближении с поэзией, со стиховыми формами, сколько в природе самой тургеневской прозы — в его музыкальной, прозрачной пейзажной лирике.

Неповторимый мир Тургенева — писателя и человека — воссоздается в книге Ж. Зельдхейи из множества многообразных миров. Такое широкое «дыхание», присущее этой монографии, оказалось возможным, по свидетельству самой исследовательницы, благодаря изданию полного академического собрания сочинений и писем Тургенева, имеющего огромное научное значение и сделавшего доступным для зарубежных ученых в полном объеме не только художественное, но и эпистолярное наследие писателя. Последнее оказалось принципиально важным для исследовательского метода автора книги: чутко прислушиваясь к «голосу» Тургенева, она постоянно учитывает при анализе его произведений авторские самооценки; письма помогают ей проникнуть в духовный мир, духовную деятельность писателя, ярче показать обаяние тургеневской личности.

В заключение хочется отметить изящество изложения и стройную композицию книги. Она состоит из двадцати трех небольших глав, каждой из которых предпослан эпиграф, служащий как бы лирическим «ключом». Впечатление дополняют прекрасно подобранные иллюстра-

[4] Зельдхейи-Деак Ж. «Таинственные повести» Тургенева и русская литература XIX века. — Studia Slavica Hung., 1973, XIX, с. 347—364.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ции, большинство из которых предоставлено автору фототекой Института русской литературы АН СССР. Книга снабжена обширной библиографией, лишний раз доказывающей, что венгерский читатель впервые получил не только живо и увлекательно написанное, но и строго документальное исследование о Тургеневе, отвечающее всем научным требованиям.

Н. М. Келейникова

ХРОНИКА ГОРОДА ГЛУПОВА ПО-АНГЛИЙСКИ *

Более ста лет тому назад И. С. Тургенев, немало сделавший для того, чтобы за рубежом узнали и полюбили Салтыкова-Щедрина, представляя английскому читателю «Историю одного города», впервые рекомендовал эту замечательную сатиру как выдающееся произведение, выдвигающее Щедрина в ряды мировых сатириков, но подчеркивал, что оно вряд ли поддается переводу на английский язык. С этим можно было бы согласиться, так как «История одного города» построена на исключительно русском материале, с широким привлечением фактов русской истории, притом к изложению материала применено эзоповское иносказание со всеми его особенностями и сложностями.

И все же это совершенно необычное произведение даже для нашей литературы, не имеющее прецедента в мировом словесном искусстве, привлекало внимание исследователей за рубежом политической остротой своего содержания с пророческими предсказаниями, выраженными в форме реалистической фантастики. Его пытались трактовать в монографиях, посвященных жизни и творчеству Салтыкова-Щедрина, помещали фрагментарные переводы в антологиях, но никто не отваживался сделать полный перевод сатирического романа-утопии вплоть до 1961 года, когда «Историю одного города» перевел на итальянский язык и комментировал Пьетро Цветеремич.[1]

И вот теперь гениальная сатирическая хроника снова перешагнула национальные границы в полном переводе на английский язык, осуществленном известным ученым Оксфордского колледжа И. П. Футом.

Филолог глубокой эрудиции, большой знаток русской литературы и языка, горячий поклонник творчества Салтыкова-Щедрина, называющий его «самым проникновенным русским сатириком, которого когда-либо порождала Россия», И. П. Фут посвятил переводу «Истории одного города» 20 лет, продемонстрировав искреннюю любовь к писателю и бережное отношение к тексту.

В предисловии, носящем характер эссе и неразрывно связанном со всем трудом Фута-переводчика, ученый дает краткий литературный портрет Щедрина, раскрывает значение его творчества в русской и мировой литературе как великого сатирика, пишет о своеобразии романа, определяя его идейную значимость. Исследователь говорит о задачах и трудностях перевода, связанных со своеобразной щедринской поэтикой, и пытается дать ключ к восприятию щедринской сатиры. Он объясняет английскому читателю финал «Истории одного города» через раскрытие сути дискуссии вокруг заключительного эпизода романа, указывая на глубокое философское звучание его в целом и признавая возможным существование двух основных версий толкования аллегорического образа «смерча» («революция» или «реакция»).

Перед Полом Футом возникла очень трудная задача — передать сложность исторического аспекта, донести актуальное звучание «Истории одного города», перевести на другой язык многообразное художественное полотно, роман-памфлет, сочетающий в себе историческую хронику, романное повествование с большими временными смещениями, фантастическими перебоями, с загадочными характерами, зашифрованными эзоповым щедринским языком, труднодоступным для толкования даже в отечественной критике. Интерпретатору предстояло постичь смысл композиции, сюжетики романа и поэтику их стилевого воплощения в образах.

К разрешению поставленных задач И. П. Фут подошел со своей концепцией всего произведения в целом, близкой к нашему пониманию и новой, оригинальной для английского литературоведения. Он заявляет в предисловии, что в узком современном контексте «История одного города» как бы снимает различие между до- и послереформенной Россией, в более широкой же рецепции роман приобретает универсальный смысл и становится моделью любого деспотического режима.

В соответствии со своим пониманием мирового значения «Истории одного города» И. П. Фут рассуждает также о труд-

---

* Saltykov-Shchedrin. The History of a Town. Translated by I. P. Foote. Willem A. Meeuws publisher. Oxford, 1980.

[1] Saltykov-Ščedrin. Storia di uno città. Trad. di P. Zweteremich. Roma, 1961.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ностях восприятия щедринской поэтики английским читателем, для которого предназначен перевод и с которым он связывает выбор путей этого перевода. По собственному признанию ученого, он очутился перед дилеммой: стать на путь перевода с обширными комментариями и приложениями или дать ключ английскому читателю к пониманию того, что такое эзопов язык и стиль Щедрина с краткой исторической справкой. Предпочтение, оказанное последнему, определило все особенности перевода, сделав несколько академичным сложное, полифоническое по проблематике и поэтике произведение.

Академический подход определил и решение переводчиком ряда проблем, связанных с эзоповым языком Щедрина. Он точен и близок к тексту там, где это возможно. Гиперболизация и реалистическая фантастика, «понижение тона» (термин, удачно найденный у самого Щедрина А. С. Бушминым для определения целого направления в поэтике писателя) — здесь раскрывается своеобразие Щедрина на английской почве: мы отчетливо слышим свифтовские интонации в манере перевода гиперболизированных фантастических образов.

Щедрин писал, что он не является изобретателем манеры иносказания, она восходит к древнегреческому баснописцу Эзопу (шестой век до н. э.). Азбука эзопова языка в дальнейшем вырабатывалась и усложнялась не на почве случайных субъективных ассоциаций, а с опорой на предшествующий коллективный опыт, на длительную и сатирическую и басенную традицию, на образность народной речи и особенно на традиции фольклора.

И. П. Фут удачно передает целый ряд элементов эзоповского иносказания, смысл системы «эзоповских» типологических имен, кличек, названий, образов, выражений, слов, формул и т. д. и т. п.

Краткая энергичная фраза переводчика сродни свифтовской и близка авторской повествовательной интонации. Сохраняются щедринская структура образа, поэтические аллегории, художественная стилистика (лексика, фразеология, тропы и т. д.). Композицию произведения переводчик воссоздает без купюр, не допускает вольного обращения с текстом. Фут использует всевозможные приемы для передачи языка оригинала: адекватные английские пословицы, сленг, ходовые разговорные слова, словосочетания и выражения и т. п. Стремление «удержать» оригинал на высоком уровне перевода, «не упустить» его главные ценности, донести до английского читателя аромат русской сатиры постоянно руководит переводчиком.

Но эзопов язык — сложное понятие, диалектически включающее в себя самые разные компоненты, в том числе и стилизованную речь повествователя, которая тоже как понятие весьма сложна и диалогична. И здесь, когда звучит голос самого Щедрина, перевод совпадает с оригиналом. Когда же И. П. Фут переводит стилизованные фрагменты (наивный летописец, сказитель), у него невольно пропадает действенная, сардоническая, разящая наповал щедринская ирония. Так произошло с «летописным» вступлением к хронике города Глупова. Спародированный стиль летописи не получился на английском языке. Когда переводчик пытается передать этот стиль современным английским языком, пропадает «диалогизм» художественного слова, нарушается интонация автора в нем. Это делает несколько однозначным звучание щедринского слова, нарушая эзоповский стиль сатирика.

Но здесь происходит неизбежное: переводчик не писатель и не художник, он филолог, одаренный исследователь творчества Щедрина, досконально знающий материал; он живет в этом материале, любит его — все это ясно просвечивает сквозь текст. Однако в переводе «Истории одного города» отсутствует в известной мере фермент художественности, именно поэтому он получился несколько суховатым, академичным. Правда, сам И. П. Фут справедливо оговаривает в предисловии объективные и субъективные трудности перевода такого творения, как «История одного города», он даже с излишней скромностью называет его «весьма бледной копией оригинала».

Трудно сказать, как бы выглядел перевод в исполнении писателя-художника. Несомненно одно — И. П. Фут, ученый, переводчик, сделал достоянием культурной жизни Англии этот необыкновенный роман-памфлет, открывающийся перед английским читателем во всей злободневности и актуальности, воинственно протестующий против любых форм бюрократической деспотии.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Г. А. Цветов

ХРЕСТОМАТИЯ ПО СОВЕТСКОЙ КРИТИКЕ *

Значение вышедшей недавно *первой* хрестоматии по русской советской литературной критике трудно переоценить. Наконец-то преподаватели и студенты-филологи получили учебное пособие, столь необходимое для более успешного чтения и усвоения вузовского курса. Потребность в подобном издании назрела уже давно, но появление 21 января 1972 года Постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», благотворно воздействовавшего на все области литературной жизни, ускорило подготовку книги. В Постановлении наша партия призывала педагогов-ученых направить усилия на повышение профессионального уровня молодых критиков. В документе указывалось, что достичь желаемой цели можно лишь путем создания удовлетворительной учебно-методической базы. Вкладом в ее укрепление и является рецензируемая хрестоматия.

Можно с уверенностью сказать, что это учебное пособие поможет студентам разобраться в сложных поисках критиков, осмыслявших пути развития искусства в самое горячее время истории нашего государства (1917—1934 годы), наполненное противоречиями, нерешенными вопросами. Оно сможет не только пробудить интерес будущих молодых специалистов к проблемам, связанным с историей критики, но и вовлечь их в круг вопросов, занимающих исследователей современного литературного процесса, что должно сказаться на сегодняшней литературно-критической практике. А ведь именно заботой о ее совершенствовании и было проникнуто Постановление, в котором, в частности, говорилось: «Долг критики. . . — глубоко анализировать явления, тенденции и закономерности современного художественного процесса, всемерно содействовать укреплению ленинских принципов партийности и народности, бороться за высокий идейно-эстетический уровень советского искусства, последовательно выступать против буржуазной идеологии».[1] Глубокое же осознание критикой сегодняшних задач предполагает необходимое знакомство с опытом предшественников, извлечение из него уроков.

Хрестоматия «Русская советская литературная критика» вместе с уже ранее состоявшимися изданиями [2] дает возможность проследить развитие критической мысли в России в ее исторической преемственности, начиная с XVIII века и до 1934 года. Точным обозначением первого периода в истории советской критики (1917—1934 годы) она закрепляет теоретически намеченную исследователем сначала в статье,[3] а затем практически использованную в «Программе по истории русской советской критики» (МГУ, 1976) периодизацию вузовского курса.

Выделенные П. Ф. Юшиным закономерности в развитии русской советской критики представляются достаточно точными и обоснованными. Не случайно за годы бытования укрупненной периодизации, пришедшей на смену дробному делению, недостаточно учитывавшему специфику критического процесса, в адрес ученого не последовало сколько-нибудь серьезных замечаний, ставящих под сомнение его концепцию.[4]

Хрестоматия задумывалась, видимо, как универсальное учебное пособие. Вместо традиционного набора программных текстов, приведенных в первозданно полном или сокращенном виде, в ней присутствуют выборочные цитаты из них, скомпонованные по проблемно-хронологическому принципу. И хотя этот принцип построения несравненно более трудоемкий, благодаря ему у составителя появилась возможность с последовательностью, достойной учебника или научного изыска-

---

* Русская советская литературная критика (1917—1934). Хрестоматия. Учебное пособие для студентов филол. фак. пед. ин-тов по спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». Сост. проф. П. Ф. Юшин. М., «Просвещение», 1981, 447 с.

[1] О литературно-художественной критике. Постановление ЦК КПСС. 21 января 1972 года. — В кн.: Об идеологической работе КПСС. Сборник документов. М., 1977, с. 494—495.

[2] Русская критика XVIII—XIX веков. Хрестоматия. Сост. В. И. Кулешов. М., 1978; Кулешов В. И. История русской критики XVIII—XIX веков. М., 1972 (изд. 2-е — 1978); Кауфман Р. С. Русская и советская художественная критика с середины XIX в. до 1941 г. М., 1978.

[3] Юшин П. Ф. О принципах построения лекционного курса «История русской советской литературной критики». — Филологические науки, 1975, № 6.

[4] Правда, в 1977 году В. П. Муромский предлагал перенести границу первого этапа с 1934 года на 1932 год («Русская литература», 1977, № 1, с. 82—83). Однако возражения его не носили принципиального характера, так как все названные В. П. Муромским процессы были учтены московским исследователем, только П. Ф. Юшин выделил их как завершающие для первого этапа, предопределенные исканиями послереволюционных лет. а В. П. Муромский в первую очередь отметил в них ростки последующих свершений в области критики.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ния, попытаться проследить эволюцию основных проблем, определяющих критическое лицо эпохи. Ими, по мысли ученого, являются следующие: идейно-художественные принципы и пути развития советской литературы; вопросы методологии; творческий метод и стиль; освещение текущего литературного процесса. Особое место отведено проблемам, занимавшим участников Первого Всесоюзного съезда советских писателей. Каждой из обозначенных узловых проблем советской критики тех лет в хрестоматии соответствует определенный раздел, который в свою очередь членится на мелкие подглавки с выделенными в них более частными вопросами.

Вовсе не считая избранную П. Ф. Юшиным форму построения учебного пособия единственно правильной, следует признать ее удачной применительно к исследуемому периоду. При традиционном построении хрестоматии составителю вряд ли удалось бы передать пестроту суждений, разнокалиберность идей, разнохарактерность программных заявлений, стилистическую разноголосицу, определяющие особенности периода становления советской критики. В результате же отрывочного цитирования различных работ литераторов, «молившихся разным богам» в искусстве, но задумывавшихся над одними и теми же вопросами, в некоторых разделах книги хотя бы частично реставрируется, казалось бы не поддающаяся восстановлению, сама атмосфера эпохи. И делается это осознанно и целенаправленно, о чем свидетельствует признание самого П. Ф. Юшина: «В хрестоматию включены тексты критической литературы, позволяющие студентам сделать выводы как о позитивном движении критики в исполнении своего призвания, так и о чуждых и ошибочных тенденциях, сдерживавших ее плодотворное развитие и преодолевавшихся в острой борьбе за утверждение ленинских методологических принципов» (с. 5). Подобная подача материала таила в себе опасность излишней драматизации и без того острых коллизий, возникавших в литературной жизни тех лет. Однако составителю удалось ее избежать. Более того, можно упрекнуть П. Ф. Юшина в некоторой сглаженности оценок, «причесанности» полемик. Так, слишком уж спокойным предстает в хрестоматии отношение критиков к творчеству А. М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. Н. Толстого, М. А. Шолохова и др. Только некоторые, встречающиеся в выдержках, оговорки типа: «У нас нет бережного отношения к художникам. Нет его и к Толстому. А. Толстого поносят и разносят» (с. 274) содержат отзвуки критических баталий.

Расширенное освещение полемик, а то и откровенно тенденциозных выступлений вульгарно-социологических критиков не только не поколебало бы авторитета признанных ныне мастеров слова, но сделало бы уроки прошлого действеннее и поучительнее. Достаточно было бы одной—двух ярких цитат, к примеру, из книги О. Бескина «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика» (М., 1930) или из других, близких по духу работ, чтобы продемонстрировать несостоятельность подобной критической практики.

Такие дополнения могли бы даже не увеличить объем издания, если бы их произвести за счет сокращения проходных, бесцветных выдержек из статей полузабытых или вовсе забытых (и справедливо!) критиков и литераторов 20-х годов. Например, не было бы ошибкой исключение единичных вкраплений из статей Б. Кушнера, И. Поступальского, В. Масса, А. Дивильковского, А. Стецкого и некоторых других литераторов. Более строгий и тщательный отбор критического материала способствовал бы очистке хрестоматии от необязательной информации, от общих мест типа: «. . .„Шторм“, пожалуй, даже не пьеса в обычном смысле этого слова. Это ряд картин, лишенных последовательно развивающегося единого действия, лишенных обычной интриги и любовных перипетий. Но в этих картинах целая галерея живых и ярких образов и какая-то органическая цельность, которая заставляет зрителя смотреть пьесу с непрерывным, все возрастающим напряжением. . .» (с. 317) и т. д. и т. п. Дело здесь не только в том, что приведенная выдержка мало говорит о прочтении пьесы В. Билль-Белоцерковского современниками, но и в том, что она взята из статьи некоего драматурга и поэта В. Масса, от случая к случаю занимавшегося рецензированием. И уж коли историки советской драматургии и поэзии не считают зазорным обходить художественные опыты этого литератора молчанием, то у составителя хрестоматии по литературной критике были все основания воздержаться как от цитирования его статьи, так и от биографической справки в комментариях (с. 441).

Несмотря на указанные просчеты, подбор и компоновка материала по проблемно-хронологическому принципу дали возможность составителю в разделах и подглавках сфокусировать свое представление о развитии литературно-критической мысли на первом этапе ее формирования, что естественно сделало издание аналитичным и повысило его познавательный уровень. Так, в третьем разделе читателям не навязано, но предложено определенное понимание того, как в критике послереволюционных лет разрешались проблемы творческого метода и стиля. Основываясь на логике эпохи, П. Ф. Юшин подводит читателей к ее осознанию через почти десятилетний путь исканий молодой советской критики и художественной литературы в вопросах традиций и новаторства, формы и содержания. Таким образом, постановка проблемы творческого метода предстает как

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

результат повзросления представителей литературного цеха, их возмужания, проходившего в жарких межгрупповых баталиях, при овладении методологическими принципами марксистской критики и при непременном участии самой русской советской литературы, набиравшей силы, крепнувшей, завоевывавшей мировое признание.

Особое место в подготовке философской базы для плодотворного разрешения проблемы метода ученый отводит теоретическому наследию В. И. Ленина. Первая подглавка рассматриваемого раздела так и называется: «В. И. Ленин о марксистском методе познания». По замечанию П. Ф. Юшина, он «стремился использовать работы В. И. Ленина, партийные документы, высказывания по вопросам литературы и искусства видных деятелей Советского государства во всех разделах» (с. 11) учебного пособия, т. е. сделать их цементирующим, идейно-направляющим началом издания. И надо отдать должное составителю: он справился с поставленной задачей.

В скобках оговорюсь, что при столь последовательном обращении к ленинскому наследию вызывает недоумение отсутствие в хрестоматии программного (во всех смыслах, ибо оно значится в программе по истории советской критики) письма Владимира Ильича Ленина Г. И. Мясникову, написанного 5 августа 1921 года и содержащего глубокие мысли о свободе печати.[5]

Структура хрестоматии такова, что следующие за ленинскими высказываниями подборки наблюдений, замечаний, размышлений критиков невольно соотносятся с основополагающими ленинскими. Подобное построение учебного пособия, казалось бы, безусловно верно, так как при нем становятся очевидными любые отклонения от марксизма. Однако восстановив историческую правду, расставив правильные акценты, составитель нередко лишает читателя возможности представить реальное положение вещей, определявшее литературно-критическую жизнь 20-х годов, понять действительную расстановку сил в исследуемый период.

Первый этап в истории русской советской критики не был таким гладким и спрямленным, каким он предстает порою на страницах хрестоматии. Далеко не сразу ленинская мысль, марксистская методология стали определяющими в развитии литературной жизни России. На протяжении почти всего послереволюционного десятилетия господствующими в литературной теории и критике оставались идеи Г. В. Плеханова. И только в конце 20-х годов, в результате целенаправленной работы, проводившейся критиками-марксистами, и прежде всего А. В. Луначарским, на собственном опыте познавшим односторонность и уязвимость теорий Г. В. Плеханова, намечается пересмотр литературно-критических ориентиров. Окончательное же закрепление этого оздоровительного процесса происходит только в начале 30-х годов, с публикацией некоторых важных работ К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и с выходом в свет серьезных исследований, научно обосновывавших вклад Владимира Ильича Ленина в осмысление проблем искусства.

Сложности и превратности идейного перевооружения критики и литературоведения на рубеже двух десятилетий достаточно полно изучены в работах А. И. Метченко, С. И. Шешукова и других ученых. И тем менее оправдано отсутствие анализа этого процесса на страницах хрестоматии. Удивляет и тот факт, что, вводя в учебное пособие подглавку «Литературно-эстетические идеи Г. В. Плеханова в критике (20-е г.)», составитель нашел нужным в комментариях объясниться по поводу В. М. Фриче, В. Ф. Переверзева, И. М. Нусинова, чьи высказывания о плехановских идеях были приведены в подглавке, но не счел необходимым даже вкратце остановиться на всем комплексе эстетических, философских, социальных воззрений, связанных с именем Г. В. Плеханова.

Вообще попытка выявить и хотя бы пунктирно воспроизвести творческие индивидуальности некоторых крупных критиков изучаемого периода (А. Луначарского, А. Воронского, В. Полонского, А. Селивановского, В. Ермилова и др.) сочетается в хрестоматии с обезличенным в ряде случаев освещением фактов. Пожалуй, слишком обобщенной, внеличностной выглядит на страницах пособия теория Пролеткульта, а имя ее основателя упоминается всего один раз — в связи с резолюцией, принятой Первой Всероссийской конференцией пролетарских культурно-просветительных организаций. Сведения же о А. А. Богданове, данные в комментарии к этой резолюции, где сообщается о том, что он был «главным теоретиком Пролеткульта», к тому же «общественным деятелем, философом, экономистом» (с. 418), никак не подкреплены текстовым материалом.

Недостатки отбора некоторых цитат зачастую усугубляются скомканностью пояснений. Удивляет отсутствие в комментариях отдельной статьи о РАПП (упоминание об ассоциации встречается лишь в статье о ВАПП). Этот факт тем более странен, что одним из комментаторов является С. И. Шешуков — автор содержательной, богато проиллюстрированной примерами (которые представляются иногда выразительнее и ярче приведенных в хрестоматии) книги «Неистовые ревнители» (1970), целиком посвященной деятельности ассоциации. Огорчительно, что нет и библиографии, которая хотя бы частично компенсировала беглость пояснений, — поэтому тот, кто не

[5] См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 78—83.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

знает о существовании книги С. И. Шешукова, рискует так с ней и не познакомиться.

К слову сказать, для учебного пособия, каковым является рецензируемая хрестоматия, вспомогательный аппарат ее явно недостаточен. Остается непроясненной из-за отсутствия каких-либо комментариев позиция перевальцев, цитатами из статей представленная в статическом виде, оказывается неосвещенной судьба группировки в целом, а также суть дискуссий с теоретиками РАПП. В статье о первом советском литературно-художественном и научно-публицистическом журнале «Красная новь» составитель опускает имя его создателя и главного редактора, одного из ведущих критиков тех лет А. Воронского и не оговаривает, что именно вокруг этого издания сплотились перевальцы. Ничего не сказано и об эволюции взглядов членов редколлегии журнала. В комментариях не нашлось места для объяснения ситуаций, в которых возникали те или иные полемические статьи и высказывания (взять хотя бы выступления А. М. Горького, Н. К. Крупской — с. 17, 18). Не раскрывается этимология названия группировки «Серапионовы братья», во многом проливающая свет на идейно-эстетическую позицию «побратавшихся» художников. Не разъяснено отношение имажинистов к искусству прошлого, что делает малодоказательным справедливый тезис, выдвинутый П. Ф. Юшиным на с. 9: «. . .Проблема традиций — одна из острейших в литературе периода гражданской войны и 20-х гг.» Положение это могло бы быть более последовательно раскрыто и в документах, декларациях, статьях пролеткультовцев, серапионов, конструктивистов и т. д., а также в комментариях к ним.

Принятый составителем проблемно-хронологический принцип отбора и компоновки материала предполагает естественную аргументированную поддержку, разъяснение концепции в комментариях и в предисловии. Поэтому, видимо, необходимо было или существенно расширить вступительную статью (ведь как бы полно цитаты из работ разных периодов ни раскрывали суть эстетических, социальных, философских поисков отдельных критиков, эволюция их взглядов достаточно полно может быть уловлена читателями только при наличии развернутого введения, дающего анализ основных закономерностей литературного процесса), или, сохранив авторское предисловие в том виде, в каком оно существует в хрестоматии, дополнить его значительно расширенными и уточненными комментариями. Была и третья возможность — поместить проблемные статьи, предваряющие каждый из пяти разделов учебного пособия. Однако все возможности оказались, к сожалению, упущенными.

Вероятно, заинтересованные читатели обнаружат и другие недочеты, неточности, опечатки, о которых не говорилось в данной рецензии. Однако никакие погрешности не могут заслонить того положительного, что содержит в себе первая хрестоматия по русской советской литературной критике.

В. А. Ковалев

О ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПО СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Сейчас назрели вопросы дальнейшего усовершенствования школьных программ по литературе. Это — нормальный, естественный процесс. Программы отражают движение современной художественной литературы и науки о литературе; углубляются и уточняются взгляды на литературное наследие. Общие особенности духовного развития общества, генеральные общественные задачи на новом историческом этапе также учитываются в школьном преподавании литературы. Развернутая программа идеологической работы, дела воспитания народа в духе коммунизма, в том числе молодого поколения, дана в исторических решениях XXIV, XXV и XXVI съездов Коммунистической партии, в трудах Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина», «Воспоминания».

Какие общие воспитательные и образовательные задачи должны быть подчеркнуты в школьных программах по литературе в настоящее время? Что нужно выдвинуть на первый план?

Нужно обеспечить повышение роли литературы в коммунистическом воспитании молодежи, в особенности нравственном. Классическая литература запечатлела те моральные нормы, которые самым непосредственным образом нашли продолжение и развитие в духовной жизни советского народа. Литература советской эпохи в свою очередь, наряду с этим, вбирает нравственный опыт наших современников, утверждает начала коммунистической нравственности.

Но важен не только нравственный аспект. В настоящее время выявилась острая потребность в развитии историзма мышления молодежи, основанном на хорошем знании прошлого, на исторической памяти. Знание истории, в том числе и истории литературы, расширяя гори-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

зопты, помогая глубже постигать закономерности истории, обогащает мировоззрение, укрепляет убежденность молодежи в правильности пути, по которому ведет советских людей Коммунистическая партия, содействует коммунистическому воспитанию.

Далее, следует подчеркнуть необходимость усиления патриотического и интернационального воспитания, содействующего более глубокому осознанию молодыми людьми обязанностей перед Советской родиной, отчетливому пониманию единства интересов народов всех стран в нынешней сложной международной обстановке, в условиях широко развернувшейся борьбы за мир, борьбы против зловещих приготовлений империализма к ракетно-ядерной войне.

Наконец, нужно продолжать усилия по приобщению молодежи к художественной культуре, к специфике искусства слова, формировать эстетические вкусы. Это, так сказать, постоянная задача школьного преподавания литературы, внимание к которой не должно ослабляться ввиду обнаружившейся ныне тенденции среди молодежи предпочитать чтению книг кино, телевидение и магнитофон.

В настоящих заметках мне хочется высказать некоторые соображения относительно действующей программы по советской литературе для старших классов общеобразовательной школы.

Прежде всего хочу ответить на вопрос, который порой ставится учителями и методистами: — требуется ли коренной слом действующей программы, полный ее пересмотр? Думаю, что не требуется. Программа в общем должна быть сейчас сохранена. Она проверена практикой. Другое дело, что не всегда она полностью реализуется в жизни школы. Но я не буду здесь касаться организационных и методических аспектов. Меня интересует содержание и структура программы.

Что касается предложений об усовершенствовании действующей программы, то одни из них могут быть осуществлены безотлагательно, посредством публикации программы с частичными изменениями, другие же — более основательные — постепенно, после проведения педагогических экспериментов.

К числу неотложных изменений я бы отнес следующие.

Прежде всего, последовательную ориентацию в программе на прочтение школьниками и изучение в классе выдающихся, образцовых, классических произведений, значительных и по социальной проблематике, идейному содержанию, и по художественному качеству, прочно вошедших в сознание народа. (Разумеется, отдельные отступления от этого принципа допустимы при изучении текущей литературы, когда оценки еще не устоялись или не выявлены в достаточной мере). Ученики должны освоить в школе прежде всего художественные шедевры, тот определенный круг произведений, который играет первостепенную роль в гражданском, идейном воспитании молодежи. Нужно научить школьников отличать мнимые и преходящие ценности от подлинных ценностей непреходящего значения. При этом очень важно сосредоточить внимание учеников на произведениях выразительных по языку, отличающихся богатством словаря, полнокровной изобразительностью и пластичностью, яркой эмоциональностью.

Надо избавить программу от произведений несовершенных, хотя бы они затрагивали актуальную тему. Глубина мышления писателя, сила его нравственных принципов и социального анализа, мастерство художественной типизации, ярко выраженное национальное своеобразие (без которого не существует большой литературы общечеловеческого значения) — вот что должно приниматься во внимание при отборе произведений и включении в программу имен писателей и названий их творений. Одно лишь исключение из программы менее совершенных произведений позволит существенно уменьшить перегрузку учащихся.

В первую очередь нужно избавить программы от перегрузки в обзорных главах. В них указывается непомерно большое количество произведений, которое заведомо не может быть освоено учащимися. При составлении нынешней программы авторы ее находились как бы под гипнозом вузовских программ, явно увлеклись детальным анализом литературного процесса. Они не посчитались также и с тем обстоятельством, что не всем школьникам присущ специальный интерес именно к литературоведению, — ведь значительное большинство учащихся поступает в вузы социально-экономического, естественного и физико-математического профиля, идет на производство, работает в сельском хозяйстве, сфере обслуживания, учреждениях культуры и и т. д. Конечно же, нелишне было бы всем учащимся быть знакомыми с литературным процессом, но нужно здесь соблюдать чувство меры.

Обзорные разделы по советской литературе в нынешней программе (они охватывают чаще всего последний 10—20-летний период) содержат до 40—60 имен писателей и произведений. Программы не дают точных указаний, какие же именно из множества произведений нужно изучать прежде всего. Отбор их доверяется вкусу учителя. Кстати, в монографических разделах точно определяется, какие именно произведения писателя надо изучать. Так, например, в разделе о творчестве Шолохова рекомендуется детально изучить роман «Поднятая целина», в разделе о Фадееве — роман «Разгром» и т. д. Почему же эти уточнения и ограничения не сделаны в обзорных темах?

Кроме того, желательно было бы ввести ряд частных, небольших изменений в отдельных разделах.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

В разделе «С. Есенин» исключить фразу: «Трагическое сознание своей отъединенности от авангарда революционного народа». В этом глубоко неверном тезисе отразился давно изжитый наукой о литературе взгляд на великого поэта.

В разделе «Советская литература 1917—1929 гг.» ввести тему нравственных исканий литературы (А. Грин) и дать, кроме того, краткую аннотацию романов Леонова и Федина, крупнейших, наряду с А. Толстым и Шолоховым, основоположников советской литературы.

В разделе «В. Маяковский» вместо «Блэк энд уайт» указать стихотворения «Бродвей» или «Небоскреб в разрезе», которые разоблачают непосредственно американский образ жизни. Ввести мысль об утверждении в поэзии Маяковского советского образа жизни.

В разделах «В. Маяковский» и «С. Есенин» ввести тезис о национальных художественных традициях в творчестве этих поэтов и подчеркнуть народную основу их поэзии.

В разделе «Советская литература 1930—1941 годов» ввести характеристику романов Леонова и Федина этой поры, исключив «Время, вперед!» В. Катаева, «Танкер „Дербент“» Ю. Крымова; ввести А. Прокофьева и П. Васильева, исключив Э. Багрицкого и М. Светлова, о которых речь шла в предыдущем обзоре; продолжить тему нравственных исканий в литературе (М. Пришвин); включить П. Бажова (образ рабочего человека, связь с народным творчеством).

В разделе «Н. Островский» ввести положение о художественном своеобразии романа «Как закалялась сталь» и о его влиянии на советскую литературу 30—70-х годов.

В разделе «А. Н. Толстой» полностью восстановить раздел о «Петре I» — единственном историческом романе в программе 10-го класса.

В разделе «Литература периода Великой Отечественной войны» вместо поэмы «Сын» П. Антокольского дать «Россию» А. Прокофьева; вместо «Звезды» Э. Казакевича дать более масштабную повесть, посвященную наступательным действиям Советской Армии, — «Взятие Великошумска» Л. Леонова. Сократить список публицистов военных лет. Необходимо подчеркнуть расцвет песенного жанра в военные годы.

В разделе «А. Твардовский» дать более полный обзор творчества поэта, включив как «Василия Теркина», так и лирику послевоенных лет. Ведь Твардовский — крупнейший поэт 40—60-х годов!

Раздел «Советская литература 50—70-х годов» особенно перегружен. Зачем гнаться за количеством? Лучше проанализировать произведения 12—15 авторов, например Н. Погодина, М. Шагинян, Л. Леонова, Ч. Айтматова, Ю. Бондарева, В. Распутина, А. Прокофьева, Н. Заболоцкого, В. Быкова, Вас. Федорова, Р. Гамзатова, С. Залыгина, И. Ефремова, М. Стельмаха, В. Астафьева, нежели скороговоркой перечислять 54 имени! В текст раздела ввести пункт «Тема памяти, преемственности в народной жизни».

Я думаю, что эти небольшие изменения в программе по литературе можно осуществить посредством циркулярного письма Министерства просвещения РСФСР.

Хочется поделиться также некоторыми предложениями о возможном более основательном изменении программы по советской литературе в будущем, через несколько лет, после предварительной подготовки. Эти предложения возникли на обсуждениях в секторе советской литературы Института русской литературы (Пушкинской Дом) АН СССР и были доложены автором настоящих строк на всероссийском совещании по программным вопросам при научно-исследовательском институте школ Министерства просвещения РСФСР в марте 1981 года.

Вкратце они сводятся к следующему.

1. Сейчас систематический курс истории русской литературы изучается в 8—10-х классах. Учителя жалуются на недостаток времени в сетке часов. Думается, что в бюджете времени этих классов дополнительных часов на литературу не найдется. Не лучше ли растянуть курс на 4 года, с тем чтобы учащиеся начали знакомиться с историей родной литературы с 7-го класса? При такой перестройке программы материал расположится, примерно, следующим образом:

7-й класс — русская литература от истоков до Пушкина включительно, 8-й класс — от Лермонтова и Гоголя до Некрасова и Салтыкова-Щедрина, 9-й класс — от Достоевского и Л. Толстого до М. Горького и А. Блока, 10-й класс — от Горького (послеоктябрьское творчество) и Маяковского до Леонова, Шолохова, Твардовского и обзора литературы на современном этапе (60—80-е годы).

Говорят, что изучение Пушкина и Гоголя рано начинать в 7-м классе, пусть-де школьники перейдут в 8-й класс! Возражение несостоятельное: ведь такие сложные вещи, как «Капитанская дочка» и «Ревизор», по действующей программе школьниками изучаются в 7-м классе. Почему же нельзя семиклассников приобщить и к «Евгению Онегину» и к «Мертвым душам»? Что же касается глубины восприятия классики, то она беспредельна, и классику мы в сущности изучаем всю жизнь, все вновь и вновь возвращаясь к ней.

2. Сейчас школьники знакомятся с советскими писателями национальных республик СССР попутно, при изучении в обзорном порядке русской советской литературы по этапам, что обедняет представления учащихся о национальных литературах, не позволяет им понять своеобразие этих литератур. Не подумать ли над включением в программу 10-го класса небольшого обзора «Литера-

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

тура народов СССР»? При 4-летнем курсе истории литературы это будет осуществить легче.

3. Сейчас теоретические разделы в программе по советской литературе (10-й класс) «привязаны» к отдельным монографическим главам: о положительном герое — к главе о Николае Островском, о народности советской литературы — к главе о Шолохове, о социалистическом реализме — в основном к главе о Горьком. А ведь все эти теоретические разделы относятся не только к данному монографическому разделу, а ко всей советской литературе в целом. Учитывая достаточно высокий уровень подготовки школьников к 10-му классу, не следует ли эти теоретические разделы программы 10-го класса обобщить в конце программы, после усвоения учениками историко-литературной части?

Можно было бы усилить теоретическое содержание программы посредством краткого ознакомления школьников с литературно-эстетической борьбой на различных этапах развития советской литературы — с пролеткультовскими теориями (об этом в программе есть), с формалистами (об этом в программе не говорится), с бытовавшим в 20—30-е годы вульгарным социологизмом в оценке классиков, с борьбой против принципов модернизма в послевоенные десятилетия.

4. В обзорах следует отказаться от жесткой тематической группировки. Она невольно нивелирует писателей и упрощает идейно-художественные концепции отдельных произведений. Ну, например, к какой рубрике отнести повесть Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо»? Или «Последний срок» В. Распутина? Или «Берег» и «Выбор» Ю. Бондарева? Я думаю, что нужно ориентироваться на богатство творческих индивидуальностей, на своеобразие писательских концепций действительности. Тематическая рубрикация полезна лишь во вступительной лекции учителя в начале прохождения обзорных тем.

5. Через всю программу по советской литературе нужно провести, в дополнение к имеющимся принципиальным линиям, мысль о преемственности советской литературы с классической литературой, а также о связи с народно-поэтическим творчеством, с народной культурой, народной нравственностью.

6. Программу надо дополнить монографическим разделом о творчестве Леонида Леонова. Не буду здесь специально обосновывать это предложение. В мае 1981 года при Карельском пединституте было созвано широкое, фактически всесоюзное совещание по вопросу об изучении творчества Леонова в средней и высшей школе, которое вынесло соответствующие авторитетные рекомендации.[1] Монографический раздел о Леонове можно было бы поставить перед разделом о Шолохове.

Как оказалось, эти «реформаторские» планы в отношении школьных программ по литературе, созревшие в Институте русской литературы (Пушкинской Дом) АН СССР, совпали в некоторых существенных моментах с мнением НИИ школ при Министерстве просвещения РСФСР, который разработал новую экспериментальную программу по литературе для 7—10-х классов.

В заключение я и остановлюсь на оценке этого документа.[2]

Согласно этой программе, изучение истории советской литературы начинается во втором полугодии 9-го класса. Из ныне действующей программы 10-го класса в программу 9-го класса перенесены обзорная тема «Литература третьего периода освободительного движения в России», монографические темы «М. Горький» (дореволюционное творчество), «А. Блок» и «С. Есенин» (с охватом всего творческого пути).

Данное изменение в программе вполне целесообразно. Возникает лишь одно сомнение: нужно ли раздел о Есенине полностью включать в дореволюционную литературу? Ведь все основные произведения созданы С. Есениным после Октября.

Я бы предложил другое решение: программу 9-го класса закончить обзорным разделом «Октябрь и литература», включив в него общую картину литературного процесса 1917—1920 годов и характеристику руководящей роли Коммунистической партии, В. И. Ленина в области литературы в первые годы революции. Тем самым учащиеся довели бы изучение литературы третьего этапа революционно-освободительного движения в России до исторического и логического завершения. При таком построении программы изучение истории советской литературы начиналось бы вводной темой «Исторические этапы развития советской литературы. 1917—1980 годы. Партия и литература».

Возникают некоторые сложности при определении порядка дальнейших глав.

Проект предлагает традиционное деление истории советской литературы на «Литературу 20-х годов» и «Литературу 30-х годов». Мне уже приходилось выступать со статьей по вопросам периодизации,[3] в которой я высказался за более укрупненную периодизацию, конкретно, — за слияние этих разделов в один: «Советская литература 20—30-х годов (Ли-

[1] См. об этом сообщение В. Крылова в 4-м номере журнала «Русская литература» за 1981 год.

[2] Экспериментальная программа по литературе, VII—X классы. М., Изд. НИИ школ Министерства просвещения РСФСР, 1981, 43 с.

[3] См. статью «К вопросу о периодизации истории русской советской литературы» («Русская литература», 1973, № 4).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

тература периода построения социалистического общества в СССР)». Фактически авторы школьной программы по литературе уже вступили на путь укрупненной периодизации, выделив большой раздел «Советская литература 50—70-х годов», т.е. всю литературу послевоенных десятилетий. Нужно быть последовательными. Тем более что разделы о М. Горьком, А. Фадееве и А. Толстом как раз и входят в литературу не одного, а обоих послеоктябрьских десятилетий. Другое дело, что в рамках обзорного раздела «Литература 20—30-х годов» можно указать не только на историческое единство этого периода, но и на некоторые внутренние отличия каждого из десятилетий.

Вряд ли оправданна перестановка в программе монографического раздела «М. Шолохов»: авторы брошюры ставят этот раздел перед обзором «Литература периода Великой Отечественной войны». Лучше все оставить по-старому: пусть разделы о Шолохове и Твардовском попрежнему завершают историко-литературную часть программы. Видимо, авторы брошюры хотели бы «приблизить» рассмотрение «Поднятой целины», рекомендуемой для детального анализа в классе, ко времени и событиям, которые изображаются в этом романе. Надо ли следовать такой несколько наивной логике?

Перегрузка обзорных разделов программы материалом, к сожалению, не только не ослаблена, но даже увеличена. Авторы программы, как бы боясь обидеть кого-либо из писателей, значительно пополнили списки рекомендуемых имен.

Можно было бы высказать ряд частных замечаний по экспериментальной программе, но я ограничусь сказанным. Главное — в верном направлении эксперимента. Пожелаем успеха экспериментаторам!

Не будем спешить, ибо в школьных программах важна стабильность, но не будем и запаздывать с осуществлением назревших перемен. Разумеется, вопрос о таком существенном перестроении программ по литературе в старших классах требует тщательного обсуждения.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

ХРОНИКА

ЮБИЛЕЙ А. ФАДЕЕВА В ЛЕНИНГРАДЕ

22 декабря 1981 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР состоялась научная конференция, посвященная 80-летию со дня рождения выдающегося деятеля социалистической культуры, одного из зачинателей советской литературы Александра Александровича Фадеева. В ее подготовке и работе принимала участие Ленинградская писательская организация.

Вступительным словом открыл конференцию академик А. С. Бушмин. В поколении зачинателей советской литературы Фадеев был одним из тех, кто с наибольшей силой и красотой выразил героические и гуманистические тенденции социалистического реализма, сказал он. Талантливо изобразив становление нового человека в революции, Фадеев зарекомендовал себя как превосходный мастер, вдумчивый и проникновенный художник, воспринявший лучшие традиции русской литературы. Он нарисовал впечатляющую картину роста нового сознания и новой морали, определявшихся непосредственным опытом революционной борьбы и воспитательной работой деятелей партии. «Разгром» явился знаменательным событием в истории ранней советской прозы, стал на некоторое время средоточием горячих споров о дальнейших судьбах советской литературы. В думах, поступках и переживаниях простых людей Фадеев увидел богатый и привлекательный мир новых интересов, вызванных социалистической революцией, пробуждение разнообразных способностей, чувства человеческого достоинства. Талантливым воспроизведением процесса становления социалистической личности Фадеев проявил себя как тонкий мастер психологического анализа.

Эти особенности творческой индивидуальности Фадеева получили продолжение и развитие в романе «Последний из удэге» и особенно в «Молодой гвардии».

В нашей литературе, подчеркнул академик А. С. Бушмин, А. Фадеев был верным знаменосцем коммунистической идейности, партийности и народности. Он с полным на то правом назвал себя «большевиком на фронте искусства», он говорил, что ему как писателю работалось хорошо в соприкосновении с «корнями», т. е. с непосредственной жизнью народа. Его всегда глубоко волновали вопросы коммунистической нравственности. Одной из важнейших предпосылок эстетики Фадеева является убеждение в том, что для людей социалистического общества «характерно слияние практических интересов с высокими этическими и эстетическими запросами», что истина «включает в себя идеал».

Произведения Фадеева, правдиво воссоздающие героические дела и стремления творцов первого в истории человечества социалистического государства, принадлежат к наиболее действенным книгам советской литературы. Они актуальны всюду, где человек борется за утверждение гуманизма, за счастье всех народов земли, за коммунистическое будущее человечества, — всюду, где идет борьба света с тьмой, свободы с рабством, социальной справедливости с империалистическим военным разбоем, сказал в заключение А. С. Бушмин.

В докладе доктора филол. наук В. В. Тимофеевой «Замысел последнего романа А. А. Фадеева „Черная металлургия“ и некоторые тенденции развития послевоенной прозы» были прослежены связи творческого наследия писателя с поисками послевоенной прозы. Автором доклада были рассмотрены суждения критиков и исследователей творчества писателя о характере и основной направленности задуманного писателем романа, его связи с предшествующими произведениями Фадеева и литературой его времени. Сохранившиеся материалы (опубликованные главы, черновые записи, письма и высказывания писателя) убедительно свидетельствуют о том, что авторский замысел включал широкий круг вопросов, связанных с развитием советского общества в новый исторический период, когда начинает развертываться научно-техническая революция и подготавливаются условия для постепенного перехода к коммунизму. В сферу писательских наблюдений входили сложные процессы, происходившие в производстве и затрагивавшие жизненные судьбы рабочих (прежде всего молодого поколения, перед которым особенно остро вставала задача не только овладения принципиально новой техникой, но и глубокого освоения лучших традиций рабочего класса, преодоления живучих пережитков прошлого в быту, индивидуалистических тенденций, «мелкого тщеславия, славолюбия»), интеллигенции, особенно технической, в какой-то мере и крестьянства.

Обращение А. Фадеева к появившейся в ту пору технической идее, сулившей «революцию в металлургии», по-видимому, на первых порах привлекало его возможностью найти быстрое и точное сюжетное разрешение все разраставшихся материалов, набросков, наблюдений. Однако в черновых записях писателя нет сколько-нибудь основательных разработок, раскрывающих творческое преломление этой идеи в жизненных судьбах основных героев. Материал сопротивлялся такому внешнему вторжению; с другой стороны, сама действительность в ту пору еще не раскрыла реальных путей разрешения остро подмеченных художником новых проблем.

Но в записях, размышлениях Фадеева,

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

относящихся к задуманному роману, подчеркнула В. В. Тимофеева, содержится множество тем, вопросов, наблюдений, которые получили развитие в литературе последующих десятилетий — и в эпических романах, обобщающих проблемы исторического развития советского общества и судьбы рабочих династий, и в многочисленных произведениях о рабочем человеке новой эпохи, и романах и повестях, затрагивающих жизнь творческой интеллигенции или колхозного крестьянства.

Весьма острое и многообразное преломление получили в литературе 60—70-х годов подмеченные Фадеевым (и связанные с судьбой одного из центральных героев задуманного романа — Павлуши Кузнецова) проблемы нравственного плана, преодоления идущих от прошлого, но не изжитых и по-новому проявляющихся индивидуалистических представлений. Интересно развиваются в современной литературе точно, хотя и сжато обрисованные писателем в его основных женских образах сложные проблемы, характеризующие трудности и противоречия, в той или иной степени связанные с практически осуществляющимся широким участием женщины в общественном производстве.

Все это позволяет сделать вывод, что замысел романа А. Фадеева «Черная металлургия» не только обобщал все лучшее из его творческой практики, но и прозорливо подмечал назревавшие проблемы жизни и развития нашего общества, художественно осмысленные лишь в литературе последующих десятилетий.

Доктор филол. наук В. А. Шошин выступил с докладом «Концепция единства многонациональной советской литературы и развитие идейно-эстетических взглядов А. А. Фадеева». Докладчик отметил, что социально-экономическое единство жизни советского народа обусловило и единство национальных культур. В противовес мнению Макса Верли, считавшего, что различные национальные литературы могут объединяться лишь механически, утверждаются принципы и практика общности братских литератур. Ныне общепризнано, что многонациональная советская литература представляет собой цельное единство братских литератур, сцементированных общностью мировоззрения и творческого метода, гражданских целей и эстетических задач.

Это завоевание литературно-общественной мысли явилось итогом длительного пути. В 20-е годы упускалось из виду при характеристике современной литературы, что Октябрьская революция по-новому решила национальный вопрос в стране. Анализируя современную литературу, многие критики и писатели имели в виду лишь литературу на русском языке.

Одним из первых, подчеркнул В. А. Шошин, обратил внимание на складывающееся единство национальных литератур именно Александр Фадеев. В докладе «Столбовая дорога пролетарской литературы» на Первом Всесоюзном съезде писателей 3 мая 1928 года он отмечал, что братские литературы также имеют существенный художественный материал, что основные ситуации и конфликты современной русской литературы характерны и для них.

Становление концепции единства многонациональной советской литературы проходило в гуще литературной жизни, ее укрепляло растущее морально-политическое единство советского народа. Значительными вехами на пути этого становления были подготовка и проведение Первого Всесоюзного съезда советских писателей (1934). Утверждая идею патриотической консолидации, Фадеев в речи на пленуме оргкомитета Союза писателей перед съездом говорил, что нет объективных условий для образования и существования различных группировок. В 40-е годы идея единства впервые в творчестве Фадеева формулируется в русле проблемы взаимосвязей национальных литератур. Чувство национальной гордости писатель трактует как духовный двигатель общечеловеческого прогресса.

В послевоенные годы, как считает докладчик, проблема взаимодействия и дружбы народов становится одной из центральных в публицистике А. Фадеева. Он постоянно связывает судьбы литератур с судьбами народов, подчеркивает, что СССР построен на основе уважения национального равноправия. Более того, в одной из статей многонациональность советской литературы Фадеев называет первой причиной ее многообразия. Развитие национальных форм искусства обусловлено, по его мнению, творческим взаимодействием и обогащением национальных литератур.

Теоретические положения Фадеева тесно связаны с его собственной писательской работой, подчас вырастали из нее. Как писатель к идее дружбы народов он подошел на заре своей творческой биографии (повесть «Разлив»). Работа над романом «Последний из удэге» обогащала его публицистику 30-х годов. Отражение патриотических идей публицистики Фадеева военных лет находим в его романе «Молодая гвардия».

Один из основоположников концепции единства многонациональной советской литературы, А. Фадеев после смерти М. Горького стал наряду с Н. Тихоновым крупнейшим ее приверженцем. Ему принадлежит, в частности, мысль о создании обобщающего труда по истории многонациональной литературы СССР. Дальнейшее развитие идеи единства многонациональной советской литературы подтвердило правоту характеристик и прогнозов А. Фадеева.

В докладе канд. филол. наук А. Ф. Бритикова «Эпический замысел романа „Последний из удэге“» была предпринята попытка рассмотреть тематические линии

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

романа Фадеева в связи с первоначальным замыслом писателя — раскрыть всемирно-историческую миссию революции через переход удэгейцев от первобытного коммунизма в социализм.

По мнению А. Ф. Бритикова, несмотря на то, что в незавершенном тексте «Последнего из удэге» не сбалансировано несколько «романов» (о дальневосточных партизанах, подпольщиках, белогвардейской, буржуазной среде), следует учитывать, что Фадеев до конца не отказывался от намерения свести все сюжетные линии в судьбе удэге. Предисловие к публикации первых частей романа перекликается с поздними планами писателя, зафиксированными в его записных книжках, вывести в финале вновь мотив удэге.

Фадеев, как утверждает докладчик, размышляя о социально-историческом пути народов, особое внимание уделял мысли о том, что нравственное содержание первобытного коммунизма представляло для революционных преобразований реальную историческую ценность.

Эпичность романа Фадеева «Последний из удэге» связана не только с изображением реальных исторических событий (тема партии, партизанской борьбы и т. д.), но и с глубинным замыслом — показать соотносимость событий революционной действительности с глубоким прошлым народов, символизируемым судьбой народа удэге.

В докладе канд. филол. наук В. В. Базанова «Письма А. А. Фадеева Александру Прокофьеву» были проанализированы малоизвестные страницы творческой биографии обоих художников слова, а также некоторые существенные особенности литературного процесса тех лет. Доклад был построен на неопубликованных материалах, хранящихся в Пушкинском Доме.[1]

Ленинградский писатель В. Б. Азаров поделился с присутствующими воспоминаниями об А. А. Фадееве. Ему довелось встречаться с автором «Разгрома» в суровое военное время и быть свидетелем его работы по собиранию материалов для книги «Ленинград в дни блокады».

Т. М. Вахитова

[1] См. подробнее: Базанов В. В. «Читаю твои чудесные стихи. . .» (Письма А. А. Фадеева Александру Прокофьеву) — Русская литература, 1981, № 4, с. 130—143.

ЮБИЛЕЙ КАЛЬДЕРОНА

Одним из важных мероприятий, проводившихся в минувшем году во всем мире по инициативе ЮНЕСКО в ознаменование 300-летней годовщины со дня смерти великого испанского драматурга Педро Кальдерона де ла Барки, явилась научная сессия «Кальдерон и испанская культура XVII века», которая состоялась 13 ноября 1981 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Сессия была подготовлена сектором взаимосвязей русской и зарубежных литератур ИРЛИ совместно с Ленинградской группой Комиссии АН СССР по комплексному изучению культуры народов Пиренейского полуострова. Пушкин писал, что произведения Кальдерона составляют «вечный предмет изучений и восторгов», поэтому нет ничего удивительного в том, что сессия, посвященная испанскому драматургу, состоялась в стенах Пушкинского Дома.

Заседание открыл старший научный сотрудник канд. филол. наук В. Н. Баскаков. Он говорил об осмыслении творчества Кальдерона в России и значении его наследия в наши дни. Испанский писатель, сказал он, с годами освобождаясь от наслоившихся недоразумений, противоречий и от ошибок его толкователей, стал ближе, величественней, доступнее. Немалый вклад в освоение заложенных в произведения Кальдерона богатств внесли русские писатели, такие, как Пушкин, Тургенев, Островский, Бальмонт. В заключение, кратко охарактеризовав выдающуюся роль академика М. П. Алексеева, заведующего сектором взаимосвязей русской и зарубежных литератур ИРЛИ, иностранного члена Испанской Королевской Академии, в изучении творческого наследия испанского драматурга и, особенно, восприятия его произведений в России, В. Н. Баскаков предложил почтить его память минутой молчания.

Доклад профессора З. И. Плавскина (ЛГУ) «Идеи гуманизма в Испании XVII века и драматургия Кальдерона» был посвящен рассмотрению связей произведений испанского писателя с идеями гуманизма, продолжавшими и в эпоху барокко играть важную роль в культурной жизни Испании. В Испании в это время получают, например, широкое распространение идеи «христианского гуманизма», противопоставлявшего современной католической догме рационалистически истолкованные принципы христианской этики, а иерархической организации современного католицизма первоначальное, свободное от пышного культа и не чуждое эгалитарным идеалам «чистое» христианство.

Идеи «христианского гуманизма», по мысли докладчика, лежат в основе всей

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

философии Кальдерона, определяют наиболее существенные идейные черты его драматургии: идеалами «христианского гуманизма» руководствуется драматург при решении проблемы воспитания идеального правителя (драма «Жизнь есть сон» и др.), важной для испанской литературы этого периода проблемы чести (драма «Саламейский алькальд» и др.) и, наконец, при толковании некоторых теологических проблем, прежде всего проблемы «свободы воли» в религиозно-философских драмах и ауто. Именно идеи «христианского гуманизма» придают цельность и идейное единство разнообразным по жанру драматургическим произведениям Кальдерона.

Канд. филол. наук В. Е. Багно (ИРЛИ) поставил перед собой задачу доказать, что, с одной стороны, восхищаясь Кальдероном, Пушкин знал его произведения не только в хвалебных отзывах, но и более непосредственно и углубленно и, с другой — что вклад русского поэта в осмысление творческого наследия испанского драматурга был весьма оригинальным и весомым. Начиная с середины 20-х годов Пушкин обращался к авторитету Кальдерона в отстаивании некоторых своих эстетических взглядов: в литературной полемике о народности в искусстве, об особенностях романтической поэзии, о связи литературы с фольклором, о возможной смелости поэтических выражений. Таким образом, пушкинское восприятие драматургии Кальдерона, кое в чем соприкасаясь со взглядами западноевропейских и русских почитателей таланта великого испанского писателя, было во многом более плодотворным. Хотя занятия Пушкина испанским языком относятся лишь к 1830—1831 годам, когда в его библиотеке имелось уже четырехтомное лейпцигское издание драм Кальдерона на языке оригинала, он мог быть знаком с произведениями испанского драматурга и ранее — либо во французских и английских переводах и переделках, либо в пересказах его друзей, читавших Кальдерона по-немецки. Это знакомство, по крайней мере с такими драмами как «El Mágico prodigioso» («Маг-чудодей»), «La vida es sueño» («Жизнь есть сон» в переделке Луи де Буасси) и «La devoción de la cruz» («Поклонение кресту»), по убеждению докладчика, отразилось, соответственно, в «Сцене из Фауста», «Борисе Годунове» и «Дубровском».

В докладе профессора ЛГУ О. К. Васильевой-Шведе была рассмотрена лингвистическая теория в современной Кальдерону Испании. По мнению докладчицы, первоочередной задачей теоретиков языка XVI—XVII веков были защита полноправия народного языка, уже доказанного корифеями испанской литературы «Золотого века», особенно Сервантесом (вопрос о происхождении вульгарного языка, преемственности его от латыни и отрыве от нее), и научное грамматическое описание кастильского языка. Прогрессивные идеи первых испанских филологов-гуманистов XVI—XVII веков — Небрихи, Вальдеса и Альдрете и других, менее значительных — в дальнейшем не получили своего должного развития и с созданием испанской Академии (1713) и ее Грамматики (1771), ставшей верным проводником латинской традиции в области грамматической науки, испанская лингвистическая теория все больше отставала от мировой науки и все больше отходила от адекватного отражения языковой действительности.

Стилистическое и образно-семантическое родство испанского культизма и маньеризма в живописи рассматривалось в докладе доцента ЛГУ Е. О. Вагановой при сопоставлении творческого метода Эль Греко и поэтической системы Луиса де Гонгоры. Особое внимание было уделено типичному для этих мастеров приему художественного иносказания, который часто давал возможность свободной «перестановки» семантических планов при интерпретации того или иного сюжета. Более раннее стилистическое вызревание Эль Греко и превращение его в иносказателя предбарочного толка, по мнению автора, объясняется, возможно, спецификой изобразительного искусства по отношению к литературе, где крайняя образная многоплановость способна убить исходную не только смысловую, но и сюжетную канву произведения.

Наибольший интерес вызвал доклад доктора филол. наук Ю. Д. Левина «М. П. Алексеев — исследователь русско-испанских литературных связей», прочитанный (ввиду того, что Ю. Д. Левин был в отъезде) его коллегой по сектору взаимосвязей русской и зарубежных литератур канд. филол. наук Р. Ю. Даниловским. Автором была показана зависимость работ ученого в этой области (среди которых центральное место занимают «Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв.», 1964) от лежащей в основе всех его исследований общей концепции единства и взаимосвязанности мирового литературного процесса и шире — развития мировой культуры. Становление испано-русских литературных отношений М. П. Алексеев рассматривал во всей широте и сложности как процесс «взаимного ознакомления двух народов». Его работы, подчеркнул Ю. Д. Левин, обогащая науку и культуру, в то же время открывали новые горизонты для поисков в иных областях литературоведения.

Закрывая заседание, В. Н. Баскаков напомнил, что состоявшаяся сессия была одним из последних замыслов М. П. Алексеева.

В. Е. Багно

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Базанов В. Г. Поэзия русского Севера. Карельские статьи и очерки. Петрозаводск, «Карелия», 1981. 288 с.

Бялый Г. А. Чехов и русский реализм. Очерки. Л., «Сов. писатель», 1981. 400 с.

Вопросы русской литературы. [Республиканский межвед. науч. сб. Вып. 1 (37). Редколлегия: Н. В. Николаев (отв. ред.) и др.]. Львов, «Вища школа», 1981. 140 с.

Вопросы теории и истории литературы. [Сб. науч. трудов. Редколлегия: Е. П. Магазанник (отв. ред.) и др.]. Самарканд, СамГУ, 1980. 125 с.

Воронина Н. И. Огарев и музыка. Саранск, Мордовское кн. изд-во, 1981. 176 с.

Время и судьбы русских писателей. [Сб. статей. Редколлегия: Н. В. Осьмаков (отв. ред.) и др.]. М., «Наука», 1981. 344 с. (Ин-т мировой лит-ры).

Гачев Г. Д. Образ в русской художественной культуре М., «Искусство», 1981. 246 с.

Достоевская А. Г. Воспоминания. [О Ф. М. Достоевском. Вступит. статья, подгот. текста и примеч. С. В. Белова, В. А. Туниманова]. М., «Художественная лит-ра», 1981. 518 с.

Жаркевич Н. М. Творчество Ф. Н. Глинки в истории русско-украинских литературных связей. Киев, «Наук. думка», 1981. 160 с. (АН УССР, Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко).

Журавлева А. И. А. Н. Островский-комедиограф. М., Изд-во МГУ, 1981. 216 с.

«Звездочка». История альманаха [А. Бестужева и К. Рылеева]. Авторы. Публ. материалов «Звездочки» по рукописи, представл. цензору. М., «Книга», 1981. 136 [5] с. + прилож. (80 с. на 5 отд. л. в обертке).

Золотусский И. П. Душа и дело жизни. Очерки о Гоголе. М., «Правда», 1981. 48 с.

Из истории русской и советской литературы. Новое и забытое. Сб. науч. трудов. М., Б. и., 1980. 132 с.

Классическое наследие и современность. [Сб. статей. Редколлегия: Д. С. Лихачев (отв. ред.) и др.]. Л., «Наука», 1981. 412 с. (Ин-т русской лит-ры).

Кривонос В. Ш. Проблема читателя в творчестве Гоголя. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1981. 167 с.

Курилов А. С. Литературоведение в России XVIII века. М., «Наука», 1981. 264 с. (Ин-т мировой лит-ры).

Лазутин С. Г. Поэтика русского фольклора. [Учеб. пособие для филол. спец. ун-тов]. М., «Высшая школа», 1981. 223 с.

Левандовский Л. И. Лесков и Украина. Киев, о-во «Знание» УССР, 1981. 17 с.

Литературные связи. Русско-армянские лит. связи. Исследования и материалы. [Т. 3. Сост. Л. А. Абаджян]. Ереван, Изд-во Ереванского ун-та, 1981. 295 с.

Ломунов К. Н. Жизнь Льва Толстого. М., «Художественная лит-ра», 1981. 255 с.

Н. А. Некрасов и русская литература второй половины XIX—начала XX века. [Сб. статей. Редколлегия: Н. Н. Скатов (отв. ред.) и др.]. Ярославль, Кострома, Костромской пед. ин-т, 1980. 132 с.

Овчинников Р. В. Над «пугачевскими» страницами Пушкина. М., «Наука», 1981. 159 с.

Порудоминский В. И. Повесть о Толковом словаре. [О В. И. Дале]. М., «Книга», 1981. 125 с.

Проскурина Ю. М. Реализм русской литературы 50-х годов XIX века. Учебное пособие по спецкурсу. Челябинск, Челябинский ГПИ, 1980. 101 с.

Рифей. Уральский лит.-краевед. сб. [Посвящается А. С. Пушкину]. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 1981. 269 с.

Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. М., «Наука», 1981. 368 с. (Ин-т мировой лит-ры).

Русская литература в оценке современной зарубежной критики. [Сб. статей. Под ред. В. И. Кулешова]. М., Изд-во МГУ, 1981. 288 с.

Русские волшебные сказки Сибири. [Сборник. Сост., предисл., коммент. Р. П. Матвеевой]. Новосибирск, «Наука», 1981. 333 с.

Русский фольклор Сибири. Исследования и материалы. [Сб. статей. Редколлегия: Р. П. Матвеева (отв. ред.) и др.]. Новосибирск, «Наука», 1981. 193 с.

Сапогов В. А. Анализ художественного произведения. Поэма Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос». Пособие по спецкурсу. Ярославль, Костромской пед. ин-т, 1980. 64 с.

Сибирский фольклор. Межвуз. сб. науч. трудов. [Памяти М. Г. Воскобойникова. Редколлегия: М. Н. Мельников (отв. ред.) и др.]. Новосибирск, НГПИ, 1980. 170 с.

Софронова Л. А. Поэтика славянского театра XVII—первой половины XVIII в. Польша, Украина, Россия. М., «Наука», 1981. 263 с. (АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики).

Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. [Сост., вступит. статья и примеч. А. И. Шифмана]. М., «Художественная лит-ра», 1981. 525 с. (Серия лит. мемуаров).

Сюжет и композиция литературных и фольклорных произведений. [Сб. статей. Редколлегия: С. Г. Лазутин (науч. ред.) и др.]. Воронеж, Изд-во Воронежского ун-та, 1981. 148 с.

Тарланов З. К. Сравнительный синтаксис жанров русского фольклора. Учебное пособие по спецкурсу. Петрозаводск, ПГУ, 1981. 104 с. (Петрозаводский гос. ун-т им. О. В. Куусинена).

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Татевосян Р. В. Лермонтов и армянская классическая поэзия. Ереван, «Советакан грох», 1981. 197 с.

Турчин В. С. Эпоха романтизма в России. К истории русского искусства первой трети XIX столетия. Очерки. М., «Искусство», 1981. 550 с.

Фольклор народов Севера СССР [Сб. науч. трудов. Редколлегия: Ю. А. Сем (отв. ред.) и др.]. Л., ЛГПИ, 1980. 108 с. (Ленинградский гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена).

Челышев Б. Д. Русские писатели в Молдавии. Кишинев, «Картя молдовеняскэ», 1981. 134 с.

Шагинян Р. П. Белинский — основоположник русской классической критики. [Учеб. пособие]. Самарканд, СамГУ, 1981. 90 с.

Язык прозы А. П. Чехова. [Сб. статей. Отв. ред. М. К. Милых]. Ростов н/Д, Изд-во Ростовского ун-та, 1981. 120 с.

Адамович А. О современной военной прозе. М., «Сов. писатель, 1981. 440 с.

Актуальные проблемы методологии литературной критики. Принципы и критерии. [Сб. статей. Редколлегия: Г. А. Белая (отв. ред.) и др.]. М., «Наука», 1980. 339 с. (Ин-т мировой лит-ры).

Алибекова Г. С. Грани художественности. Баку, «Язычы», 1981. 277 с.

Алиев Г. А. Высокий долг и предназначение советской литературы. Речь на VII съезде писателей республики, 12 июня 1981 г. Баку, «Азернешр», 1981. 49 с.

Бабаев Г. Б. Узы дружбы. (Статьи и публикации). Баку, «Язычы», 1981. 147 с.

Бараненкова А. Ф. А. В. Луначарский о проблемах социалистической эстетики. Рига, «Зинатне», 1981. 160 с.

Браженас П. Человек и слово в прозе. Статьи. [Пер. с литов.]. М., «Сов. писатель», 1981. 247 с.

Бугаенко П. А. Романическая трилогия. [«Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер» К. А. Федина. Учеб. пособие для пед. ин-тов]. М., «Высшая школа», 1981. 112 с.

Бугров В. И. В поисках завтрашнего дня. О фантастике всерьез и с улыбкой. [Вступит. статья С. Абрамова]. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1981. 223 с.

Бялик Б. А. Великое слово. Статьи [о рус. сов. лит-ре]. М., «Сов. писатель», 1981. 375 с.

Взаимодействие литератур и художественная культура развитого социализма. Проблемы жизни. Теория. Поэтика. [Сб. статей. Отв. ред. Г. И. Ломидзе, Л. Н. Арутюнов]. М., «Наука», 1981. 295 с. (Ин-т мировой лит-ры).

Винонен Р. И. Чувство пути. Над страницами современной поэзии. М., «Современник», 1981. 368 с.

Вместе с партией, вместе с народом. Летопись лит.-творч. деятельности Союза писателей СССР между VI и VII съездами. [Сборник. Сост. И. И. Ришина, В. С. Коткин]. М., «Сов. писатель», 1981. 431 с.

Волков-Ланнит Л. Ф. Вижу Маяковского. М., «Искусство», 1981. 278 с.

Вопросы литературы народов СССР. [Респ. межвед. науч. сб. Вып. 7. Редколлегия: В. В. Фащенко (отв. ред.) и др.]. Киев; Одесса, «Вища школа», 1981. 167 с. (Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова).

Галимов Ш. З. Сердцем и именем. Советская поэтическая Лениниана, 1917—1970. Жанровая и идейно-художественная эволюция. Архангельск, Северо-Западное кн. изд-во, 1981. 240 с.

Ганичев В. Н. Устремление вперед. Лит.-критич. статьи. М., «Современник», 1981. 432 с.

Горн В. Ф. Характеры Василия Шукшина. Барнаул, Алтайское кн. изд-во, 1981. 247 с.

Максим Горький в воспоминаниях современников. [Сборник. В 2-х т. Т. 2. Сост. и подгот. текста А. А. Крундышева; примеч. И. С. Эвентова, А. А. Крундышева]. М., «Художественная лит-ра», 1981. 445 с.

Дедков И. А. Во все концы дорога далека. Лит.-критич. очерки и статьи. Ярославль, Верхне-Волжское кн. изд-во, 1981. 199 с.

Дмитриевский В. Н. Шаляпин и Горький. История взаимоотношений в контексте обществ. и лит.-худож. процесса конца XIX—первой трети XX в. Л., «Музыка», 1981. 240 с.

Долматовский Е. А. Молодым поэтам. М., «Сов. Россия», 1981. 127 с.

Журналистика развитого социализма. Вопросы теории и методики. [Сб. статей. Редколлегия: В. А. Шандра (отв. ред.) и др.]. Свердловск, УрГУ, 1980. 159 с.

Земли моей молодые голоса. Сб. критич. статей. Улан-Удэ, Бурятское кн. изд-во, 1981. 127 с.

Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. [Сборник. Сост. А. Смолян, Н. Юргенева]. М., «Сов. писатель», 1981. 263 с.

Клитко А. И. Глубина фокуса. (О прозе наших дней). М., «Современник», 1981. 271 с.

Корсунов Н. Ф. Встречи с Шолоховым. Очерки. Алма-Ата, «Жазушы», 1981. 135 с.

Кузьмичев И. К. «На дне» М. Горького. Судьба пьесы в жизни, на сцене и в критике. Горький, Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. 223 с.

Македонов А. В. Творческий путь Твардовского. Дома и дороги. М., «Художественная лит-ра», 1981. 367 с.

lib.pushkinskijdom.ru of 248.

Массалитинов К. И. С русской песней по жизни. Воронеж, Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1981. 88 с.

Мацаков П. М. У истоков. Элиста, Калмыцкое кн. изд-во, 1981. 154 с.

Мостков Ю. М. Портреты. Лит.-критич. статьи. Новосибирск, Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. 288 с.

Муратова К. Д. М. Горький. Семинарий. [Учеб. пособие для пед. ин-тов]. М., «Просвещение», 1981. 206 с.

Николюкин А. Н. Литературные связи России и США. Становление лит. контактов. М., «Наука», 1981. 406 с. (АН СССР, ИНИОН, Ин-т русской лит-ры).

Писатель и время. Сб. лит.-критич. статей. [Кн. 8. Сост. С. Кирабаев]. Алма-Ата, «Жазушы», 1981. 268 с.

Писатель и жизнь. [Сб. ист.-лит., теорет. и критич. статей. Под ред. С. Д. Артамонова и др.]. М., «Сов. писатель», 1981. 303 с.

Погрибный А. Г. Художественный конфликт и развитие современной советской прозы. Киев, «Вища школа», 1981. 199 с.

Полтавцева Н. Г. Философская проза Андрея Платонова. Отв. ред. Г. А. Белая. Ростов н/Д., Изд-во Ростовского ун-та, 1981. 141 с.

Проблемы поэтики. (Сб. науч. трудов). [Редколлегия: Э. Б. Магазаник (отв. ред.) и др.]. Самарканд, СамГУ, 1981. 91 с.

Проблемы творческого метода. [Сб. статей. Редколлегия: А. М. Короткина (отв. ред.) и др.]. Тюмень, ТГУ, 1981. 120 с. (Науч. труды Тюменского гос. ун-та, сб. 83).

Прокушев Ю. Л. Вечный жанр. М., «Правда», 1981. 63 с.

Пронизан токами века. [Сборник. Сост. Ю. П. Куликов]. М., «Правда», 1981. 64 с.

Пути анализа литературного произведения. Пособие для учителя. [Под ред. Б. Ф. Егорова]. М., «Просвещение», 1981. 222 с.

Пурвеев В. Д. Движение жизни — движение литературы. Критические этюды и портреты. Элиста, Калмыцкое кн. изд-во, 1981. 119 с.

Резник О. С. Жизнь в поэзии. Творчество И. Сельвинского. Пересмотр. и доп. изд. М., «Сов. писатель», 1981. 527 с.

Рымашевский В. В. На расстоянии голоса. Ярославль, Верхне-Волжское кн. изд-во, 1981. 207 с.

Семенов В. В. Неизбежность доброго мира. Лит.-критич. статьи, рецензии. Воронеж, Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1981. 158 с.

Сергеев-Ценский С. Н. Таланты и гений. [Сб. статей. Вступит. статья и примеч. В. Козлова]. М., «Современник», 1981. 319 с.

Слово гнева народного. Массовое поэтич. творчество партизан в годы Великой Отеч. войны. [Сборник. Сост. и автор вступит. статьи А. И. Инчин]. Львов, «Каменяр», 1981. 182 с.

Собеседник. Лит.-критич. ежегодник. [Вып. 1. Сост. Н. П. Машовец]. М., «Современник», 1981. 336 с.

Советская журналистика. История, традиции, опыт. [Сб. статей. Вып. 6. Под ред. И. В. Кузнецова]. М., Изд-во МГУ, 1981. 110 с.

Содружество литературы и труда. Материалы Всесоюз. творч. конф. писателей и критиков 1978—1980 гг. [Сборник. Предисл. Ю. Верченко]. М., «Сов. писатель», 1981. 472 с.

Старков А. Н. Нравственный поиск героев Даниила Гранина. М., «Художественная лит-ра», 1981. 199 с.

Тендитник Н. С. Мастера. [О В. Распутине, А. Вампилове, А. Звереве, Д. Сергееве]. Иркутск, Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1981. 303 с.

Турков А. М. Николай Заболоцкий. Жизнь и творчество. Пособие для учителей. М., «Просвещение», 1981. 143 с.

Хорошхин В. П. XXVI съезд КПСС и развитие советской художественной литературы. Ташкент, о-во «Знание» УзССР, 1981. 24 с.

Художественная речь. Традиции и новаторство. [Сб. статей. Памяти В. А. Малаховского. Редколлегия: О. И. Александрова (отв. ред.) и др.]. Куйбышев, Б. и. 1980. 186 с. (Куйбышевский гос. пед. ин-т, межвуз, сб. науч. трудов, т. 238).

Шайтанов И. О. Как было и как вспомнилось. (Соврем. автобиогр. и мемуар. проза). М., «Знание», 1981. 64 с.

Шаталов С. Е. Литература — вид искусства. М., «Знание», 1981. 160 с.

Шермухамедов П. Биение сердец живое. Лит.-критич. статьи. Ташкент, Изд-во лит. и искусства, 1981. 168 с.

Бугаенко П. А., Рассохин Г. В. К. А. Федин. Основные даты жизни и творчества, 1892—1977. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1981. 29 с.

Детская литература. Библиография [1970—1971. Сост. Б. Я. Шиперович]. М., «Детская лит-ра», 1981. 352 с.

Ежегодник пьес. Библиографический указатель. [1979 г. Сост. К. И. Жданова]. М., Б. и., 1980. 249 с. (Гос. центр. театр. б-ка).

Польская Е. Б., Шахназарова Н. К. Александр Сергеевич Пушкин на Кавказских Минеральных Водах, 1820—1829 гг. Библиогр. указатель лит-ры. Пятигорск, Б. и., 1981. 26 с.

Гдалин А. Д. Филателистическая Пушкиниана. М., «Радио и связь», 1981. 126 с.

---

lib.pushkinskijdom.ru of 248.